

НО ПАСАРАН !

РОМАН КАРМЕН



ГОДЫ
и
ЛЮДИ

ГОДЫ И ЛЮДИ

НО ПАСАРАН! ★ РОМАН КАРМЕН

**Издательство
«СОВЕТСКАЯ
РОССИЯ»**

**Москва —
1972**



Р. Караян

НО ПАСАРАН !

P2
K24

Кинореporter, как правило, не живет прошлым. Всегда находясь в гуще жизни, он увлеченно вглядывается в явления современности, он устремлен в завтрашний день. И все же они возникают — раздумья о прошлом. Бывает, что происходящее сегодня властно вынуждает перелистать страницы прошедшего.

Порой смотрю я в усталые, но живые глаза моих товарищей по оружию — операторов кинохроники, и передо мной встает большая, трудная и яркая жизнь, прожитая каждым из них. Человек с киноаппаратом! Он вездесущ, этот пытливый и жадный летописец эпохи — советский кинохроникер. Как много мог бы рассказать каждый из них — участник и живой свидетель больших событий нашего времени. Профессия бросает его туда, где в большинстве случаев не окажется ни писатель, ни журналист.

Меня всегда тянуло к старым путевым блокнотам, они помогают многое восстановить в памяти. Беспокойная профессия киножурналиста за сорок лет работы щедро оделила меня яркими впечатлениями. Где только ни пришлось побывать с камерой в руках — Арктика, знойные пустыни Средней Азии, плаванья по морям и океанам, походы в горах, сражения Великой Отечественной войны... Мне довелось производить съемки в странах, народы которых сражались за свою независимость, сражались против фашизма, против империализма, колонизаторов. Незабываем год, проведенный на фронтах в Испании; съемки в борющемся с японскими захватчиками

Китае; джунгли Вьетнама; съемки фильма «Пылающий остров» на революционной Кубе...

Прошли годы. Через какие испытания прошло человечество за эти сорок лет, пронесшихся, казалось бы, так быстро! Но, оглядываясь на пережитое, взвешивая цену пролитой народами крови, я вижу события этих десятилетий в монолитной связи, в одной цепи. В сражениях с фашизмом, в борьбе и труде побратались воин Вьетнама и строитель Днепрогэса, защитник Мадрида и герой Сталинградской битвы, ополченец Гаваны и люди, стоявшие у стен Ленинграда.

Капитан Рубен Ибаррури погиб на берегах Волги, сражаясь за родной Мадрид, а генерал Семен Кривошеин, дравшийся у стен Мадрида, первым ворвался со своим гапковским корпусом в пригороды Берлина. Бойца Пятого полка, сражавшегося в Гвадалахаре, я встретил спустя двадцать пять лет в Гаване, одетого в форму Народной милиции Кубы, он громил американских наемников на Плайя Хирон, твердо веря, что сражается за освобождение родной Андалузии.

О людях, с которыми повстречался на трудных дорогах, о событиях минувших дней рассказываю я в этой книге. Многое, казавшееся обыденным, сегодня озаряется светом героической романтики.

Мысленно вглядываюсь в образы людей, запечатленных на пленку, — их множество! Они через годы смотрят на меня, словно говорят: «Помнишь?..» Помню. Испанский крестьянин в окопе под Уэской, колхозница Анна Масонова, богатырь-шахтер Никита Изотов, китайский партизан, раненый с искаженным от боли лицом, нефтяник Михаил Каверочкин, полярный летчик Илья Мазурок, Хэмингуэй в блиндаже на Хараме, умирающий от голода на обледевшем Цевском безымянный ленинградец, Че Гевара, смотрящий на меня усталым мечтательным взглядом... Сотни, тысячи лиц, глаз, человеческих судеб, с которыми сплелась и моя судьба. Помню их. И тех, кто ненадолго мелькнул, запечатленный на пленку, и тех, кто стал частицей жизни кинорепортера, кого повстречал и с кем породнился в море, в поле, в бою, во льдах, на родной земле и на далеких меридианах...

Биография оператора кинохроники неотделима от событий, свидетелем и участником которых он был. Многие из этих событий стали памятными вехами нашей эпохи. Выходит, что не о себе нужно рассказывать, а обо всем

пережитом, виденном. Но что из пережитого важнее? На чем остановить взгляд, озирая жизненный путь, пройденный с кинокамерой в руках? С чего начать свои воспоминания? С тех детских лет, когда впервые взял в руки любительский фотоаппарат? С первого метра снятой киноплёнки? Какая веха в жизни важнее — первый неуверенный шаг или неизгладимый рубеж возможаний?

Эту книгу хочу начать в нарушение хронологических законов, по которым строятся мемуары, — с самого трудного, что было за истекшие десятилетия в жизни моего народа, моей страны.

Война.

Она была самым тяжелым испытанием и в моей жизни.

Вот уже более четверти века храню у себя белую эмалированную табличку с надписью «Унтер ден Линден». Эмаль нанскось прострочена пулеметной очередью. Я привез этот «сувенир» из поверженного Берлина. Это было в мае 1945 года. Долог был наш путь к этой победной дате, очень долог. Память часто возвращается к тому дню, когда мы только начали этот путь, — к 22 июня сорок первого года.

КАКАЯ ОНА БУДЕТ, ВОЙНА?

24 июня 1941 г.
Третий
день войны.

Мы покидали Москву в ночь на 25 июня. По улицам затемненной столицы студийный автобус, груженный аппаратурой и пленкой, вез нас к Белорусскому вокзалу. Нас было четверо, уезжавших на фронт. Операторы Борис Шер и Николай Лыткин, администратор Александр Ешурин и я. Меня провожала жена Нина. Ей — со дня на день рожать.

Ехали молча, каждый погруженный в свои мысли. Что ждет нас впереди? Какая она будет, эта война? Что ожидает ребенка, который вот-вот появится на свет?

Настороженная тишина опустевших московских улиц была невыносимо печальной. В мирное время полночь по теплому асфальту мостовой шли с песнями компании молодежи... Сегодняшняя тишина была чужой, пугающей.

А на привокзальной площади — шумная толчея, толпа, заполнившая перроны. Пройдя вдоль составов, я выяснил, что воинский поезд на Ригу отойдет часа через два-три. Поезд на Ригу!.. Что произошло бы с пассажирами этого поезда, если бы он действительно дошел до Риги! Кто встретил бы на перроне рижского вокзала воинский эшелон с командирами, которые возвращались в свои части из отпусков? Никто не знал, что в ближайшие часы падет Рига, что немцы войдут в Каунас, Минск...

Мы сложили свой багаж у вокзальной стены. Рядом на асфальте расположились молодые ребята — новобранцы. На расстеленной газете — селедка, соленые огурцы, лук, хлеб, водка. Заправила этой компании — рабочий паренек — поднял стакан, широким жестом обращаясь к окружающим, сказал: «За встречу в Берлине!» И добавил: «За скорую встречу!» Выпил до капли, еще налил себе и товарищам и подтолкнул гармониста. Тот растянул мехи, ребята запели:

Если завтра война,
Если завтра в поход,
Если черная туча нагрянет...

Ребята пели на затемненном перроне «Если завтра война», а она, война, уже третьи сутки бушевала на наших землях. Шли по полям Украины и Белоруссии нескончаемые колонны немецких танков, горели города. И отчаянно дрались застигнутые врасплох войска.

Немецкую военную кинохронику июня—июля 1941 года я просмотрел лишь много лет спустя. Были там и кадры тапковых колонн, были и солдаты с засученными рукавами, смеясь шагавшие по горящим нашим деревням, были и надменные генералы над картами, и трагические образы захваченных в плен советских солдат. Эти кадры и сейчас трудно смотреть.

Но есть кадры, которые смотрятся с чувством гордости. Немецкие солдаты, пригнувшись к земле, ползут в дыму. Окровавленные, искаженные страхом лица. Бегут по дымящейся земле, несут на плащ-палатках своих раненых и убитых, прижимаются к стенам домов. Где-то на городском перекрестке (кажется, в Каунасе) из подворотни на полную мощность запускают громкоговоритель, отчеканивающий с прусским акцентом:

— Соппротивление бессмысленно! Сдавайтесь!

Не сдавались. Не стало немецкое вторжение парадным маршем. И хотя сила вначале, бесспорно, была на стороне врага, каждый шаг стоил ему крови. Бойцы Красной Армии дрались там, где застала их война, дрались отступая, дрались в окружении, сражались и умирали без почестей. Их пулеметные очереди, их выстрелы из противотанковых пушек, связки ручных гранат, брошенные под танки,— все это было первыми залпами по рейхстагу. Те, кто пришел в Берлин весной сорок пятого года, помнили принявших первый бой.

Ночью на ступенях Белорусского вокзала паренек вышел за встречу в Берлине. Когда немцы были под Москвой, я с горечью вспоминал его тост. Вспомнил этого паренька и много позже, когда на дорожном знаке прочел: «Берлин — 11 км». Дошел ли он до Берлина? Дожил ли до встречи, за которую вышел с товарищами в тревожную ночь в Москве перед отправкой на фронт?..

Кажется, вечность прошла с той минуты, когда лягнули буфера и поезд медленно тронулся с московского вокзала. Нам удалось захватить закрытое четырехместное купе. Рассовав по полкам аппаратуру и пленку, мы расположились с комфортом, стойко выдерживая натиск людей, колотящих в дверь. Устроившись, вытащили на свет божий бутылку водки, хлеб, консервы, колбасу.

Еще не разорвался над нашими головами первый снаряд, еще не упали мы, прижимаясь к земле под бомбежкой,— все это началось несколькими днями позже. А сейчас — мерное постукивание колес, покачивающийся вагон. Накрепко связаны были мы подсознательной верой, что если суждено кому из нас попасть в беду, то честная мужская дружба на войне — вот, что может уберечь человека вернее всего.

И что удивительно, все мы четверо, пройдя в войне такой путь, о котором не рассказать словами, остались живы. Чего не испытал Коля Лыткин! Даже в штрафную роту угодил, там в бою добыл орден Славы и снова возвратился во фронтовую киногруппу, ходил с караванами судов в Атлантике. Боря Шер — и летал к партизанам, и в воздушном бою в Орловской битве, сидя на штурмовике за стрелка, сбил атакующего его «фокке-вульфа», и в сталинградском пекле с камерой был — живой остался. И мне за годы войны тоже пришлось немало хлебнуть.

Коля Лыткин был в нашей компании, пожалуй, самой

штатской личностью. Голубоглазый романтик, окончив за несколько лет до войны Институт кинематографии, уехал на Дальний Восток, полюбил этот край и остался там корреспондентом кинохроники, как ему казалось, навсегда. Там, где шли по тайге геологи, строители, где рождались города и заводы, можно было видеть человека с кинокамерой, худощавого, долговязого, с доброй улыбкой. Колю Лыткина знали и любили таежные охотники, летчики, строители, партийные работники, капитаны кораблей, матерые тигроловы. Лыткин восторженно относился к своей профессии кинорепортера, гордился ею. И вот в трудный для страны час он в вагоне воинского эшелона одним из первых кинооператоров направляется на фронт. Он увлечен мыслью о предстоящей работе, расспрашивает меня об Испании, о киносъемке в боевой обстановке.

С Борисом Шером мы уже несколько лет работаем вместе. Он был моим ассистентом, потом его призвали в армию, два года он отслужил в кавалерии, снова вернулся на студию. Любому кинооператору можно было только мечтать о таком напарнике. Скрупулезно точный, любящий аппаратуру и оптику, на вид медлительный, но на событийной съемке прицельно точный, успевающий без излишней суеты занять лучшую точку, запечатлеть кульминационные фазы события. Снайпер кинорепортажа.

Любил я Бориса не только за его профессиональные достоинства, но и за главное в нем — за чувство товарищества, возведенное у него в закон жизни. За самоотверженную честность. Борис вырос в семье профессионального революционера — ссыльного большевика, родился в Якутии. Похожий на цыганенка — черные, как смоль, волосы, глаза, как маслины, цедящий слова, вроде нескладный. Из тех «нескладных», которые, не раздумывая, бросаются в горящий дом, услышав зов о помощи, спасают товарища в горах. С такими, только с такими «нескладными» быть рядом на войне.

Я вспоминал в эту ночь в поезде товарищей-кинорепортеров — Марка Трояновского, Владика Микоша, Мишу Ошуркова, Сережу Гусева, Соломона Когана, Бориса Небылицкого. Они сейчас, как и я, эшелонами, самолетами направлялись на указанные им участки фронта. И никто из нас не знал, что это будет за война. Не знали те, кому довелось уже побывать под огнем — в Абисси-

нии, Испании, на Халхин-Голе, на финской войне. А остальные войны видели только на больших маневрах.

Покачивался вагон, спать мне не давал Коля, его занимали проблемы сугубо практические — можно ли, например, перед разрывом снаряда слышать шум его полета.

— Можно, Коля, — терпеливо разъяснял я ему, — правда, бывают случаи, что человек, прислушивающийся к свисту приближающегося снаряда, может не услышать грохота его разрыва.

— Почему?

— Потому что, Коленька, в момент разрыва этот человек иногда становится мертвым.

— Ясно, — улыбался Коля. — А если бомба — то как?..

Больше к нам в купе не стучались. Последними, кто рвался в дверь с необыкновенным упорством и в конце концов прорвали нашу «долговременную» оборону, оказались двое писателей. Терпеливо дождавшись, пока кто-то из нас решился выйти по нужде, они вломились в купе, произнеся при этом множество слов, унижающих наше человеческое достоинство.

Писатели Юрий Корольков и Рудольф Бершадский были одеты в новенькую комиссарскую форму со знаками отличия в петлицах, опоясаны еще хранящими запах воинского склада, скрипящими, ярко-желтыми ремнями, портунеями, кобурами и планшетами. Очень воинственно выглядели Корольков и Бершадский в нашей штатской компании. Один я, правда, раздобыл перед отъездом у кого-то из друзей поношенную гимнастерку, ремень. К гимнастерке я привинтил боевой орден Красной Звезды, которым был награжден за Испанию, и орден Трудового Красного Знамени, незадолго до войны полученный за работу в Арктике. Однако как просчитался я, надев в дорогу коричневое кожаное пальто, купленное в комиссионном магазине несколько месяцев назад! Светло-шоколадного цвета, пижонское, заграничное — оно привлекало всеобщее внимание. Чуть не каждый наш выход на перрон при остановках поезда кончался тем, что меня вели в комендатуру для выяснения личности. О диверсантах, забрасываемых в наши тылы, тогда сообщалось в сводках Совинформбюро. Мое пальто ни у кого не вызывало сомнения — гитлеровский агент! Не успевал я шагнуть на перрон, как вокруг меня смыкалось кольцо людей. Через минуту они уже торжествующе волокли меня

в комендатуру с возгласами: «Знаем мы!..», «Подумаешь, документы...» Ребята мои мчались на выручку...

Эшелон наш был переполнен командирами Красной Армии. С некоторыми мы уже перезнакомились, большинство держало путь в Ригу. Сведения о положении на фронте узнавались только из сводок Совинформбюро. На каждой станции официальные сообщения пополнялись слухами, самыми противоречивыми, но, в общем, дающими представление о большой беде, нагрянувшей на страну. Ничего толком не могли сказать и пассажиры встречных поездов. Одно было ясно — там, впереди, бомбят железную дорогу, поезда, станции. Чем дальше, тем сильнее бомбят. И уже не было уверенности, что нашему эшелону удастся пробиться к месту назначения.

У Королькова и Бершадского, как и у меня, было направление Главного политического управления в штаб Северо-Западного фронта в Ригу. Но с каждой остановкой, с каждой сводкой Совинформбюро все меньше оставалось надежды, что мы попадем в Ригу.

25 июня. 1941 г.

ЧЕТВЕРТЫЙ
день войны.

Проехали Великие Луки. Простояв несколько часов где-то на запасных путях, снова вернулись туда же и на этот раз, видимо, прочно застряли. Ясно было — с минуты на минуту нагрянут немецкие бомбардировщики. Оставаться в эшелоне было бессмысленно. Снова слухи о парашютных десантах, о танковых колоннах, прорывающихся на восток. В сводке уже «бои на Рижском направлении...» Нужно что-то решать.

26 июня 1941 г.

ПЯТЫЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ

Вот короткая запись в моем дневнике: *«Положение тяжелое. Поезд вот-вот разбомбят. Группа командиров из нашего поезда, среди них несколько полковников, пошла к военному коменданту города Великие Луки. Я в числе этой «делегации». Выяснить обстановку, узнать, нет ли поблизости крупной воинской части. Решить дальнейшую судьбу людей — около тысячи кадровых командиров сидят в вагонах, в то время как впереди идут жестокие бои. Где бои? Какие бои? Нашли штаб и Политуправление 22-й армии».*

События разворачивались примерно так. Комендант станции имел лишь отдаленное понятие о местонахождении штаба 22-й армии: где-то в районе Великих Лук. Попутными машинami наша поисковая группа все же добралась до расположения второго эшелона армии. Здесь

я, расставшись с моими полковниками, нашел оперативную группу политотдела. Посоветовавшись с товарищами, выпросил у них машину и помчался в Великие Луки. Через несколько часов я вернулся к эшелону. Быстро погрузив свое имущество и миновав притихший город, мы помчались по лесной дороге в штаб 22-й армии. Полной ясности — то есть, что нас ожидает, — не было. Но мы, слава богу, наконец расстались с безнадежно застрявшим на путях поездом, едем на машине, чувствуя, что в какой-то мере стали уже частью армии, ибо в Политуправлении 22-й армии мне обещали всемерную помощь, транспорт, обмундирование и даже личное оружие. Оружия, конечно же, нам более всего не хватало, чтобы окончательно ощутить себя военными людьми, хотя мы твердо знали, что главным нашим оружием в войне будет кинокамера.

Мы расстались на время с Колей Лыткиным. Вчера, уточняя дорогу, остановили машину, в ней ехали трибунальцы. Узнав, что мы кинооператоры, они посоветовали одному из нас присоединиться к их подвижной группе.

— Не пожалеете, — убеждали они. — За два-три дня оператор побывает с нами во многих частях, снимет хорошие кадры. Мы не раз говорили друг другу: как жаль, что нет с нами фотографа или журналиста.

Коля Лыткин увлекся их предложением, и мы, посоветовавшись, решили его отпустить, чтобы соединиться через несколько дней. В самом деле, нам, трем операторам, ездить кучно не имело смысла, не будем же мы в три камеры снимать один и тот же объект. Трибунальцы пообещали обмундировать Колю, обеспечить аттестатом и пр.

27 июня 1941 г.

шестой

день войны.

Запись в дневнике: *«Штаб 22-й арм. Армейский комиссар Б. собирался расстрелять меня как дезертира».*

Этой записи достаточно, чтобы вспомнить все события того дня.

Я был обрадован встрече с заместителем начальника Политуправления Красной Армии: он-то знает обстановку, с ним можно будет разрешить все вопросы дальнейшей работы. Передо мной сидел тучный человек с четырьмя ромбами и орденом Ленина на груди. Он сидел на стуле боком, положив локоть на край стола, я стоял перед ним. Он не предложил сесть, тут уже действовали армейские законы. И я включился в незнакомый мне армейский стиль разговора с высшим военным начальством. Хотя и

сознавал, что не обязан стоять навытяжку, что этот большой начальник мог бы уважительнее говорить с кинематографистом, который в общем-то ему не подчинялся.

Армейский комиссар был раздражен, говорил со мной грубо, я чувствовал, что вот-вот сорвусь и тоже отвечу ему резкостью.

Внимательно прочитав командировочное удостоверение, он вернул мне его. Там было сказано, что я назначаюсь начальником фронтовой киногоруппы Северо-Западного направления и следую к месту нахождения штаба. Глядя в пол, он спросил:

— Ну и что вы от меня хотите?

— Полагаю, товарищ армейский комиссар, что вы можете помочь мне приступить к работе. Я слышал, что штаб Северо-Западного направления переместился из Риги в Псков?

— Не знаю.

— Моя задача — как можно скорее добраться до штаба направления. Прошу в этом помочь.

Он посмотрел на меня тяжелым взглядом и резко сказал:

— Останетесь здесь.

— Но у меня назначение, меня ждут люди...

Армейский комиссар повысил голос:

— Останетесь здесь! Идет война, люди сражаются. Ваша работа пужна здесь, как и в другом любом месте.

— А кто в таком случае, товарищ армейский комиссар, сообщит по месту моего назначения, что мной получен новый приказ?

— Останетесь на этом участке фронта! — закричал он, стукнув кулаком по столу. — А если будете рассуждать и нарушите мой приказ, будете сейчас же расстреляны как дезертир!

Тут я разъярился и тоже повысил голос:

— Кто дал вам право называть меня дезертиром, товарищ армейский комиссар второго ранга. Я не в тыл, а на передовую прошу меня отправить!

Армейский комиссар медленно поднялся из-за стола и шагнул ко мне. «А ведь расстреляет, вот так запросто», — подумал я. Но, взглянув в его глаза, замер, пораженный страдальческим их выражением. Огромный, могучий человек, чуть не шатаюсь, подошел ко мне, положил обе руки мне на плечи и срывающимся голосом сказал:

— Рига, Псков? Да я сейчас полжизни бы отдал, чтобы знать, где находится штаб фронта! Неужели не видишь, что творится?.. Вот я и говорю — оставайся здесь, немедленно начинай работу. Люди сражаются, умирают, воюют... Понял ты?

Вся трагическая тяжесть положения на фронте словно навалилась на его плечи. Глаза потеплели, когда он повторил:

— Оставайся здесь, начинай воевать здесь...

Ни разу на протяжении всей войны, а был я на разных фронтах, не встречал больше армейского комиссара. В сорок третьем году узнал случайно о печальной его судьбе. Был он за что-то разжалован, должен был в бою кровью смыть какое-то преступление. Убежден, что никакого преступления этот армейский комиссар не совершал. Время было горячее, и в те дни не всегда бывали продуманными обвинения в военных проступках.

И все-таки довелось мне встретить армейского комиссара. Было это спустя год после окончания войны. Возвращаясь с Нюрнбергского процесса, зашел по делу в кабинет военного коменданта большого города одной из стран Восточной Европы. Навстречу мне поднялся седой полковник, очень худой, высокий. Нет, узнать почти невозможно! Вряд ли и он вспомнил встречу в Великих Луках 27 июня 1941 года. И мне не захотелось заводить об этой встрече разговор, я ограничился деловой беседой.

Да, видать, по большому счету рассчитался армейский комиссар с военными годами. В несколько рядов орденская планка на его груди.

Среди множества ленточек разглядел я планку медали «За отвагу». Медаль солдатского подвига...

28 июня 1941 г.
Седьмой
день войны.

Запись в дневнике очень короткая:
«Получили направление, полевые карты, машину. Прибыли в Невель. Обмундировались. Переночевали в машине».

По правде сказать, мы были благодарны армейскому комиссару, который решительно определил наше место на войне. Так и нужно было. От бесцельных поисков штаба фронта вся наша энергия, все наши помыслы переключились на работу. Снимать! Отношение к киногруппе политработников 22-й армии было очень внимательным. Так было и впоследствии, на протяжении всей войны. Полное понимание важности работы фронтового кино-

оператора. И я, и мои товарищи сейчас, после многих лет, с благодарностью вспоминаем начальников политуправлений фронтов и армий, членов Военных советов, их заботу о фронтовых операторах. Они разъясняли нам обстановку, снабжали киногруппы всем необходимым, а когда посылали в гущу боя, первым их папутствием было: береги себя, не лезь на рожон!..

А на передовой в самые трудные минуты в бою ощущали мы дружескую поддержку политрука роты, батальона, замполита полка.

У нас появилось главное — машина. Новенькая полуторка. Из водительской кабины вышел человек в потертом пиджачке, неумело приложил черную ладонь к мятому козырьку кепки и сказал: «Шофер красноармеец Левашов Степан Васильевич направлен в распоряжение киногруппы».

В каких только переделках не побывали мы в военные годы с милым храбрым труженником Степаном Васильевичем. Выпала ему судьба с киношниками провоевать всю войну от «звонка до звонка». Верным добрым другом был он нам и в эти первые дни, и в лесах под Старой Руссой, и в боях под Москвой. А закончил Степан Васильевич войну, залив радиатор своей машины водой из Эльбы.

Теперь Саша Ешурин, наш администратор, командовал уже настоящей мотомеханизированной воинской частью. Он стал своим человеком во всех тыловых органах 22-й армии. И хотя все было в движении и в перелесках и палатках, он находил нужных ему людей безошибочно. Необходимые предписания, аттестаты — все это он добывал в самый короткий срок.

Ориентируясь по полевой карте, Ешурин безошибочно привел нашу полуторку в густой сосновый лес к сосредоточенным здесь складским машинам. Мы получили все, что положено, от портянок до звездочек на пилотке. Получили мы и оружие — винтовки, патроны, ручные гранаты. За всю войну ни одному из нас так и не пришлось хоть раз метнуть ручную гранату, но, получив оружие, мы испытали чувство большей уверенности — мало ли что могло с нами случиться.

Мы снялись во всех видах. Ужасно боевой вид был у нас. В стальных касках, с гранатами за поясом, с камерой в руках! Как же уныло выглядели мы уже через несколько дней! От героического облика не осталось и следа после того, как мы вдосталь напозлались в черной

болотной жиже под бомбежками, повалились в дорожной пыли, вымазались глиной в узких щелях, которые научились выкапывать на любой, хоть самой короткой стоянке.

Первая военная трапеза у полевой кухни. Незадолго до войны я месяц провел в санатории усиленного режима с предполагаемой язвой желудка. Ничего жирного, сухарики и отвратительные, похожие на комочки серой ваты, паровые котлеты. Боже унаси — глоток пива или рюмка водки! А здесь повар щедро плеснул в котелок доброго солдатского борща, покрытого слоем рубинового жира, горячего, как жидкий чугун. А вместо сухариков — ломоть черного хлеба. С удовольствием ел, вспоминая муки, пережитые в санатории, и в который раз подумал, как единым росчерком война списывает в прошлое привычные нормы мирного времени, как меняет она людей.

Не случайно я несколько отвлекся описанием наших организационных хлопот. Работать без машины, без котелка, в гражданской одежде и без полевой почты нельзя, нельзя обойтись оператору и без знания обстановки, без хотя бы отдаленного представления о переднем крае. Этого представления не было ни у кого из нас. Еще в Испании я убедился, что самые точные сведения о переднем крае получишь, когда ползком доберешься до него и удостоверись, что это и есть действительно передний край, а дальше — за полосой ничейной земли — уже враг.

То, что нам сообщали, имело в лучшем случае суточную давность. А суточная давность означала неточность в десятки километров вражеских танковых прорывов, бросков моторизованной пехоты противника. Однако в течение ближайших дней мы убедились, что именно на этом участке фронта немцы столкнулись с упорным, организованным сопротивлением наших войск и с трудом прогрызали нашу оборону, неся огромные потери. Лишь впоследствии мы узнали и горькое страшное слово «окружение».

Неожиданная встреча в штабе стрелкового корпуса — полковник

29 июня 1941 г.

восьмой день войны.

Хабазов Николай Васильевич, начальник штаба корпуса. Три года назад я улетал в далекий Китай. Народ Китая вступил тогда в вооруженную борьбу с японскими захватчиками. В Генеральном штабе полковник Хабазов посвящал меня в обстановку на фронтах Китая. А через год, по моем возвращении, в 1939 го-

ду, в Москве мы снова встретились с Хабазовым. Уже началась вторая мировая война. С какой озабоченностью говорил он о сгущающихся на западе тучах, о неизбежности войны Советского Союза с фашистской Германией. Сейчас меня очень обрадовала встреча с Николаем Васильевичем. И говорили мы уже не о войне вдалеке от наших границ, а о той, что бушевала в нескольких километрах от штабной палатки стрелкового корпуса, расположенной в сосновом лесу.

Война была вокруг нас. Была она во всем, что происходило на дорогах, близких к линии фронта. По дорогам шли беженцы. Одни шагали, видимо, уже из последних сил. Катили тележки, несли на плечах пожитки, другие почти бежали, пугливо оглядываясь, словно чувствуя за спиной настигающего их врага. Эти уже видели огонь и смерть. Спрашивать у них что-либо было бесполезно, ничего путного они сказать не могли, то и дело бросали испуганный взгляд в небо и, если вдали появлялся самолет, хотя бы направляющийся и не в нашу сторону, кидались в придорожный лес.

Часто на дороге попадались сгоревшие или догорающие машины. Но самым пугающим — это испытали все бывавшие на войне — был вид пустой дороги. Казалось, вот-вот за перелеском столкнешься с врагом. Попадая на такую дорогу, водитель невольно жал на тормоза. И все, кто был в машине, вслушивались в тишину, враждебную тишину, пытаясь уловить далекие шумы боя. Левашов на всякий случай разворачивал машину в обратном направлении. Но вот показалась встречная! Останавливаешь, спрашиваешь... Можно ехать дальше...

Удручающее зрелище — идущие в противоположную от фронта сторону бойцы. Осунувшиеся, подавленные, растерянные. Командиры останавливают их на перекрестках дорог. Выясняют, из какой части, откуда и почему идут от фронта. Ответы одинаковые: «Немец окружил, зашел во фланги... приказ был отступать». На вопрос — кто же дал приказ отступать? — молчание или путаное: «Говорили, есть приказ». — «Кто говорил?» Допытываться, убеждать бесполезно. Их выстраивают, переписывают, подчиняют старшему по званию — сержанту или лейтенанту — и отправляют на передовую. Удивительно, как сразу преображаются люди, построенные в походную колонну. Пришибленные неуверенностью и страхом, усталые, они превращаются в солдат. Разговор короткий: «Там

ваши товарищи сражаются, бьют немца. Ступайте, в честном бою смоете кровью свой позор, свою вину перед Родиной. Шагом марш!»

Сейчас мы направляемся в 112-ю дивизию. Это Хабазов нацелил нас — стойкая, боеспособная, надежно ведущая оборонительные бои, недавно прибывшая с Урала дивизия. Командует ею полковник Копяк — старый кадровый командир. Его командный пункт где-то в районе Освеи, Себежа, Бигосово, постоянно в движении.

— Ищите его в этом примерно районе, — Хабазов очертил на карте довольно обширную площадь.

И что самое удивительное — забегаю вперед, — мы нашли КП дивизии. В эти-то дни найти КП дивизии! Нашли.

30 июня 1941 г.
девятый
день войны.

Запись в дневнике 30 июня тоже очень короткая: *«Утром едем через Невель и Себеж. Невель полностью уничтожен бомбардировкой. Встреча с Колей Лыткиным. Поехали не по той дороге. Дважды были атакованы с воздуха. Решаем двинуться на Освею».*

Въехав в Невель, мы увидели город, полностью снесенный с лица земли. Его развалины уже не дымились. Груды камня, щебня, мертвые печные трубы. Сколько печальных развалин прошло перед нашими глазами в годы войны. Сначала — советские города, потом Польша, трагические руины Варшавы, а затем нам довелось увидеть в развалинах и Берлин, Нюрнберг. В хрониках видели мы и уничтоженные бомбардировками Ковентри и Роттердам. Но наш Невель, первый увиденный нами разрушенный советский город, потряс нас печальной беспомощностью своих развалин. Жители исчезли. Ветер гнал над черным частоколом печных труб клочья серых облаков. Но самым тягостным была сверлящая душу тишина.

Вдалеке мы разглядели одинокую фигуру солдата. Он шагал по пустынной ленте асфальта, и полы его шинели развевались на ветру. Подъехали ближе. В пилотке, надрывнутой на уши, на тонких длинных ногах, болтающихся в голенищах кирзовых сапог, навстречу нам шагал... Коля Лыткин. Он остановился и стал пристально разглядывать приближающуюся к нему машину. Мы крепко обнялись. Коля, облачившись в шинель, нахлобучив до бровей пилотку, выглядел еще более штатским. Он был грустен, голубоглазый brave солдат. Без улыбки смотрел он на нас, видно, уже и на наши лица серой тенью

легла война. И в глазах наших он, очевидно, прочел вопрос, который мучил тогда всех:

— Что же происходит?..

Мы снова расстались. Опять условились встретиться. Хотя, говоря откровенно, мы очень смутно представляли, как, где и когда удастся это нам, кинематографистам, главным ураганом войны.

1 июля 1941 г. Так куда же едем? В Себеж? В Идрицу? На наше счастье, на десятый день войны.

Вечерний день зарядил дождь. Можно было передохнуть от воздушных разбойников, охотившихся буквально за каждой машиной. Выпрыгнет на бреющем полете из-за верхушек деревьев и — огонь из всех бортовых стволов. Из пушек, пулеметов. Разумеется, все, кто в машине, выскакивают, кидаются в кювет, водитель или бросает машину на дороге, или рывком загоняет ее в лес. Если оставленная на дороге машина не сразу загорелась, фашистский самолет идет на второй, третий заход, чтобы поджечь ее. А заодно разбрасывает мелкие осколочные бомбы, по обеим сторонам дороги. Расчет точный — кто останется в живых после этойкой передраги, морально уже подавлен, прифронтовые дороги парализованы. И не только дороги — враг бомбил рощи, леса, бомбил всюду, где предполагал сосредоточение наших воинских частей, не говоря уже о массированных воздушных ударах по городам, аэродромам, переправам.

В первые дни войны мы познакомились с пикирующими бомбардировщиками Ю-87. Одномоторный моноплан с хитро загнутыми крыльями, предназначенный для прицельных бомбардировок, для ударов по мостам, железнодорожным узлам, для обработки переднего края противника. Ю-87 бесчинствовали на дорогах Бельгии и Франции, наводя ужас на беженцев, бомбили Варшаву. Их атака действительно производила угнетающее впечатление. Шли они на высоте около полутора тысяч метров, цепочкой до тридцати машин. Вот передний, качнув крылом, валится в отвесное падение, с усиливающимся с каждой секундой ревом мотора. Вой нарастает, сверлит мозг, вгрызается в каждый нерв. Вот из-под брюха отделяется бомба, самолет выходит из пики, а бомба, оснащенная сиренами, несется к земле, завершая устрашающее завывание громовым разрывом. Тем временем сваливается в пики следующий, с таким же ревом. Выходит из пикирования так низко, что можно разглядеть лицо

пилота. Отбомбившись, каждый пристраивается в хвост цепочки, чтобы снова пикировать, когда дойдет его очередь в этой дьявольской карусели. Главная задача атаки — посеять панику, подавить психически. Ко всему привык советский солдат, приспособился и к атакам Ю-87. Хорошая, надежно вырытая щель и — пусть гудят в небе сирены, пусть валяются бомбы рядом, лишь бы не прямое попадание.

Мы ехали под проливным дождем в Освею искать штаб 112-й дивизии. Остановились в Себеже. Себеж, Бигосово когда-то были пунктами, пограничными с буржуазной Латвией.

На военном телефонном узле в Себеже нам сказали, что утром немцы разбомбили Идрицу. По непроверенным сведениям — впрочем, проверенных сведений в эти дни было мало, — в районе Идрицы сражается танковая бригада Лелюшенко. Снять бы наши танки в бою! Сколько раз снимали мы грозные армады наших танков, идущих по Красной площади.

После конца войны я возвратился в Москву из Берлина на машине. На околицах дорог на пути от Бреста к Минску я видел множество наших Т-26, стоявших там с первых дней фашистского нашествия.

Меня, помню, поразила яркость зеленой краски. Слово свежееккрашенные простояли они там четыре года, вращая в землю, парализованные врагом. Краска выдержала испытание. А броня на танках, бывших грозным оружием в 1937 году в Испании, оказалась уязвимой в сорок первом. Тогда лишь только начинали сходить с конвейеров могучие Т-34, громившие фашистов под Москвой, в Сталинграде, на полях Белоруссии, Украины, Восточной Пруссии, в Берлине.

2 июля 1941 г.
ОДИНАДЦАТЫЙ
ДЕНЬ ВОЙНЫ.

Запись в дневнике: *«Утром проливной дождь. Кажется, у меня грипп, всего ломает. В Себеже узнали — Идрицу только что разбомбили.*

Едем в Освею. В дороге майор-артиллерист просил передать, что он выдвинул пушки на рубеж западнее дороги. Кому передать? Командованию любой воинской части. В Освее в райкоме партии товарищ с медалью. Пустая гостиница. Сняли сегодня много репортажа на дорогах».

В одной деревне мы сняли эвакуацию колхоза. Сначала тронулись в путь два больших стада — коровы, овцы.

За ними по дороге — тракторы, ведущие на прицепе комбайны. На деревенской улице стояли два десятка телег с женщинами, детьми, домашним скарбом. У подвод несколько мужчин с винтовками на плечах, в наганами за ремнем, стягивавшим штатский пиджак.

Подводы медленно тронулись, заплакали в голос женщины. Не все мужчины пошли вслед за повозками — те, что были вооружены — человек шесть, — остались на опустевшей улице деревни.

Последняя повозка скрылась за поворотом. Я спросил одного из оставшихся, обросшего рыжей с проседью щетиной, с орденом «Знак Почета» на мятом лацкане пиджака:

— А вы куда?

Он, затянувшись махорочной самокруткой, помолчав, ответил:

— Леса у нас заповедные, дремучие, немец туда не сунется. — И обратившись к односельчанам: — Пошли, что ли, мужики...

Они шли по деревенской улице с винтовками и заплетенными мешками, то один, то другой обернется, глянет на опустевшие хаты. Шагали гуськом, вразвалку, а потом пошли в ногу, убыстряя шаг.

Я проводил их до ближайшей рощицы. Снял вслед кадр — они один за другим скрывались в густой листве ольшаника, помню последний кадр — качающаяся листва. Много позже я осознал, что эпизод этот, снятый в начале войны, был, очевидно, самым первым штрихом в большой киноповести о партизанском движении в годы Великой Отечественной войны. Повесть эту создавали мои товарищи-операторы далеко за линиями фронтов.

Второго июля сорок первого года в деревне, названия которой я не запомнил, я снял первых партизан, уходящих в лес.

На дороге нас остановил, подняв руку, майор. Спросил, куда едем. Охрипшим голосом попросил передать, сейчас уже не помню кому, что он выдвинул две роты бойцов с противотанковыми пушками западнее дороги. Мы отметили указанное им место на нашей карте и простились с измученным до предела, но спокойным, уверенным в себе и в своих бойцах майором.

Сколько я встречал в те трудные дни командиров, таких, как он. Командиров, убежденных, что немцев можно бить, нужно бить и с этой верой выполнявших

свой воинский долг. Они дрались в обороне, продолжали с тем же упорством сражаться в окружении, сковывая большие силы врага, выходили с боем из окружения.

Я проводил взглядом майора, уверенно шагавшего к лесу, где его бойцы готовы были встретить врага, жечь его танки. Они готовились показать покорителям Европы, что Россия не упадет на колени перед ордами фашистских гуннов.

В Освее в райкоме партии нас встретил работник райисполкома с медалью «За трудовую доблесть» на лацкане пиджака. Город эвакуирован, население ушло. Воинских штабов в черте города нет. Переночевать можно в гостинице. Персонал, правда, эвакуировался.

— Будете сами там хозяевами, — сказал он. — Я сейчас уезжаю эвакуировать МТС.

В гостинице было пусто, занимай любую комнату, ложись на любую кровать, заправленную чистыми простынями. На тумбочках кружевные накрахмаленные салфеточки. Было что-то пугающее в этом стандартном комфорте опустевшей гостиницы, в блестящих свежеевыкрашенных полах, гардинах из бордового плюша с кисточками. Вспомнили Невель. Остаться в безлюдном городе? Решили ночевать. На стене — репродуктор. Прослушали сводку Совинформбюро. В сообщении назывались города, направления. Упомянутые в сводке города, мы догадывались, были оставлены нами. Рига, Шауляй, Даугавпилс, Ровно... Что-то знакомое: «Бои в районе Борковичи». Взглянули на карту, да это же в нашем районе! Совсем близко. Вскипятили на электроплитке чай, открыли две банки консервов. За окном темнота, на горизонте алое зарево.

Какой будет для нас эта ночь?

Перед сном подвели итоги нашей операторской работы. Сняты эпизоды эвакуации — на дорогах комбайны, тракторы, люди, уходящие от врага, угоняющие стада скота. Разрушенные города и деревни, войска на карте, артиллерия, полевые штабы, репортажные зарисовки. Материал живой, в нем — тяжелое дыхание войны, суровая ее правда. Но нет боевых эпизодов. Чего бы это ни стоило, мы должны снять оборонительные бои!

А пока вечером 2 июля мы — Саша Ешурин, Борис Шер и я — заснули тяжелым сном, свалившись, не раздеваясь, на чистые постели. После этой ночи мы почевали иногда на голой земле или в блиндажах, завешанных в

сорокаградусный мороз плащ-палаткой, а бывало, и на снегу. Выкопаешь неглубокую яму и уложишь ее сосновыми ветвями. Гостиниц больше не было.

3 июля 1941 г.
двенадцатый
день войны.

Утром мы включили радио и сразу услышали:

— ...работают все радиостанции Советского Союза.

Говорил Сталин. Он никогда до этого не обращался по радио к народу. Молча слушали мы слова, которые он произносил медленно, с расстановкой. Слышали во время паузы бульканье воды, наливаемой в стакан. Звякнуло стекло — это дрогнула рука Сталина.

— Братья и сестры!.. — Он никогда так не говорил. — К вам обращаюсь я, друзья мои!..

Десять дней уже бушевала на советской земле война. Десять дней Сталин молчал. И вот в репродукторе голос главы государства, читающего программу боевых действий на фронтах и в тылу, программу, которую партия предлагала народу. Он говорил от первого лица: «К вам обращаюсь я». Потом он сказал: «...партии Ленина—Сталина».

Речь Сталина еще ошутимее раскрывала масштабы бедствия. 3 июля 1941 года миллионы братьев и сестер сражались, стояли у станков, увозили на восток детей, умирали у пулемета, хоронились от врага в дремучих лесах. В сводках Совинформбюро назывались все новые и новые города, направления.

Мы шли туда, где за полем спелой пшеницы виднелась деревня Борковичи. Та самая, о которой упоминалось в сводке Совинформбюро. Удивительно оно, чувство постепенного сближения с надвигавшимся на нас ужасом войны. Как же далеки люди там, в тылу, от ощущения опасности, если здесь, на самом, можно сказать, переднем крае только час за часом, день за днем понемногу начинаешь постигать огромность наступающего бедствия.

Для поколений русского солдата истари враг, противник назывался одним словом: «он». «Он наступает», — говорилось про вражеские армии. Ядро, посланное из вражеской пушки, — «он стреляет».

Я ощутил «его», когда в километре от Борковичей над головой рвануло первое облачко шрапнели. «Он» целился в меня. «Его» шрапнель со звоном вонзалась в

землю рядом со мной. Да, это уже лицом к лицу с «ним». Это — прищурившийся у прицела враг, стреляющий в меня. И заставить прекратить стрельбу можно только убив «его». Тоже шрапнелью. Или пулей, или прикладом. Только убить. Тогда «он» перестанет стрелять в нас.

Мы лежали у дороги, поджидая, когда утихнет шрапнельный огонь. Около меня раздался легкий стон, похожий на возглас удивления. Солдат-киргиз, лежавший с нами, держал на весу залитую кровью кисть руки, раздробленную осколком снаряда. Первая увиденная мной кровь войны. Сколько довелось ее видеть впоследствии! Поля, усеянные трупами, рвы, заполненные убитыми, смерть, руины, пенел, трупы, трупы. Это была первая кровь. Даже перевязывая руку солдату-киргизу, я еще не ощутил в полной мере всего, что надвигалось на нас. Марлевой повязкой пытался остановить кровь, текущую из запястья, это происходило в минуты, когда на тысячекилометровой линии фронта лились потоки крови.

Это был двенадцатый день войны. С предсмертным хрипом падали солдаты, умирали дети в разбитых бомбах эшелонах, уходивших на восток. В этот солнечный день над полем пшеницы и над желтой, в цвет колосьям, лентой песчаной дороги, по которой мы шли, появлялись черные клубочки шрапнельных разрывов, а в перерывах между разрывами — тишина, жужжание перелетающей над полевыми цветами пчелы, тихая благодать знойного безоблачного дня — лечь бы навзничь на теплом золотом песке придорожной насыпи, глядеть и глядеть в синее небо...

Удар за ударом — шрапнель. «Он» бьет по нас, «он» шагает по нашей земле.

Где-то впереди были слышны пулеметные очереди, раскатывались эхом орудийные выстрелы. Мы пошли в сторону выстрелов, означавших, что впереди идет бой, там — наши части. Взглянув на карту, я увидел отмеченный нами кружком населенный пункт — Борковичи. Если еще вчера Совинформбюро сообщало, что в районе Борковичей идут бои и за два дня немцы не продвинулись, значит, крепко наши держат оборону.

Взвалив на плечи камеры, пленку, мы зашагали вперед, изредка падая на землю, когда «его» снаряды ложились близко. Через несколько месяцев я сам поражался беспечности, неведению, с которой мы трое, оторванные от каких бы то ни было источников связи и информации,

шагали на запад. Шли меж спелых хлебов в сторону Берлина. В Берлин мы, пришли только через четыре года. А в этот день мы шагали на запад, не представляя себе, что в стороне от нас по десяткам дорог идут на восток колонны немецких танков. Уже три дня, как превращены в груды развалин захваченные города. И где-то смыкаются чудовищные черные стрелы на картах Советского Союза, над которыми склонились Браухич, Йодль, Кейтель, Гитлер.

Мы шли вперед. Шли снимать бой, который впереди вела какая-то часть. В теплый полдень трое кинематографистов шли навстречу гитлеровским войскам. Время от времени ложились, прижимались к земле и снова шли, утирая катящийся по лицу пот.

Вспоминая этот путь в сторону Борковичей, понимаю сейчас, как далек я был тогда от осознания всей меры опасности и несчастья, постигшего нашу страну. Как далек был от представления, что бой будет скоро идти не в Борковичах, а невдалеке от Химок. И у парка культуры и отдыха, и в Дорогомилове будут построены баррикады. И немецкие войска дойдут до Волги и Кавказа. И что наступит день, когда на танке я въеду в горящий Берлин. А потом буду снимать приговоренных к виселице Геринга, Кейтеля, Йодля, Розенберга...

Это я вспоминаю сейчас. А тогда, лежа под шрапнелью, только одно думалось: «Вот она и началась, война с немцами».

СЧИТАННЫЕ, ДОРОГИЕ МЕТРЫ ПЛЕНКИ

В Борковичах мы почти ничего не сняли. Наши залегли около первых домов у въезда в село. Вместе с ними и мы пролежали несколько часов, выдержали сильную воздушную бомбежку. Бомбы ложились по ту сторону деревни, но поднять голову было невозможно, казалось — шевельнешься, и все самолеты обрушатся на тебя. Еле выбрались.

КП 112-й дивизии, куда нас нацелил полковник Хабазов, мы, наконец, нашли. Поразительно: в непосредственной близости к врагу значительно спокойнее на душе,

чем там, на дорогах, в ближних и дальних тылах. Впоследствии не раз я в этом убеждался. Чуть подалее от передовой уже ползут неопределенные слухи о противнике, а на передовой — все понятно. Известно, где противник, знаешь, где идет бой. Пусть совсем рядом ложатся снаряды, но ясность обстановки внушает чувство уверенности.

Полковник Копяк встретил нас сидя на пенке, держа на коленях суковатую, отполированную толстую палку с рукояткой из причудливо изогнутого корня. С пытливой крестьянской хитрецей оглядел он нас с ног до головы, опершись подбородком на палку, сказал:

— Ну, сидайте, товарищи кинематографисты, сейчас поговорим с вами.

И, поковыряв палкой землю, обратился к стоящему перед ним навывтяжку капитану. Разговор с капитаном начался еще до нашего прихода.

— Так, говоришь, немцы стреляют? — Копяк помолчал, словно раздумывая над этой сложной проблемой. — Ай-яй-яй, стреляют немцы, значит? А какой же он противник, если он не стреляет? А вы там каши нажрались, чаю напились, очи посоловели и — караул, хлопцы, тикай, нас окружили! Так, что ли?

Капитан страдающим взглядом смотрел на полковника, не решаясь возражать. Должно быть, успел хлебнуть по горло войны боевой капитан, и полковник Копяк, видно, знал капитана, верил ему. Издевательская ворчливая нотка в голосе исчезла.

— А ну, сидай ко мне, давай карту.

Капитан, сбросив мгновенно маску провинившегося школьника, живо вытащил из планшета мятую карту и подсел к Копяку. Я услышал за спиной шелест кинокамеры. Это Шер снимал их обоих, склоненных над картой. Доносились реплики: «Здесь он с танками не пройдет ни в какую...», «Сколько в роте людей осталось?», «Здесь, только здесь противотанковую пушку поставить...» В заключение, простившись с капитаном, быстро зашагавшим по тропинке, Копяк все же пустил ему вслед: «Каши нажрались, чаю напились, очи осоловели...» И обратившись к нам:

— И что же вы собираетесь снимать, товарищи кинооператоры?..

Над нашими головами с шумом пронесся «мессершмитт». Копяк поднял голову, проводил его взглядом, на

медных скулах заходили злые желваки. Через несколько минут снова слышалось гудение мотора, «мессер» возвращался. И тут произошло чудо. Доля мгновения! Наперерез «мессершмитту» молнией метнулся наш истребитель И-15 «Чайка». На крутом вираже он вонзил в немца струю пулеметных очередей, «мессер» взорвался и, неуклюже штопоря, врезался в землю метрах в двухстах от нас. А одинокая «Чайка», родная «Чайка» торжественно взвилась в небо и исчезла за лесом.

Борис в этот момент перезаряжал свое «Аймо». А моя камера была в машине.

В жизни каждого оператора бывают запоминающиеся на всю жизнь удачи, но есть и промахи, при каждом воспоминании о которых перехватывает дыхание от горькой досады.

Если бы в момент воздушного боя камера была у нас в руках! С заведенной пружиной! Если бы успели мы вскинуть ее и снять вспыхнувший фашистский истребитель! И если бы провели панораму, запечатлели взрыв на земле, столб пламени и черного дыма, взметнувшийся к небесам! Если бы, если бы...

Мы ринулись к упавшему самолету, сняли его. Пламя бушевало на черных крестах и свастике, в самолете начали рваться боеприпасы. Мертвый летчик лежал с раскинутыми руками, в расстегнутом мундире с двумя железными крестами и еще какими-то знаками отличия фашистского аса.

Завтра с рассветом отправимся в 385-й полк. Копяк связался с командиром полка, полковником Садовым, за нами пришлют связного еще до восхода солнца.

Ночью был долгий разговор с полковником Копяком. Я не записал в дневнике этой беседы, но помню, он сбросил напускную ворчливость: «Каши нажрались, очи осоловели...» Начал накрапывать дождь, мы влезли в «эмку», уселись на мягких сиденьях в кузове машины. Я услышал в тот вечер горькую исповедь мужественного, опытного командира. Не разочарованного, не растерянного, но глубоко потрясенного происходящим, чего только не передумавшего за эти дни и ночи. Такие, как он, выпестовали Красную Армию, годами готовили ее к войне. Копяк, полностью доверившись мне, выкладывал все, что накипело на сердце, на душе. «Где связь? Где авиация? Немцев мы разобьем, попомним, Кармен, слова мои, еще как разобьем. Но сколько крови, сколько жертв!..»

4 июля 1941 г.
тринадцатый
день войны.

Связист из 385-го полка, молодой политрук с двумя «кубарями» в петлицах, пришел за нами, когда было еще темно. Нагрузившись пленкой, взяв камеры, мы пошли за ним. Идти пришлось недалеко. Копяк не из тех командиров, которые со своим штабом находятся на большой дистанции от переднего края. Километра два прошли, не более. И пожали руку командиру полка полковнику Садову. Он познакомил нас с обстановкой и по моей просьбе рассказал о тактике врага.

Там, где у немцев нет танковой поддержки и значительного перевеса в артиллерии, они, как правило, не выдерживают контратак, бегут, уклоняясь от штыкового удара нашей пехоты.

— Мы на ходу изучаем врага,— рассказывал Садов.— Вот пример. Командир батальона старший лейтенант Соколов, наблюдая за тактикой врага, изучил систему его сигналов. Белая ракета, пущенная с переднего края, указывает направление атаки. Красная ракета — сигнал к наступлению и команда открыть огонь. Зеленая ракета — приказ остановить военные действия. Соколов под самым носом противника запустил зеленую ракету. Сразу огонь прекратился, а Соколов, выждав некоторое время, повел батальон в атаку. Для немцев это было полной неожиданностью. Они уже построились на отдых, вытащили еду, бутылки с вином. Наши ворвались прямо в расположение полевого штаба их полка, перебили штабных офицеров, захватили штабные машины и, продвинувшись дальше, закрепились в обороне. Это было вчера под вечер, а немцы до сих пор не контратакуют, однако этого можно ожидать с минуты на минуту...

Я чуть не задохнулся.

— Что же вы сразу нам об этом не сказали? Где этот штаб? Можем мы его снять?

— Я об этом не подумал,— сказал Садов,— действительно, неплохо бы его снять. Но очень уж рискованно, место-то — под самым носом у противника. Час назад туда направилась группа разведчиков дивизии, подождем их возвращения...— Тут он осекся, видя мое волнение и решимость. И сдался. Через несколько минут мы с Шером уже шли по лесной тропинке, нас провожали сержант с двумя бойцами. Впереди бой. Часто над нашими головами, веером, срезая ветви деревьев, звенела на излете пулеметная очередь, в отдалении изредка рвались снаря-

ды. Но и это можно было назвать затишьем, очевидно — перед сильным контрударом противника. Мы торопили наших провожатых, и они взяли у нас часть пленки, чтобы облегчить нам быструю ходьбу, от которой у меня уже спирало дыхание.

— Здесь, — сказал сержант, приближаясь к опушке леса, за которой мы увидели тупорылые немецкие машины. С ходу мы стали снимать: дорога была каждая минута. Выразительное зрелище жестокого разгрома представало перед нами. Мы снимали крупным планом немецкие штабные портфели в руках наших разведчиков, сняли полковую кассу — сейф, набитый пачками рейхсмарок. Мы залезли в штабную машину, где аккуратно висели на плечиках офицерские мундиры с орденами, один из них — полковничий с железным крестом. Мы сняли эти мундиры, сняли лежавшие невдалеке два трупа, следы беззаботной офицерской транеzy, папки с документами. Разведчики нас торопили, хотя, видно, понимали важность съемки. Шутка сказать, в июле 1941 года мы снимаем захваченный, разгромленный нашими войсками штаб полка гитлеровского вермахта! Еще кадр, еще... В небе появился корректировщик — «костыль», он повис над лесом.

— Все, хватит, товарищи, кончайте, — решительно приказал майор, — надо вам уходить немедленно!

Оглядевшись вокруг, сняв последнюю панораму разгрома, мы тронулись в обратный путь. Вместе с нами — разведчики, навьюченные штабными документами. Мы были счастливы: какая удача! Штаб немецкого полка, черт побери! Шесть бобышек снятой пленки — сто во семьдесят метров!

А позади уже загрохотало. Разрывы мпн и не редкие очереди, а сплошной, нарастающий ружейный и пулеметный огонь. Пришли мы на полчаса позже, могли разминуться с разведчиками, и не было бы у нас этого бесценного материала. Немцы теперь обрушили артиллерийский огонь на лес, где мы уже не шли, а бежали, напрягая последние силы, изредка припадая к земле, когда спаряды рвались близко от нас. Выйдя из зоны огня, отдышались, пошли медленнее.

Расставаясь с нами, майор-разведчик сказал, что мы сняли штаб 96-го полка 32-й немецкой дивизии.

Хмурый, озабоченным взглядом встретил нас полковник Садов, но, видя, что мы целы, невредимы, да еще

когда узнал о том, что нам удалось снять, он сменил гнев на милость.

— Ругал себя, что отпустил вас в это некло, — признался он. — Поглядите, что начинается. — Сдвинув на затылок фуражку, приложил к глазам полевой бинокль и тут же забыл о нас. Ему было уже не до кинооператоров. Предстоял бой.

Через час полк начал отходить. Удержать захваченный внезапной атакой рубеж было невозможно. Немцы пошли в развернутое наступление, сосед справа, не выдержав натиска, стал откатываться, возникла реальная угроза окружения. Вечером мы были уже на новом КП полка, на холме, заросшем сосной. Бой затих, поредевшие батальоны заняли оборону на новом рубеже, отойдя на четыре—шесть километров. Надолго ли?

5 июля 1941 г.
четырнадцатый
день войны.

Запись в дневнике: *«Дивизия меняет КП. Войска в полном порядке отходят. Снова мы в Бигосово. Встреча с пограничниками.*

Дивизия откатывается, но это не бегство, идут упорные бои. Были на передовых рубежах. Там — спокойствие, уверенность, порядок».

День провели на дорогах вдоль линии фронта. Мы еще на территории Латвии — домики с красными остроконечными крышами, крестьяне в большинстве русские. Через бывшую линию границы сплошной поток беженцев. Идут пешком, на конных повозках. Бричка на дутых шинах, в ней десяток ребятишек, взрослые идут рядом. У порога покинутого дома наседка накрыла крыльями выводок цыплят. Меня окружили крестьяне пограничной деревни Сушки. «Что делать, товарищ командир?» Я им дал отпечатанную в полевой типографии газету с выступлением Сталина. В Бигосово мы уже никого не застали ни в горсовете, ни в райкоме партии. На дороге встретили штабную машину с командирами. Сегодня, по их словам, 400 самолетов бомбили участок Двины у Дрисы, немцы форсируют Двину, по-видимому, здесь нужно ожидать сильного удара.

Снимаем много. Мы уже вошли в ритм войны, уже способны самостоятельно ориентироваться, принимать решения.

У околицы какой-то деревни встретили генерал-лейтенанта Ершакова, командующего 22-й армией, и члена Военного совета, корпусного комиссара Леонова. Несмотря

на сложность обстановки, озабоченность, они уделили нам несколько минут для беседы.

— Снимайте больше, это очень важно, пужно, — сказал нам на прощанье, садясь в машину, Леопов. — Совет один могу дать — будьте осторожны, внимательны, положение сложное, легко в этой обстановке попасть в руки к врагу. Связывайтесь, где возможно, с командованием частей и политорганами.

6 июля 1941 г.
пятнадцатый
день войны.

У деревни Волинцы сняли саперов, наводящих мост, услышали артиллерийскую стрельбу, по выстрелам нашли батарею тяжелых 152-миллиметровых орудий, сняли батарею, стреляющие пушки. А когда противник засек батарею и открыл по ней методический огонь, мы, закончив съемку, благополучно выбрались из зоны обстрела. На дороге выбрали обожженного летчика, бережно уложили его в кузове машины, подстелив шинели. Истребитель. Он вел бой с тремя «мессершмиттами», спрыгнул с парашютом из горящего самолета.

Долго плутая по дорогам, выпрашивая, нашли, наконец, полевой госпиталь, передали летчика врачам.

Кончался пятнадцатый день войны. Свинцовое небо на горизонте окрашено багрово-малиновым заревом. Оттуда, из этого зарева, подпрыгивая на ухабах, приковыляла полуторка с ранеными. Раненых выгружали с машины. Нам навстречу, положив руки на плечи товарищей, обнаженный по пояс, медленно шел, закинув голову, боец — парень богатырского роста. Его грудь была разворочена, наспех накинута на страшную рану бинты сползли, и я увидел, как колыхается при вздохах розовое легкое. А парень жил, смотрел на нас упрямыми глазами, скрипел зубами. За его спиной было тяжелое небо и злобный оранжевый, словно кровью окрашенный, горизонт. Жуткий, неумолимый образ войны. На фоне вечернего опаленного кровавым заревом неба умирал воин без стога, стоя с закинутой головой, положив могучие руки на плечи товарищей.

Поздно вечером уже, как в родной дом, мы приехали на КП 385-го полка. В дневнике короткая запись: *«Чудесный вечер в 385-м полку».*

Последующие дни были тяжелыми, тревожными. Дивизия отступала. Но этот вечер на КП полка запомнился

мне. Я провел его с людьми, сознающими крайнюю серьезность обстановки, но уже закалившимися в сражениях с врагом, ощутившими его силу и вместе с тем убедившимися, что враг уязвим, что его можно бить.

Их мужественная уверенность вселилась в меня, я по сей день благодарен командирам 385-го полка 112-й дивизии за то, что в этот вечер, на пятнадцатый день войны, я, лежа с ними на траве и глядя в звездное небо, впервые ощутил нечто похожее на душевный покой. Этих людей я вспомнил и через четыре года, когда с танковой армией совершал стремительный рейд от Вислы до Одера и от Одера до Берлина, вспоминал с благодарностью — они вселили в меня уверенность в возможности нашей победы над страшным врагом.

7 июля 1941 г.
ШЕСТНАДЦАТЫЙ
день войны.

В дневнике 5 июля запись, сравнительно с другими днями, подробная: *«Деревня Громовка, КП дивизии. Столько событий, что позавчерашнее кажется давно прошедшим. Привезли пленного немецкого ефрейтора-мотоциклиста. Не разобравшись, где немцы, где наши, он проскочил линию фронта, его подстрелили и взяли в плен. Член национал-социалистической партии. Из Саарбрюкена. Его рота стояла в четырехстах километрах от нашей границы, в бой вступила 24 июня. Из ста человек в роте одни убиты, другие ранены. Русских пленных не видел. Брат его (врет) сидит в гитлеровском концлагере. У ефрейтора в петлице черного мундира две молнии. Это — штурмовые отряды, возглавляемые Гиммлером. молнии на петлице означают «СС». Ефрейтор канючит: «Мы не хотели воевать с Советским Союзом, нас пригнали насильно».*

Он корчился от боли и скрипел зубами, когда Аня, молоденькая медсестра дивизионного медсанбата, промывала и перевязывала пустяковую рану — пуля застряла в мякоти ноги. Его привезли с передовой вместе с мотоциклом, на котором он влетел в расположение наших войск.

После допроса он спросил переводчика: «Меня расстреляют?» Отказался от еды, боясь, что отравят.

Две молнии в петлицах — «СС», черный мундир... Ох, как же мы тогда еще мало знали!..

Трусливый юнец наконец согласился поесть, ел борщ, пугливо озираясь. Уж он-то знал, что означают для людей в покоренных Гитлером странах эти две молнии на его

черном мундире. Потому и дрожал от страха. А мы только спустя некоторое время сполна узнали, что такое была она, эта черная кровавая гвардия Гитлера, Гиммлера, Кальтенбруннера.

Я запомнил их обоих навсегда — и мальчишку ефрейтора, встреченного в самом начале войны на полковом КП, и другого, его шефа, оберштурмбанфюрера «СС» Эрнста Кальтенбруннера. Первого, захваченного в плен в начале войны, я снял на полковом КП. Второго — на дубовой скамье в Нюрнберге.

В зале Международного трибунала я пристально глядел на него, когда демонстрировался фильм — документ советского обвинения. Кальтенбруннер не отрывал глаз от экрана. Керченские рвы, Бабий Яр, Майданек, сожженные заживо дети, душегубки, трупы, трупы, трупы... На лошадиной морде Кальтенбруннера был животный страх.

Мальчишку ефрейтора мы не тронули. Перевязали его рану. А Кальтенбруннера в фильме «Суд народов» я показал с пеньковой веревкой на шее.

8 июля 1941 г.
СЕМНАДЦАТЫЙ
день войны.

Мы увидели наши самолеты после полудня. Два тяжелых бомбардировщика ТБ-3 шли над лесом в сторону врага. Наши! Я хорошо знал эту машину. Сколько раз снимали мы внушительный строй огромных воздушных кораблей, плывущих над башнями Кремля. В 1934 году я на борту ТБ-3 пролетел с камерой над Красной площадью. А в 1937 году на борту оранжевого ТБ-3 я летел из Москвы в архипелаг Франца Иосифа с экспедицией на поиски Леваневского, потерпевшего аварию в районе полюса. Мы зазимовали в Арктике и там провели всю полярную ночь.

Чего только не наслушался я во время долгих бесед в домике зимовки в бухте Тихой, на острове Рудольфа. Горячие споры талантливых, образованных авиаторов. Главной темой этих блистательных словесных турниров была авиация. Говорили и о Блоке, и о Шалайине, об Амундсене, о МХАТе, о Шекспире, о дрейфе нансеновского «Фрама», гадали о судьбе «Святой Анны» Брусилова, но неизменно возвращались к проблемам авиации, обсуждая ее сегодняшний и завтрашний день.

Самыми неутомимыми в этих спорах были Марк Иванович Шевелев — пронырливый, остроумный, крылатый Си-

рано де Бержерак, и Анатолий Дмитриевич Алексеев — мыслитель с огромным лбом, еще увеличенным лысиной, всегда с карандашом в руках, готовый убедить противника наброском аэродинамической схемы, вспомнить характерный случай из практики своих полетов.

Помалкивал, улыбаясь, Молоков. Махнув рукой, уходил забивать неистового полярного «козла» Миша Водопьянов, хитро подзадоривал спорщиков флаг-штурман экспедиции Иван Спирин, внимательно слушал самый молодой — Илья Мазурук. А эти двое, Шевелев и Алексеев, продолжали и продолжали спор. Шевелев горячился, а Алексеев с чертовской учтивостью, издевательски выпучив свои круглые голубые глаза, говорил: «Как вы легко сможете сейчас удостовериться, любезный Марк Иванович, все ваши доводы являются, осмелюсь вам заметить, трагическим плодом глубочайшего вашего невежества в вопросах авиации, а ведь еще месье Блерио, едва оторвавшись от земли на своей этажерке, усвоил элементарнейшую истину, что угол атаки летательного аппарата...» И не было этим спорам ни конца, ни края, как не было, казалось, края полярной ночи, нависшей над ледовой пустыней, а люди эти, недавно потрясшие мир героической высадкой на Северном полюсе, храбрецы, ученые, мастера своего дела, романтики, говорили о сверхзвуковых скоростях, о ракетных двигателях. Гудела за окном пурга, пытаюсь сорвать с ледовых якорей воздушные корабли, летавшие со скоростью сто восемьдесят километров в час. И неизбежно заходила беседа о будущей войне. Мне, вернувшемуся три месяца назад из Испании, с готовностью предоставляли слово. Я рассказывал о воздушных боях над Мадридом, о только-только появившихся в небе Испании «мессершмиттах»...

Самолеты эти летели над лесом, не летели — ползли, и огромность их, восхищавшая зрителей на парадах, теперь пугала — «какая большая цель!» Защемило от мысли: «Почему идут без истребителей прикрытия?» Истребитель появился внезапно. Но это был «фокке-вульф». Он так же внезапно, как появился, выпустил несколько коротких очередей по одному и по второму нашему бомбардировщику. Небрежно и легко, словно нанес удар тыльной стороной ладони. И, отвернувшись, пошел в сторону. А наши рухнули вниз. Не взорвались, не загорелись, а, как подрубленные, скользя на крыло, печально упали на землю.

Мы с Борисом помчались к месту падения одного из них. Разваливаясь, самолет пропахал широкую просеку, рваные, мятые куски гофрированного дюрала догорали на черной земле. Пришли колхозники. Молча стояли босые девчата над трупом летчика. Угрюмы были старики. Я вынул из кармана его гимнастерки документы. Комсомольский билет, пилотское свидетельство. Старший лейтенант. Колхозники смотрели на меня, ждали, что им скажет командир Красной Армии. Я сказал: «Похоропите летчиков и запомните, товарищи, имена героев, отдавших свои жизни за Родину. Мы вернемся. Мы отомстим врагу». Это была не речь — горькие слова рвались наружу вместе со слезами. Мы не прикоснулись к камере. Не снимали. Почему? Рука не поднималась снять наш самолет, наши потери, наше горе. Почему, спрашивал я себя впоследствии много раз, почему не снимали мы наши потери, наших мертвецов, нашу кровь? Почему не сняли мертвого комсомольца, упавшего на землю, которую он хотел защитить, сраженного за штурвалом этой беспомощной громадины, которую враг уничтожил короткой пулеметной очередью.

9 июля 1941 г.
ВОСЕМНАДЦАТЫЙ
ДЕНЬ ВОЙНЫ.

Запись в дневнике: *«Утром хоз. дела. Наша полуторка испорчена, едем снова на КП. Отремонтировали машину. Поехали вперед. Дорога пристреляна самолетами, без конца стрекочат пулеметы. Километра два дорога совсем открыта, помчались полным ходом, вдруг над нами — самолет. Резко затормозили, бросились в кусты. Прострочил все кусты. Встреча с полковником Хабазовым. Телеграмма из Москвы от Большакова. Вечером купание в озере, стирка, бритье, самовар. Беседа с полковым комиссаром. Он сегодня ранен в руку, его машину обстреляли с самолета. Охотятся за машинами».*

Как обычно, двое из нас ехали стоя в кузове полуторки. На бдительной вахте. Глаза неотрывно на небо, чуть что — удары кулаком по крыше водительской кабины, крик: «Возду-ух!» Несколько прыжков в лес, и всем телом, носом, губами в землю — пронеси, господи! А над головой уже рев самолета, на дороге разрывы снарядов скорострельной пушки, пыльные фонтанчики пулеметных очередей и черные столбы дыма — подожженные машины. Так чуть не на каждом километре пути.

Навстречу попалась нам пятиная «эмка», остановилась. Полковник Хабазов, выйдя из машины, с улыбкой порывшись в планшете, протянул мне бумагу.

— Вам телеграмма из Москвы,— сказал он,— не ожидал, что быстро вас встречу, не предполагал, что на войне так тесно. Прочтите, что пишет вам начальство.

Поистине чудом постигшая меня телеграмма была подписана Большаковым, председателем Комитета кинематографии. Текст телеграммы:

«Снимайте большие танковые сражения зпт массы уничтоженной вражеской техники зпт пленных трофеев тчк. Материал срочно доставляйте Москву».

Перечитав дважды телеграмму, я взглянул на Хабазова. Он только руками развел. Мы помолчали. Господи, неужто там настолько не представляют себе истинной обстановки на фронте?.. «...Массы уничтоженной техники...» Увы, это было не смешно. Заведя машины под деревья, мы присели в нескольких метрах от дороги. Я рассказал Хабазову, что нами снято за эти дни. Кратчайший и быстрее способ доставки материала в Москву, сказал он, — доехать машиной до Великих Лук, оттуда на связном самолете до Калинина, затем снова самолетом до Москвы.

Над головой прошли парадным строем двенадцать немецких бомбардировщиков «хейнкель-111». Удлиненные фюзеляжи, выдающиеся далеко вперед моторы, гнусавое гудение в басовой октаве.

— На Великие Луки полетели,— сказал Хабазов.

Шли «хейнкели» на небольшой высоте, без истребителей. Солнце отсвечивало в стеклах пилотских рубок. Черные кресты на плоскостях и фюзеляжах, свастика в хвостовом оперении. Свастика спокойно проплывала над нашей землей! Вот она, война с фашистами. Не «если завтра...», а над головой, над золотыми полями зрелых хлебов.

Хабазов, задрав голову, смотрел вслед самолетам. Когда они скрылись, сказал:

— С утра сегодня не видел ни одного нашего в воздухе. Хоть бы один появился.— И выругался. Мы рассказали о сгоревших у нас на глазах ТБ-3.

О положении на фронтах Хабазов ничего сказать нам не мог. Обстановка за пределами корпуса была ему неизвестна. Со связью плохо. Тактика врага в масштабах небольших частей и в действиях больших соединений — прорывы там, где у него преимущество в силе, обходы с флангов, окружение. Внезапность вражеского удара нанесла сильную брешь в нашей системе управления войсками.

— Эта внезапность дорого нам обходится, — с горечью говорил Хабазов. И добавил: — А все-таки деремся. Крепко деремся.

В воздухе снова появился «костыль». Он словно повис над лесом, высматривая все вокруг, и было такое ощущение, что он и сквозь деревья заглядывает тебе за воротник гимнастерки. Казалось бы, ничего нет проще — сбить такую повисшую в воздухе мишень. А выяснилось, что самолет этот в минуту опасности способен набрать скорость, почти равную нашему истребителю И-16. Да к тому же обладает такой маневренностью, что становится почти неуязвимым.

10 июля 1941 г.
ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ
ДЕНЬ ВОЙНЫ.

«Дивизия героически дерется, сдерживая противника. Не видим наших самолетов. Немецкий корректировщик летает целый день над головами совершенно безнаказанно. Жара невыносимая. Продолжаем работу в 385-м полку. Снимаем репортаж войны, не брезгуя «пустяшными» кадрами, когда-нибудь они будут ох как ценны. Беседую с командирами и бойцами, накапливаю материал для первой корреспонденции в «Известия». Трудно писать. Нужно писать правду, не хочется в этой трагической обстановке давать «бодрячка», но факты действительно говорят о потрясающем сопротивлении наших частей. Краткие записи этих бесед — в дневник. Главное, что наши начинают «привыкать» к немцу, узнают его слабые места, наносят чувствительные удары. Так, рота старшего лейтенанта Новоселова вклинилась в глубь противника, поползла в пшенице под огнем автоматов. В 10—15 метрах передовая линия немцев. Немецкий офицер кричит: «Рус, сдавайся!». В ответ ударили гранатами, закричали «Ура!» и в штыки. Немцы — бежать. Рота вышла после этого боя из окружения, потеряв только трех человек. Только вечером выяснилось, что старший политрук Архипов был дважды ранен.

Командир третьего батальона Лукичев, прекрасно изучив врага, организовал наступление, оборону, огонь. Немцы специально охотились за ним. Кричат из цепи: «Выходи, Лукичев!» Дважды был ранен, не сказал об этом.

Так один наш 385-й полк держал на своем участке фронта две немецкие дивизии. Командир полка — полковник Садов, батальонный комиссар — Болонин, начштаба — капитан Люкшин.

Комсомолец младший сержант Г. А. Бабинов подал

заявление о приеме его в партию. Мне показали это заявление: «...Даю клятву перед партией, что буду драться смело и храбро до последнего биения сердца. Иду в бой за дело партии». Он был убит в Борковичах.

Мы с Борисом едем с капитаном-артиллеристом Волковым на его батарею на правый фланг. Машину оставили на КП полка. По дороге на батарею попали под ураганный минометный огонь. Войска отходят. Возвращаемся на КП полка. Сняли огонь тяжелой батареи — шестьдесят метров. Еле проскочили по месту, по которому немцы ведут огонь из минометов. Разрыв мины буквально перед радиатором машины, Левашов рванул руль влево, мы проскочили мимо дымящейся воронки, потом в кузове и крыле машины обнаружили пробойны от осколков. Вечер. Решили заночевать в Кохановичах в полевом госпитале, куда мы дня три назад привезли раненого летчика. Госпиталь эвакуировался. Наступила ночь. Едем в Клястицы. Зарево горящих лесов. В воздух взлетают немецкие ракеты. Гул артиллерийской канонады. Ночью на шоссе тревожно. В два часа ночи нашли штаб корпуса, он на старом месте, где был вчера. Уже 11 июля. Уже наступил двадцатый день войны. Сваливаемся спать в машине, закончив трудный рабочий день. Как мало мы сняли! Всего лишь несколько залпов батареи 152-миллиметровых орудий и кое-какие кадры репортажа. А какой смертельной опасности подвергались все двадцать два часа! Вот он, труд фронтового кинорепортера. Завтра едем снова в полк».

Это, пожалуй, самая длинная запись во всем дневнике. Несколько раз брался за дневник, и вот сумбурная картина дня, насыщенного событиями, а «выход продукции» — считанные метры пленки.

13 июля 1941 г.
двадцать второй
день войны.

Дневниковая запись: «Тяжелый день. С утра вышли на передовые позиции 385-го полка. Сняли много хороших боевых кадров на самой передовой.

Пулеметный расчет, перебежки, разрывы немецких и наших снарядов. Отход под минометным огнем. Причина — сосед справа обнажил наш фланг. Полк крепко стоял на своих рубежах, бойцы зарылись в землю. Отход начался в 12.15. Ураганный огонь минометов. Выносим раненого. Больше полутора часов под минометным огнем. Проклятый корректировщик. Непонятно, почему остались живы».

Вот и все, что записано в дневнике в тот памятный, очень тяжелый двадцать второй день войны.

Этот день был трудным, но на редкость удачным. Мы сняли бой.

Передний край проходил по западной околице деревни, названия которой не помню. Там засели в добротных, умело сработанных окопах около двадцати бойцов со станковым пулеметом. Шел бой.

Все постигается, становится более значимым в перспективе прошедших лет. Тогда эта горсточка бойцов, выполняющая свой солдатский долг, сдерживала наступление, быть может, целого полка гитлеровцев. А по планам фельдмаршала Манштейна, полк должен был пройти через эту деревню как нож сквозь буханку хлеба. Но был остановлен. Остановлен горсточкой советских солдат и огнем гаубичной батареи, той самой, которую мы на рассвете снимали в березовой роще.

Спустя тридцать лет разыскал в киноархиве эти кадры, снятые тогда мной и Борисом Шером, они были нужны для фильма «Великая Отечественная». На соседнем монтажном столе лежали кадры гитлеровской кинохроники. Июль 1941 года — горящая земля, немецкие солдаты, их лица в крови, перебежки под огнем, раненые, убитые. Не были ли сняты эти кадры немецкими операторами именно там, где мы оказались тогда рядом с бойцами, которые с пулеметом стояли насмерть у околицы деревни? Сколько в те дни клокотало таких малых и больших боев на нашей земле! Вглядываясь в кадры снятого нами в тот день боя, я испытывал чувство гордости. Как хорошо, что мы сняли этот небольшой, но упорный бой, происходивший в деревушке, куда привела нас военная тропа утром 8 июля 1941 года. Нам повезло, конечно. Могли пойти и по другой тропе. Но мы пришли сюда. И сняли этот бой.

Утро было пасмурным, дул холодный порывистый ветер, на деревенской улочке рвались немецкие снаряды. Самый удачный, выразительный кадр этой съемки — через пустынное шоссе, изрытое воронками, усыпанное обломками повозок, перебегают пулеметный расчет, солдаты тащат за собой «максим». Как крылья, развеваются на ветру плащ-палатки, и вдруг в кадре, на фоне бегущих — разрыв снаряда. Черный густой клуб дыма...

Нас сопровождал, не отставая ни на шаг, белобрысый солдатик из комендантского взвода. Его дал нам в помощь начштаба полка, сказав: «Он парень обстрелянный, здо-

ровый, поможет вам в трудную минуту». Боец нес нашу пленку, быстро научился подавать в боевой обстановке кассеты для перезарядки и бережно укладывал в кассетник снятые бобышки.

Бой усиливался с каждой минутой, немецкие снаряды все гуще ложились вокруг бойцов, вокруг нас — мы пристроились в глубокой щели у дороги совсем близко от пулеметного расчета. Пробыли больше получаса в этом бою, снимая бойцов, ведущих огонь по наступающему врагу.

Стало, наконец, ясно, что больше того, что удалось снять, не снимем. Нужно было уходить. Труднее всего решиться покинуть надежную щель, выбежать на открытую местность. Прижимаясь к земле, ползком и короткими перебежками стали мы отходить из деревни. Под конец, на восточной ее окраине нас настиг густой артиллерийский налет, один снаряд рванул совсем рядом, комья земли застучали по каске, в траву с шипением вонзились горячие осколки.

Где-то невдалеке справа отчетливо застучали автоматные очереди. Что это? Кольнуло в мозгу знакомое: «Окружает?» Мимо нас метнулось несколько бойцов, я узнал их — из пулеметного расчета, который мы снимали в деревне. Они катили за собой пулемет.

— Что случилось, товарищи? — крикнул я. Один из них махнул рукой, что-то бросил в ответ, я разобрал: «Приказ... Отходим...» Пробежала еще группа бойцов. Мы побежали за ними. Пробежали, прошли километра два.

Вот место, где был КП полка. Пусто. КП сменил место, отошел. Здесь еще недавно стояла вместе с другими машинами замаскированная ветками наша полуторка. Раскиданы ветви, машины нет. Пошли к дороге. Я старался не упустить из вида нашего красноармейца, у него в двух кожаных кассетниках вся снятая нами в этот день пленка, драгоценные боевые кадры! Мы вышли на дорогу, здесь было все забито повозками, людьми, машинами.

И тут ударили первые мины.

В небе появился проклятый «костыль». Шквал минометных разрывов обрушился на бегущих по шоссе. Теперь мы поняли, что значит отступление.

— С дороги! — закричал я и увлек Бориса и Сашу Ешурина метров на сто в сторону. Мы уже не бежали, а шли из последних сил, скользя ногами в размытой вче-

рашним дождем черной земле, спотыкаясь на влажных кочках. Ежеминутно, заслышав приближающееся завывание мин, валились на землю, вокруг рвались сразу с десятков мин, забрасывая нас жидким черноземом. Поднимались и шли дальше, не упуская из вида дороги, чтобы не уйти в сторону, влево, откуда уже совсем близко раздавался треск автоматных очередей.

Боец, несущий нашу пленку, исчез. «Или убит,— подумал я, глядя на трупы, которые мы обходили,— или встретим его на новом КП полка». А минометный шквал усиливался. Иногда мы не успевали подняться, ползли, изредка окликая друг друга хриплыми голосами, чтобы убедиться, жива ли наша команда, не ранен ли кто из нас. А ведь смерть настигала на наших глазах то одного, то другого бойца. Они падали и оставались лежать на земле.

Звериной, лютой злобой ненавидел я в эти минуты врага за его превосходство надо мной. Неправидел за то, что ползу по своей земле, на которой он сеет ужас и смерть.

Падая, старался, чтобы осталась на весу камера, не ткнулась объективами в жидкую грязь. «Надо выходить на дорогу, — решил я. — Один черт — здесь мины, там мины, не все ли равно? По дороге все же легче идти». Голоса уже не было, кивнул Борису и Саше в направлении шоссе. Снова удар, залп тяжелых разрывов вокруг нас, и снова почему-то мы целы. Поднявшись, услышал позади стон. Обернулся, увидел бойца, лежащего на земле, у него был разорван живот, и кровь била сквозь вымазанные черной грязью пальцы, которыми он зажимал свою страшную рану. Я шагнул к нему, встретил его взгляд, и уже никакая сила не смогла бы заставить меня повернуться к нему спиной и уйти к дороге, хотя было ясно — он умирает. Солдат сказал: «Не бросай меня, товарищ командир». Сказал полным голосом с требовательностью, порожденной смертной тоской.

Отдал Ешурину камеру, начал поднимать к себе на спину раненого. Борис помогал мне и поддерживал его на моей спине, когда мы тронулись. Ноги подгибались от непосильной ноши, разъезжались в скользкой грязи. От дороги нас отделяло шагов тридцать. Думалось, не дойду. Потом раненого взял у меня Борис, а я его поддерживал. Дважды валились на землю при близких разрывах. Попеременно с Борисом и Сашей вновь и вновь поднимали

бойца на спину. Добрели до дороги уже пустынной, огонь стал заметно утихать. Показалась грузовая машина, она мчалась с бешеной скоростью, подпрыгивая на выбоинах, я поднял руку. Не остановилась, пронеслась мимо, в ее кузове подскакивали, громыхая, ящики со снарядами. Успел погрозить кулаком шоферу — у, сволочь!.. Показалась запряженная парой коней обозная повозка. «Эта не убежит!» Пошел навстречу коням, схватил их за уздечки и остановил. А Борис с Сашей бережно уложили на солому раненого. Повозка тронулась, а мы прилегли в кювет отдышаться. Через минуту завывла одиночная миная, хлопнул разрыв. Подняв головы, глянули вслед повозке, а ее уже не было, только катилось по асфальту колесо. Повозку разнесло в щепы, бился в стороне конь. Солдат, которого вынесли мы из-под огня, принял смерть, не потеряв перед тем, как уйти из жизни, веры в боевое товарищество. С этой верой он смотрел мне в глаза, когда лежал на земле с разорванным животом. И этот взгляд умиравшего солдата я буду помнить. Помнить до конца жизни.

Нашли новый КП полка. К нам кинулся Левашов, подвел к нашей машине, замаскированной в сторонке, смущенно объяснил, почему вынужден был покинуть старый КП. Хотел во что бы то ни стало нас дождаться, но лейтенант из комендантского взвода приказал ему немедленно сматываться, а то... Не мог нарушить он приказ. Мы успокоили разволновавшегося Степана Васильевича. Не давала покоя мысль о пропаже пленки, которую нес боец, он наверняка убит, а если и ранен, то где его найдешь. Пропала пленка, боевой материал и какой ценой добытый!

Только сейчас оглядели друг друга. Вид ужасный. Сбившиеся в мокрую паклю волосы, землей вымазанные лица, кровавые ссадины на лбу, на руках. Гимнастерки в грязь, в кровь. Да, это было настоящее боевое крещение. Молчание нарушил Саша Ешурин.

— Запросто могли накрыться, — сказал он мрачно. Никто из нас не оспаривал этого утверждения. А Борис добавил:

— Сегодня тринадцатое июля. Если мы из такой мясорубки вышли невредимыми, лично я буду теперь считать тринадцатое число своим счастливым числом.

Недалеко было озеро, помылись, я лег на траву навзничь, раскинув руки. Удивительно, каким безмятежно покойным может быть военное небо!..

За вечерней трапезой мы рассказывали на КП о наших

«похождениях». Командир полка Садов внимательно слушал, расспрашивал подробно, в заключение сказал:

— А на военном языке все, что вы рассказали, звучит значительно короче, примерно так: «Под угрозой обхода с флангов полк отошел на столько-то километров и занял прочную оборону на новом рубеже».

— Прочную ли?

— Если бы мы не зависели от соседей — утверждаю: прочную. И показали бы немцам кузькину мать.

— Беда только в том, что снятая нами пленка пропала, — сказал я. — Красноармеец, которого вы нам дали в помощь, который нес нашу пленку...

— Разрешите обратиться, — услышал я за спиной и не спеша повернул голову.

Этого белобрысого паренька я узнал бы среди тысяч других красноармейцев, хотя бы только потому, что у него через плечо висели на ремне два кожаных кассетника. Со снятой пленкой...

Можно представить себе, как ждут в Москве нашу пленку. Как же необходим сейчас каждый эпизод, отражающий героическое сопротивление Красной Армии! Как дороги снятые нами эпизоды боя у околицы деревни, неистовый пулеметный расчет, злые, решительные лица сражавшихся бойцов. Получен ли уже материал с других фронтов?

Уже смеркалось. Решили, не откладывая, отправлять материал в Москву. Сегодня же ночью добраться до Великих Лук. Полетим в Москву вдвоем — Ешурин и я. Шер будет дожидаться нас в условленном месте. Коля Лыткин окончательно пришвартовался к соседней с нами части. Попытались наладить с ним связь, пока безуспешно. Ехать пужно немедленно. Именно сейчас, ночью, когда над головой не висят вражеские самолеты.

Разыскав на новом месте штаб корпуса, отдышавшись, присели с котелком горячих щей в сторонке от полевой кухни. К слову сказать, вот уже сколько дней язва моя не дает о себе знать.

Стали прикидывать, что же снято. Штаб немецкого полка, пленный эсэсовец, горящий фашистский самолет и около него труп фашистского аса, бой у деревни, действия нашей артиллерии, работа полевых штабов, узлов связи. Это, так сказать, активный наступательный материал. А кроме того, множество репортажных зарисовок,

целые эпизоды — эвакуация населения, полевой медсанбат, горящие города и деревни, зенитчики... Одним словом, материал, снятый в гуще войны. Много лиц, самых разных — усталых и злых, озабоченных и искаженных страданием, гневных и вопрошающих, решительных и растерянных. Дети, пушки, руины, изрытая воронкой земля, колосающиеся поля пшеницы, черный дым над землей.

Борис подсчитал. Снято тысяча шестьсот шестьдесят метров.

Много лет прошло. Уточнились и в чем-то, быть может, изменились критерии, оценки. Но материал, снятый в первые дни войны, представляющийся и сейчас мне бесценным, не менее дорогим казался и тогда. И дорог был он не потому, что пелегко нам дался. Мы, кинохроникеры, стоявшие на переднем крае событий, понимали необходимость появления на экранах сурового, мужественного и правдивого образа войны. И были уверены, что именно этот образ войны отражен в наших кадрах.

14 июля 1941 г.
двадцать третий
день войны.

— Ну, куда вы, товарищи, на ночь глядя, — уговаривал нас командир корпуса. — Отдохнете в моей палатке, а перед рассветом тронетесь.

До чего же хотелось рухнуть на первую попавшуюся койку. Или просто на траву! И все же я настоял — нужно ехать ночью. Ехать немедленно!..

В правильности этого решения убедился через... три года. Было это так. Проезжая в период затишья вдоль линии фронта, проходившей по берегу Днестра, я заехал в молдавскую деревушку, где разыскивал начальника тыла армии. Помнится, нужно было выпросить для киногруппы бочку автобензина. Полный краснощекый генерал, расстегнув китель, сидел за столом на веранде деревенской хаты, утонавшей в ярких цветах. Рядом за самоваром восседала пышная, немолодая, красивая женщина, жена. Генерал недовольным взглядом встретил шагнувшего на веранду запыленного майора. Но через минуту мы уже были в объятиях друг у друга. Глаза у генерала увлажнились. В первых же словах он стал вспоминать о той ночи 14 июля 1941 года, когда мы расстались у его палатки в лесу.

— Как убеждал я вас тогда остаться до утра, как уговаривал! А ведь этой же ночью немцы замкнули кольцо окружения. Уверен был, что вы по дороге в Великие

Луки попали в лапы к фашистам. Прорвались-таки. Вот молодцы! Представьте себе, только в декабре в крестьянской одежде да с бородой по пояс я вышел под Калинином из окружения.

Значит, когда мы ехали к Великим Лукам, где-то позади нас вышли на дорогу немецкие танки. Кто знает, какие считанные минуты спасли нас. Выпили бы еще по кружке великолепного генеральского кваса, и что было бы с нами? Так попал в плен Аркадий Шафран, оператор-челюскинец. Ехал на машине по деревенской улице, а из-за поворота — немецкие бронетранспортеры с пехотой. И только где-то под Смоленском удалось ему сбежать из колонны военнопленных, которую гнали на запад. Долго шел тылами, в конце концов все же пробрался через линию фронта. В рваном полушубке, обросший густой щетиной, пришел Аркадий в январе сорок второго года на студию в Лиховом переулке.

...Поздно ночью приехали мы в Великие Луки, разрушенные воздушной бомбардировкой. Всего лишь несколько дней, как мы вышли на дорогу войны. И вот мы в городе, который тоже встретил войну и стал ее печальным ликом. Дымящиеся развалины — вот и все, что осталось от города. Кое-где еще полыхали дома. Ни живой души на улицах, окутанных сизым туманом дыма, тянущего от пожарниц.

В надежде встретить кого-нибудь из жителей, ехали мы по улицам уничтоженного города. И вдруг — стоп! В стороне — уцелевшая часть кирпичного двухэтажного дома, и полоска яркого электрического света пробивается из неплотно закрытой двери. Остановили машину, вошли.

Это был узел телефонной связи, один из армейских тыловых узлов. На нас повеяло домовитостью обжитого угла. Двое связистов приветливо кивнули нам, ни о чем не спрашивая. Мы сели, закурили. Казалось, что война осталась за порогом в темноте и в терпком дыме, плывущем над свежими развалинами. Но нет, она была и здесь, в этом кажущемся уютным уголке.

— Волна, Волна, ответь Березе! Оглохла, Волна?..

Борис сказал ребятам, что мы — кинооператоры, приехали прямо с передовой. В глазах телефонистов появилось любопытство. Фронтовой связист нередко знает обстановку лучше много генерала. Узнав, что мы с самой, что ни

на есть, передовой, удивленно воззрились на нас. Эти парни чуяли масштабы бедствия. Видно, большой тревогой гудели их провода. Но как ни ясна была для нас и для них трагичность обстановки, ни мы, ни они еще не знали, что где-то поблизости от Великих Лук немцы только что сомкнули кольцо вокруг войск, там, где мы еще вчера вели съемки. Произошло это, быть может, час назад, полчаса. Сидя со связистами, мы не подозревали, что самое страшное из всех испытаний, какие выпадают на войне, миновало нас, осталось позади. Не подозревали, что избежали смерти или плена, что, впрочем, равнозначно.

Артиллерия противника методично обстреливала город. На разрывы, то дальние, то совсем близкие, никто из нас не обращал внимания. Усталые, вконец измученные, мы были равнодушны, нечувствительны ни к чему.

Никогда не забуду доброго гостеприимства связистов в ту ночь в Великих Луках. Могли не пустить, сказав: «Не положено». Пустили и даже предложили горячего чая. Мне хотелось только одного — лечь на пол, уснуть. Хоть на час, хоть на десять минут, только бы уснуть! На телефоны я смотрел с тупым безразличием человека, вернувшегося в родные места после жизни, проведенной на необитаемом острове, человека, у которого признаки цивилизации вызывают в памяти лишь туманные образы далеких лет. Я в шутку сказал:

— Эх, ребятки, взяли бы да соединили этот ваш полевой телефон с моей московской квартирой. Ох, и поблагодарил бы я вас.

Дальше все произошло как в сказке. Связист дал долгий зуммер какой-то Луне, велел подключить ему Орла, Орел попросил Омегу, потом парень поманил меня, сунул мне в руку трубку, в которой голос московской телефонистки уже настойчиво требовал: «Ну, говорите же, какой вам номер нужен!»

Я окаменел от неожиданности. Разговор был более чем короткий: «...сын чудесный. Сын родился, говорят тебе, сын! Слышишь, это он орет. 3 июля родился. Да где же ты? Откуда звонишь?!»

На этот раз гроыхнуло совсем рядом. Посыпалась с потолка штукатурка, зазвенело стекло, я бережно прижимал трубку к уху, хотелось продлить волшебство. Но в телефоне не было уже ни Омеги, ни Луны, ни сына, ни Москвы. В комнате погас свет. Я оцупью нашел руку теле-

фониста, пожал ее, сказал: «Спасибо, товарищ сержант». И шагнул в черную почву, в сладковатую гарь молчаливо умирившего города.

ВДАЛИ ОТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Разбитый бомбардировкой Великолукский аэродром все-таки жил. Какие-то самолеты взлетали, какие-то садились.

Тяжело было в Великих Луках расставаться с Борей Шером. У него были грустные глаза. Мы понимали, что в этой военной заварухе наивно улаживаться о встрече. Однако условились — через три дня встречаемся в городе Торопце. Считали, что в Торопец немцы за три дня не прорвутся. А где же мы там увидимся? В центре города. В каком центре? Ну, должен же быть в городе какой-то центр, площадь центральная или сквер какой-нибудь, вот там и встретимся...

Нас посадили в самолет, который летел на Калинин. А там предоставили специальный самолет Р-5. Мы втиснулись вдвоем с Ешуриным в открытую кабину, загрузили ящики с нашей пленкой. Я был в своем выдавшем виды кожаном пальто. На Сашу летчики надели новый кожаный реглан, обоим нам дали шлемы.

Вечером 15 июля прилетели в Москву.

Какой мы увидим Москву? До нас доходили слухи о воздушных тревогах. Как она выглядит? Наш самолет мягко коснулся колесами взлетной полосы Ходынского аэродрома и подрулил к ангару. Позвонили на студию, нам выслали «пикан». Москва порадовала нас своим подтянутым видом.

Разумеется, заскочили на несколько минут домой, благо мы с Сашей Ешуриным жили в одном доме на Большой Полянке. Увидел сына, удивительное маленькое существо. Малыш беспрестанно орал, словно негодуя, что произвели его на свет в такое не подходящее время. Словно заранее протестовал против того, что ему в двухнедельном возрасте предстоит путешествие сначала на пароходе от Москвы до Саратова, а потом в теплушке на протяжении восемнадцати дней от Саратова до Алма-Аты. В теплушке этой ехали в эвакуацию семьи фронтовых кинооператоров.

У матери молоко пропало еще в Москве, кормили парня сгущенным молоком, теплушку пронизывал ледяной ветер. Никому не верилось, что ребенок выживет. Однако ко всем чудесам, которые происходили в эти военные времена, прибавилось еще одно маленькое чудо — парень выжил...

Два дня мы с Ешуриным провели в Москве и даже толком не запомнили, что же мы успели в этой суете сделать. Не нагледеж я вдоволь на сына, не смог решить важнейший вопрос об эвакуации семьи, не повидался с друзьями.

Материал был проявлен в день приезда. Нас порадовало отсутствие технического брака. Утром в битком набитом студийным народом просмотровом зале передо мной снова прошло все, что мы пережили, увидели и сняли там, на дорогах войны — беженцы, солдаты, огонь, трупы, леса, деревни, горящий «мессершмитт», пленный эсэсовец, ослепленные войной лица людей, небритый артиллерист...

Товарищи хвалили материал. А я вышел из просмотрового зала с чувством неудовлетворенности. Думалось, что все пережитое и виденное на войне значительно сильнее того, что было сейчас на экране. Упрекнуть себя в чем-либо как кинооператора я не мог — вопрос был гораздо сложнее: как снимать войну? Как передать глубокий драматизм войны? Как отразить великий подвиг народа и внутренний пафос происходящих событий? Отразить в той мере, в какой это было прочувствовано мной самим.

Материал наш пошел в очередные два киножурнала. Каждый выпуск кинохроники теперь начинался с рубрики: «Репортаж с фронтов Отечественной войны». Готового журнала мы не дождались — 18 июля вылетели из Москвы.

Записи в дневнике очень короткие: *«18 июля вылетели. Посадка в Ядрове. Потеря портфеля. Бомбежка. Вечером выехали в Торонец».*

«19 июля. Поздно ночью приехали в Торонец по жуткой дороге. Ехали 24 часа. Нашли Шера».

Сейчас решительно не помню, что это был за портфель, где и когда мы его потеряли. Зато перед глазами трагический облик маленького города, забитого войсками, беженцами. Ночью в этом городке никто не спал, на улицах скопление машин, конных повозок, плач детей. Как искать Бориса?

Мы никогда не были в Торопце. Где же городская площадь, на которой условились встретиться? Она существовала в нашем воображении, я даже представлял, какие дома ее окружают, должно быть, церковка где-то рядом. В ту ночь случилось еще одно из военных чудес. На маленькой площади, существовавшей, оказывается, не только в нашем воображении, стоял, прислонившись к железной ограде, Боря Шер. Он спокойно пошел к нам навстречу. Не было объятий, поцелуев — пожали друг другу руки и начали обсуждать дальнейший план действий. В этом обсуждении принял участие и Степан Васильевич Левашов, он был очень доволен, что на «борту» его полуторки снова оказался в полном сборе весь экипаж.

В Москве мы получили направление на Северо-Западный фронт. Теперь линия фронта проходила где-то в районе города Старая Русса, а штаб фронта был в Новгороде. Чтобы попасть из Торопца в Новгород мы выбрали прямой путь. По карте прочертили направление и двинулись машиной напрямик, не зная, какие нас ожидали дороги и будут ли вообще они там.

Если бы мы совершили этот путь в мирное время, получилась бы чудесная туристская поездка по живописному краю озер и заливных лугов, через дремучие леса, мимо небольших деревень, расположенных в заповедной глуши.

Помню одну из этих деревень. Дома, построенные из огромных бревен. Нижняя часть дома — подпол, хлев для скота, закрома для зерна. В жилую часть дома ведет высокое крыльцо. Хозяева принимали нас в просторной горнице. Пугливо выглядывали из-за русской печи краснощекие малыши. Две статные женщины в вышитых крестом сарафанах быстро подали на дубовый стол кринки с теплым молоком, миску с вареным картофелем, каравай ржаного хлеба, соленые огурцы. Пожилые мужчины, степенные, в длинных, до колен, домотканого полотна белых рубахах, с черными, без единого седого волоса, окладистыми бородами. Мы выложили на стол свой запас продовольствия: консервы, белый хлеб, конфеты, сахар.

Завязался застольный разговор. Хозяин дома, проведя рукой по густой бороде, спросил:

— А скажите, товарищи, правда ли говорит народ, будто немец уже по нашей земле идет? Верно это?

Мы переглянулись, пораженные. В какой же глуши живут люди!

— Верно, — сказал я.

И рассказал хозяину дома про войну. Страшную, не па жизнь — на смерть. Говоря с ним, я представлял, как могут прийти сюда немецкие бронетранспортеры, будет здесь звучать чужая речь, думал о том, что может произойти с этими красивыми статными женщинами и с ребятами. Неужели разрушат пришельцы удивительный заповедный мир, чудом сохранившийся вдали от автомобильных дорог, от линий связи, от воздушных трасс, мир, уцелевший в своей первозданной прелести в глуши дремучих лесов и чистых озер, где люди через месяц после начала войны спрашивают тебя: «А верно ли, что немец по нашей земле идет?..»

на берегу валдая В Новгород приехали 22 июля, поздно вечером. Долго кружили по городу, наконец все же нашли киногоруппу Северо-Западного фронта. Она расположилась в школе.

Переночевали в гимнастическом зале, расстелив газеты на полу. Сережа Гусев, Женя Ефимов, Рува Халушаков, я. Сохранилось фото — мы снялись, проснувшись на рассвете. Я вглядываюсь в снимок. Лица не просто усталые — настороженные, напряженные.

Из окна школы за деревьями просматривался новгородский аэродром. Вдруг мы слышали рев авиационных моторов. На наших глазах несколько «хейнкелей-111» атаковали аэродром. Методически, заход за заходом, сбрасывали бомбы, расстреливали с небольшой высоты из пулеметов и пушек стоящие на аэродроме самолеты. Так продолжалось минут пятнадцать. «Хейнкели» ушли. Пылали ангары и подожженные самолеты. Мы долго не могли прийти в себя.

Второй эшелон штаба фронта находился в Валдае. Там же находилось и политуправление, которому подчинялась киногоруппа. Я выехал туда, надо было оформить документы, получить направление, познакомиться с товарищами из политуправления фронта.

Ночь на берегу озера Валдай. Свирепый ветер гнал большую волну. Черная безлунная ночь. Вой ветра и шум воды заглушали доносящийся издалека голос диктора из мощного репродуктора, читавшего сводку Совинформбюро.

Подняв воротник пальто, я медленно шел по берегу озера, нагнувшись навстречу ветру. Ветер рвал полы кожного пальто, замызганного, давно утратившего свой загра-

личный лоск. В эту безлунную осеннюю ночь мной овладело желание обо всем пережитом подумать в одиночестве.

Как велики масштабы катастрофы? Что происходит? Фашистские армии двигались с Запада на Восток к Ленинграду, к Москве. В руках врага была уже почти вся правобережная Украина, Прибалтика, Белоруссия. Ночью, на берегу озера, я задавал себе множество вопросов, а в сущности один, самый главный, самый мучительный: неужели фашистской Германии по силам сломить Советскую власть? По силам ли Гитлеру уничтожить все то, что пестовал Ленин, что завоевали люди России в семнадцатом году?! Через какие трудности и лишения прошел наш народ, чтобы завершить становление социалистического государства! Шушенское, Красная Пресня, Смольный, гражданская война, пятилетки!.. Может ли все, все быть стерто только лишь из-за преимущества немцев в танках и самолетах?

Двадцать четыре года мы жили под угрозой нашествия врагов. Строили заводы, покоряли Арктику, закладывали в тайге города, воевали в Испании и на Халхин-Голе, летали в стратосферу. Все это мы делали, ни на минуту не забывая, что враг готовится напасть на нас. Более того, готовили к этому свои вооруженные силы. А в последние годы и враг был известен. Гитлер только ждал момента для нападения.

В ту ночь на берегу Валдайского озера передо мной возникали не только трагические картины нашего отступления, но и образы умных, мужественных командиров, не растерявшихся, не унавших духом, когда ломил подавляющей силой враг, когда дрогнул сосед, когда обескровленный батальон оказывался лицом к лицу с немецкими танками. Я вспоминал полковника Копяка, Садова, безмянного артиллериста на дороге, который просил кому-то передать, что две его противотанковые пушки стоят здесь, правее дороги, и будут стоять до последнего снаряда...

Нет, неизбежно наступит перелом. Быть может, не скоро, но наступит. И самолеты и танки будут, будут! Иначе и не может быть. Я видел на войне множество людей, убежденных в том, что врага можно остановить. И не только остановить, но и разбить...

Раздумья в одиночестве хоть немного облегчили душу. Я вернулся в домик фронтовой киногруппы, где операторы

Доброинцкий, Марченко, Головня, Рубанович, сидя за ужином, наперебой любезничали с хлопотавшей у плиты хорошей круглолицей хозяйской дочкой Надей, которую мы единодушно называли «Краса Валдая». После войны, совершая с семьей автомобильную поездку в Ленинград, в Валдае свернул на улочку, круто спускавшуюся к озеру. Отыскал наш домик, увидел в саду Надю. Раздобревшая «Краса Валдая» тотчас же узнала меня, обрадовалась, показала двоих детишек. Вспоминала по именам операторов, упрашивала отобедать...

В какую армию Северо-Западного фронта мы направимся? Разумеется, вместе с Борисом Шером, мы уже привыкли чувствовать локоть друг друга, твердо решили и дальше работать вместе. Так в какую же армию?

МАДРИД — СТАРАЯ РУССА

Главный удар на этом фронте немецкое командование нацелило на город Старую Руссу, поставив задачу своим войскам прорваться на Бологое — важнейший узел коммуникаций, связывающих Москву с Ленинградом. Задача войск Северо-Западного фронта — не допустить захвата противником Валдайской возвышенности, Октябрьской железной дороги и шоссе Москва — Ленинград.

На подступах к Старой Руссе сражается 11-я армия. Командует 11-й армией генерал-лейтенант Морозов, член Военного совета... Назвали имя члена Военного совета армии дивизионного комиссара Ивана Васильевича Зуева, не подозревая, что означает для меня это имя.

Ваня Зуев! Неужто снова скрестились наши жизненные пути! Мы побратались в далекой Испании. Когда я приехал к советским танкистам в парк Гаса дель Кампо, где фашисты рвались к центру Мадрида, я пожал руку молодого паренька в кожаной курточке, в берете. Ваня Зуев был политруком танкового батальона.

А теперь по узенькой тропинке, протоптанной в лесу, навстречу мне шел дивизионный комиссар. Это был Зуев Иван Васильевич. Увидев меня, он остановился, широко развел руки. Мы крепко обнялись, расцеловались.

Необыкновенную радость испытал я, услышав хриловатый, окаящий говор моего друга.

— Какими судьбами? — воскликнул он. — Откуда? Почему не предупредил заранее?

— Воевали мы с тобой, Ваня, на испанской земле, теперь довелось на родной земле воевать.

— Пошли ко мне. — Он увлек меня за собой...

Бои в Каса дель Кампо шли без перерыва, чуть не круглые сутки. Временная передышка позволила мне поближе познакомиться с политруком танкового батальона Ваней Зуевым. Впоследствии мы встречались часто. Помню, как мы с Михаилом Ефимовичем Кольцовым 23 февраля 1937 года нагрянули в гости к танкистам в Марата де Тахунья. Я захватил с собой грудку патефонных пластинок с песенками Лещенко, мне их недавно прислали с оказией из Парижа для «поднятия духа». Были у меня и пластинки, купленные в Мадриде, — чудесные испанские песни фламенко.

Мы ввалились к танкистам, когда пиршество было в разгаре. Вчера ребята распаковали праздничные «Ворошиловские» посылки. Там было все, что могло в этот день стоять на праздничном столе в Нарофоминске, в Гомеле, где женщины ждут не дождутся письма из «района военных учений», письма короткого: «Жив-здоров, целуй Шурика...», читают в газетах про бои под Мадридом и знают, что из этого «района» отец Шурика может и не вернуться.

Михаил Ефимович был в тот вечер и тамадой, и запевалой. Душой стола был и Ваня Зуев. Мне нравилась его окаящая волжская речь, его юмор и прямота. Глядя тогда на него, я вспоминал недавние бои в Каса дель Кампо — уверенно ведущего своих ребят в атаку комиссара танкового батальона. Когда мы прощались, Зуев шепнул мне:

— Оставь на несколько дней пластинки.

— Берй их насовсем, — сказал я.

Комсомолец 20-х годов, уроженец села Ближнепесочного Горьковской области, Иван Зуев в семнадцать лет уже возглавил сельскую ячейку комсомола, был вожаком сельской молодежи. В двадцать восьмом он стал коммунистом, а когда пришла пора служить в армии, окончательно определилось жизненное призвание Зуева —

политработник. Политрук роты, секретарь партбюро батальона, инструктор политотдела. Его любили, доверяли ему.

Пришел тридцать шестой год. В далекой Испании вспыхнул фашистский мятеж, и Зуев поехал добровольцем сражаться с фашистами.

Последняя наша встреча в Испании состоялась на Хараме весной тридцать седьмого года. Шли ожесточенные бои, фашисты хотели тогда отрезать Мадрид от Валенсии. В один из этих дней я очутился на командном пункте 12-й интернациональной бригады, которой командовал Мате Залка. На склоне холма, где был КП бригады, я познакомился с неуклюжим на вид человеком, в плаще, в широких штанах, в ботинках с толстыми подошвами, в берете. Он близоруко щурился сквозь очки в железной оправе; это был Хемингуэй. Они с Йорисом Ивенсом снимали фильм «Испанская земля», объектом их съемок в тот день явился бой на берегах Харамы, действия наших танкистов.

Группа танков была сосредоточена в небольшой ложбинке, у подножия холма. Примерно в километре от наблюдательного пункта 12-й интербригады. Я пошел к танкистам, и первый, кого я там увидел, был Ваня Зуев.

Танкисты готовились к атаке. Зуев в этот бой шел в качестве заряжающего и наводчика орудия. Мы перекинулись несколькими словами. Ваня размашистым жестом протянул мне руку, влез в танк и, махнув рукой в сторону врага, сказал то самое слово, которое много лет спустя, стартуя в космос, сказал комсомолец 60-х годов Юра Гагарин:

— Поехали...

Танки, взревев моторами, тронулись. А я устроился с камерой за большими валунами. Мое внимание было приковано к этим танкам. В одной из машин сидел мой веселый друг Ваня Зуев.

Вспомнил я и самую последнюю, совсем случайную встречу нашу с Иваном Зуевым уже в Москве. В Кремле состоялось вручение орденов группе советских добровольцев, сражавшихся в Испании. В их числе боевой орден должен был получить и я.

В зале было много людей. Сначала вручались ордена группе строителей, потом рабочим какого-то завода, а затем за выполнение особых заданий правительства и прояв-

ленные при этом героизм, мужество. Орденосцы, получившие награды за гражданские дела, с уважением смотрели на широкоплечих, румяных парней в штатских костюмах, при галстуках, подходивших к Михаилу Ивановичу Калинин. Получив орден, а иногда не один, а два или три, парень, стукнув каблуками и сказав: «Служу Советскому Союзу!», по команде «кругом!» поворачивался и, отбивая чеканный шаг по дворцовому паркету, проходил на свое место.

Я приподнялся на стуле, когда объявили: «Зуев Иван Васильевич». Он получил два ордена. Красного Знамени и Красной Звезды.

Радостные выходили мы на Красную площадь.

— Ордена-то надо обмыть,— сказал кто-то. Мы ввалились большой группой в гостиницу «Националь», заняли в ресторане большой стол, заказали шампанского. После этого дня нам не доводилось встречаться. И вот, наконец, мы увиделись снова...

...Сейчас мы были одни в землянке. Дружба, которая спаяла нас в Испании, давала возможность говорить откровенно.

Зуеву чуть перевалило за тридцать, когда в марте 1941 года его назначили членом Военного совета этой армии — 11-й армии Прибалтийского особого военного округа. Армия эта стояла буквально на самом острие — на границе Восточной Пруссии.

— Сводки разведки, да и вся атмосфера говорили, что к советской границе подтягиваются отборные гитлеровские войска,— рассказывал мне Иван.— Задолго до начала войны командованию армии было точно известно, что удар со стороны фашистской Германии неминуем. Ночами гудели за кордоном моторы, перебегали оттуда люди, одним словом, сомнений не было.

— Солдаты знали обстановку? — спросил я.

— Чували, знали, конечно.

— А ты, а командование армии? Пробовали вы обращаться наверх?

— Обращались,— Зуев махнул рукой.— Ближе к середине июня стало точно известно, что гитлеровцы со дня на день нападут. Указания сверху были одни: «Не поддаваться на провокации. Никаких явных приготовлений к обороне». Сидели со связанными руками. И, разумеется, принимали все меры в пределах этих указаний, чтобы

отразить удар. Шифровку о возможном нападении гитлеровской Германии на СССР мы получили в ночь на 22 июня, в три часа тридцать минут. А в четыре началась война.

— А если бы хотя за месяц, Иван, твоей армии дали бы прямую команду приготовиться к отражению удара и вооружены были бы вы как подобает?

— Не хочу быть пророком задним числом,— сказал Зуев, поднявшись из-за стола,—но думаю, что мы бы не были сейчас под Старой Руссой.

— Ваня, ты внутренне уверен, что мы победим? Оставаясь наедине с самим собой, уверен ты в нашей победе?

Зуев склонился ко мне, опершись локтями на стол, крепко сцепив кисти рук в один кулак, который опустил на стол, глядя в упор на меня, он сказал:

— Уверен, Рома, убежден в этом. Отдали противнику большую территорию, но многому научились и главное, чему учимся,— бить врага.

— А техника наша? Ведь ты танкист, Иван. Что же наши танки-то?

— В Испании наши танки, ты же видел, были непобедимы. Мы превосходили всех — и немцев, и итальянцев. Конечно, для этой сегодняшней войны Т-26 устарел. Есть у нас Т-34. Прекрасная машина. Но пока их еще мало. Они будут, они придут, нам нужны массы «тридцатьчетверок». Наступила эра глубоких танковых рейдов. Немцы тактику таких прорывов испытали в западных странах. Это им удалось и у нас. Отступая, мы потеряли много людей, городов, но сохранили и войска, и боевой дух. Это я утверждаю. Сейчас нужно везде остановить врага. Остановить во что бы то ни стало. И готовиться к его разгрому.

Мы помолчали. Я смотрел на Зуева, вспоминая того паренька в берете, в кожаной курточке. Изменился он за четыре года. Строже стал. Видно, тяжело достались дивизионному комиссару эти несколько недель войны. А все же сохранились черты молодого, задорного политрука танкового батальона Вани Зуева, ходившего в открытом люке в атаке на подступах к Мадриду.

В землянку вошел пожилой генерал-лейтенант, командующий армией Василий Иванович Морозов. Зуев встал, познакомил командующего со мной.

Северо-Западный фронт, Старая Русса, 11-я армия, Иван Зуев, Василий Иванович Морозов. Все это вместе стало памятной вехой в моей военной биографии.

С Василием Ивановичем впоследствии мы подружались. Высокого роста, сдержанный, интеллигентный, никогда не повышавший голос. В нем я видел волевого, отважного, эрудированного командующего армией. Я его искренне, глубоко уважал.

В тот вечер в блиндаже Зуева мы обсудили, что можно снять в столь трудной, сложной обстановке. Ничего отрадного. Очевидно, Старую Руссу мы отдадим врагу, сделав все возможное, чтобы закрепиться в прочной обороне по эту сторону реки Ловать. Судя по тем силам, которыми здесь располагает противник, на этом рубеже его можно будет задержать. Если, конечно, он не бросит сюда большие танковые соединения.

Мы распрощались поздно ночью и условились с Зуевым, что завтра он возьмет меня с собой в 11-й стрелковый корпус. Адьютант Зуева, подтянутый боевой капитан Бобков, мигая фонариком, проводил до палатки, где меня ожидала встреча с кинооператорами Виктором Доброницким и Владимиром Головней. Они только что приехали из штаба фронта, тоже будут работать в этом районе. Наша задача теперь наиболее рационально распределиться по дивизиям и корпусам 11-й армии, чтобы в съемках не дублировать друг друга.

Стало уже законом—если остановка дольше, чем на час, обязательно рой щель. Не наспех, а добротную щель, такую, чтобы, если станешь в ней во весь рост, голова была ниже поверхности земли. А если присядешь на корточках — надежная защита от любой бомбы, кроме, конечно, прямого попадания.

К нашей «киношной» щели подошел молодой офицер, со шпалой в петлицах, скромный до застенчивости. Мы познакомились. Осадчий — корреспондент фронтовой газеты «За Родину». Он не был отягощен обильным военным имуществом, не было у него ни машины, ни шофера, только солдатский вещевой мешок. Он останавливал на дороге попутную машину, которая везла снаряды на передовую, это и был его транспорт.

У Осадчего было поручение редакции написать очерки о политбойцах. «Что это за политбойцы?» — спросил я.

Он рассказал:

— Формировался полк политбойцов в Ленинграде. Это ополченцы-коммунисты. Они сейчас на самой передовой. Дерутся, говорят, как звери. Немцы уже знают об этом коммунистическом полке, обращаются к его бойцам по радио, листовки им кидают: «Эй вы, коммунисты, бросайте оружие, все равно мы всех вас перевешаем».

В дневнике короткая запись: *«3 августа с Зуевым в штабе стрелкового корпуса. День в Нагово»*. И все.

На рассвете, как было условлено, встретились с Иваном Васильевичем Зуевым. Перед тем как тронуться, он проложил нам на карте маршрут. Переправившись по одному из мостов в обход Старой Руссы, надо ехать к деревне Нагово — там находится штаб стрелкового корпуса. Конечно, не в самой деревне. На карте-километровке Зуев показал, где в лесу, в районе Нагово, мы найдем стрелковый корпус.

Противник сосредоточенным огнем бьет по городу. В некоторых местах в Старой Руссе очаги пожаров. Мы проехали по почти безлюдным улицам, выбрались на дорогу.

Зуев часто останавливался, вылезал из машины. Члена Военного совета интересует все, что происходит в войсках. На каждом шагу — приметы, отражающие происходящее на передовой. У дороги в лесу группа машин. Откуда машины? «Служба тыла стрелкового корпуса, возим снаряды». Сколько снарядов доставили? Сколько ездов сделали вчера? Где находятся батареи?..

Там, впереди, у командира корпуса член Военного совета получит доклад об обстановке, определит силу сопротивления и натиска врага. А здесь, на дорогах, общая картина представляла перед Зуевым в деталях, которые, возможно, и командиру корпуса не известны. Приехали. Зуев настоял, чтобы я пошел с ним к командиру корпуса.

— Я тебя представляю ему, — сказал он, — узнаешь обстановку, а потом уж действуй по своему плану. Но предупреждаю, за всеми твоими передвижениями я буду следить. А изредка, быть может, и приказывать буду. Где бы ты ни был, найду тебя. Подчиняйся мне, плохого не посоветую. На всякий случай напоминаю: у тебя одна шпала, а у меня два ромба. Ясно? — сказав это, он улыбнулся и хлопнул меня по спине. Кто был в Испании, навсегда привык к этому жесту. И добавил по-испански: — Буэно, сеньор!..

последний кадр
володи сущинского

Сейчас, по прошествии многих лет, оценивая обстановку в августе на Северо-Западном фронте, можно вспомнить одну примечательную особенность: возникла линия фронта. Да, на стороне врага оставалось еще большое преимущество в силах. Но это уже не июньские дни, когда противник прорывался на десятки, сотни километров. Сейчас на карте проходила точно очерченная стабильная линия фронта. Относительно стабильная — где-то она поддавалась, пружинила, давала изгибы, но все же это была уже линия фронта. И командир стрелкового корпуса видел эту линию, знал, на что он способен в обороне, знал, на что способны его бойцы, его артиллерия, его тылы. И мог уже рассчитывать, правда, на небольшое количество авиации. Советские самолеты начали появляться в небе, прикрывая иногда наши боевые порядки.

Раньше мы смутно представляли, какие же части врага действуют против нас. Сейчас в докладе командира корпуса члену Военного совета были уже фразы: «Пленный немецкий ефрейтор на допросе показал, что здесь действует...» — называлась дивизия, танковая часть... Словом, палицо новые черты войны. И, очевидно, немецкие военачальники в полной мере не сумели еще разглядеть и ощутить те новые качественные изменения, которые произошли в действиях наших войск. А между тем у нас появилось главное — уверенность, что немцев можно бить, появилось знание их уязвимых мест.

С высокой колокольни в деревне Нагово, где находился артиллерийский наблюдательный пункт, мы могли оглядеть линию фронта. Видно было, как наша тяжелая гаубичная артиллерия обрабатывает немецкий передний край и ближние тылы. А позади виднелась Старая Русса, по которой противник вел сильный огонь. В городе уже было много очагов пожара. Прильнув к стереотрубе, почувствовал — кто-то положил мне руку на плечо. Это был Роман Григорьев, начальник киногруппы Северо-Западного фронта. Объезжая армии, где работали его операторы, он воп куда забрался, на самый передний край, на колокольню. Первое, что он сделал после рукопожатий, вручил мне письма из дому, пришедшие на полевую почту в Валдай. Пока офицер показывал ему в стереотрубу поле боя, я, присев тут же на полу, прочел письма. Письма из Саратова. Семья моя уже была там.

Жена пишет о трудном, долгом пути пароходом с матерью и сыном от Москвы до Горького. В Горьком — несколько дней на забитой людьми пристани в ожидании другого парохода. В Саратове приютили родственники. Карточки, молоко, Сашуля болеет, тревога за меня... Каждое письмо кончается словами, теми же, что в миллионах конвертов, идущих издалека на войну: «Береги себя...» У подножия нашей колокольни разорвались несколько снарядов. Враг, конечно, понимает, что здесь должен находиться наблюдательный пункт.

На полевой карте условным кружочком отмечен командный пункт 183-й дивизии, которая ведет бой на главном направлении. Дивизия преграждает немцам путь к Старой Руссе, она обескровлена в неравной борьбе, противник значительно превосходит ее и в живой силе, и в огневой мощи. Комиссар корпуса серьезно предупредил, что на отдельных участках противник вклинивается в нашу оборону, можно попасть в опасную ситуацию. Обзор с колокольни дополнил то, что мы видели на карте. На машине в дивизию не проедешь, нужно идти пешком.

Мы уже не расстанемся с Григорьевым, и я все время подшучиваю, что теперь, когда обеспечено твердое руководство, нам, операторам, уж думать не о чем, за нас будет думать начальство.

Григорьев впервые окунулся в боевую обстановку. И, нужно сказать, обстановку сложную. Старается виду не показывать, когда всем нам бывает страшно.

В этот день наши попытки пробраться в части 183-й дивизии оказались напрасными. Путь преграждали сильные огневые налеты противника, который бил по площадям. Так было несколько раз, а заставлял нас артиллерия обычно в местности, лишенной каких-либо углублений, даже кювета не оказывалось вблизи. Дважды нас прижимала к земле авиация противника.

Однако и в этот, казалось бы, безрезультативный день мы кое-что сняли. Сняли репортажные зарисовки на ближних подступах к линии фронта. Бытовые куски — солдаты, санитары, полевые кухни, раненые, идущие в тыл.

Сейчас, когда я вспоминаю военные кадры, снятые фронтовыми кинооператорами, мне дороги не только стреляющие пушки и ведущие огонь из пулеметов бойцы. Дороги именно эти трудные будни войны. Удивительная

вещь: ведь сразу можно отличить кадры, снятые вблизи от передовой, от подобных же, казалось бы, кадров, снятых в нескольких километрах от линии фронта. Скажем, ест солдат кашу, которую ползком доставил ему в термосе повар на самую передовую, взглянет мимоходом в объектив твоей камеры, и сразу понятно: это — взгляд человека, которого смерть караулит где-то совсем рядом. Как великолепно снимал такие кадры фронтовой кинооператор Володя Сущинский! После того как он погиб, собрали весь его фронтовой материал и сделали фильм памяти Сущинского. Фильм построен как дневник фронтового кинооператора. В этом дневнике сохранился и последний кадр, снятый Сущинским. Бойцы, согнувшись, перебегают через железнодорожную насыпь, вдруг в кадре рвется снаряд. Осколок этого самого снаряда оборвал жизнь Володи Сущинского. Шедеврами военного кинорепортажа, которые он оставил нам, были его «окопные репортажи». В этих кадрах Сущинский сумел увидеть и запечатлеть облик войны.

Бой у КП армии Усталые, измученные вернулись мы на свою стоянку в расположении штаба 11-й армии. Хотел повидать Зуева, но оказалось, что есть еще один КП армии по ту сторону реки. Там — командующий армией, член Военного совета, начштаба. Ну что ж, завтра и мы переправимся туда.

Привожу записи тех дней в моем дневнике:

5 августа 1941 года. «На рассвете выехали в корпус, едем через горящий город. Старая Русса горит. Через некоторые улицы не удалось проехать, пришлось податься назад и, обходя особо опасные места, полыхающие сплошным пожаром, выехать на северную его окраину. Нашли передовой КП, командный пункт армии. Он близко у реки, в болотистом леске. Здесь только главные органы армейского управления.

Первым делом вырыли глубокую добротную щель недалеко от землянки Зуева. Противник крепко жмет из Нагово. Вчера я там взбирался на колокольню. Сейчас немец занял деревню и находится уже на полпути к Старой Руссе. Поехали в сторону Нагово. По пути были остановлены командиром, который сказал нам, что 183-я дивизия отходит. Пикирующие бомбардировщики бьют по дороге. По городу бьют минометы и артиллерия противника».

6 августа 1941 года. «Продолжается ожесточенный бой за Старую Руссу. Наступают два немецких полка — танки и массированная артиллерия. К вечеру 6-го противник проник в Дубовицы — северная окраина города. Мы взорвали мосты, оставив лишь один железнодорожный. Командный пункт армии, где мы базируемся, все еще остается на той стороне реки. В распоряжении командного пункта есть небольшая замаскированная переправа. Сегодня противник уже пытался ее разбомбить. Если ему это удастся, нам придется бросить здесь машины и переправляться вплавь».

7 августа 1941 года. «Ожесточенные бои за Руссу. Немец просачивается через реку на правом фланге и на левом (254-я дивизия). Русса горит. Все небо в зареве. Бьют залпами его минометы, и без перерыва бьет наша артиллерия. Сегодня над нами пролетели 35 фашистских самолетов, бомбили Медниково. По ошибке сильно разбомбили свои собственные войска на том берегу Руссы. Как мы ликovali, наблюдая эту бомбежку! Почаще бы так. Наши наконец появились в воздухе! 21 самолет. Добавили им».

8 августа 1941 года. «Руссу полностью занял противник. Хочет развивать наступление. Идут сильные бои. Наша артиллерия бьет беспощадно. Немец, просочившись к устью реки Ловать, захватил плавучие средства рыболовецкого колхоза. Туда послан заслон и направлена наша авиация».

9 августа 1941 года. «Бой приближается к командному пункту армии. Наш лесок уже прочесывается минометным огнем. Залезли в щели. Ночью спать невозможно. Земля дрожит от разрывов. Утром пять «мессершмиттов» пронесли несколько раз над нашим леском, прострочили из пулеметов расположение штаба армии. Противник наступает от Медникова, которое он захватил. По последним сведениям, противник бросил сюда свежую дивизию из Восточной Пруссии. Мины рвутся уже в расположении штаба армии и за нами. Бой идет в полукилометре от КП. На наше счастье, поил дождь. Значит, авиация противника на время вышла из игры. Штаб армии снимается. Едем к переправе по дороге, которую противник обкладывает минами и снарядами дальнoбойной артиллерии».

Благополучно переправились. В 8 часов вечера из деревни Борки наблюдали, как восемь пикирующих бомбар-

дивовищиков крошили нашу последнюю переправу. На КП армии по эту сторону реки в густом сосновом лесу вырыли себе новую щель».

Итак, Старую Руссу мы отдали. Они взяли город большой кровью, бой шел за каждый метр, за каждый дом. Тяжело было противнику, он без конца подбрасывал подкрепления, усиливал авиацию, концентрировал артиллерию. Пленные говорят об огромных потерях, которых стоила немцам эта победа.

Запись в дневнике 10 августа: *«К вечеру едем на командный пункт стрелкового корпуса. Он находится в Ясной Поляне за рекой Ловать, за Парфино».*

Ехать ночью туда, где полыхает ночное небо, жутковато. Около наспех наведенной переправы пылают станция и деревня. С трудом нашли командный пункт корпуса. Мины ложатся рядом. Тут же мы затушили два очага пожара. Холодно, сыро. Под деревьями я угадал фигуру начальника штаба корпуса.

— Как вы думаете здесь снимать? — спросил он. — Наша 183-я дивизия перемешалась с немцами. Бои идут слоеным пирогом. Предупреждаю, обстановка очень сложная, не лезьте вперед. Советую переждать.

Рядом легла с грохотом мина. Звонящий рой осколков проносится по листве над нашими головами. К начальнику штаба корпуса подошел совершенно измученный, засыпающий на ходу начальник артиллерии. Он сказал: «Щупают наш лес, придется пугнуть их, заставить замолчать...»

Запись в дневнике 11 августа 1941 года: *«Вернулись на КП армии. Ожидаем операции. Написал статью для армейской газеты «Знамя Советов». Наборщики работают в щелях».*

Далеко за полночь я шагнул через порог блиндажа Зуева. Неутомим дивизионный комиссар! Почти все эти дни провел он под бомбежками на передовой, на наблюдательных пунктах дивизий, полков. Когда противник подошел вплотную на расстояние автоматного выстрела к штабу армии на той стороне реки, а переправа, последняя переправа, была под артиллерийским огнем и бомбежкой, Зуев, оказывается, с автоматом в руках возглавил оборону штаба армии. Его «эмка» последней прогромы-

хала по почти разбитой переправе. Никто не знает, когда дивизионный комиссар спит, когда он отдыхает. Ни тени усталости на лице. Меня он встретил вопросом:

— Как самочувствие? Как настроение?

— Самочувствие хорошее, настроение паршивое, — ответил я.

— Это почему же? Напрасно, зря!

— А у тебя хорошее настроение?

— Мне сложнее. Большие потери, отдали врагу большой город, в общем-то для хорошего настроения мало оснований. Но противник очень рискованно подставил свои фланги под наш удар. Так и быть, открою тебе военную тайну. Уже отдан приказ, окружаем немецкую группировку под Старой Руссой, хотим им нанести удар.

— А скажи, Ваня, веришь ты, что мы окружим, разгромим немцев под Старой Руссой?

— Для них очевидно, что если мы хоть что-то сомыслим в военном деле, то, несмотря на наше положение, мы должны их окружать. Смотри, — он подвел меня к карте, — они подставили нам свои обнаженные фланги, залезли в мешок. Так вот, чтобы приковать сюда лишние две-три их дивизии, чтобы продержатъ здесь, на нашем фронте, корпус Рихтгоффена, мы и осуществим эту операцию. Ведь корпус Рихтгоффена сейчас во как нужен им на Украине, на Смоленском направлении. А мы вынуждаем их крупнейший авиационный кулак держать здесь.

Был уже третий час ночи.

— Чайком угостишь нас, Митя? — сказал ординарцу Зуев. На столе мгновенно появился чай, колбаса, масло, варенье. Чай мы пили не из кружек — из стаканов.

Я помнил по Испании, что Зуев не пил спиртного. И когда он из гостеприимства спросил: «Выпить хочешь?», я искренне сказал: «Нет». Не хотелось мне пить. Мы начали вспоминать...

...Мы шли по улицам осажденного Мадрида. В перерыве между боями лежали на спине, на рыжей каменистой кастильской земле. Потом, согнувшись, ходами сообщений прошли в университетском городке. На берегу Мансанареса заглянули в блиндаж Саши Родимцева, побывали на НП 12-й интербригады. Испания, Испания!..

...О том, что наступил рассвет, нам сказал вошедший в блиндаж адъютант Зуева Бобков. Мы бы так и не заметили, сидя в землянке, что рассвело. Над нами было небо Кастилии, мы шли по полям первой битвы с фашизмом,

начавшейся на испанской земле и продолжавшейся здесь, недалеко от стен великого Новгорода.

Мы вышли из блиндажа. Было уже светло. Птицы встречали новый день войны тысячеголосым щебетом.

Мы распрощались с Зуевым. Мог ли я подумать, что больше никогда его не увижу? Мог ли предположить, как трагически оборвется жизнь моего боевого друга?

Комсомолец 20-х годов, политрук танкового взвода в Испании, Иван Зуев стал дивизионным комиссаром, членом Военного совета 2-й ударной армии, которой командовал генерал Власов. 2-я ударная армия оказалась в трагическом окружении, где люди героически дрались, прорывая кольцо. Иван Зуев, не зная о предательстве командарма, выводил войска из окружения. Он был ранен, он ложился за пулемет, бросал людей в атаку. Комиссар Зуев поднимал дух измученных, израненных, опухших от голода бойцов, вел их на прорыв, возвращался обратно в кольцо окружения и выводил оттуда новую группу бойцов.

Зуев был при всех орденах, с ромбами в петлицах, с партийным билетом в кармане, когда он наткнулся на гитлеровцев. Раненый, изможденный, с двумя пистолетами в руках, комиссар принял неравный бой, последнюю пулю пустил себе в сердце. Живым немцы Зуева не взяли. Русские женщины похоронили Ивана Зуева у насыпи Октябрьской железной дороги, недалеко от полустанка Мясной Бор. Он числился пропавшим без вести. И только двадцать с лишним лет спустя деревенские пионеры разыскали могилу, опросили местных жителей, списались с родными Зуева. Над могилой был установлен обелиск. С тех пор машинисты, ведя составы мимо могилы, дают долгий протяжный гудок, который разносится по окрестным лесам и лугам. Салют мертвому комиссару.

С каждым днем записи в дневнике становятся все короче и короче. Да это и понятно. Когда сейчас перед глазами встает август сорок первого года под Старой Руссой, вспоминается и предельная нервная напряженность, дожди, физическая усталость, горечь поражений. Спали мы на земле под растянутой плащ-палаткой. Удручало, что мы в эти дни мало снимали. Бывало, за тяжелый день, проведенный в скитаниях, под обстрелами, под бомбежками, мы снимали всего лишь семьдесят-сто метров пленки. Сейчас эти кадры очень ценны, но тогда мы этого не ощущали.

Сохранилось фото тех дней. Меня спял Борис, щелкнул, когда я спал, перед заходом солнца. В мокрой шинели, засунув руки в рукава, прислонившись к дереву. Такими усталыми солдатами были кинохроникеры в первые месяцы войны. Измученными выглядели Виктор Доброничский и Володя Головня. Головня помоложе, он выглядел еще сносно, а на Доброничского страшно было смотреть — запавшие глаза, втянутые щеки, асфальтового цвета лицо.

Оператор Виктор Доброничский, говоря без преувеличения, был гордостью нашей кинохроники. Мастер событийного кинорепортажа, он был автором великолепных индустриальных сюжетов, рассказов о людях труда. Удивительное было у него владение светом, композицией кадра. Был он мастером на все руки. Великолепным механиком, знатоком киноаппаратуры, через год после того, как вышел из стен института кинематографии, Доброничский стал в первый ряд мастеров советского документального кино. В 1939 году он вместе с Сергеем Гусевым и Александром Щекутевым, операторами старшего поколения кинохроникеров, уже прошел боевое крещение на Халхин-Голе.

Мы расстались с Доброничским и Головней на рассвете. Вот записи в дневнике.

12 августа. *«Окружаем немца. Наши части заходят ему в тыл с юго-запада от Старой Руссы. А он жмет всеми силами на Парфино».*

13 августа. *«Операция развивается. Противник в эти дни большими силами жмет на Шимск. Бросил туда авиационный корпус, 6-ю дивизию, много танков. Наши там дерутся, как звери. А здесь, к юго-западу от Старой Руссы, за несколько дней мы продвинулись километров на десять.*

Немцы в своих листовках грозятся живьем взять Федюнина, командира 70-й дивизии. 70-я дерется в полном окружении. Едем на новый командный пункт в Новоселье. Доброничский и Головня направились в 12-й стрелковый корпус, а мы — на участок 163-й дивизии».

Далее в дневнике еще запись, датированная тоже 13 августа: *«Едем на командный пункт 163-й дивизии. Переправились через Ловатъ. Углубились в тыл противника. Части 202-й уже дерутся около самой Старой Руссы. Проехали до деревни Соколово. Здесь нас взяли в работу самолеты. До вечера не могли поднять головы. После захо-*

да солнца нашли машину, поехали. Заблудились ночью в лесу. Подобрали раненого красноармейца, бывшего комбайнера Иванова».

Наступление наших войск производится по указаниям Ставки. Перед войсками 11-й армии и действующей слева от нее 34-й армии поставлена задача — окружить и уничтожить противника в районе Шимска, Сольцы, Старая Русса. Здесь, на стыке Ленинградского и Московского направлений контрудар имеет многостороннее стратегическое значение — лишить противника возможности выйти на Валдайскую возвышенность и в то же время облегчить положение войск, преграждающих ему путь на Ленинград.

Обе эти задачи, как мы узнали позднее, были выполнены. Контрнаступление под Старой Руссой значительно облегчило положение войск лужского участка обороны, где обескровленная наша 48-я армия сражалась с гитлеровцами на дальних подступах к Ленинграду. «Дальних» — это на языке военных. Для них сто километров — дальние рубежи. Но если вдуматься, гитлеровские войска в ста километрах от Ленинграда! Час езды по хорошей автострате...

А на Валдайскую возвышенность немецкие войска так и не вышли до конца войны. Об этом с гордостью вспоминают сейчас, по истечении многих лет, ветераны Северо-Западного фронта. Не раз немцы пытались прорваться, но так и не смогли это осуществить.

Развивая наступление, наши войска продвинулись на шестьдесят километров, глубоко охватив правый фланг старорусской группировки врага. Это вынудило командуящего группой гитлеровских армий «Север» в спешном порядке перебросить сюда 56-й моторизованный корпус, моторизованную дивизию СС «Мертвая голова», повернуть сюда свои танковые соединения, бросить сюда же авиационный корпус Рихтгоффера, который в это время поддерживал немецкое наступление на Ленинград.

Нас было четверо, разыскивающих 13 июля командный пункт 163-й дивизии. Борис, я, корреспондент фронтовой газеты «За Родину» Осадчий и капитан Толчинский из Политуправления фронта. Последние двое присоединились к нам в штабе армии.

Мы нашли указанную нам в штабе армии попутную переправу через Ловать. Были немало удивлены тем, что переправа оказалась цела, ее не бомбили и не обстреливали. Машину оставили в деревне Соколово, нагрузились

аппаратурой и пленкой, разделив груз с нашими добровольными помощниками, и тронулись.

За деревней Соколово лежало широкое поле, а в километре за полем — густой лес. Там, в этом лесу, мы должны были найти КП дивизии. Доносилась откуда-то артиллерийская канонада, но сколько мы ни вслушивались, пытаясь определить — где же гремят пушки, это нам так и не удалось. День был удивительно ясный, безоблачный. Солнце жарило вовсю. Помню, я засек время: было около двенадцати часов, когда мы увидели на небольшой высоте группу немецких самолетов. «Наверное, будут бомбить переправу», — подумал я. Поле было ровное, однако в тридцати метрах справа я увидел малоприметный овражек. Прикинув расстояние, понял, что не успеем добежать до него. Очевидно, Шер с Толчинским тоже увидели какое-то углубление в ровном поле и залегли там, а я и Осадчий рухнули на землю и замерли. «Самолеты, пролетят, — решил я, — и тронемся дальше...»

Но не успели мы «приземлиться», как увидели, что от самолетов, идущих прямо на нас на небольшой высоте — что-то около пятисот метров, посыпались бомбы и со свистом пошли к земле. Самолеты шли развернутым строем. Шер с Толчинским были метрах в тридцати от нас, и эти зловещие черные точки, увеличивающиеся с каждой секундой, неслись и на них. Вокруг загрохотало, поднялись клубы дыма, пыли. Пролежав несколько секунд, мы подняли головы. Я окликнул Шера и Толчинского. Они ответили. Мы хотели уже встать, но над лесом увидели еще тройку самолетов. Она шла примерно в нашем направлении. Слова легли. Эти три самолета не сбросили бомб, но они шли на высоте трехсот метров, я видел за стеклами голову пилота и, казалось, поймал на себе его взгляд. Было страшно пошевелить даже мускулом плеча. Новый шум моторов послышался слева. Теперь в нашу сторону шла девятка самолетов. «Когда же это кончится?» — подумал я. И тут же послышалось завывание приближающихся к земле бомб. Снова грохот разрывов, на этот раз, правда, в некотором отдалении от нас. «Они бомбят по площадям», — решил я. И, подняв голову, осторожно, с опаской огляделся вокруг. Куда хватал глаз, были видны группы самолетов, летавших на небольшой высоте, и слышались разрывы бомб.

Надо было бы как-то попасть в овраг, там безопаснее, не лежать же здесь, в открытом поле. Но бежать к оврагу,

до которого всего лишь тридцать метров, уже было нельзя. Прямо на нас шла еще одна группа самолетов. И снова — ощущение, что все бомбы, все эти черные точки, которые со свистом идут к земле, нацелены прямо тебе в переносицу, в поясницу, в мозжечок. И ты, как кролик, прижался к земле, и деваться тебе некуда. Мог ли я предположить всего лишь четыре года назад, лежа в окопе на переднем крае обороны Мадрида, где меня застигли «юнкерсы» легиона «Кондор», которым командовал генерал фон Рихтгоффен, мог ли я подумать тогда, что так же буду лежать на нашей, советской земле под бомбежкой того же Рихтгоффена и его воздушных бандитов.

Время тянулось невероятно долго. Стрелки часов были почти неподвижны. А поднять голову нельзя. Ну, хоть пятиминутная передышка! Только бы добежать до оврага, который казался теперь спасительным. Но передышки не было. Не было минуты, чтобы в воздухе не висели самолеты. Казалось, что пилот, летящий там, над лесом, увидев твою одиночную фигуру, бегущую к оврагу, сразу развернется и обрушит на тебя весь свой бомбовый груз. Да, видно, угроза окружения и разгрома немцев под Старой Руссой была реальна, если самый могучий свой авиационный кулак немцы бросили сюда с задачей прижать все живое к земле на фронте в двадцать километров. И теперь, лежа под этой, нависшей над нами смертью, видя иногда за стеклянной рубкой лицо пилота, который, казалось, подмигивал: «Все равно до тебя доберусь», мне казалось, что я не найду покоя, — только бы дожить до того времени, когда смогу взглянуть с борта самолета вниз на прижавшихся к земле фашистов, увидеть, как падают бомбы на их головы... Каждая минута казалась вечностью. И, когда в очередной раз с чудовищным завыванием понеслись к земле бомбы, Осадчий, лежавший рядом со мной, зарычал, закрипел зубами, прохрипел: «Я больше не могу». Я сжал его руку. Он выплюнул на ладонь другой руки осколок зуба, который сломал, стискивая челюсти.

В деревне, где мы остановили свою машину, уже побывали немцы. Деревня мертва, все жители ушли или за Ловать, или в леса. С того места в поле, где мы лежали, прижавшись к земле, видны были и другие две деревушки. Отсюда мы увидели, с какой чудовищной методичностью громили их немцы, как они сыпали бомбовыми залпами по кустарникам, по рощам, где, как они предполагали, скрывается население этих деревень. Они хотели уничто-

жить все живое. Мы видели издалека, как две женщины и четверо ребятишек поднялись из лощинки и через вспаханное поле побежали к лесу, чтобы там укрыться. Кто-то из леса крикнул: «Ложитесь!» Но было поздно, летчики увидели их. Два самолета развернулись и ринулись, пикируя, стреляя из всех пулеметов. Женщины и дети упали. Кто-то из них был, очевидно, убит, кто-то ранен. Но гитлеровцы пошли на второй заход и, сбросив еще несколько бомб, завершили кровавую расправу.

Медленно, как мучительно медленно двигалось солнце к западу. Более длинного дня я не припомню в своей жизни. Сколько раз мы уже были готовы вскочить и броском преодолеть эти непреодолимые тридцать метров, отделявшие нас от оврага, который казался нам бомбоубежищем. И каждый раз, когда этот прыжок казался возможным, вновь точно магнитом притягивало нас к земле, ибо над головой снова оказывались самолеты. Сколько раз после того, как рассеивалось окружавшее нас или Шера с Толчинским облако дыма и пыли, начиналась переключка: «Живы?» — «А вы как?»

Знаменитый авиационный корпус Рихтгоффена, эта летучая гитлеровская банда, прославилась разбойничьими налетами на мирные города Греции, побывали эти молодчики и в Северной Африке. А сейчас огромные потери, которые немецкая армия несла в боях на Северо-Западном фронте, вынудили командование группы войск «Север» перебросить корпус в район озера Ильмень.

Появление здесь воздушной армады было ознаменовано торжественным приказом германского командования. «Вам дается огромной силы наступательное оружие, — обращалось к солдатам командование. — При поддержке этой силы вы должны во что бы то ни стало развивать наступление, продвинуться вперед вслед за градом бомб, который будет расчищать вам дорогу. Только вперед! Без колебаний, без страха!»

Это воззвание попало в наши руки дня два назад. Германское командование хотело поднять упавший дух своих гренадеров, привыкших к легким победам. Но сегодня это воззвание уже теряло свой смысл, потому что в то время, как ударная группа немецких войск вклинилась в нашу оборону, советские войска на левом фланге осуществили контрудар, о котором говорил мне Зуев.

Наши войска на далеком левом фланге направили свой удар от берегов реки Ловать в глубокий тыл противника,

и вся его группировка, вклинившаяся в западное направление Старой Руссы, оказалась зажатой между озером Ильмень и частями Красной Армии, развивающими фланговый удар. Вот тут-то корпусу Рихтгоффера пришлось выполнять совсем другую задачу. Уже не наступление «вперед за градом бомб, без колебаний, без страха» было его целью. Теперь нужно было задержать наше наступление, предотвратить окружение немецких войск около озера Ильмень под городом Старая Русса.

Смеркалось, а мы так еще и не добрались до оврага. И только сейчас, когда самолетов в воздухе становилось с каждой минутой все меньше и меньше, впервые можно было подняться во весь рост и оглядеться кругом. Где-то над лесом тянули на посадку звенья бомбардировщиков, закончивших свой дьявольский «рабочий день». Поистине можно было считать чудом, что мы остались целы. Все поле, где мы лежали, уткнувшись носом в землю, было изрыто оспой воронок, больших и малых. Ни много ни мало — десять часов пролежали мы под этой сумасшедшей бомбежкой.

Неделей позже, когда мы встретились с Доброницким и Головней, они рассказали нам, что в этот же день они утром залегли у рощи, а когда вечером оглянулись — рощи не было. Бомбежкой роща была снесена, будто кто-то гигантской косилкой прошелся по ней. Им, правда, повезло, они в начале бомбежки обнаружили надежную щель и в ней пролежали до захода солнца.

Мы пошли к деревне, где оставили свою машину. Шли медленно, обмениваясь впечатлениями о пережитом. Еще час назад было нам не до смеха, а сейчас уже сыпались остроты, шутки, в которых было в общем-то мало веселого. Я, например, не решился подтрунить над Осадчим, не напомнил ему о сломанном зубе. Вспоминали, как охватывала нас тревога друг за друга.

А теперь настал черед тревоги за машину. Ведь немцы целый день осыпали бомбами деревушку, в которой мы ее оставили. Цела ли полупторка, жив ли шофер? Удивительные все же бывают вещи на войне! Удивительные и необъяснимые. Шагая по деревенской улице, мы увидели нашу машину. Цела и невредима! Шофер, заметив нас издали, вывел машину из укрытия и стал разворачиваться на деревенской улице.

Мотор полупторки был не ахти как хорош, а после многочасового покоя остывший двигатель извергал облака

белого дыма. Счастливый и радостный шофер, увидев нас живыми и невредимыми, выскочил из кабины навстречу нам. В эту минуту мы увидели три вражеских самолета, которые приближались к деревне, где на самом видном месте немилосердно дымила наша полуторка...

— Воздух! — раздался вопль Толчинского. Все мы бросились в канаву, прижались к земле. «Рано веселились», — подумал я. А самолеты, чуть изменив курс, пошли прямо на нашу машину. Откуда они взялись? Ведь солнце давно зашло. Их на аэродроме небось заждались. Остались ли у них бомбы?.. Остались. И все эти бомбы были сброшены над деревней. Пилоты, очевидно, торжествовали: можно было предположить, что целая танковая бригада прогревала здесь свои дизеля.

Рассеялась пыль. Посреди улицы стояла наша полуторка целая и невредимая, и мотор ее тарахтел на малых оборотах, продолжая выпускать чудовищное количество проклятого белого дыма.

— Нет, к чертям, — сказал Осадчий. — Ставьте машину в укрытие, и, пока окончательно не стемнеет, лично я никуда не поеду. Хватит с нас на сегодня.

— Теперь мы окончательно можем считать тринадцатое число своим счастливым числом, — сказал Борис.

Дождались темноты. Говоря откровенно, мы были просто в шоковом состоянии после того, что испытали за день. И когда кто-то предложил не искать сегодня штаб дивизии, — где его найдешь в темноте, еще забредем к противнику, — все немедленно с этим согласилось. Но прежде всего надо убраться из деревни, потому что с рассветом вражеские самолеты могут возобновить свою деятельность. Решено было переправиться через Ловать, переночевать в надежном леске по ту сторону реки. Так и сделали.

Ужин из мясных консервов, приготовленный Толчинским на костре, был великолепен, чарка водки, тихий разговор. Кто из воевавших не испытал этого поразительного перехода от состояния предсмертной тоски к полному душевному покою. Что касается меня, то сегодня я подвел новый итог в своих отношениях с гитлеровской авиацией. Счет был открыт в сентябре тридцать шестого года под Талаверой, когда меня впервые настигли «юнкеры». Это было пять лет тому назад.

Проснувшись, быстро помылись в маленьком озерце, закусили. Еще до восхода солнца форсировали реку по странном образом уцелевшей переправе и тронулись

по пути наших частей, продолжающих развивать фланговый удар.

Идя по свежим следам недавних жестоких боев, мы едва успевали перезаряжать кассеты. Снимали разрушенные, выжженные дотла деревни, снимали крестьян, у которых гитлеровские бандиты отняли все до нитки, снимали трофеи, захваченные нашими войсками — орудия, пулеметы, сняли группы военнопленных. В одной из немецких штабных машин бойцы обнаружили целый склад барахла. Чего только здесь не было — сорочки, лакированные туфельки, отрезы. А в добротном штабном портфеле оказался завернутый в полевую карту... кокетливый розовый бюстгальтер. На эти трофеи, разумеется, не пожалели пленки...

В тот период под Старой Руссой у немцев было, конечно, подавляющее преимущество в воздухе. Но вскоре положение уже начало изменяться. Мы услышали, что на Северо-Западный фронт прибыли наши воздушные подкрепления. Наконец-то! И вот настал день, когда фашистской авиации был нанесен первый жестокий удар. Впоследствии стали известны и подробности.

Все началось с того, что фронт перешли трое партизан. Их одежда была в пыли, грязи. Они попросили немедленно доставить их в штаб армии, штаб фронта или в ближайшую авиационную часть. Это было в начале партизанского движения, когда наши партизанские отряды еще не были оснащены надежно действующей радиоаппаратурой, еще только налаживалась регулярная воздушная связь с партизанскими центрами.

Перешедшие фронт партизаны сообщили, что на вражеских аэродромах в городах Демьянске и Сольцы сконцентрированы крупные авиационные силы немцев. Наши самолеты в эти дни были сосредоточены на полевых аэродромах Северо-Западного фронта, стояли готовые к вылету, заправленные горючим и бомбами. Решение было принято немедленно. Самолеты поднялись в воздух.

Это был совершенно неожиданный для немцев удар. Наши самолеты появились над аэродромами противника так внезапно, что зенитные батареи не успели открыть огонь. На широком поле аэродрома несколькими рядами выстроились фашистские самолеты корпуса Рихтгоффена. Дело было к вечеру, около самолетов стояли накрытые столы. Немецкие летчики ужинали, только что возвратившись с боевых вылетов.

Первую серию тяжелых бомб сбросили бомбардировщики. Затем на бреющем пошли утюжить истребители. Десятки немецких самолетов запылали. Летчики замечались по аэродрому, забивались в щели, истребители косили их пулеметным огнем. Когда немецкие зенитные батареи попытались открыть огонь, они были тут же подавлены.

Буквально в считанные минуты были полностью уничтожены семьдесят четыре немецких бомбардировщика.

Без потерь вернулись наши летчики на аэродром. На Северо-Западном фронте было ликование. Ненависть к воздушным бандитам из корпуса Рихтгоффена настолько накалилась, что удар, нанесенный по их аэродромам, вызвал бурю энтузиазма. Радовался и я — наши летчики расплатились и по моему личному счету.

Мне захотелось увидеть летчиков-героев. Захотелось запечатлеть на пленке их боевую работу.

Шел к концу третий месяц войны.
Фронтовые операторы за это время
уже стали военными людьми.

Вдоволь натерпелись, привыкли смотреть смерти в глаза. Многие из нашего отряда фронтовых кинохроникеров сложили головы. Погиб жизнелюб, охотник, неразговорчивый Коля Самгин. Он был убит в первый месяц войны. Остался последний его снимок — в стальной каске, обросший щетиной, усталым взглядом смотрит на нас — живых. Паша Лампрехт, застенчивый, мечтательный, хрупкий, похожий на подростка. Товарищи видели, как его голова скрылась под балтийской волной. Всегда трудно примириться с гибелью товарища, но эти, первые потери, были особенно ощутимы, особенно тяжелы.

Кинооператора теперь можно было уже встретить во всех родах войск — на флоте, в танковых войсках, в пехоте. Воины Красной Армии привыкли в трудную минуту видеть рядом спокойного человека с киноаппаратом. В эти дни кинооператоры Марк Трояновский и Соломон Коган снимали героические будни обороны Одессы. Владик Микша снимал в Севастополе, мы слышали, что он был контужен, но не прекращал съемки. Вместе с ним работали операторы Дима Рымарев, Кротик-Короткевич, Костя Ряшенцев. Перешел линию фронта старейший кинохроникер Сергей Гусев. Сейчас он снимает в партизанском отряде, в немецком тылу. На днях в «Правде» мы видели крупно напечатанный кадр из кинохроники, снятой оператором

Николаем Вихиревым с борта боевого самолета, — бомбежка вражеских колонн. Он снимал на Южном фронте.

Материал со всех фронтов шел в Москву. Каждый три дня на экранах теперь появлялся «Кинорепортаж с фронтов Отечественной войны». Уже определяется система фронтовых групп кинохроники.

В те дни я много раздумывал о нашей фронтовой кинохронике. Какой должна она быть? Какое место она должна занимать в патриотической пропаганде, в деле организации, сплочения советского народа? Невольно вспоминались слова Ленина: «Производство фильмов, насыщенных коммунистическими идеями, отражающих советскую действительность, надо начинать с хроники...» Ленин сказал это в первые годы нашей революции, когда с интересом смотрел хроникальные кадры, рассказывающие о первых достижениях советского народа, показывающие первые ростки строительства социализма в нашей стране.

Еще не скоро появятся на экранах художественные фильмы. Киностудии эвакуированы в Ташкент, Алма-Ату — когда они еще начнут выпуск фильмов? А мы, хроникеры, здесь, на линии огня, с камерой в руках. Очевидно, сейчас документалистам пора переходить от репортажей в киножурналах к короткометражным фильмам, к тематическим выпускам. Эта мысль как нельзя более совпадала с непокидающим меня желанием подняться в воздух на боевом самолете, желанием прославить наших летчиков, которые при пока еще существующем неравенстве сил вступают в единоборство с врагом, зачастую выходят победителями в воздухе.

Да, не просто репортаж. Уже задуман короткометражный звуковой фильм о бомбардировщиках. Звуковой в буквальном смысле слова — не озвученный, а именно звуковой. Я возьму в напарники звукооператора Халушакова. Последний звуковой репортаж мы вместе снимали в полярную ночь на 82-й параллели, в Гренландском море, в экспедиции по спасению дрейфовавшего два с половиной года ледокольного парохода «Георгий Седов». Мы взяли тогда в экспедицию звуковую камеру и не пожалели об этом. Очень выразительными эпизодами фильма «Седовцы» были те, где зритель в суровой обстановке полярной ночи мог слышать голоса спасенных страной героев-седовцев.

Итак, будем снимать киноочерк о боевых буднях авиационного полка.

Деревня Будово. Она расположена на шоссе Москва—Ленинград, между Валдаем и Вышним Волочком. А если от деревни Будово, обнаружив между домами почти незаметный поворот на проселочную дорогу, проехать километра три полями и рощами, то попадаешь на большое поле, окруженное лиственными лесами. Это поле и служило аэродромом полку пикирующих бомбардировщиков. Полк этот был мне дорог еще и тем, что его летчики недавно учинили разгром на вражеских аэродромах.

Радостное чувство испытал я, проезжая вдоль лесной опушки, глядя на стоящие в глубине, замаскированные березовыми ветвями двухмоторные бомбардировщики. Это уже не тихоход ТБ-3, это современный пикирующий бомбардировщик, летающий на высоких скоростях, обладающий большой грузоподъемностью, великолепной маневренностью. Около одного из них остановил машину и вышел. Я впервые видел эти машины. «Петляков-2». Они сегодня славно поработали, и группы летчиков, расположившись на траве, оживленно обсуждали итоги боевого дня.

Смеркалось, когда наш «пикап» остановился около землянки, где помещалось командование полка.

Меня подвели к командиру полка, подполковнику Забелину. Он сидел на пенке и над картой обсуждал с начальником штаба боевую задачу на завтрашний день.

— Товарищ командир полка, к вам прибыла группа операторов кинохроники,— коротко сообщил я ему.

— Здравствуйте, товарищ Кармен,— приветливо поздоровался он.— Мне уже вчера вечером сообщили о вашем приезде. А ведь мы с вами встречались. Вспоминаете? Пять лет тому назад. В одной стране...

Я, откровенно говоря, не помнил, при каких обстоятельствах мы встречались с ним. Да и звался он в Испании не Забелиным, а, вероятно, Родригесом или Энрике...

— Значит, летать хотите,— продолжал он с улыбкой.— Посмотрим, подумаем. Вы из пулемета-то умеете стрелять?..

Полк Забелина начал войну 22 июня на Юго-Западном фронте. Там он совершил четыреста сорок пять боевых вылетов. По привычке в первый же вечер записал в свой блокнот все, что удалось выспросить у летчиков, с которыми мы после ужина коротали длинный вечер в землянке.

Мне рассказали, как эскадрильи полка обнаружили в первые дни войны растянувшуюся на несколько километров танковую колонну врага, идущую в направлении Дубно и Ровно. Танки шли в четыре ряда. На эту колонну полк обрушил свой первый бомбовый удар. На шоссе бушевало море огня, было сорвано наступление противника на Шепетовку. За эту операцию полк получил благодарность высшего военного командования.

Каких только рассказов не слушаешься вечерами в землянках!

У капитана Чурунова над линией фронта зенитным снарядом был подожжен левый мотор, и он, продолжая полет на охваченном пламенем самолете, долетел до цели, сбросил бомбы, дотянул самолет до своей территории и посадил его.

Рассказывали, как у молодого летчика младшего лейтенанта Власова зенитными снарядами были выбиты оба мотора, он мастерски посадил машину в лесу, спас экипаж, четверо суток ребята шли по территории противника, прошли линию фронта, а на пятый день уже снова летели в боевом строю. Несколько дней назад Власов погиб...

Очевидно, мне придется летать в эскадрилье, которой командует капитан Сергей Павлович Асаулов. Естественно, я заинтересовался его боевой биографией. Первый боевой вылет Асаулов совершил 24 июня. Обнаружив танковую колонну, которая шла в два, а где и в три ряда, Асаулов перестроил свою эскадрилью в цепочку, развернувшись от головы вражеской танковой колонны, пошел в атаку. Для немцев это было неожиданностью. Самолеты сваливались по очереди в пики, обрушивая на танки огонь из пушек и пулеметов, сбрасывая тяжелые бомбы. Экипажи танков побросали машины, рассыпались в лесу. Самолеты ударили по лесу. Загорелись цистерны с бензином. Столбы черного дыма поднимались к небу от горящих танков. Эскадрилья по радио сообщила на аэродром о своих действиях, и, когда она отбомбилась, на смену ей шли две другие эскадрильи. Это был внушительный разгром. Наступление немцев было задержано на несколько дней.

Провожая самолеты в боевой вылет, мы вместе с летчиками, оставшимися на земле, с нетерпением и тревогой ожидали их возвращения. Редкий боевой вылет проходил

без потерь. Вечером в землянке ребята говорили мало. Вспоминая погибших, старались не смотреть друг другу в глаза. Один из них сказал мне: «Товарищ кинооператор, неужели вы собираетесь летать? Объясните, зачем вам это нужно? Мы — другое дело, это — наш долг. А вам-то зачем?..»

Мы с Халушаковым набросали примерный план наших съемок. Будем снимать характерные шумы фронтового аэродрома: подвеску бомб, заправку бензином, получение боевого задания, рапорт по возвращении из боевого вылета.

Командир полка Забелин предложил мне пройти тренировку в бомбометании и стрельбе из крупнокалиберного пулемета.

— Не скрою от вас всю сложность положения, — сказал он. — Пассажирских мест, сами понимаете, в самолете нет, вы займете место штурмана. А штурман в полете выполняет сложнейшие, решающие для боевого вылета задачи. Производит прицельное бомбометание, в случае необходимости ведет воздушный бой. Я все это говорю, чтобы вы поняли, насколько ответственна ваша задача. Помимо киносъемки, вы еще берете на себя и бомбежку и в случае нападения врага — спасение жизни и экипажа и машины. Скажу вам откровенно, летчику особой радости не доставит ваше присутствие на борту корабля. Оставить на земле опытного боевого штурмана и посадить кинооператора...

— Понял вас, товарищ подполковник, — сказал я. — Приложу все усилия, чтобы в случае необходимости доказать летчику, что он посадил к себе не просто пассажира. Если дело дойдет до боя, мне ведь придется защищать и свою жизнь.

— Кстати, и снятую вами киноплёнку, — улыбнувшись, сказал Забелин.

— Когда разрешите первый вылет?

— Не будем сейчас уточнять, пройдите боевую тренировку. У вас, кажется, немало и наземных объектов съемки на аэродроме. Думаю, не меньше трех дней уйдет на тренировку, на ознакомление с условиями полетов, на съемки. Тогда и решим вопрос о боевом вылете.

Наша первая звуковая съемка. Камеру мы установили у самолета, вернувшегося с боевого задания. Его облепили техники, к нему подкатили бензозаправщики, оружией-

ники принялись за проверку боеприпасов, подвеску бомб. Все это сопровождалось веселыми и деловыми репликами, характерными шумами лебедек, поднимающих бомбы, шумами механизмов.

Заодно я облазил весь самолет, примерился к своему будущему месту, определил все возможности для съемки. Экипаж самолета ПЕ-2 состоит из трех человек: пилот, штурман и стрелок. Пилот и штурман сидят в верхней рубке корабля, почти вплотную друг за другом. На вооружении пилота — крупнокалиберные пулеметы, стреляющие вперед. Сиденье штурмана вращается, он может, повернувшись на сто восемьдесят градусов, открыть огонь, прикрывая машину от нападения сверху и сзади. Стрелок сидит в нижней рубке корабля и ведет огонь, прикрывая подступы к кораблю сзади, снизу. Таким образом, экипаж корабля обеспечивает секторами огня все подступы к самолету.

В первой же беседе с командиром эскадрильи капитаном Асауловым были уточнены технические и практические детали моих боевых вылетов.

— Не будем требовать от вас прицельного бомбометания, — сказал он, — мы предусмотрели и это. Выводить машину на цель будет пилот, по его сигналу включите механизм аварийного сброса бомбового груза.

— Сразу все бомбы?

— Да, бомбы пойдут серией.

— Какая разница между прицельным бомбометанием, которое вел бы на моем месте штурман, и сбросом бомб, который произведу я?

— Пилот постарается, чтобы ощутимой разницы не было. Мы бомбим сейчас механизированные и танковые колонны в районе города Демянска. Пилот, выведя машину на цель, даст вам команду сбрасывать бомбы и постарается это сделать так, чтобы все бомбы легли на дорогу и бомбежка оказалась бы полноценной.

— А воздушный бой?

— Все будет зависеть от вас. Производя киносъемки, не забывайте внимательно смотреть по сторонам. В случае нападения вражеских истребителей, придется отложить кинокамеру.

— Думаю, что небольшой тренировки мне будет достаточно, чтобы чувствовать себя уверенно. По-моему, есть нечто общее между привычным для меня визпром кинокамеры и прицельной рамкой боевого оружия.

ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУВСТВО СТРАХА

Итак, я полечу. Кроме ручной камеры, которая будет у меня в кабине, другая кинокамера устанавливается в бомболюке. Объективом вниз. Нажимом кнопки мотор камеры приводится в действие, и она зафиксирует падение бомб, их разрывы на земле. Ручной камерой буду снимать летящие в строю рядом со мной самолеты, сниму, когда бомбы будут отделяться от самолетов. Очевидно, нужно будет совершить два-три боевых вылета, чтобы снять все необходимые кадры — бомбометание с соседних самолетов, маневрирование во время зенитного огня, снять летящие строем самолеты.

Восьмого сентября 1941 года капитан Асаулов доложил командиру полка, что кинооператор прошел тренировки и готов к полету. Командир полка разрешил девятого лететь.

Завтра мой первый боевой вылет.

К этому я стремился, этого добивался. Почему же не покидает чувство тревоги, томление странное, отвратительное? Не страх ли перед неизбежным, неотвратимым? Вспоминал: «Мы — другое дело, вам-то зачем?..» Да, пожалуй, обыкновенное чувство страха. Самолет может не вернуться. Ну и что же, отложить полет? Проще простого — совру, что камера требует проверки, никто не заподозрит, что испугался. «Ну, что ж, полетите в другой раз». Летчик будет даже доволен, что избавился от «пассажира». А потом что?..

Вечером в землянке я смотрел на лица летчиков: они летают каждый день. Разве им не страшно? Сегодня двое не вернулись. Штурман Житков, протягивая мне кружку с чаем, сказал:

— Вы не замечаете, наверное, как мы переживаем гибель друга. Молчим. Он сегодня факелом горел и, уже объятый пламенем, все-таки сбросил бомбы. Я не мог смотреть, от первого напряжения меня вырвало...

Мои ребята, Толя Рубанович и Рува Халушаков, заводили парочито беззаботные разговоры, казалось, их ничуть не тревожил мой завтрашний полет. «Завтра вечером сядем вдвоем, — говорил Рува, — подсчитаем пленку. По-моему, у нас большой перерасход...»

Я смотрел им в глаза, хотелось сказать: «Ну чего вы врете, ребята. Ведь все-то вы болтаете, чтобы меня подбодрить».

О том, что лететь страшно, я, разумеется, не заикался,

старался не подавать виду. Только дневнику доверил это чувство.

В семь утра девятого сентября 1941 года мы подъехали на «пикапе» к самолету, который оружейники и механики готовили к вылету. Наш пилот Агуреев — совсем молодой парень. Однако на счету у него уже около двадцати боевых вылетов. Еще на рассвете с Халушаковым укрепили камеру в бомболюке, подключили мотор к аккумулятору, пусковую кнопку вывели к штурманскому сиденью, к моему «рабочему месту».

Еще вечером Агуреев показал мне на карте предполагаемый маршрут. Сейчас он уточнил его в штабе полка. Полет будет продолжаться около полутора часов. Сорок пять минут туда и сорок пять — обратно. Летим бомбить механизированные колонны врага. Пойдем на высоте около двух тысяч метров. Внимательно приглядываюсь к моему пилоту. Внешне он спокоен. Но некоторые признаки — слегка дрогнувший на мгновение голос, взгляд, брошенный на ручные часы, — выдавали волнение, и я угадывал в нем то же состояние, которое испытывал сам. А ребята продолжали свою игру. «Обязательно перемотаешь сегодня снятую пленку», — говорил мне Халушаков. «Сегодня вечером по случаю первого вылета придется увеличить порцию до двухсот граммов...» и т. д. и т. п. Продолжали они эту игру, и когда я, неуклюже переступая, скованный лямками парашюта, пошел к самолету. Хлопнули по спине — давай, мол, поторапливайся. А в глазах у них была неумная тревога, которую им не удавалось замаскировать своими надуманными репликами.

По дюралевой лесенке, выкинутой под брюхо самолета, забрался в кабину и занял свое место на штурманском сиденье, в пилотскую рубку протиснулся Агуреев. Я застегнул шлем, закрепил ларингофонные мембраны на горле — подключился к переговорной сети. Очень хитрое устройство. Мембраны воспринимают твой голос, преобразовывают колебания голосовых связок в электрические колебания, передавая их на наушники всех остальных членов экипажа воздушного корабля. Но пока моторы еще не завели, можно было разговаривать своим голосом. Агуреев спросил, проверил ли я свое личное оружие. Я сказал, что пистолет проверен. С двумя запасными обоймами он в правом кармане комбинезона. В левом кармане — ручная граната. А поверх ручной гранаты — запасная

бобышка пленки. Всего лишь одна, запасная. Две кассеты — самое большее, что успею снять во время этого в сущности очень короткого полета. Вчера, правда, мелькнула мысль взять пленки больше, вдруг — вынужденная посадка, мало ли что может случиться? Но это соображение было немедленно отброшено. Иду на боевой вылет, благополучно вернусь на свой аэродром. Никаких «а вдруг»...

Бомбардировщик, подрагивая, катил по неровному травянистому полю к старту. Видно было, как из укрытий выруливали другие самолеты. Через несколько минут мы уже были в воздухе, и я, взглянув на землю, увидел, как звеньями взлетают самолеты нашей эскадрильи. Группа из двенадцати машин вскоре шла сомкнутым строем крыло к крылу. В наушниках прозвучал голос Агуреева: «Идем на истребительный аэродром, там примем прикрытие». Мы шли с набором высоты навстречу легким белым облачкам. Над аэродромом, который появился под нами, бомбардировщики сделали круг. По широкому полю бежали крохотные птички, свечой взмывали они навстречу бомбардировщикам и, круто развернувшись, пристроились чуть в стороне над нами.

Группа бомбардировщиков ПЕ-2, прикрываемая одиннадцатью истребителями МИГ, должна была, пройдя через линию фронта, нанести удар по скоплениям немецкой пехоты, разгромить мотоколонну, которая движется по шоссе в районе города Демянска. О движении этой колонны час тому назад по радио сообщил самолет-разведчик.

Уже близка линия фронта. Далеко под нами на небольшой высоте шла навстречу группа самолетов, возвращавшихся после бомбардировки. Несмотря на большую разницу в высотах, ведущие обменялись лаконичным боевым приветствием — покачиванием крыльев. «Проходим линию фронта», — услышал в наушниках голос Агуреева. С высоты двух тысяч метров раскрывалось поле боя. Линию фронта можно узнать по вспышкам орудийных выстрелов, разрывам снарядов. Стреляет тяжёлая артиллерия. Это похоже на чирканье крохотных спичек. Маленькие огненные запятыя.

Видно было, как на проселочных дорогах немецкие машины шарахались в сторону при появлении наших самолетов. Солдаты мчались врассыпную к лесу, видно, первые гитлеровцев уже не выдерживают гула советских мо-

торев. О, как мне знакомо было чувство, которое они испытывали сейчас там, на земле!

Куда девалось ощущение страха перед этим прыжком в неизвестность, чувство, которое владело мною еще каких-нибудь полчаса назад. Сейчас оно уступило место ощущению огромного счастья. Кажется, я даже запел, но спохватился: «Ларингофон...» Смотрел налево, направо. По обе стороны от меня в воздухе неслись похожие на торпеды скоростные самолеты, за стеклянными рубками я видел лица летчиков, штурманов, сосредоточенные, серьезные. Встретившись на мгновение взглядом, мы обменивались кивком головы. И еще было чувство гордости от того, что я — среди этих спокойно и мужественно делающих свое дело людей. Да, я гордился, что с ними шел в бой.

Наушники молчали, командир корабля был безмолвен. После того как пролетели линию фронта, была только одна фраза, обращенная ко мне: «Не забывайте наблюдать за небом. Истребители истребителями, а за небом смотрите все время». Потом он замолчал. И я молчал. Под нами были золотые осенние леса, много озер, больших и малых, деревушки. В который раз проверил свое хозяйство: камера справа, под правой рукой на полу, в любой момент могу ее поднять, пружина заведена; кнопка запуска камеры, установленной в бомболюке, — с левой стороны. Самое главное — рукоятка, к которой часто прикасаюсь. По сигналу командира корабля потяну эту рукоятку на себя, и весь груз, находящийся в бомболюках нашей машины, оторвавшись от бомбодержателей, пойдет вниз.

Под левым крылом вдалеке появился город Демянск. Очевидно, до цели уже недалеко...

— Зенитка, — услышал я в наушниках спокойный голос пилота. Быстро кинул взгляд вниз и увидел четыре вспышки. Это был уже второй пристрелочный залп батареи по ведущему. Машина капитана Асаулова сделала резкий скользящий рывок направо, четыре черных клубка разрывов повисли у нас слева по борту. Маневр ведущего повторили все самолеты нашей группы. И сразу небо вокруг самолетов покрылось черными дымками разрывов. Сначала яркая искра разрыва, затем — черный клубок. Я снял группу самолетов, летящую через завесу зенитного огня. Но тут же меня начало тянуть наверх. Это мы перешли в пикирование. А вслед за этим меня вдавило в сиденье. Это Агуреев задрал машину и пошел вверх. И снова бросок вправо, и снова вниз, и опять влево. Нем-

цы хотят, чтобы мы напоролись на зепитные разрывы. Дымные клубки возникают впереди и несутся нам навстречу. В кабину врывается запах порохового дыма.

В наушниках голос командира корабля: «Внимание, выходим на цель. Смотрите, у подполковника горит правый мотор». Справа от нас шел в строю командир полка подполковник Забелин. Я повернулся на сиденье, но машины Забелина уже не увидел. Он, развернувшись, потянул с горящим мотором обратно за линию фронта. И тут произошло нечто неправдоподобное — после невыносимых, сумасшедших рывков, пикирований и «свечей» вся группа бомбардировщиков замерла в безукоризненно ровном боевом строю.

Услышал команду: «Приготовьтесь, следите за моей рукой». На соседних кораблях открылись бомболюки. Тут я понял, как сложна моя задача. Ведь я должен ручной камерой снять бомбы, падающие из соседних кораблей, но почти одновременно нужно спустить груз бомб. А если мои бомбы будут сброшены одновременно с бомбами других самолетов? Случилось непредвиденное: встречный воздушный поток поднял наш самолет метров на десять, и бомбы на соседних машинах оторвались вне поля моего зрения. Нужно, чтобы они были чуть выше меня. Но, главное, конечно, не съёмка, а бомбометание. Мне оказано огромное доверие, меня посадили на место штурмана. Прежде всего сбросить груз бомб...

...— Внимание! — вновь услышал в наушниках. Рука командира корабля поднялась. Я взялся за рукоятку. Он опустил руку, и я плавным движением потянул ручку на себя, успев нажать кнопку, включить мотор камеры, находящейся в бомболюке. Главная задача выполнена. Сейчас с ручной камерой делать нечего, разве что снять еще раз строй кораблей. Словно в подтверждение моей мысли голос командира корабля в наушниках: «Смотрите за небом. Будьте очень внимательны. Истребители противника атакуют обычно на обратном пути». Отложив камеру в сторону, я повернулся на сто восемьдесят градусов и взялся за рукоятки пулемета, освободив его от креплений.

Тут снова почувствовал, что неистовая сила потянула меня от сиденья. Земля быстро летела навстречу. В обратный путь пойдём на бреющем полете. Во всем теле — ужасная усталость. Организм перенес непривычные, сильнейшие перегрузки во время противозепитных маневров

корабля. Но было чувство радости. Теперь мы шли почти над самой землей. На этой высоте скорость самолета особенно ощутима. «Прошли линию фронта», — сказал Агуреев. Наши истребители отвалили в сторону, пошли на свой аэродром. Стремительный полет на небольшой высоте доставлял истинное наслаждение. Мы буквально скользили по поверхности земли, так, что, когда впереди была колокольня, пилот приподнимал машину, и мы горкой переваливали церквушку.

Передние пошли на посадку, вот и наша очередь садиться. Колеса коснулись земли. И снова долгое выруливание по неровной травянистой поверхности полевого аэродрома, вот наше место, вижу улыбающиеся физиономии Халушакова, Рубановича, самолет развернулся, остановился, пилот выключил моторы. Тишина. Удивительная тишина! Невольно закрыл глаза и откинулся на сиденье в полной неподвижности. Несколько секунд просидел молча, с закрытыми глазами.

Как же я устал! Но ведь сегодня почти ничего не снял. Отчего такое ощущение счастья? Что ж, полечу еще раз, нужно несколько раз вылетать, чтобы снять все, как задумано. Сегодня перешагнул через самый для себя тяжелый рубеж — освободился от чувства страха. Сейчас трудно даже поверить, что этот страх был, что он давил на мозг, сжимал сердце.

Спускаюсь по лесенке из узкого люка, куда с трудом можно протиснуться с двумя парашютами — один пониже спины, другой на груди. Необычное ощущение твердой земли. Не потому, что два часа тебя швыряло, болтало, а потому, что земли под ногами могло и не быть. Вот тут-то мои мальчюки выдали себя с головой, вся их игра пошла насмарку. Они бросились обнимать меня, на глазах у Халушакова я увидел слезы.

вы хоть видели,
куда попали
ваши бомбы?

Мы с нетерпением ждали, пока оружейники извлекут из бомболюка камеру. Не скоро увидим мы на экране кадры, которые запечатлела она, проследив падение бомб. Сейчас хотелось взглянуть на счетчик, узнать, сработала ли камера, снимала ли она.

Но главная тревога — судьба Забелина. Он с грузом бомб, с горящим правым мотором оторвался от группы и тянул к линии фронта. К нам подъехал на «газике» дежурный по аэродрому, Герой Советского Союза капитан

Сдобнов. Первый вопрос к нему: «Что с Забелиным? Есть ли сведения о нем?»

— Сообщили на все наземные посты,— сказал Сдобнов.— Пока ответа нет, ждем с минуты на минуту. Штаб фронта дал всем частям приказ немедленно сообщить. Как прошел ваш полет? — обратился он ко мне.— Успешно?

Я доложил.

Камера в бомболюке сработала. На счетчике шестьдесят метров снятой пленки.

— Поехали? — сказал Халушаков.

— Подожди, дай посидеть малость,— сказал я. Мы присели в стороне от самолета на двухсотпятидесятикилограммовых бомбах, закурили. Мне необходимо было преодолеть расслабленность, разливавшуюся по всему телу, по-настоящему ощутить под ногами землю.

— Выпить у вас печего, ребята?

Халушаков хлопнул себя по лбу, вскочил, помчался к «пикапу», вернулся с флягой. Я сделал три больших глотка. Сразу же почувствовал прилив бодрости. К нам подошел командир корабля Агуреев. Присел около нас, тоже приложился к фляге.

— Для первого раза, по-моему, хорошо,— сказал он.— Вы хоть видели, куда ваши бомбы попали?

— Честно говоря, не видел.

— А я специально легкий креп машине дал, чтобы вам разглядеть. Серия бомб легла вдоль дороги, забитой немецкими машинами. Могу вам поручиться, что не менее двадцати фрицев вы можете смело записать на свой личный счет. Были и прямые попадания в машины.

— Спасибо, об этом мечтал с самого начала войны. Завести личный счет. С первых дней войны мечтал.

— Теперь он у вас открыт. А счет метрам снятой пленки вы ведете?

— К сожалению, только приблизительно. С абсолютной точностью могу сообщить только количество боевых вылетов на бомбардировщике. Один.

Приехав на командный пункт полка, узнали, что есть уже известия о подполковнике Забелине. Он удачно сел на нашей территории. Машина цела.

Вечером в землянке Забелина было сильно накурепо, оживленно. Он не распространялся о своем сегодняшнем полете, о горевшем моторе. Не из скромности — так уж здесь повелось, о чем угодно будут «травить» без конца летчики, только не о своем подвиге. И еще я заметил —

мало говорят о погибших, о сгоревших на глазах. Глубокую боль скрывают, зажимают в себе. Я слышал вчера простой, немногословный рапорт командира эскадрильи по возвращении с боевого вылета: «Ваше задание выполнено. Один самолет с экипажем сгорел». Он говорил это внешне спокойно, но после рапорта я видел, как дрожала его рука, подносящая спичку к изжеванной папиросе.

А 10 сентября летал Толя Рубанович. Вернулся цел, невредим. Мы поменялись местами, и мне стало понятно, что переживали ребята, когда летал я.

Второй мой боевой вылет был с капитаном Сдобновым, Героем Советского Союза.

С полковником в отставке Сдобновым мы встретились в 1968 году, двадцать семь лет спустя после событий, о которых я сейчас вспоминаю. Сдобнов постоянно живет в Харькове, мы виделись во время одного из его приездов в Москву.

В небольшом просмотровом зале киностудии я показал по просьбе Сдобнова киножурнал с кадрами, снятыми в сентябре 1941 года в бомбардировочном полку. Признаюсь, я тоже волновался, просматривая памятные кадры. Сдобнов, внимательно глядя на экран, иногда бросал короткие реплики: «Сгорел в поябре сорок первого». «Погиб в сорок третьем»... Когда зажегся свет, его глаза были влажны. Он попросил: «А можно еще раз посмотреть?» Я дал сигнал в аппаратную, и он снова смотрел не отрываясь.

Второй вылет с капитаном Сдобновым тоже не принес желаемого результата. Опять не удалось снять падающие бомбы. Наш самолет летел метров на десять ниже группы, и слева от меня восемь машин раскрыли люки, еще секунда — и посыпятся бомбы. Вот он, необходимый мне, заветный кадр!.. Но и на этот раз легкий воздушный поток приподнял нашу машину, и самолеты сбросили бомбовый груз вне поля моего зрения...

Нужно лететь еще раз.

Целый день работали на аэродроме, снимали звуковые эпизоды, снимали репортаж. Взлеты, посадки самолетов, людей, ожидающих возвращения товарищей. Напряженные лица, беглый взгляд на часы, и опять обшаривают биноклем горизонт. И снова звуковая камера записывает рапорт вернувшихся из полета, простые слова, доклад о том, где и как отбомбились. Двое не вернулись. Сгорели...

Вечером в землянке командира полка познакомились с комиссаром эскадрильи Григорием Аверьяновичем Таряником. Его не было несколько дней в полку, он ездил в Политуправление фронта на совещание. Я уже слышался о нем. Таряник пользуется всеобщим уважением и любовью. Уважение граничит с преклонением перед его храбростью, виртуозным мастерством пилотажа, честностью, прямоотой. Он был не многословен, сидел в уголке на наре, сколоченной из стволов молодых берез.

Забелин, знакомя меня с Таряником, положил руку ему на плечо и сказал (это я слышал в полку не раз): «Таряник обманет любую зенитку. Нет такой зенитки, которая сбита бы Таряника». И, склонившись к моему уху, боясь, очевидно, задеть самолюбие других летчиков, сидевших в землянке, добавил: «Будете летать с ним. Так мне спокойнее, все-таки мы за вас отвечаем».

У батальонного комиссара Таряника обветренное, красное лицо, чуть поврежденное веко правого глаза — глядя на тебя, он словно лукаво подмигивает. Растрепанные волосы торчат над высоким лбом. Кожаный реглан небрежно накинута на плечи, на гимнастерке два боевых ордена. Как я узнал позже, один за Финский фронт, другой за боевую работу на Юго-Западном фронте в начале этой войны.

Мы разговорились. Он расспрашивал о работе кинооператора. Отвечать ему было интересно, чувствовалось, что задает он вопросы из пытливого желания составить себе представление о незнакомом ему ремесле. Эта первая встреча в землянке была началом нашей дружбы. Кратковременной дружбы, мы вскоре расстались, но крепкой, основанной на взаимном уважении, скрепленной общими испытаниями в бою — мы трижды вылетали с Таряником на бомбардировку. На его счету уже тогда было пятьдесят боевых вылетов. А когда через два месяца ему было присвоено звание Героя Советского Союза, число вылетов перевалило за девяносто.

Батальонный комиссар Григорий Аверьянович Таряник — днепропетровский слесарь, коммунист — окончил летную школу в 1936 году, попал он в эту школу по спецнабору. После окончания школы Таряника сразу определили на новейшие скоростные машины. Из семнадцати человек только пять отобрали на скоростные машины. Первый боевой опыт — сорок шесть боевых вылетов — на Финском фронте. С 1938 года он уже комиссар эскад-

рильи, которой командовал капитан Асаулов. Пришли новые машины — ПЕ-2. На этих машинах Григорий Таряник встретил гитлеровцев в воздухе.

— В чем основа нашей тактики в воздушном бою? — спросил я Таряника.

— Взаимная выручка. Вот основа. Что касается зениток, то нужно следить за вспышками выстрелов на земле и, рассчитывая полет снаряда, упреждать его быстрым маневром. А пройдя через зону зенитного огня — немедленно смыкать строй. Даже если мы видим угрозу нападения вражеских истребителей, которые обычно в стороне выжидают нашего прохода через зону зенитного огня. Отбомбившись, немедленно собираться в кулак. Сейчас у нас большой опыт взаимодействия в любой обстановке — в разведке, бомбометании, пикирующем бомбометании, в штурмовке. Опыт, рожденный в самые первые дни войны, обогащался в течение этих месяцев, приводил нас к окончательным, строго рациональным приемам, основанным на взаимодействии с истребителями, на изучении тактики врага.

— Вам, вероятно, известно, Григорий Аверьянович, что говорят, будто вам не страшна никакая зенитка?

Таряник спокойно, без рисовки ответил:

— Это преувеличено. Ни у кого не может быть стопроцентной гарантии от прямого попадания в зоне массированного зенитного огня. Но, конечно, опыт сильно выручает. И моя задача — этот опыт постоянно передавать молодым ребятам, которые приходят в полк.

— В чем вы видите свою главную задачу в вашей политической работе?

— Не считаю необходимым заниматься голой агитацией. Летчики нашей эскадрильи мастера своего дела, все побратались в бою, каждый из нас знает, чем живет и дышит товарищ. Поэтому нет нужды агитировать их за Советскую власть. Главным направлением политработы я считаю поддержание духа товарищества, который является основой взаимодействия в строю. Много уделяю внимания тем молодым ребятам, которые приходят в полк, заменяют экипажи, погибшие в бою.

заветный кадр

Каждый предстоящий полет, подготовка к нему, ожидание его превращаются для меня в сложный комплекс раздумий, переживаний, тревог. Нужно ли еще раз вылетать? Быть может, достаточно уже снято, и стоит ли снова преодолевать этот

трудный барьер ради еще одной кассеты пленки. Возможно, новые кадры ничего не добавят к ранее снятым.

Но едва самолет, оторвавшись от земли, проносился над верхушками деревьев и, набирая высоту, устремлялся в небо, поразительное чувство легкости овладевало мной. Весь груз тревог оставался в березовой роще, куда я, несомненно, вернусь через полтора часа.

Мысленно я все время вижу кадр, который мечтаю снять. Четыре или пять — не меньше — самолетов в кадре, и ни один из них не заслоняет другого. Из открывшихся бомболюков сыплются бомбы. Такой кадр необходим.

Командир полка Забелин как-то сказал:

— На мой взгляд, одного-двух полетов было бы достаточно, чтобы снять строй самолетов, бомбометание. Может, я чего-нибудь не понимаю, объясните мне.

Я объяснил. Даже нарисовал ему схему пужного мне кадра.

Забелин внимательно слушал.

— Так неужели же, если один самолет, — он ткнул пальцем в мою схему, — будет в момент бомбометания застрелен, скажем, хвостовым оперением другой машины, неужели из-за этого вы будете считать необходимым снова лететь?

— Поймите, товарищ подполковник, это не упрямство, а профессиональная необходимость. Вы ведь требуете от своих подчиненных высокого качества в боевой работе?

Забелин поднял руки вверх — сдаюсь!..

Уже три полета. Один с Агуреевым, два со Сдобновым. Но желаемого кадра еще нет. Вчера снова летал Толя Рубанович. Я очень нервничал, ожидая его возвращения. Как руководитель группы, несу огромную ответственность, посылая в полет молодого кинооператора. Я был бы не совсем точен, если бы сказал, что наши боевые вылеты продолжаются только ради этого задуманного мной заветного кадра. В двух последних полетах почему-то не сработала камера, установленная в бомболюке. Следовательно, из бомболюка съемка была произведена только один раз. Было у меня сомнение и насчет съемки в зоне зенитного огня. Во всех трех вылетах это было сопряжено с сумасшедшими бросками машины. Камера моталась в руках, меня швыряло из стороны в сторону. Большого

усилия воли стоило привести себя мгновенно в состояние полной готовности, когда летчик подал сигнал: «Приготовиться к бомбометанию».

За три вылета эскадрилья потеряла в общей сложности четыре машины: три сгорели в воздухе, четвертая — выбитый в первом полете правый мотор у подполковника Забелина. Только один раз я видел, как горела машина. Прямое попадание зенитного снаряда. Это продолжалось несколько секунд. Яркий клубок огня, какие-то куски, вылетающие из этого клубка, в наушниках — голос нашего стрелка, глядя из-под брюха самолета назад, он видел, что никто не выбросился на парашюте из горящей машины.

Итак, завтра лечу с Таряником. Все эти дни меня тянуло к нему, я чувствовал глубокую симпатию к этому лишенному и тени позерства, немногословному человеку. У Григория Таряника чувство скромности было естественное, чистой пробы. Все в нем было чистопробное. И мысли и отношение к своей профессии, к своей земле, которую он защищал с первого дня войны, к партии, которая наделила его гордым званием комиссара. Это был человек, от которого веяло романтикой гражданской войны, революции, за ним вставали образы молодых ребят в кожаных куртках и пожилых людей, прошедших через царскую каторгу и тюрьмы, поднимавших в атаку бойцов революции.

Такому человеку можно было довериться без сомнений, без тревоги и страха.

Перед самым вылетом, уже около самолета Таряник объяснил задачу, которая стояла перед нашей группой. Мы полетим на этот раз дальше, чем летал я раньше, и севернее. Другой район, где утром разведчик обнаружил большое движение на дорогах. Там можно было предположить переброску крупных механизированных колонн противника. Наша задача — неожиданно на них обрушиться.

— У вас уже есть богатый опыт, — улыбнулся он. — Следите за моими сигналами. Делайте все, как договорились. Ну, а если понадобится, подскажу по ходу, по обстановке.

И снова — знакомое уже чувство легкости, когда становишься частицей боевой машины, несущейся со сказочной скоростью навстречу врагу.

Прошли линию фронта. Группу наших самолетов, как и в прошлые разы, прикрывает эскадрилья истребителей МИГов. Появился бы такая группа советских вооруженных кораблей два месяца назад на Западном фронте, когда мы то и дело ныряли в канаву при виде немецкого самолета! Как мы мечтали тогда увидеть в воздухе наши МИГи, наши бомбардировщики! Мы ведь знали, что они существуют, эти современные советские машины.

Очень хотелось сейчас взглянуть в глаза человеку, чья спина, затянутая в черную кожу, внушала спокойное чувство собранности, уверенности.

Вспоминаю его лицо, каким оно было в те минуты, когда мы коротали вечера в землянке. Иногда проскальзывала на нем вдруг неторопливая улыбка, и снова задумчивый, грустный взгляд. У летчиков, с которыми меня свела дружба на полевом аэродроме, чувство грусти появлялось часто. Да и как не быть этому чувству. Каждый день горели машины. Вечером в землянке подсчитывались товарищей, то одного, то другого. По прошествии тридцати лет вспоминаю я этих парней. Настоящие мужчины, солдаты. За спиной у некоторых из них было уже шестьдесят вылетов, и это еще тогда, в первые месяцы войны!

Кто из них увидел День Победы?

Григорий Аверьянович Таряник довоевал до конца войны. Вот передо мной только что добытый его московский телефон. Он работает в Домодедовском гражданском аэропорту. Я снял телефонную трубку, потянулся к диску и... снова положил трубку на рычаг. Хочу дописать эти строки до того, как услышу голос живого Таряника, провоевавшего четыре года и всем смертям на зло оставшегося в живых.

— Зенитка, — услышал в ларингофоне спокойный голос Таряника. Взял в руки кинокамеру.

Снаряд зенитки с момента выстрела до того момента, когда он равняется с самолетом, летит шесть секунд. За шесть секунд машину можно увести на сто метров от предполагаемого места разрыва снаряда. Нужно только ясно и быстро представить себе, где же разорвется этот снаряд, угадать по вспышке на земле. Вот в этом умении угадать, куда направлен снаряд, вернее, не угадать, а точно определить, куда надо убрать машину — вперед, вправо, влево или спикировать вниз навстречу снаряду, в

этом ощущении полета зенитного снаряда и заключалось непревзойденное мастерство батальонного комиссара Григория Таряника...

В этом полете я увидел блистательную тактику противозенитного маневра, из-за которого Таряника и прозвали «победителем зениток». Не только увидел, но и ощутил каждой клеткой своего организма, на долю которого выпали на этот раз невероятные перегрузки. Машина стремительно падала, скользя то на правое, то на левое крыло. То прямо пикировала, а в этих случаях при выходе машины из пике мне казалось, что мои позвонки вдавливаются один в другой. Один раз Таряник очень резко взял штурвал на себя, машина взмыла свечой, и сквозь рев моторов я услышал разрыв снаряда под брюхом нашего самолета.

Машину рвануло, мы пролетели через несколько черных клубков, в кабине появился знакомый уже резкий запах пороха. Мне стало плохо. Но когда в ларингофоне прозвучал приказ: «Приготовиться к бомбежке», мгновенно собрал себя в единый нерв, в единый мускул. За бортом ровный, четкий строй машин, готовых обрушить на врага бомбовый груз.

Наконец-то! Перед глазами был тот самый долгожданный кадр! Секунда, и из открывшихся люков посыпятся бомбы...

Увы, снова я не снял моего «заветного». Не снял потому, что по приказу Таряника взялся за рычаг бомбосбрасывателя и взглянул на землю. Уж очень захотелось хоть раз проследить падение бомб, посмотреть вниз на врага. Увидеть результаты бомбежки...

Наши бомбы густо легли по колонне. Трудно даже сказать, что это была за колонна. Грузовых ли машин или бронетранспортеров, но их было много. Гитлеровцы разбегались. Бежали в лес маленькие точки, там их настигали серии осколочных бомб. Когда мы перелетали на обратном пути линию фронта, Таряник спросил меня по ларингофону:

— Снял, как горела наша семерка?

— Я не видел, как она горела.

— Справа, самая крайняя машина,— сказал Таряник.— Ее подожгла зенитка, но, когда мы собрались для бомбежки, она осталась в строю, сбросила бомбы и только после этого отвалила в сторону. Экипаж прыгнул с парашютом.

Последний, седьмой полет, который я совершил с Таряником, был удачным. Мы пошли на новую цель, и там нас не встретили зенитки. Два часа в воздухе. Час туда, час обратно. Прошли за облаками на высоте двух тысяч метров. В момент бомбометания мы были справа от ведущего, удалось снять, когда из бомболюка Асаулова и других самолетов посыпались бомбы. Это и был тот самый заветный кадр. Наконец-то!..

На седьмом боевом вылете я закончил свои полеты. Мне казалось, что в воздухе снято было все, что можно было снять. Очень беспокоили меня кадры, снятые камерой, установленной в бомболюке. Что получится?

Наступил и день расставания. Был конец сентября 1941 года. Я прошел по ковру из опавших листьев вдоль строя самолетов, подходил к машинам, говорил с оружейниками и механиками, провожавшими меня в боевые вылеты.

Вечером летчики устроили прощальный ужин. Говорились добрые слова, водку разливали по железным кружкам, пили за победу, за боевые успехи. Таряник выпул из планшета и протянул мне экземпляр газеты полковой многотиражки. Там была статья о кинематографистах, разделивших с летчиками трудности и опасности боевого труда. Я чувствовал, как слезы застилают глаза, когда смотрел в лица парней, которых полюбил. Серьезные, отважные, ужасно усталые. Последний тост произнес командир корабля подполковник Забелин. Каждое слово доходило до глубины души, волновало, наполняло гордостью: мы стали друзьями этих людей, они нас любили.

После войны я много летал. На мощных пассажирских лайнерах различных авиационных компаний — Эр-Франс, Пан-Америкен, Эр-Индия, на наших прекрасных ТУ-114 и 104, на «ильюшинных» пересекал континенты и океаны. Когда я, сидя в удобном кресле, смотрю на раскинувшуюся под крылом воздушного корабля землю, невольно переношусь мыслями к другому полету, когда вокруг моего самолета висели черные дымки зенитных разрывов.

Много ездил я после войны и на автомобилях по разным дорогам. Бывает, едешь по дороге, а навстречу тебе летит самолет. В таких случаях невольно соизмеряю направление его полета, прикидываю — упали бы бомбы на дорогу, накрыли бы меня или легли бы в сторону...

Последние дни ноября 1941 года.

В моих военных дневниках мало записей, относящихся к дням обороны Москвы. Тогда казалось, что все останется в памяти, сколько бы лет ни прошло. В какой-то мере это оправдывалось. Годы не вытравят образ Москвы тех дней. Пустынные ее окраины, опоясанные баррикадами, «ежами», зенитные батареи на опустевших площадях. Настороженная, в снежной пелене ранних морозов — такой увидят в хроникальных лентах Москву люди грядущих поколений. Увидят марш танков по ее улицам, исторический парад на Красной площади, уходившие на фронт отряды автоматчиков.

Родной город! В эти трудные дни я ощутил, как он мне дорог. Сколько бы я ни отлучался в дальние путешествия, вся жизнь, в сущности, прошла в Москве. В Москву приехал мальчишкой, учился на вечернем рабфаке. В Москве впервые взял в руки фотокамеру — стал фоторепортером «Огонька» и газеты «Рабочая Москва». Москва дала мне в руки и кинокамеру.

После Северо-Западного фронта я снова встречаюсь с тобой, Москва. Как же изменились облик и ритм города, к которому рвется враг.

Именно такой, вероятно, я представил бы себе Москву, если когда-либо допустил мысль, что столица Советского Союза будет осаждена вражескими войсками. Именно такой — строгой, мужественно спокойной.

Машина замедляет ход, минуя массивную каменную баррикаду. У окраин города выстроены баррикады с бойницами, с пулеметными гнездами. Падает снег. Людей на улицах меньше чем обычно. Много машин, выкрашенных белой краской.

На площадях стоят устремленные в небо зенитные пулеметы. По улицам шагают патрули — бойцы с красной повязкой на левом рукаве, с винтовкой, с прижатым штыком. На стенах домов плакаты, призывающие стать на защиту родной Москвы, и белые листовки — постановления Государственного комитета обороны. Оно заканчивается словами:

«Государственный комитет обороны призывает всех трудящихся столицы соблюдать порядок и спокойствие и

оказывать Красной Армии, обороняющей Москву, всеобщее содействие».

Часто по улицам проходят воинские части в полном походном и боевом снаряжении. Двигаются грузовики с боеприпасами.

Разрушений от воздушных бомбардировок в городе незаметно. Немецкие самолеты очень редко прорываются сквозь кольцо противовоздушной обороны. Во время тревог улицы пустеют, после отбоя снова появляются прохожие, автомобили.

Открыты кинотеатры, кафетерии, рестораны, запрещена лишь продажа спиртных напитков. Крупные заводы из Москвы эвакуированы, а оставшиеся предприятия производят все, что необходимо фронту — боеприпасы, военное снаряжение, теплую одежду.

Вечером Москва погружена во мрак. Медленно ползут трамваи, троллейбусы. Люди уже привыкли ходить в полной темноте. В газетных киосках продают значки — кружочек, покрытый фосфором, он светится в темноте. Это, чтобы не наткнуться друг на друга. Около трамвайных остановок репродукторы передают последние известия с фронтов.

Я иду по запущенной снегом Красной площади. Навстречу грохочут тяжелые танки. За высокими стенами Кремля тишина. Из темноты доносится бой часов на Спасской башне. Медленно ходят под каменными сводами кремлевских ворот и у Мавзолея Ленина часовые в меховых тулупах.

В дни боев под Москвой наша студия кинохроники оказалась в Лиховом переулке, в помещении эвакуированной студии имени Горького. До этого мы ютились в дряхлом, тесном домике в Брянском переулке. Правда, мы — кинохроникеры — по сей день помним добрым словом милую «Брянку», в стенах которой создано было много прекрасных фильмов, там прошла наша молодость, там, собственно говоря, рождалось, утверждалось искусство современного документального кино.

Здесь, в Лиховом, был командный пункт съемок, производимых в боях под Москвой, а впоследствии студия в Лиховом стала штабом всей фронтовой кинохроники. Сюда приезжали операторы со всех фронтов — привозили снятый материал. Когда немцы оказались на подступах к Москве, мы жили здесь на казарменном положении. Отсю-

да выезжали на съемки, до переднего края было рукой подать.

Встречи с приезжими товарищами в подвале Лихова переулкa были мимолетны, но памятны. Здесь узнавали — тот погиб, этого веселого балагура никогда больше не увидим, сложил голову на Южном фронте, иные не вернулись из окружения.

В большой комнате, где сейчас аналитическая лаборатория, мы жили. Стояла там и моя койка. Кое-что я принес сюда из моей нетопленной квартиры на Полянке: какой-то коврик, несколько фотографий сынишки, жены. Рядом стояли койки Романа Григорьева, который тогда руководил фронтовой кинохроникой, звукооператора Халушакова, моего друга, с которым мы вдоволь пошатались по разным широтам.

Обычно фронтовые операторы задерживались на студии не более суток. Сдать пленку в проявку, провести ночь в этом уюте, созданном в студийном подвале, встретиться с товарищами. Всегда находилась чарка водки, а то и спирт, который научились пить, не разбавляя, а иногда наспех перекусывали в столовой, что была здесь же, и опять уезжали.

В эти трудные дни улицы были запесены сугробами снега, кое-где стояли милиционеры с противогазами у пояса, с винтовками через плечо. Ночью гудели сирены воздушной тревоги, грохотали зенитки, шарили по небу прожекторы.

Немцы были под Москвой. Свойственное кинохроникеру ощущение неповторимости этих дней вызвало потребность снимать как можно больше. В те дни Москву снимали операторы Иван Иванович Беляков, Борис Макасеев, Марк Трояновский, Виктор Штатланд, Алексей Лебедев, Мария Сухова. Я часами ездил по городу и снимал, снимал, снимал.

Мне дороги некоторые кадры, которые тогда снял. На крыше гостиницы «Москва» сидит бойца-зенитчика, с биноклем, на фоне Кремля. Другой кадр — конный патруль, двое всадников с винтовками за спиной, медленно проезжал вдоль кремлевской стены, сверху допизу покрытой изморозью. Снял танки, идущие по Ленинградскому шоссе, воинские части, проходившие по улицам Москвы. И еще множество репортажных зарисовок.

Регулярно стал выходить киножурнал «На защиту

родной Москвы». Делались эти выпуски силами киногоруппы Западного фронта. Работа над ними особенно активизировалась, когда началось наше контрнаступление под Москвой.

Наступление на Москву гитлеровцы возобновили 15—16 ноября. Кодовое название — «Тайфун». Командующий группой армий «Центр» гитлеровский фельдмаршал фон Бок поставил своим войскам задачу быстрого прорыва к Москве танковыми соединениями. Гитлер утвердил план захвата Москвы. «В ближайшее время, любой ценой покончить с Москвой», — приказал он. Капитуляция Москвы по замыслу фюрера исключалась. Город должен быть разрушен до основания, население уничтожено голодом и операциями учрежденной для этого «зондеркоманды Москва».

Ноябрьское наступление немцев началось из района Волоколамска в направлении Истры и на Клин. Туда были брошены отборные дивизии, сотни танков и самолетов. «Не дать русским опомниться, сломить их оборону и молниеносно прорваться на улицы Москвы!» Одним словом, «Тайфун»...

Меня прикомандировали к 16-й армии, которой командовал генерал-лейтенант К. К. Рокоссовский. В одной из ее дивизий снимал и оператор Г. Бобров.

...Особенно тяжелыми были бои в районе станции Крюково. Здесь мне дважды пришлось встретиться с генералом Рокоссовским. Он в эти дни был явно встревожен, говорил тихим голосом, обдумывая слова. Помню, он сказал: «Если двое суток не продержимся — будет плохо». Я не стал переспрашивать, что означает «плохо». За спиной у армии была Москва.

Три десятилетия прошло с той поры. Земля содрогалась от тяжелых взрывов, от лязга гусениц, холмы и поля Подмосковья — любимые места лыжных прогулок молодежи — были изрыты черными воронками. Стояли лютые морозы, пар от дыхания превращался в иней. Песчинкой, гонимой ураганом гигантской битвы, кажется сейчас человек, отогревающий на груди замерзавшую кинокамеру, пытавшийся сохранить для будущего образ упрямого в бою, смертельно усталого, охрипшего и оглохшего от канонады защитника Москвы. Командарм, командив, командующий фронтом представляли себе напораму грандиозной битвы во всей ее широте, а у человека с

кинокамерой в поле зрения — одно пулеметное гнездо, поредевший взвод или орудийный расчет, ожесточенно ведущий огонь по врагу, наступающему из-за синееющего вдаль леса, кровь на снегу, окаменевший взгляд мертвого солдата, устремленный в холодное мгlistое небо...

К началу декабря немцы выдохлись. В дневнике начальника штаба гитлеровской армии генерала Гальдера есть запись:

«5 декабря 1941 г. фон Бок сообщает: силы иссякли. 4-я танковая группа не сможет завтра наступать».

А к нам прибывали все новые и новые пополнения. Почами подтягивались по дорогам, скрытно накатываясь в лесах, дивизионы тяжелой артиллерии, танки. Их было еще мало, но уже гремели своими гусеницами Т-34. Шли затащенные брезентовыми чехлами «катюши», шли полки, батальоны. Все бойцы в новеньких полушубках, валенках, с автоматами. Десантники, лыжные батальоны.

Спустя много лет, разбирая архивы гитлеровской кинохроники, просмотрел многие ее кадры — вот немцы роют траншеи, вот тянут проволоку на околицах подмосковных деревень, вот украшают рождественскую елку, не страшна, мол, нам русская зима, шлите теплые носки, теплые белье, дождемся весны, а тогда уж...

по выжженной
земле подмосковья

8 декабря грянули бои. Начался разгром гитлеровских войск под Мясковской. До этого за три недели оборонительных боев всего лишь дважды удалось мне побывать в Лиховом переулке — отвезил снятую пленку. А как хотелось хоть на день задержаться в Москве! Слово «москвич» теперь звучало гордо, как боевой пароль.

К моим основным двум работам — киносъемке и корреспонденциям в «Известия» — добавилась нагрузка не менее ответственная: в Совинформбюро предложили мне стать военным корреспондентом американского агентства печати Юнайтед Пресс. Было это вызвано тем, что иностранных корреспондентов на фронт не допускали, пользовались они только официальной информацией и очень на это сетовали; тогда им предложили договориться с советскими журналистами и писателями — фронтовиками о постоянном сотрудничестве через Совинформбюро. Эту работу стали выполнять Борис Полевой, Илья Эренбург, Евгений Петров и другие наши советские писатели и

журналисты, паходившиеся на различных участках фронтов.

В дни разгрома фашистских войск под Москвой на весь мир гремели имена генералов Жукова и Рокоссовского. Совинформбюро передало мне из Куйбышева убедительную просьбу корреспондента Юнайтед Пресс Генри Шаширо — взять интервью у Рокоссовского.

Встречался с Рокоссовским я часто. 16-я армия стала родным моим домом. Я подружился там с членом Военного совета Лобачевым, начальником штаба армии Михаилом Сергеевичем Малининым, начальником артиллерии армии Василием Ивановичем Казаковым. Штаб 16-й в этом же составе стал потом штабом Брянского фронта, впоследствии — штабом Донского, затем — 1-го Белорусского фронтов. В моей биографии с этими людьми связаны такие значительные вехи войны, как Москва, Сталинград, Варшава, Одер, Берлин.

Что ж, попытаюсь взять интервью у Рокоссовского.

Вторые сутки падал снег. Он улегся густым покровом на полях, на проселочных дорогах. Тяжелыми хлопьями покрыл ветви елей и сосен. Видимость при снегопаде была настолько плоха, что, сидя в выкрашенной в белый цвет «эмке», бегущей по Волоколамскому шоссе, можно было не глядеть на небо, откуда в погожие дни сваливались на голову коршуны с черными крестами на крыльях. Фронтные дороги Подмосковья мы уже объездили, знали каждый перекресток, дерево, мостик.

Восьмого декабря войска 16-й армии выбили немцев из Крюкова и двинулись на Истру.

Непередаваемое чувство — радость победы. Я снимал толпы пленных гитлеровцев, обмотанных шарфами, женскими платками, и занесенные снегом танки, искореженные груды металла, тысячи автомобилей — грузовых и легковых, склады артиллерийские, склады горючего — все это было в панике брошено отступавшим врагом.

Фронтная дорога изменила свой облик. Еще недавно нам навстречу шли печальные обозы — колхозники покидали свои села, нагрузив на саночки домашний скраб. Теперь по дорогам тягачи волокли подбитые немецкие танки, тащили на буксире тупорылые трофейные грузовики. Артиллерийская канонада гудела за ближним перелеском, как эхо уходящей грозы.

На улице одной из деревень, освобожденной нашими

войсками, я снял пожилую женщину-крестьянку, встречающую красноармейцев. Прильнув к стремени командира-конника, она шла боком, спотыкаясь, боясь оторваться, держась за полу его шинели. Отстав от всадника, обняла шагающего солдата, по-матерински расцеловала его, перекрестила, солдат ответил ей сыновним поцелуем. А женщина, попятившись к обочине, продолжала класть земные поклоны, крестила солдат и, всхлипывая, осеяла себя крестом.

Потрясающий кадр снял оператор Беляков. Он в самолете У-2 пролетел над местами отступления немецких войск, снял долгую панораму над дорогой, забитой брошенными машинами, сгоревшими танками, подмосковные поля, как сыпью усеянные трупами немецких солдат.

Сражение за Москву развернулось на огромном протяжении фронта, почти в тысячу километров. Киногруппа Западного фронта вместе с операторами Центральной студии, снимавшими в Москве, насчитывала не более тридцати человек. Нетрудно представить, какая нагрузка падала на каждого, снимавшего в те дни. Кинорепортеры были закреплены за армиями, но вместе с тем каждый был в ответе за широкий участок фронта, оператор должен был, в зависимости от хода событий, принимать самостоятельные решения, действовать маневренно, не ожидая приказа.

Люди работали с предельным напряжением. Особенно воодушевились, узнав о том, что решено создать фильм «Разгром немецких войск под Москвой» — первый военный полнометражный документальный фильм.

В эти дни из фашистских журналов «Вохеншау» исчезла кинохроника боев на Восточном фронте. Ранее, в октябре немецкие газеты объявили, что в войсках, ведущих наступление на советскую столицу, сосредоточена большая группа кинооператоров, имевших специальное задание министерства пропаганды снимать «великое сражение под Москвой». Геббельс мечтал о большом фильме: вступление фашистских войск в Москву, торжественный парад на Красной площади...

Почему же исчезли в немецких «Вохеншау» репортажи с Восточного фронта? А вот, оказывается, почему: берлинские газеты опубликовали заявление руководителя киноотдела министерства пропаганды Гиппеля о том, что «на советско-германском фронте стоят сильные морозы,

делающие невозможной работу киносъемочных аппаратов».

Среди наших трофеев в дни разгрома гитлеровских войск под Москвой оказалась и кинокамера — хроникальный съемочный автомат «Аррифлекс». Это было в районе Малоярославца. Бойцы, нашедшие кинокамеру в брошенной гитлеровцами легковой машине, передали ее оказавшемуся здесь оператору Владимиру Ешурину. Камера была заряжена полной кассетой пленки, Ешурин включил мотор, аппарат работал безотказно, несмотря на тридцать пять градусов мороза. Зря Гиппель ссылаясь на морозы, не в них дело было...

Ешурин снял трофейной камерой колонну немецких пленных, брошенные отступавшими гитлеровцами разбитые машины, танки, орудия, бронетранспортеры. Эти кадры были потом включены в наш фильм о разгроме немцев под Москвой.

А камеры у нас действительно иногда замерзали. Часто приходилось отогревать их под полушубком теплом своего тела. Прошедшие с первых дней через все испытания, «дорвавшиеся» до съемок большой победы, операторы работали, забывая о сне, невзирая на сильные морозы, на крайнюю усталость.

А в Лиховом переулке, куда непрерывающимся потоком шел материал, работал, не зная отдыха, весь коллектив студии — лаборанты, монтажницы, ассистенты, редакторы, огромный отряд документалистов, возглавляемый режиссерами Ильей Копалиным, Леонидом Варламовым и Романом Григорьевым.

Прошли годы. Над входной дверью студии в Лиховом переулке висит доска: «Центральная ордена Красного Знамени студия документальных фильмов». Мы, хроникеры, гордимся этим боевым орденом.

Операторы шли с войсками по выжженной земле. Фашистские факельщики, отступая, уничтожали все на своем пути. В редкой деревне сохранились сарай, хата. Туда так набивались люди, что не только лечь, но и стоять негде было. Помню, под Истрой в лесу я вытоптал в рыхлом снегу яму, выстелил ее еловыми ветками, зажег рядом костер и, поджав колени под полушубок, засунув руки в рукава, подняв меховой воротник, проспал несколько часов на трескучем морозе.

Освобожденная нашими войсками Истра представля-

ла гнетущее зрелище, классическую картину «зоны пустыни» — черные печные трубы, редкие фигуры людей, тянущих на санках извлеченные из-под руин постройки.

Штаб 16-й армии во время наступления постоянно в движении. Сейчас он расположился в сосновом лесу, в дачном поселке, где уцелели несколько коттеджей. Стоящий у калитки часовой вызвал ординарца командующего, меня пропустили.

В небольшой комнате два стола, покрытые картами. Ежеминутно звонят полевые телефоны. Начальник штаба Михаил Сергеевич Малинин принимает донесения командиров частей. По комнате из угла в угол ходит человек двухметрового роста в расстегнутом генеральском кителе. На вид ему можно дать лет сорок. На груди четыре ордена Красного Знамени и орден Ленина. Генерал-лейтенант Константин Константинович Рокоссовский.

Вчера он уклончиво ответил на мою просьбу об интервью для Юнайтед Пресс, очевидно, решил что-то «согласовать».

— Мы вот с начальником штаба сейчас в баньке помылись, — сказал он, кивнув в сторону Малинина, — когда немцев погнали, смогли, наконец, позволить себе роскошь — попариться. Давайте сначала по стакану крепкого чая, а потом уж побеседуем. А можно и за чаем. Да вы снимите полушубок. Не возражаете против чайку? А у немцев, рассказывают, в каждой почти штабной машине краденый самовар...

Мы прошли в соседнюю комнату. Койка командующего армией покрыта серым байковым одеялом. На койке лежали планшет, бинокль, на вешалке — подбитое козым мехом кожаное пальто, каракулевая шапка-ушанка, пояс с пистолетом в деревянной кобуре. Под койкой — потерянный рыжий чемодан. На дощатом столе кипящий самовар, хлеб, масло, колбаса.

Мне повезло. Был тот короткий вечерний час, когда командующий армией сравнительно спокоен, — там где-то слаженно и четко действует военная машина, все идет по плану, и в донесениях из дивизий и корпусов нет пока ничего, что могло бы насторожить, встревожить. Час этот может оказаться и не долгим — враг, отступая, огрызается, где-то может собраться с силами, нанести контрудар, но это уже будет отчаянной попыткой остановить наше неуклонно продолжающееся наступление.

Рокоссовский говорит с заметным польским акцентом, не повышая голоса. Удивительно, но этот гренадерского роста мужественный человек — я заметил не только сейчас, мне и раньше так казалось — застенчив, как бы чем-то смущен. Это не выглядит показной скромностью, он словно бы на самом деле стесняется своего высокого положения, своей славы. Щеки его залиты нежным румянцем, взгляд вопрошающий, чуть исподлобья, голубые глаза оттенены длинными ресницами. Улыбаясь, он по-детски выпячивает нижнюю губу.

— Расскажите, как выглядит Москва? — спрашивает он. — Что передают про Пирл-Харбор?

Интервью состоялось в непринужденной беседе за чаем. Рокоссовский отвечал на мои вопросы, я делал беглые заметки в блокноте. Где-то поблизости ухали залпы батареи дальнобойных гаубиц, при каждом выстреле дребезжали стекла, позванивали стаканы. Беседовали мы на исходе пятого дня нашего контрнаступления.

Он рассказал, как немцы потеснили наши войска к подступам Москвы, поделился своими мыслями, почему это могло произойти и почему нам оказалось под силу сломить наступательный порыв врага, а теперь мы преследуем его по пятам, бьем все сильнее и сильнее. Мы заранее условились с Рокоссовским, что перед тем, как отправлять, я покажу ему готовый материал. Поэтому только иногда вставлял: «Это — не для американцев, это я вам говорю...», ему самому, видно, захотелось высказать и то, что накипело в дни поражений и что наполняло его гордостью — наконец-то мы нанесли немцам сокрушающий удар. Первое убедительное поражение гитлеровского вермахта с начала второй мировой войны.

В его размышлениях порой звучала горечь, по преобладала большая гордость военачальника. Он ни разу не сказал «я», только раз, без малейшей рисовки сказал: «Когда генерал-фельдмаршал фон Бок бросил против меня большой силы бронированный кулак...» С большим уважением говорил о Жукове.

Последний мой вопрос: «Означает ли несомненный прогресс немцами сражения под Москвой начало разгрома армий Гитлера в Советском Союзе?» — был задан нарочито в тональности иностранного журналиста. Рокоссовский, погрузившись на минуту в раздумье, ответил:

— Это первая наша крупная победа. Очевидно, немцы закрепятся где-то на оборонительных рубежах подаль-

ше от Москвы, приведут в порядок обессиленные войска, подтянут резервы. Важно, что они почувствовали мощь наших ударов. Силы наши возрастают с каждым месяцем войны.

Раздался телефонный звонок. Рокоссовский извинился: «Начинается ночная страда». Мы простились.

новогодняя ночь Шли последние дни 1941 года. Года, который принес столько горя, бедствий, испытаний. Гитлеровские войска были отброшены от Москвы на сто пятьдесят, а где и на триста километров. Москве больше не угрожала непосредственная опасность. Это была первая крупная победа над фашистскими захватчиками. Мы еще не представляли себе, каким страшным окажется лето сорок второго года, нам предстояло еще вкусить горечь тяжелых поражений. Но разгром гитлеровских войск под Москвой прозвучал на весь мир как предвестник грядущей победы. Немецкий генерал Вестфаль писал: «Немецкая армия, ранее считавшаяся непобедимой, оказалась под Москвой на грани уничтожения...»

Было очевидно — победа под Москвой решилась не только в декабре 1941 года, воля к победе накапливалась в июле и сентябре, когда наш народ в мучительных испытаниях проявил силу сопротивления, величие духа.

Мир достаточно наглядился фашистской кинохроники, где на экранах по дорогам Европы шли с закатанными рукавами, с автоматами, вспящими на груди, скаля зубы в веселых улыбках, солдаты Гитлера. Они ломали пограничные кордоны гусеницами танков и шагали, шагали, улыбаясь, глядя в киноаппарат, жуя толстые бутерброды.

Наступило 31 декабря 1941 года. Звонок из Кремля на студию — прислать звуковую съемочную группу. Будет новогоднее выступление по радио, обращение к советскому народу. В Кремль направили меня и Халушакова со звуковой камерой. Кто будет выступать — не сказали. Мы договорились, как только мне станет известно, кто выступает, позволю на студию и первое слово, которое скажу в телефон, должно начинаться с первой буквы фамилии выступающего. Ну, скажем: «Можно прислать машину к Спасской башне», значит, выступает Молотов...

В одиннадцать часов уже все было известно, позволил на студию и по условному коду дал знать товарищам, что с обращением к советскому народу выступит Калинин.

В половине двенадцатого в небольшую, обитую мягкой материей комнату, где стоял микрофон, быстрыми шагами

вошел Михаил Иванович Калинин. Он поздоровался с нами, мы обменялись новогодними приветствиями, пожали друг другу руки. Михаилу Ивановичу предложили сесть у микрофона. Он положил перед собой текст речи и, откинувшись в кресле, молча ожидал сигнала. Мы включили камеру.

Я представлял себе, как слова Калинина несутся в эфире по стране, их слушают миллионы людей в домах за скромно накрытыми столами, в блиндажах, в окопах, в цехах заводов. Михаил Иванович закончил выступление, мы снялись группой на память, снова поздравили друг друга с наступающим Новым годом.

Вышел на Красную площадь через Спасские ворота. Площадь была пустыня. Днем я узнал, что в Центральном Доме работников искусств будет традиционная встреча Нового года. Медленным шагом пересек безлюдную площадь Свердлова, от «Метрополя» по Неглинной улице дошел до Пушечной и, поднявшись вверх по улице, зашел в подъезд Дома работников искусств.

Директор ЦДРИ Борис Михайлович Филиппов встретил меня в торжественно приподнятом настроении.

— Если на Красной площади состоялся военный парад, — сказал он, — то мы должны, как обычно, Новый год встретить в ЦДРИ.

В большом зале стояла елка. Всегда здесь бывали шумные новогодние балы, на этот раз народа было очень мало. Никто заранее столиков не заказывал. Пили за победу, за наших близких, которые далеко в эвакуации, за солдатскую дружбу. В два часа ночи вышли на улицу, зашагали по морозной Москве. Редкие прохожие, обладатели ночных пропусков, поздравляли друг друга с Новым годом. Я пошел на студию. Не хотелось мне в эту ночь оставаться одному в пустой, нетопленной квартире. В те трудные военные дни студия была родным домом.

ПУТЬ ЧЕРЕЗ ЛАДОГУ

Трудно сейчас вспомнить, когда, где зародился план поездки в блокированный Ленинград. Очевидно, в период боев под Старой Руссой, которые были частью сражения за город на дальних его подступах.

В печати мало было сведений о Ленинграде. Но даже за краткими газетными сообщениями можно было представить масштабы бедствия, постигшего город, героизм его жителей, его защитников.

Ленинград был охвачен врагами в кольцо. В начале ноября Гитлер заявил, что будет спокойно выжидать, пока Ленинград, сломленный голодом, покорно упадет в его руки, как спелое яблоко.

Фашисты беснощадно обстреливали город. Тяжелая, осадная артиллерия била непрерывно, укладывая снаряды в шахматном порядке во всех городских районах. Это страшнее бомбежки. Когда приближаются эскадрильи бомбардировщиков, население, предупрежденное сигналами воздушной тревоги, имеет возможность укрыться в убежищах. Снаряд внезапно, он разрывается на улице, на площадях, на перекрестке, в квартире, в доме. Нет ничего более варварского, чем артиллерийский обстрел осажденного города. В свое время я испытал это в Мадриде, который тоже был осажден фашистами и тоже подвергался зверским артиллерийским обстрелам.

Когда Ладожское озеро замерзло и навигация прекратилась, фашисты торжествовали. «По льду Ладожского озера,— утверждали они,— невозможно снабжать продовольствием миллионное население и войска». Но родилась ледовая дорога через Ладогу, которая стала жизненной артерией, связавшей Ленинград со страной. Конечно, по узкой ледовой дороге, которая к тому же простреливалась прицельным огнем вражеских артиллерийских батарей и подвергалась постоянным бомбежкам, трудно было решить проблему снабжения огромного города. Однако ленинградцы называли ладожскую трассу «дорогой жизни», ибо нескончаемым конвейером, днем и ночью, продовольствие все-таки шло в осажденный город.

По этой дороге и мне предстояло проехать в Ленинград.

Лишь в первые два-три месяца войны в наших центральных журналах кинохроники появились несколько ленинградских репортажей. Но как только замкнулось кольцо блокады, поступление материала прекратилось. В Комитете кинематографии были озабочены тем, что ленинградские кинохроникеры не давали материалов в центральную военную периодику.

Меня направили в Ленинград не только для съемок. Необходимо было установить живой контакт с хроникера-

ми, работавшими в кольце блокады, — Сережей Фоминым, Володи́ей Страдиным, Ефимом Учителем, свежими силами помочь им, наладить регулярную присылку материала в Москву. Принять участие в работе над фильмом о героической обороне Ленинграда.

По предварительным подсчетам поездка в Ленинград на автомобиле с остановками в пути должна занять не меньше четырех суток. Меня спрашивали: «А почему не воздушным путем?» Самолеты регулярно совершали рейсы, связь с Ленинградом существовала.

— Только на машине. И обязательно на тяжелой, грузовой. В Ленинград нужно привезти продукты для товарищей.

Добравшись до Ленинграда, я понял, как правильно мы поступили, доставив кинематографистам продовольствие.

Комитет кинематографии направил письма в различные наркоматы и управления — мясной, консервной, рыбной промышленности, промышленности пищевых концентратов. Уже не припомню, в скольких кабинетах побывал с этими письмами, добывая необходимые резолюции. Но, должен сказать, слово «Ленинград», как волшебный талисман, открывало кабинеты, сердца людей. Нигде не было отказа. К грузу продовольствия прибавлялись объемистые посылки — их приносили родственники ленинградцев, находившихся в блокаде.

Ехали мы, кроме шофера, вчетвером: Борис Шер, ассистент оператора Бородаев, администратор Азов и я. Решили, что каждый из нас возьмет свой личный, небольшой запас продуктов — килограммов по десять.

Разные события в жизни человека оказываются иногда очень похожими, хоть их и разделяют многие годы. Собираясь в осажденный Ленинград, я вспоминал наш с Михаилом Ефимовичем Кольцовым рейс из Мадрида на север Испании в Бискайю и Астурию. Там в кольце врагов, отрезанные от страны, прижатые к морю, сражались республиканцы. Лететь к ним можно было только над территорией, занятой Франко. Редкие самолеты везли туда почту, боеприпасы, офицеров, возвращались с ранеными. С одним из этих рейсов мы полетели с Кольцовым.

Сейчас, отправляясь в блокированный Ленинград, я вспоминал этот рейд в Астурию в октябре 1936 года.

В мельчайших деталях обсуждали мы план предстоящего путешествия. Машина — четырехтонный грузовик. Среднюю скорость нашей экспедиции мы определили не больше, чем тридцать километров в час. Время военное, кто знает, где придется ночевать, поэтому первую ночь мы решили провести в пути, как следует отдохнув и выспавшись перед дорогой. И еще была причина, по которой мы хотели выехать именно вечером: в Колонном зале состоялось первое исполнение Седьмой симфонии Шостаковича. Мы решили пойти в Колонный зал и, прослушав симфонию Шостаковича, тронуться в путь.

Впоследствии часто я вспоминал об этом вечере 29 марта 1942 года.

Колонный зал был переполнен. Более половины пришедших прослушать симфонию были военные. Генералы, солдаты, офицеры. Людей пришло больше, чем было мест в зале. Я, как и многие, стоя пригнулся за колонной.

Имя сравнительно молодого еще Дмитрия Шостаковича уже было известно далеко за пределами Советского Союза. С жизнью Ленинграда были связаны все значительные моменты творчества Шостаковича. Когда война обрушилась на страну и Ленинград оказался в огне, композитор не захотел покинуть родной город. Он записался в пожарную добровольную команду и ежедневно дежурил на крыше здания.

Над Ленинградом плыл вой сирен воздушной тревоги. Под нарастающий рокот войны создал Шостакович свою бессмертную Седьмую симфонию.

Я стоял, прислонясь к колонне, помня, что внизу в переулке ждет запущенный снегом грузовик, на котором я сейчас поеду в Ленинград. В Ленинград, где родилась эта симфония.

Все ближе и ближе барабанная дробь. Перекликаются группы инструментов, словно поднимаются в бой по военной тревоге улицы, районы города. Он все нарастает, этот грозный ураган звуков. Вот он уже достиг небывалых вершин. Это уже кажется пределом звучания оркестра. Но он поднимается все выше, выше. Ленинград сражается со всей силой страсти. Город без света, без хлеба, без воды! Все ближе, ближе барабанная дробь! Чувствую, что сердцу тесно в груди. Я еще молод, никогда еще не знал, что значит боль в сердце, никогда не прислушивался к его бешению. А сейчас я его чувствую, сердце словно вторит грозным звучаниям оркестра.

Громче, сильнее страшный ураган звуков! Не хватает дыхания от этого надвигающегося на тебя ужаса. Трудно было мне тогда представить, что настанет день — и симфония эта будет исполнена в столице Германской Демократической Республики. Сам Шостакович назвал свою симфонию «Поэмой о нашей борьбе, поэмой о нашей грядущей победе».

Чувствовалось, что и оркестр Большого театра и радиокомитета, и дирижирующий этим оркестром Самосуд живут теми же эмоциями, теми же чувствами, которыми охвачены все слушатели, переполнившие этот выдавший виды Колонный зал...

Взглянул на часы. Пора ехать. График мы установили жесткий. Поманил товарищей, и мы медленно вышли из зала, провожаемые четвертой частью симфонии, по замыслу композитора — торжественного гимна Победы.

Грузовик стоял в переулке. «Поехали», — сказал я. Шофер развернулся вокруг Дома Союзов, мы миновали Охотный ряд, свернули направо, на опустевшую улицу Горького.

Выехали на Московскую заставу. Химки. Через час мы ехали уже по тем местам, где недавно немцы устанавливали свои осадные орудия, чтобы открыть из них огонь по Москве, по Красной площади.

Тоненькие щелочки маскировочных фар едва освещали пространство в два метра перед радиатором машины. Где-то над низко нависшими облаками светила луна, поэтому дорога хорошо просматривалась.

В Клину сделали короткую остановку, нашли около дороги комендантский пункт, там было что-то вроде чайной, выпили горячего чая.

Утром мы были в Калининне, уложили водителя отдыхать на три часа и — дальше в путь. На остановках не оставляем машину без присмотра — двое отлучаются, а двое не отходят от нее ни на шаг. Слишком ценный груз везем.

Не доезжая до Валдая, где-то по дороге опять комендантский пункт, здесь решили остановиться на почевку — шофер был сильно утомлен. Наша с Борисом вахта на машине. Взгромоздились в кузов, залезли под брезент. Одеты мы тепло: ватные брюки, валенки, полушубок. Мороз тридцать два градуса. Подняв воротник полушубка, засунув руки в рукава, погрузились в сон. Однако где-то

и во сне тревога не покидала. Дважды просыпался, вылезал, обходил машину. Потом решил, что лучше спать не под брезентом, а сверху. Через три часа нас с Борисом сменили Азов и Бородаев. Шоферу мы дали отоспаться полных шесть часов, раздевшись, на койке, в хорошо натопленном помещении. Где-то за Валдаем, а может, и в самом Валдае (не помню точно) покинули мы Ленинградское шоссе и свернули в объезд Чудова, по направлению Аскуй — Будувич — Шовенец — Тихвин. Если бы ехали в распутицу осенью или весной — хватили бы лиха на этой дороге. А зимой дорога накатана.

От Тихвина взяли направление на Волхов, через Чепихино — Воскресенское — Кулаково — Юрцево. А от Волхова уже двинулись на запад, по последнему участку нашего пути. К Ладожскому озеру.

Навстречу стали попадаться машины, двигавшиеся из Ленинграда. От одного вида людей, которыми были перегружены автобусы и кузова открытых грузовиков, на нас повеяло ужасом ленинградской блокады. Не люди — призраки двигались нам навстречу, укутанные платками, одеялами.

Встречались и небольшие группы людей, идущие пешком. То ли им не нашлось места в машине, то ли, не дождавшись следующего рейса, они решились двинуться на свой риск. Глядя на этих людей, идущих из последних сил, я ощутил в полной мере трагедию Ленинграда. На память пришли печальные судьбы покорителей полярной пустыни, тех, кто, потеряв собак, нарты, израсходовав последние запасы продовольствия, шли по торосам, зная, что часы их жизни сочтены. Наиболее выносливые, сильные духом доходили до цели. Они оставили свои воспоминания, из которых благодарное человечество узнало страшные подробности трагедии, разыгравшейся в ледовой пустыне...

Ровно в двенадцать часов первого апреля — третий день пути — наша машина подъехала к Ладожскому озеру. Мы с Шером молча переглянулись: до горизонта расстилалось белое пространство, через которое была протянута, расчищенная бульдозерами, автомобильная трасса.

Дорога жизни!

Наиболее интенсивным движение здесь становилось в ночное время, потому что трасса проходила на виду у немецких батарей, расположенных на берегу Ладоги. До-

рогу немцы пристреляли и пытались проскочить на тот берег в дневное время было очень рискованно.

Каждая машина — спасенные жизни защитников Ленинграда. Каждая машина — это оружие, хлеб, горючее для танков, мясные туши, ящики с консервами и снарядами. Трасса на вид была почти пустая. И лишь одиночные точки — машины бежали на больших расстояниях друг от друга. Издалека виднелись на трассе разрывы снарядов.

Днем машины сосредоточивались в ближайших лесах и их выпускали по одиночке. Машины, везущие эвакуированных из кольца блокады, шли только ночью.

Уж раз мы попали на эту трассу, конечно, должны были ее снять столь подробно, сколь позволит нам время. Но снимать — это означает останавливать машину на дороге, делать ее мишенью для немецких пушек. Мы приняли решение: Азов, Бородаев и шофер остаются с машиной на этом берегу Ладоги. Мы с Борисом, взяв необходимый запас пленки, на попутной машине выедем на трассу. Вечером вернемся обратно на восточный берег Ладоги и на нашей машине в ночное время пересечем Ладогу.

Повесив на плечо кассетник пленки, взяв камеру, мы с Борисом стали дожидаться попутной машины. Вскоре она появилась. Подняв руку, остановили ее, объяснили, кто мы, что нам нужно, пристроились на подножках, поехали.

Через определенные интервалы на льду озера линейные посты — домики, сложенные из снежных кубов. Внутри домика печурка, койка, стол, табуретка. Соскочив у одного из таких снежных домиков, мы остались на льду. Ждать пришлось недолго, от берега в нашу сторону направлялись на небольшой дистанции друг от друга машины. Сняли машины, сняли красноармейца, стоявшего на посту с флажком. Я по журналистской привычке записал его фамилию — Микитенко Яков Данилович, 1902 года рождения, колхозник из Полтавщины. «Крыша вашего дома, Яков Данилович, выдержит, если на нее взобраться?» — спросил я. «Должна выдержать, — сказал он, — только на середину не становитесь, стойте на краешке, над стеной». Я снял с этой сравнительно верхней точки машины, направлявшиеся к ленинградскому берегу. На последнюю машину подсели, поехали дальше.

Мы колесили по трассе до наступления темноты, из-

расходовали всю пленку. Два грузовика, шедшие на дистанции ста метров один от другого, попали под артиллерийский налет, нам и это удалось снять. Сняли немецкого воздушного разведчика, летящего над трассой. Снимали регулировщиков, шоферов, снежные домики. Вернулись к машине очень довольные съемкой, но усталые, замерзшие, голодные и с остервенением набросились на еду (утром забыли захватить что-нибудь поесть, а в этих краях язык не повернется попросить у кого-нибудь кусок хлеба).

А когда стемнело, наша машина по пологому спуску выехала на лед Ладожского озера. В водительской кабине, где мы сидели с Шером, тесно прижавшись друг к другу, было темно. Он толкнул меня локтем в бок, я ему ответил. Да, это был знаменательный момент — мы двинулись по ладожской трассе в город Ленина.

Пройдут десятилетия, не забудется Ладожская трасса. Будут помнить люди, как шли по льду колонны машин с грузами из Москвы, Горького, из Средней Азии, как тянулись по этой ладожской трассе красные обозы партизан. Из оккупированных районов Ленинградской области они везли продовольствие осажденному Ленинграду.

Контрольно-пропускной пункт на окраине Ленинграда. Мы въехали в город. Машина медленно шла по улицам, направляясь к центру города.

Он все так же прекрасен, несмотря на то, что песком и досками закрыты памятники. Обрывки пожелтевших плакатов, воззваний, приказов на стенах домов.

Невский. Редкие машины, в большинстве грузовые, медленно переваливают через обледеневшие сугробы. Мы остановились, я вышел с камерой, увидел согнувшуюся от непосильной тяжести пожилую женщину, она впряглась в ляжки и тянула саночки, на которых лежал труп, зашитый в простыню. Потом, живя в Ленинграде, мы привыкли к этому зрелищу. Но первый раз увидеть это было страшно. Трупы мы видели и у подъездов домов. Человек вышел из дома, медленно опустился на снег и умер.

На студию! Скорее хотелось увидеть друзей, вручить им драгоценный груз. В дни блокады студия помещалась на Каменном острове. Там кинохроникеры жили на казарменном положении, там они работали.

Ворота студии медленно открылись, мы въехали во двор. А в следующую минуту уже были горячие, со слеза-

ми радости объятия. Юзик Хмельницкий, Ефим Учитель, Сережа Фомин, Володя Страдин, Валерий Соловцев. Но, боже, как они выглядят! Серые псхудавшие лица с острыми скулами, глубокими впадинами под глазами, руки тонкие, восковые, прозрачные. Казалось, в них едва теплилась жизнь.

Еще продолжались объятия и не успели мы ответить на первый вопрос: «Как доехали? Ждали вас еще вчера», — не успели сказать о грузе продуктов, как загудели сирены воздушной тревоги. Я инстинктивно взялся за камеру.

Вместе с Учителем, Соловцевым и Сергеем Фоминным мы поднялись на крышу дома. Гремел тысячеголосый гром зепитных батарей. Мы увидели эскадрильи фашистских бомбардировщиков. Такого я никогда не видел. Они шли с разных сторон к центру города. Я попытался их сосчитать, но сбился. В поле зрения было более ста бомбардировщиков. А за ними вдаль такие же группы самолетов виднелись над другими частями города. Сколько же их всего?

— Что ж, ребята, это у вас каждый день? — спросил я.

— Налеты почти ежедневно, но такого массового еще не было, это — в честь твоего приезда, — сказал Учитель.

Бомбежка продолжалась около часа. Кто-то из операторов помчался в город, чтобы снимать там. Мы наблюдали воздушный бой, который вели наши истребители с немецкими бомбардировщиками и прикрывавшими их истребителями.

Когда все кончилось, товарищи повели меня на студию. Знакомая картина — мы привыкли к этому в Лиховом переулке — студия на казарменном положении. Все живут здесь. Койки, железные печурки. Не хватает только мебели — пошла на топливо. Меня забросали вопросами. Я называл имена товарищей кинооператоров, погибших в первые дни, месяцы войны. «Погиб под Киевом, убит под Брянском, пропал без вести на Южном...» Они перечисляли свои потери.

Товарищи рассказывали, какой радостью была для них весть о нашей победе под Москвой. Кто-то сказал: «Ну, ничего, и мы дорвемся». Я смотрел на их изможденные лица, поражаясь, до чего же страдание, голод могут изменить облик человека. Молодые ребята выглядели стариками.

Ежеминутно кто-то входил в комнату — объятия, по-

целуи, рукопожатия. Люди казались такими хрупкими, обнимая их, я боялся, что они могут сломаться. А ведь не сломались! Невзирая на все испытания. Кремневой породы люди, кинохроникеры, думал я, глядя на товарищей. И вели они себя вовсе не как больные от истощения — сохранили живость, пытливость, чувство юмора.

— Ну, выкладывай все новости, давай же, давай.

Тут я спохватился.

— Новости потом, — сказал я. — Идите все во двор, ребята. Там стоит машина, в ней...

Был скинут брезент, опущены борта машины, мы взяли за переноску богатства, привезенного нами, в комнату, отведенную для этой цели. В проблеме учета и распределения продуктов ленинградские кинохроникеры не проявили медлительности. Создали комиссию, составили списки людей. Учтены были семьи, особенно — дети, не забыты те, кто находился в госпитале, принято было во внимание состояние здоровья людей. Некоторые уже не в силах были двигаться.

Спустя много лет оператор Герман Шулятин рассказывал мне о том, как он лежал в госпитале с незаживающей раной — с раздробленной костью ноги. Врачи говорили ему, что спасти его могут только какие-то витаминные компоненты, содержащиеся в рыбных продуктах. Например, в кетовой икре, в свежем балыке. Говоря: «кетовая икра», врач виновато улыбался. Товарищи, чтобы спасти друга, собирались уже заняться ловлей рыбы подо льдом Финского залива. Но руки до этого не дошли. «Представляешь себе мое состояние, — говорил мне Герман спустя много лет, — когда Миля принесла мне в госпиталь привезенную тобой кетовую икру, балык, это было похоже на сказку из «Тысячи и одной ночи».

Немного погодя в том же общежитии студии состоялся у нас деловой разговор. Сообщил товарищам о тревоге, которую в Комитете кинематографии вызывает позиция, занятая ленинградскими хроникерами. Решив делать большой фильм о Ленинграде, они прекратили высылку хроникальных материалов.

— Мы действительно накапливаем материал для большого фильма об обороне Ленинграда, — сказал Валерий Соловцев. — Кое-что посылали в Москву, могли бы, конечно, высылать больше и регулярнее, но трудности с лабораторией лимитировали нас. Мы не имели возможности делать дубль-негативы с каждой съемки. А отправлять

оригинальный негатив не решались — что если бы он пропал?

— Видимо, вы действуете, товарищи, по принципу: «победителей не судят», — сказал я. — Фильм, создаваемый вами, будет, очевидно, огромной эмоциональной силы. Но необходима и постоянная информация. Центральную редакцию кинохроники забросали просьбами из многих стран мира: «Покажите Ленинград в блокаде!» Держать в сейфах весь накопленный материал — глубочайшая ошибка, давайте вместе обмозгуем, как выходить из создавшегося положения.

— Материал для большой картины уже собран, нам очень активно помогал Всеволод Вишневский, — сказал Ефим Учитель. — Сейчас вместе с тобой будем работать над созданием фильма, который, собственно говоря, уже снят.

— Ты прибыл удивительно вовремя, — сказал Халипов, директор Ленинградской студии кинохроники, — как раз сегодня вечером нас вызывают в Смольный. Обком партии и Военный совет Ленинградского фронта хотят ознакомиться с материалом. На просмотр приглашают всю нашу группу и Всеволода Вишневского.

— Поедем с нами, — сказал Соловцев. — А сейчас тебе не мешало бы отдохнуть. За нами приедут к восьми вечера.

Мы быстро решили организационные вопросы: машину нашу завтра же отправим в обратный путь. Медлить нельзя — Ладога скоро растает, ледовая трасса перестанет существовать, а машина была нами взята в Управлении тыла с обязательством немедленно вернуть ее в Москву.

Я заснул мертвым сном, едва прикоснувшись головой к подушке. Не знаю, сколько проспал, но проснулся от того, что меня трясли изо всей силы. Видимо, большого труда стоило заставить меня открыть глаза. Вскочив, увидел склоненное надо мной лицо Всеволода Вишневского.

Милый Всеволод! Увлекающийся, горячий, упрямый. Неистовый в своей ненависти к врагам, легко ранимый, способный прослезиться, если что-то глубоко его взволновало.

Мы подружались с Всеволодом в Испании. Он приезжал туда в 1937 году с делегацией советских писателей на

Всемирный антифашистский конгресс культуры, который открывался в Валенсии, а затем продолжил свои заседания под бомбами и артиллерийским обстрелом в осажденном Мадриде. Там возил я Всеволода Вишневского в Карбанчель-Бахо на баррикады самого переднего края мадридской окраины. Познакомил Всеволода с бойцами на баррикаде и сказал им, что это один из создателей фильма «Мы из Кронштадта». Не было бойца на мадридском фронте, который не знал бы этого фильма. Слово «Петроград» было в осажденном Мадриде символом стойкости, мужества и героизма. Всеволод попросил меня: «Скажи им, что я, советский писатель, участник гражданской войны, участник обороны Петрограда, хочу из этого пулемета, из нашего, советского «максима» выпустить очередь по фашистам». Милисьянос¹ долго хлопали его по спине, улыбались: «Муи буэно!» Подвел его к пулемету, и один из парней сказал: «Видишь тот дом? Левое окно на втором этаже, там у них огневая точка».

Всеволод впился в пулемет и выпустил длинную очередь. Отойдя от пулемета, отвернувшись, махнул рукой, глаза его наполнились слезами. В этом был весь Всеволод Вишневский — наивный, страстный. Кто-то, помню, узнав о пулеметной очереди, пожал плечами, бросил фразу о позерстве Вишневского. Это было не позерство, а эмоциональный импульс, психологическая потребность здесь, на переднем крае, выпустить очередь по фашистам. Такой уж он был, Всеволод Вишневский...

Мы крепко обнялись, долго тискали друг друга. На его груди, кроме советских орденов, был полный бант Георгиевских крестов. Спустились во двор, где нас ждали машины, присланные из Смольного, поехали по улицам вечернего Ленинграда. В машине на ходу мы могли лишь бегло обмениваться мыслями о будущем фильме. Вишневский, Учитель, Соловцев уже вжились в будущую картину. Перед их глазами был каждый метр снятого материала. То, что нам предстояло сегодня просмотреть, это еще не картина — черновой ее набросок. По словам Всеволода, материал потрясающий. Особенно — город, жители, стойкость ленинградцев. По его мнению, такого до сих пор на экране не было.

¹ Бойцы народной милиции.

Смольный. Даже в мирное время, когда проходишь через ворота Смольного, невольно представляешь себе noch на 25 октября, костры, отряды красногвардейцев, матросов. Священное место нашей Революции. Штаб Октябрьского восстания, центр обороны революционного Петрограда от полчищ Юденича. Сейчас снова здесь штаб обороны города Ленина.

Проверка документов, пропуска. Нас повели по сводчатым коридорам, так хорошо знакомым по многим фильмам, фотографиям.

Вошли в отделанный дубом зрительный зал, я сел поодаль в уголке. В зале уже были люди. Ровно в девять часов появились Жданов, Кузнецов, командующий Краснознаменным Балтийским флотом адмирал Трибуц, председатель Ленинградского городского Совета Попков, несколько генералов, имен которых я не знал. «Материал заряжен, можно начинать», — сказал директор киностудии Халипов. В зале погас свет.

В этом переполненном людьми зале я оказался наедине с материалом, слился с экраном, с образами и событиями, о которых он мне рассказывал. Вишневский сопровождал просмотр своими комментариями. Сначала на экране появились кадры города Ленина до войны: его набережные, проспекты, оживленные улицы, окрестности Ленинграда — Пушкино, Петродворец, стадионы... 22 июня 1941 года. Война! Многолюдные митинги на заводах и фабриках Ленинграда, призывные пункты, военкоматы. Бои на дальних подступах.

А у меня в ушах звучала нарастающая барабанная дробь Седьмой симфонии. Все сильнее, сильнее! Воздушные тревоги в Ленинграде, опустевшие улицы, вой сирен, зенитки, разрушенный Театр имени Кирова. Ночи Ленинграда. Улицы, освещенные заревом пожаров. Непрерывающаяся ни на минуту работа в цехах заводов. Все ближе, ближе, ближе барабанная дробь. И вот на весь экран передовая «Ленинградской правды» — «Враг у ворот».

За каждым кадром виделась героическая работа наших кинооператоров. Они запечатлели город и людей, правдиво и реалистически отображали небывалые трудности, которые выпали на долю ленинградцев. Эти съемки были подвигом всего коллектива ленинградских кинохроникеров. Ведь операторы наравне со всем населением получали скудный хлебный паек. Стояли жестокие морозы. Утром с Каменного острова, где помещалась студия

кинохроники, взвалив на плечи камеру и запас пленки, они уходили в город — Ефим Учитель, Страдин, Лейбович, Дементьев. Ни одного дня без съемки! Когда все уже обессилели и носить аппаратуру на себе стало трудно, везли ее на саночках. Шли по пустынным улицам скованного холодом города, снимали кадр за кадром, отогревая замерзающую камеру на своей груди. Нелегко голодному, истощенному человеку пройти более десятка километров. И все-таки не было дня, когда бы они не снимали. Перед нами сохраненный для поколений облик города-героя.

Снимали не просто, что попадалось им на глаза, — упорно искали и находили в осажденном городе события и факты, которые во что бы то ни стало надо было зафиксировать. Шли на далекие окраины, на заводы, пробирались на передний край обороны, снимали на боевых кораблях, на крышах домов, на берегах Невы, в Смольном. Снимали бойцов и домохозяек, рабочих и профессоров.

Потрясающий материал!

Работая в труднейших условиях осажденного Ленинграда, они запечатлевали множество таких выразительных деталей, которые в минуту крайней утомленности можно было бы и не заметить.

Разделяя все лишения и трудности с бойцами Ленинградского фронта, снимали операторы боевые действия. В мороз, в пургу приходилось совершать большие переходы с грузом аппаратуры и пленки на плечах, работать под огнем вражеской артиллерии, под бомбежками. Операторы Симонов, Славин, Богоров, Голод и другие запечатлели стремительные атаки советской пехоты, бывавшей врага из населенных пунктов.

Я был захвачен тем, что видел на экране.

Впоследствии мне рассказали о подвигах тех, кто создавал эту сокровищницу ленинградской кинолетописи. В бою был убит молодой кинооператор Филипп Печул. Он вклинился с группой бойцов в расположение противника, пришлось отложить в сторону киноаппарат, взяться за оружие. С винтовкой и гранатой он храбро сражался и пал геройской смертью.

Оператор Сергей Фомин снимал на борту военного транспорта в Финском заливе. Транспорт был потоплен, больше часа Фомин провел в ледяной воде, его спасли, приняли на борт другого военного корабля, и вскоре он был в состоянии продолжать работу.

Вернулся в строй и Яков Славин, раненный на подступах к Ленинграду осколком авиационной бомбы. Потом он был вторично ранен.

В тяжелые дни блокады ленинградские кинооператоры понимали, что каждый метр, снятый в осажденном городе, станет достоянием истории.

...В зале зажегся свет. Долгое время присутствующие хранили молчание. Нарушил его Жданов, сказав: «Ну что ж, товарищи, давайте обменяемся мнениями о том, что мы просмотрели, выскажем свои пожелания товарищам, которые работают над фильмом».

Выступал адмирал Трибуц, секретарь Ленинградского комитета партии Кузнецов, председатель горсовета Ленинграда Попков, секретарь обкома партии Шумилов и другие. Много интересных мыслей было высказано по поводу будущего фильма. В заключение Халипов сказал: «Сегодня в Ленинград из Москвы прибыло свежее пополнение. Товарищ Кармен приехал, чтобы вместе с ленинградскими хроникерами поработать над этим фильмом». Я подошел к Жданову, поздоровались, он сказал мне:

— Мы надеемся, что вы вместе с вашими коллегами-ленинградцами подумаете над всем, что сегодня было сказано, учтете все советы. Очевидно, нужно написать сценарный план будущего фильма с учетом всех высказанных сегодня пожеланий, и снова мы просмотрим его на экране. А ваше мнение о материале?

— Я буквально потрясен тем, что увидел сегодня.

Вернулся на студию, и я предложил выпить наконец за встречу, выпить за первый просмотр материала, за будущий фильм.

— Пить-то вам можно? Или нельзя, доходяги несчастные,— обратился я к ребятам.

Мне ответил бодрый хор голосов, утверждавший, что «доходягам» пить не запрещено. А в таких обстоятельствах, как сегодняшнее, выпить необходимо. Я полез под койку, вытащил из чемодана и поставил на стол две бутылки коньяку...

гордый лозунг
«НО ПАСАРА!»

Трудные начались дни и ночи. Съёмки в городе продолжались, теперь в эти съёмки включились мы, москвичи. Появился новый, подсказанный жизнью финал фильма. Этим финалом было всепобеждающее шествие весны по улицам пережившего тяжелую блокадную зиму Ленинграда.

Город преображался на глазах. Он стал неузнаваем. День за днем исчезали с его улиц, тротуаров и мостовых горы снега и льда. Триста тысяч ленинградцев вышли на улицы с лопатами, кирками, чтобы привести в порядок свой город. Вот уж где было разгуляться кинооператору! Выдержали ленинградцы тяжелую зиму, наступила весна, которой так пугал их Гитлер. Уже дважды немцы сбрасывали листовки, в которых назначали день решающего штурма. Последний раз они называли 10 апреля. Но вот пришло и 10 апреля.

Начал работать водопровод, открылись парикмахерские, бани. Уже редко встречались на улицах люди, лица которых были покрыты слоем копоти от железных печурок, от ламп-коптилок.

День 15 апреля был всенародным праздником — пошел трамвай. Его встречали на улицах криками «ура», многие плакали, мы сняли старуху, осенявшую трамвай крестом.

Благодаря ледовой трассе увеличилась дневная выдача хлеба. Отдел торговли Ленинградского Совета объявил о выдаче по апрельским карточкам полной месячной нормы мяса, масла растительного, масла животного, сахара для детей, который по желанию мог быть заменен кондитерскими изделиями. В городе открылись несколько санаториев на двадцать тысяч человек, где ставили на ноги людей, истощавших от голода и лишений во время зимы.

Сколько трогательных эпизодов было снято в эти дни! Проходя по улицам Ленинграда, мы видели, чувствовали, какую бодрость и силу вдохнула в этот город весна. В воскресный день на проспекте 25-го Октября — множество народу, оживленно, шумно. Я видел смеющихся людей. Улыбки на лицах появились в Ленинграде только весной.

Ефим Учитель, Николай Комаревцев, Валерий Соловцев и я работали по монтажу картины. Нашими ближайшими помощниками были ассистенты режиссера Лидия Кикас, Клавдия Козырева. Диктор Рувим Выгодский, проживший в Ленинграде всю блокаду, ходил около монтажных столов в состоянии глубочайшего нетерпения. Ему уже хотелось получить хотя бы наброски будущего текста. Композитор Астрадавцев, благодаря продуктам, привезенным из Москвы, несколько ожил — ко времени нашего приезда он был в очень тяжелом состоянии. Сей-

час он уже приступил к работе над музыкой к нашему фильму.

Мне рассказали, что сейчас, именно в эти дни перелома к лучшему, многие люди, не выдержав минувших испытаний, умерли. Я решил поехать на кладбище. Знал, что мне предстоит тяжелое зрелище.

Поехал туда. Жуткая картина предстала перед моими глазами. На Пескаревском кладбище вырытые эскаваторами глубокие траншеи, параллельные, длиной в триста метров, были заполнены трупами, зашитыми в белые простыни, одеяла. Этих мертвецов я снимал на улицах Ленинграда, когда их везли, везли, везли...

На Пескаревском кладбище я снова побывал спустя двадцать с лишним лет. Прошел вдоль рядов мраморных и гранитных мемориальных плит, стоял у подножия монумента Матери-Родины. Тишина, слова Ольги Берггольц, высеченные в мраморе: «Никто не забыт, и ничто не забыто». Группы экскурсантов с разных концов земного шара.

Трудно было поверить, что некогда я шел здесь, утопая по щиколотку в жидкой грязи, подходил к краю обрыва, глядел на страшные рвы, где лежали тысячи трупов. Снимая тогда, я понимал, что вряд ли эти ужасные кадры появятся на экране. И вместе с тем я был убежден, что снимать нужно. Для истории.

Надо было торопиться со съемками. Город в эти дни быстро преображался. На улицах Ленинграда еще много было людей с серыми, исхудалыми лицами. Трудно было порой распознать, какого же возраста человек. Тихо бредущего прохожего обгоняли идущие быстрым шагом военные, человек с землистым лицом убыстрял шаг, смотрел на сверкающий чистым асфальтом Невский, он не узнавал Ленинграда, и впервые за несколько месяцев ему хотелось улыбнуться.

Я снимал стариков, сидевших на ступеньках домов, соборов, театров. Они, зажмурившись, подставляли лица лучам весеннего солнца. По скверам парами проходили дети—в городе открылись детские сады. И не верилось, что находишься ты в осажденном городе, что враг совсем недалеко—там, за окранными, за стальными ежами, которыми оцетинились пригороды Ленинграда. Вдруг среди городского шума короткий, как удар хлыста, свист, разрыв тяжелого снаряда. Другой удар, третий. Иногда

одиночные выстрелы, а временами беглый огонь по какому-нибудь одному району. Ленинградцы привыкли к смертельной опасности, которая подстерегала их на каждом шагу. Радиорепродукторы объявляли, что та или иная зона города под обстрелом, предлагали прекратить в этом квартале движение. Люди несколько минут переждали в подворотнях, а потом шли по своим делам.

Город сохранял спокойствие. Рабочие стояли у станков, рядом со станком на случай артиллерийского обстрела или бомбежки выкопана щель.

Ночью улицы Ленинграда пусты. По набережным Невы, по мостам и площадям проходили военные патрули. Когда умолкали дневные шумы большого города, хорошо слышны были доносящиеся с передовой пулеметные очереди, орудийные выстрелы. Небо освещалось ракетами, которые на переднем крае пускали почти беспрерывно обе стороны.

Немцы и ночью били по городу тяжелыми снарядами. Разрывы грохочущим эхом врывались в напряженную тишину ночи.

Не спит Ленинград в эти апрельские ночи. На фоне неба вырисовываются силуэты мостов, боевых кораблей. Город насторожен. Враг, стоящий у его ворот, готовит удар. Ленинградцы готовы встретить этот удар. Уж если не удалось немцам прорваться в голодный, истекающий кровью Ленинград, в город без воды, без света, без хлеба, то сейчас — в этом уверен каждый ленинградец, — какие бы силы не мобилизовали фашисты, не перешагнуть им городской черты.

Пять лет назад я работал в осажденном Мадриде. В кинотеатре «Капитоль» на Гран-виа шел фильм «Мы из Кроунштадта». На стенах домов висели листовки Центрального комитета Коммунистической партии Испании, обращенные к жителям Мадрида, листовки, которые были озаглавлены: «Мадрид, 1936 — Петроград, 1919». Сейчас, в Ленинграде в кольце блокады мне виделся осажденный Мадрид. Конечно, ни по масштабам битвы, ни по лишениям, ни по жертвам Мадрид тех дней не сравнить с Ленинградом. Но гордый лозунг «Но пасаран!» — «Они не пройдут!», прозвучавший тогда в Мадриде, и сейчас звучал у меня в сердце.

Мы работали сверх сил: пять часов в течение дня посвящались съемкам. Зная, что главное уже снято товарищами, все же испытывали чувство гордости и профессио-

нального удовлетворения, внося свой посильный вклад в кинолетопись Ленинграда.

Остальное время — монтаж фильма. Это был коллективный творческий труд. Темперамент Валерия Соловцева дополнял аналитический, философский образ мышления Ефима Учителя. Изобретательный Коля Комаревцев извлекал за монтажным столом из примелькавшего эпизода какие-то совершенно новые звучания. Мне был дорог каждый метр пленки, ощущение глубокой взволнованности не покидало меня. Материал в целом был уникален.

Удивительно и прекрасно в нашей работе было то, что между нами, в общем-то очень усталыми людьми, не возникло ни одного серьезного спора, ни разу не повеяло холодком несогласия. И за эту совместную работу, вошедшую столь памятной зарубкой в мою биографию, я благодарен товарищам-ленинградцам.

Суток не хватало, чтобы успеть сделать все, что хотелось, что казалось необходимым. Я ведь посылал корреспонденции в «Известия», в Совинформбюро, по вечерам делал наброски будущего текста. Глядишь — уже утро и снова камера в руках. И снова день, который кажется невероятно коротким.

Нужно ли говорить, что чемодан с личным запасом продуктов, захваченных мной из Москвы, был опустошен в первые же дни по приезде в Ленинград. Меня навещали друзья. Одни приходили за посылкой, другие просто повидаться, рассказать о себе, расспросить о товарищах. Одним словом, через два-три дня я превратился в «нормального» ленинградца, живущего на блокадном рационе. Началось постоянное ощущение голода, которое старался погасить самовнушением, — можно ли это сравнить с тем, что перенесли работавшие рядом со мной друзья. Однако я понял, что значит всегда хотеть есть. К тому же еще постоянная нервная напряженность. Бомбежки, артиллерийские обстрелы.

Наконец мы сложили фильм. Фильм удовлетворял нас простотой изложения, суровой правдивостью, человечностью каждого образа.

Снова повезли картину в Смольный. Ехали с легкой душой, ибо сами уже несколько раз просмотрели фильм, как говорится, обкатали его. Ни у кого из нас не было «особых мнений», выступали мы в полном единодушии, готовые отстаивать то, что было сделано.

Обсуждение было очень недолгим, немногословным. Все пришли к выводу, что для великолепного материала, снятого ленинградскими операторами, найден точный, выразительный, повествовательный ряд. Фильм готов к музыкальному озвучанию, к записи дикторского текста. Я предложил озвучивать картину в Москве на Центральной студии. Там имеются условия, которые вряд ли мы сможем создать в Ленинграде, — слаженный оркестр, высокий уровень техники звукозаписи. Кроме того, в лаборатории Центральной студии немедленно начнется печать позитивных копий для быстреего выпуска фильма на экраны.

С моим предложением товарищи из Ленинградского обкома партии не без некоторого колебания согласились. Естественно, им хотелось, чтобы фильм был сделан от начала и до конца здесь, в Ленинграде.

Сказал еще, что группе нужен будет специальный самолет, ибо негатив и позитив фильма — это примерно шестьдесят ящиков пленки. Группа фильма — его авторы, ассистенты, композитор, диктор — что-то человек двенадцать.

— Вам будет дан самолет, об этом не тревожьтесь, — заверили меня ленинградцы.

Через несколько дней из ворот студии выехали два автобуса: один под прикрытием истребителей груженный ящиками с пленкой, в другом — наша группа, те, кому предстояло лететь в Москву. Машины ехали по пустынным улицам ночного Ленинграда. Все молчали. Мои товарищи впервые после начала войны покидали Ленинград. Сейчас они прощались со своим городом.

Была перевернута еще одна памятная страница в моей жизни. Почему-то в эти минуты представил себе, как после войны приеду в Ленинград экспрессом «Красная стрела». Подтянутый проводник, чай, белоснежные крахмальные простыни, беседа с попутчиком... Утром выйду на площадь Октябрьского вокзала, поеду по Невскому или в шумной толпе пройду два-три квартала... Неужели будет забыт вот этот Невский, по которому мы едем сейчас, где на сугробах снега еще так недавно лежали трупы умерших от голода ленинградцев? Мои спутники, конечно, никогда не забудут пережитого. Горе Ленинграда, муки Ленинграда, слава Ленинграда не могут быть преданы забвению.

А молодые? Те, которые родятся после войны? Пове-
рят ли они, что могло быть такое?

Ответственность за память о пережитом — на нас. На
людях нашего поколения.

Мы подъехали к борту самолета. Пока экипаж быст-
ро перегружал из автобуса ящики с пленкой, командир
показал мне маршрут полета. Пройдем над Ладожским
озером, выйдем к Тихвину, оттуда повернем к Москве.
До Тихвина нас будет сопровождать группа истреби-
телей.

Самолет начал свой разбег прямо с места, оттуда, где
он стоял в укрытии под группой деревьев. Мы оторвались
от земли.

Сколько раз испытывал я сложное чувство прощания
с местами, ставшими очень дорогими, знаменательными
в моей жизни кинооператора! С волнением и грустью,
настолько сильными, что слезы закипали в горле, смотрел
я в иллюминатор, когда делали прощальный круг над ар-
хипелагом Франца-Иосифа, где я провел тяжелую зимовку,
где полярной ночью обрел верных друзей и познал цену
настоящей мужской дружбы.

С тем же чувством смотрел я с борта самолета, как
удалялись берега Кубы, с которой я побратался в бурные
месяцы кубинской революции.

Помню, как самолет оторвался от заснеженного аэро-
дрома в Сталинграде, когда я летел в Москву с бесцен-
ными кадрами капитуляции немецких войск, сдачи в
плен фельдмаршала Паулюса...

Трудно забыть, как самолет совершал прощальный
круг над Ханоем, над озером Возвращенного меча. По-
кидая Вьетнам, я еще чувствовал на плече теплоту ладо-
ни Хо Ши Мина, который по-отечески простился со мной,
пожелав благополучного возвращения на Родину. В
прощальной беседе мы вспоминали, как шагали с ним по
военным тропам в джунглях, вспоминали беседы в бам-
буковых хижинах.

...Самолет, покинувший Ленинградский аэродром, шел
бреющим полетом, зубцы елей стремительно плыли нам
навстречу. Еще кое-где виднелись на лесных лужайках
прогалины снега. Впереди была водная гладь—Ладога.
Навстречу пронеслась восьмерка истребителей, они раз-
вернулись позади нас, догнали и пристроились крыло к

крылу. Истребители прошли над Ладогой. Здесь мы недавно проезжали по льду на грузовой машине. Перед глазами все еще стояли образы блокадного Ленинграда: улицы, бомбежки, кладбище... Из задумчивости вывел голос пилота:

— Подходим к Тихвину, сейчас истребители с нами простятся и вернутся на свой аэродром.

Ведущий истребитель качнул крыльями, взмыл свечой. Те, что были справа и слева, круто развернулись за ним. Мы продолжали путь без прикрытия, бреющим полетом. «Узнаете?» — спросил вскоре пилот, прикоснувшись рукой к моему плечу и показывая вниз. Я взглянул — под нами уже был канал Волга-Москва.

Трудно мне будет найти слова, чтобы рассказать о встрече, которая произошла у дверей нашей студии в Лиховом переулке. Москвичи встречали ленинградцев.

Как самый драгоценный груз переносили с машины в вестибюль студии ящики с пленкой. Несли не носильщики, а операторы, режиссеры, директор студии. Обеденный стол был украшен цветами.

А потом я пошел по Москве, вглядывался в лица прохожих, слушал их говор. Был теплый, солнечный день, и все было неправдоподобно, чудесно. На мгновение я остановился, как вкопанный, не поверив своим глазам. Около Мосторга на Петровке в большом зеркале, вделанном в фасад дома, увидел себя. Неужели это я?! Оказывается, за все время пребывания в Ленинграде я ни разу не посмотрелся в зеркало. Ну что ж, землистого цвета впалые щеки, это — печать блокады Ленинграда. Солнце стоит серую тень с лица. Но не сгладится в памяти Невский в сугробах, трупы у подъездов домов, плакаты «Враг у ворот!» и ленинградец — человек, плачущий от счастья, при виде трамвая, вновь пошедшего по улицам города, пережившего первую блокадную зиму.

**ЯРЫЙ
ПЕНАВИСТНИК
КОММУНИЗМА**

Произошло это во время одного из моих приездов с фронта в Москву. Вечером, 11 августа 1942 года, на киностудии мне конфиденциально сообщили, что завтра предстоит ответственная правительственная съемка. Я тща-

тельно проверил камеру, зарядил пленку. А утром стало известно, что снимать будем прилет премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Приготовиться нужно было к самому высокому уровню встречи. Не исключено, что на аэродром прибудет Сталин.

Настоял, чтобы на аэродроме была звуковая камера. Были высказаны скептические замечания—вряд ли Черчилль будет делать какие-то заявления. Я, однако, был убежден, что интервью состоится. Западные политические деятели обычно, выйдя из самолета, ищут глазами репортерский микрофон.

Мы прибыли на центральный аэродром на Ленинградском шоссе в два часа дня. Часа за три до предполагаемого прилета. Нам сказали, что встречать Черчилля будет Молотов.

— А это еще что? — резко спросил меня товарищ, от одного взгляда которого мы на съемках замирали.

— Звуковая камера. Будем брать интервью у Черчилля.

— С кем согласовано? — спросил товарищ.

— Согласовало наше начальство, не знаю, точно с кем, — не растерявшись, ответил я.

Мой ответ удовлетворил полковника. У авиаторов мы узнали, что самолет вылетел из Тегерана в шесть тридцать утра. Маршрут полета пересекает Каспий и восточное Баку, мимо дельты Волги в обход Сталинграда через Куйбышев к Москве. Полет беспосадочный, но возможна посадка в Куйбышеве.

Впервые в жизни Уинстон Черчилль, давнишний враг Советского Союза, посещал нашу страну. Много лет спустя, в четвертом томе своих мемуаров он, вспоминая об этом полете, писал:

«Я размышлял о моей миссии в это угрюмое, злое, большевистское государство, которое я когда-то так настойчиво пытался задушить при его рождении и которое вплоть до появления Гитлера я считал смертельным врагом цивилизованной свободы. Что должен был я сказать им теперь?..»

Английский премьер летел над нашей страной, истекающей кровью в борьбе с гитлеровскими полчищами, немцы подходили к Кавказу, к Волге, у каждого советского человека на устах был один вопрос: «Где второй фронт?»

Черчилль сознавал трудность своей миссии. Сказать русским, что в 1942 году второго фронта не будет, ту-

манно пообещать, что он будет лишь в 1943 году... В своих мемуарах Черчилль вспоминает о веселых стишках, сочиненных в Тегеране генералом Уэйвеллом, последняя строка каждого четверостишия кончалась фразой: «Не будет вам второго фронта в 1942 году...»

На зеленое поле аэродрома одна за другой въезжали машины, из которых выходили генералы, дипломаты. Видимо, прилет Черчилля состоится в обстановке строжайшей тайны — на аэродроме ни одного корреспондента иностранной и советской прессы, исключая двух фоторепортеров и киногоруппы.

Среди прогуливающих по траве аэродрома много английских, американских офицеров в военной форме. Вдоль бетонной дорожки выстроился почетный караул с оркестром. Красноармейцы — в стальных касках, вооружены автоматическими винтовками. Установив звуковую камеру, я отфокусировал ее на подготовленную точку, провел на земле черту.

За рулем серого «бьюнка» на поле въехал военный атташе США, генерал Файмонвилл, стройный, седой, улыбающийся. Из черного лимузина вышел посол Соединенных Штатов Стенли, в своей широкополой черной шляпе похожий на зажиточного фермера.

Приехал британский посол сэр Арчибальд Кер, похожий на чемпиона бокса. Несколько лет назад я снимал его на аэродроме в Чунцине, куда он прилетел из Гонконга для свидания с Чан Кай-ши. Я писал тогда в «Известия», что туманные цели посла Великобритании в Чунцине многие расценивают как попытку помпировать сражающийся Китай с японскими империалистами.

В группе советских военных высокий, худощавый маршал Шапошников, начальник Генерального штаба. Без четверти пять в ворота аэродрома въехал огромный черный «паккард», из которого вышел нарком иностранных дел.

В безоблачном небе появилось несколько точек. Над аэродромом сделал широкий круг тяжелый четырехмоторный бомбардировщик «либерейтер», окруженный висящими над ним пятнадцатью советскими истребителями. Самолет совершил посадку и медленно пополз по бетонной полосе аэродрома. «Либерейтер» — неуклюжий моноплан с толстым брюхом, которое он словно волочит по земле, как откормленная свинья. К остановившемуся самолету пошли встречавшие.

Из люка в нижней части самолета опустилась лесен-

ка, мы начали снимать. Сначала в кадре показалась нога, нащупывающая ступеньку. Потом вторая нога, потом тросточка. И уже потом знакомая по фотографиям грузная фигура британского премьера, который, согнувшись, вылез из-под брюха самолета. Черчилль в коротком, до колен, форменном пальто военно-воздушных сил, на голове военная фуражка.

Молотов, сняв шляпу, пожал руку Черчилля, спросил, как тот перенес воздушное путешествие. Черчилль ответил, что длительный перелет над Советской страной доставил ему истинное удовольствие, чувствует он себя великолепно. Щурясь на солнце, глубоко вздохнув всей грудью, он сказал, улыбаясь: «Какой прекрасный день».

На его выбритом розовом лице ни малейшего признака усталости. Вслед за ним из самолета вышел Аверелл Гарриман, над аэродромом поплыли звуки британского, американского и советского гимнов. Черчилль стоял, чуть наклонившись вперед, опершись левой рукой на тросточку, правую руку по-штатски держа у козырька фуражки.

Начался обход почетного караула. Черчилль шел вдоль строя, близко от красноармейцев. Соразмерив свой шаг с походкой Черчилля, я шел, пятясь задом, снимал не отрываясь. В кадре — лицо Черчилля, лица солдат. Он шел медленно, слегка нагнув вперед свою бульдожью голову, глядя в упор в лицо каждого красноармейца. Кадр был долгий, пружины камеры хватило почти на весь проход вдоль почетного караула. Впоследствии во многих фильмах многие авторы дикторских текстов изощрялись в комментариях этого кадра: «Он словно желает заглянуть в душу советского народа», «Вглядываясь в лица бойцов, Черчилль как бы искал ответ на вопрос: «Где же советский народ обрел эту могучую силу в борьбе с фашизмом?..», «У этих юных солдат, потомков тех, кто в годы гражданской войны прогнал с нашей земли полчища английских интервентов, Черчилль словно спрашивал...» и т. п.

Грянул оркестр, и красноармейцы прошли чеканя шаг. В своих мемуарах Черчилль писал: «Был произведен смотр большого почетного караула, безупречного в отношении одежды и выправки. Он прошел перед нами после того, как оркестры исполнили гимны трех великих держав, единство которых решило судьбу Гитлера. Меня подвели к микрофону, и я произнес короткую речь».

Не успел пройти почетный караул, как я шагнул к Черчиллю и на английском языке попросил его сказать несколько слов перед микрофоном кинохроники. Как и предполагал, для Черчилля это не было неожиданным. Он подошел к микрофону и сказал:

— Мы полны решимости продолжать борьбу рука об руку, какие бы страдания, какие бы трудности нас ни ожидали, продолжать рука об руку, как товарищи, как братья до тех пор, пока последние остатки нацистского режима не будут превращены в прах, оставаясь примером и предупреждением для будущих времен.

Я выключил камеру, но чуть было не совершил большую ошибку, меня выручил нарком иностранных дел, повелительным кивком указав на Гарримана. Быстро подойдя к Гарриману, я попросил его тоже сказать несколько слов, он сказал:

— Президент Соединенных Штатов Америки поручил мне сопровождать премьера Великобритании во время его важнейшей поездки в Москву в этот решающий момент войны. Президент США присоединится ко всем решениям, которые примет здесь господин Черчилль. Америка будет стоять вместе с русскими рука об руку на фронте.

Черный лимузин с зеленоватыми стеклами, круто развернувшись, резко затормозил против группы встречающих. Когда я снимал Черчилля, входящего в машину, он задержался у дверцы, повернулся, пристально взглянул в аппарат и поднял перед своим лицом два пальца — средний и указательный, растопырив их в виде латинской буквы V. Это означало *Viktoria* — победа. Задержавшись на несколько мгновений с поднятой в этом жесте рукой, Черчилль улыбнулся в объектив камеры и полез в машину.

Мы еще не знали тогда значения этого общепринятого на Западе жеста и по наивности возрадовались, решив, что два пальца означают «второй фронт»...

В своих воспоминаниях Черчилль писал: «Молотов доставил меня в своей машине в предназначенную для меня резиденцию, находящуюся в восьми милях от Москвы, — в государственную дачу № 7. Когда мы проезжали по улицам Москвы, которые казались очень пустынными, я опустил стекло, чтобы дать доступ воздуху. К моему удивлению обнаружил, что стекло толщиной более двух дюймов. Это превосходило все известные мне рекорды. «Министр говорит, что это более надежно», — сказал пере-

водчик Павлов. Через полчаса с небольшим мы прибыли на дачу».

Черчилля не зря, когда он летел на самолете из Тегерана в Москву, мучила мысль: «Что я им скажу?» Весной сорок второго года президент Рузвельт и Черчилль дали Советскому правительству официальное обязательство открыть второй фронт в Европе в сорок втором году. Давая это обязательство, Черчилль шел на явное вероломство, зная, что этого обязательства он не выполнит. Вместо высадки в Европе Рузвельт и Черчилль незадолго до его вылета в Москву приняли решение о вторжении в Северную Африку. Сейчас ему предстояло сообщить Советскому правительству об этом решении.

В своих мемуарах, вспоминая о переговорах в Москве, Черчилль пишет о первой встрече со Сталиным:

«Первые часы были унылыми и мрачными. Я сразу же начал с вопроса о втором фронте, заявив, что хочу говорить откровенно и хочу, чтобы Сталин проявил тоже полную откровенность...

...Английское и американское правительства не считают для себя возможным предпринять крупную операцию в сентябре 42-го года, являющемся последним месяцем, в течение которого можно полагаться на погоду...»

«Сталин, который стал держать себя нервно, сказал, что он придерживается другого мнения о войне. Человек, который не готов рисковать, не может выиграть войну. Почему мы так боимся немцев? Он не может этого понять. Его опыт показывает, что войска должны быть испытаны в бою. Если не испытать в бою войска, нельзя получить никакого представления о том, какова их ценность... Сталин, мрачное настроение которого к этому времени значительно усилилось, сказал, что насколько он понимает, мы не можем создать второй фронт со сколько-нибудь крупными силами и не хотим даже высадить шесть дивизий. Я сказал, что дело обстоит так».

Переговоры в Москве продолжались несколько дней. Вспоминая об одной из встреч, Черчилль пишет:

«...Мы спорили почти два часа. За это время Сталин сказал много неприятных вещей. Особенно о том, что мы слишком боимся сражаться с немцами и что если бы мы попытались это сделать подобно русским, то убедились бы, что это не так уж плохо; что мы нарушили наши обещания относительно «Следжхеммера» (кодированное название

плана высадки в Бресте или Шербуре в 1942 г.), что мы не выполнили обещания в отношении поставок России и посылали лишь остатки, после того как мы брали себе все, в чем мы нуждались. По-видимому, эти жалобы были адресованы в такой же степени Соединенным Штатам, как и Англии. Он повторил свое мнение, что англичане или американцы могли бы высадить шесть или восемь дивизий на Шербурском полуострове, поскольку они обладают господством в воздухе... Русская и, конечно, английская авиация показали, что немцев можно бить. Английская пехота могла бы сделать то же самое, если бы она действовала одновременно с русскими. Я вмешался и заявил, что согласен с замечаниями Сталина по поводу храбрости русской армии. Предложение о высадке в Шербуре не учитывает существование Ла-Манша. Наконец Сталин сказал, что нет смысла продолжать разговор на эту тему. Он выпущен принять наши решения. Затем он отрывисто пригласил нас на обед в восемь часов следующего вечера».

Киногруппа в том же составе, в котором мы снимали на аэродроме — операторы Беляков, Кричевский и я, — была вызвана на съемку в Большой Кремлевский дворец, где происходил правительственный обед. Мы испытывали некоторое волнение, чувствуя, что в переговорах, которые идут в эти дни в Москве, решаются судьбы войны, решаются глобальных масштабов планы разгрома немецко-фашистских армий. Война бушевала на огромных территориях нашей страны.

По мраморной лестнице Большого Кремлевского дворца поднимались английские и американские офицеры, советские адмиралы, маршалы, боевые генералы. Среди проходивших по анфиладам дворцовых зал я узнал генералов Уэйвелла, Максвелла, маршала Тэддера, Брука. Приехали Ворошилов, Микоян, Шапошников, народные комиссары, члены Советского правительства.

Обед, начавшийся в восемь часов, продолжался до поздней ночи. В любую минуту мы могли получить команду о начале съемки. За столом, очевидно, снимать не будем, вероятно, снимем участников встречи после обеда, во время беседы. Томительно шли минуты, часы. Время уже приближалось к полуночи, мы продолжали находиться в состоянии минутной готовности, ожидая команды...

О том, что происходило в той комнате, я узнал только через двадцать лет, прочитав мемуары Черчилля:

«Этим вечером мы были на официальном обеде в Кремле, на котором присутствовало около 40 человек, в том числе некоторые высокопоставленные военные, члены политбюро и другие высшие официальные лица. Сталин и Молотов радушно принимали гостей, такие обеды продолжаются долго, и с самого начала было произнесено в форме очень коротких речей много тостов и ответов на них.

Распространялись глупые истории о том, что эти советские обеды превращаются в попойки. В этом нет ни доли правды. Маршал и его коллеги неизменно пили после тостов из крошечных рюмок, делая в каждом случае лишь маленькие глотки. Меня пзрядно угощали.

Во время обеда Сталин оживленно говорил со мной через переводчика Павлова. «Несколько лет назад,—сказал он,—нас посетили Джордж Бернард Шоу и леди Астор». Леди Астор предложила пригласить Ллойда Джорджа посетить Москву, на что Сталин ответил: «Для чего нам приглашать его? Он возглавлял интервенцию». На это леди Астор сказала: «Это неверно. Его ввел в заблуждение Черчилль».— «Во всяком случае,—сказал Сталин,—Ллойд Джордж был главой правительства и принадлежал к левым. Он нес ответственность. А мы предпочитаем открытых врагов притворным друзьям».— «Ну что же, с Черчиллем теперь покончено»,—заметила леди Астор. «Я не уверен,—ответил Сталин,—в критический момент английский народ может снова обратиться к этому старому боевому коню». Здесь я прервал его замечанием: «В том, что она сказала, много правды. Я принимал весьма активное участие в интервенции. И я не хочу, чтобы вы думали иначе». Сталин дружелюбно улыбнулся. Тогда я спросил: «Вы простили мне?»—«Премьер Сталин сказал,—перевел Павлов,—что все это относится к прошлому. А прошлое принадлежит богу».

Далее Черчилль в своих воспоминаниях говорит: «Сталина и меня сфотографировали вместе, а также с Гарриманом».

Дверь раскрылась около часа ночи. Я быстро зашел в зал, где все уже встали из-за стола и группами беседовали в разных частях дворцового зала. Осветители включили яркие «перекалки», я увидел направившихся в мою

сторону Сталина и Черчилля. Лицо Черчилля было пунцовым. В углу его рта торчала гигантская сигара. Он был одет в темно-серый комбинезон военно-воздушных сил. Сталин как обычно — френч, брюки, заправленные в сапоги с низкими голенищами. Сталин вопросительно посмотрел на меня. Я предложил им сесть на диван. Сталин, поискав глазами Гарримана, указал ему на место рядом с собой. Они втроем вели непринужденную беседу. К основной тройке присоединялись Ворошилов, Микоян, Кадоган, Уэйвелл, Шапошников. Мы сняли еще несколько различных групп. Сталина с Черчиллем вдвоем. Переводчик Павлов, чтобы не быть в кадре, переводил их беседу держась в сторонке. Сталин говорил тихим голосом, шутил. Раздавались раскаты веселого смеха.

Во время таких ответственных съемок нет возможности прислушаться к разговорам, запомнить хотя бы одно слово — все внимание поглощено камерой, кадром, освещением. Наконец Сталин, обратившись к нам, с улыбкой сказал: «Ну, быть может, хватит, а? — Повернувшись к Черчиллю, добавил: — Они ведь ненасытны». И в этот момент наши лампы погасли. Свет был выключен мгновенно по знаку генерала.

Сталин и Черчилль стояли друг против друга, пожимая руки. Черчилль направился к выходу; Сталин взял его под руку, и вдвоем они пошли по пустынному, тускло освещенному залу Кремлевского дворца, в котором гулко отдавались их шаги. Сталин поддерживал Черчилля под локоть, тот, видно, много выпил за обедом и чуть пошатывался. Так прошли они вдвоем через весь зал и скрылись в конце его за дверью. Минут через десять Сталин возвратился один. Он медленно шагал по пустынному залу. Лицо его было задумчиво. Я невольно приподнял камеру, но освещения было явно недостаточно, жаль было редкого кадра, я опустил камеру. Сталин, видно, уловил мою досаду, поравнявшись со мной, он остановился и с хитрой улыбкой сказал: «Что, руки чешутся?» Шутливо развел руками и скрылся за дверью.

Всю ночь с 15 на 16 августа лил проливной дождь. На рассвете аэродром был окутан серой дымкой. Было еще темно, когда начали прогревать моторы тяжелые воздушные корабли.

Снова на аэродроме множество автомобилей. В пять утра из машины вышли Молотов, Черчилль, Гарриман. Они

приняли рапорт почетного воинского караула; Черчилль протянул руку молодому лейтенанту Огрызко, отдававшего ему рапорт, крепко ее пожал.

Свое послание президенту Соединенных Штатов, написанное ночью перед отлетом из Москвы, Черчилль заканчивал словами: «В целом я определенно удовлетворен своей поездкой в Москву. Я убежден в том, что разочаровывающие сведения, которые я привез с собой, мог передать только я лично, не вызвав действительно серьезных расхождений. Эта поездка была моим долгом. Теперь им известно самое худшее, и, выразив свой протест, они теперь настроены совершенно дружелюбно. Это, несмотря на то, что сейчас они переживают самое тревожное и тяжелое время».

Сквозь шум работающих моторов — последние слова прощания. Провожавшие пожелали Черчиллю счастливого пути. Пальто Черчилля развевалось от ветра, поднимаемого мощными винтами. Он поднялся по лесенке, за ним Гарриман.

В воздух, гремя моторами, взмыли истребители. Тяжелый «либерейтор», дрогнув, тронулся с места. Последний кадр — в окне улыбающееся лицо Черчилля, снова поднявшего два пальца: «Победа».

Самолет побежал, набирая скорость, по бетонной дорожке. Ровно в 5 часов 20 минут он оторвался от земли. В воздухе его окружили истребители, и вместе с ними четырехмоторный гигант скрылся в серой мгле низко нависших над землей облаков.

В 1964 году я работал над большим двухсерийным фильмом о Великой Отечественной войне. Возникла необходимость найти нужные для фильма материалы о действиях союзников в годы второй мировой войны. Я прилетел тогда в Лондон, где мне была предоставлена возможность поисков этих материалов в английских киноархивах. В этой работе существенную помощь оказывал известный английский продюсер документальных фильмов Графтон Грин, с которым я ранее встречался в Москве. Мы подружились.

Крупная английская фирма «Ранк Организейшн», в которой он работал, занималась выпуском известной серии документальных фильмов «Лук ат лайф» («Взгляд в жизнь») — фильмов о странах мира, о явлениях современной жизни. Графтон Грин, типичный англичанин,

худощавый, седой, с добрым прищуром серых глаз, вечно торчащей в зубах трубкой, дружески принял меня в Лондоне, раскрыл передо мной кладовые своих фильмохранилищ, связал меня с крупнейшими киноархивами Англии. Помимо чисто деловой помощи, он делал все от него зависящее, чтобы сделать мое пребывание в Лондоне легким, полезным и приятным.

В один из вечеров Графтон Грин вытащил меня из зала, где я после восьмичасового просмотра хроникальных материалов, находился уже в полуобморочном состоянии. «Хватит,— сказал он,— у вас в Союзе это, кажется, называется «выполнить и перевыполнить»?» Он усадил меня в свою машину, привез в какой-то ультрафешенебельный ресторан, где стройный, подтянутый, седой, в черном фраке метрдотель, похожий на лорда Маунтбеттена, проводил нас к заранее заказанному столу и замер с блокнотом и серебряным карандашом в руке, в ожидании заказа.

— Заранее должен предупредить вас,— сказал Грин,— чтобы я ни предложил в этом, в общем-то неплохом ресторане, не выдержит никакого сравнения с восхитительной едой в кавказском ресторане «Арагви», куда вы меня затащили в Москве...

— Если вы не возражаете,— сказал, подписывая счет, Графтон Грин,— мы с вами проведем часок за стаканом портвейна в старом аристократическом английском клубе.

Он повел машину узкими улочками старого Лондона, остановил ее около невзрачного трехэтажного серого дома, швейцар открыл нам тяжелую, дубовую, обитую медью дверь, и мы погрузились в скованный чопорной тишиной мир темных гобеленов, мореного дуба, старинных гравюр. Прошли через комнату, где несколько джентльменов играли в бридж. Добрая, старая Англия Диккенса, Форсайтов, герцогов Мальборо, Уинстона Черчилля. словно не пробуждали над ней бури второй мировой войны, словно не обрушивались на Лондон «ФАУ-2».

Мы расположились в глубоких креслах, утопив ноги в мохнатом ковре около горящего камин. «Обратите внимание на это»,— сказал Грин. На камине под стеклом какой-то пожелтевший документ. «Это членский билет Редьярда Киплинга. Герберт Уэллс, Киплинг, Р. Стивенсон, были членами нашего «Сейвилл клуба». Кстати, од-

на деталь из правил нашего клуба: дамам сюда вход воспрещен...» Мы провели около часа в тихой, спокойной беседе. Говорили о кино, о достоинствах английского трубачного табака, о королях, о бомбежках, о Киплинге, об охоте на тигров и, конечно же, снова о кинематографе. Был субботний вечер. «Я хочу предложить вам завтра небольшую поездку,— сказал Грин.— У моего сына, Пэдди, сегодня последний день каникул, и завтра он должен возвратиться в Оксфорд, в университет. Мы с женой его отвезем и будем рады, если вы составите нам компанию в этой поездке». Я, разумеется, с радостью согласился.

В восемь часов утра в воскресенье он заехал за мной. Представил мне сидящих в машине супругу и сына, парня с тонким породистым лицом, с румянцем во всю щеку, Пэдди.

Выдался солнечный день, по широкой автостраде машина мчалась среди полей, позолоченных осенью робингудовских дубовых рощ, мелькали деревушки. В Оксфорде мы, оставив машину, пошли бродить по улицам города. Пэдди завел нас в здание своего колледжа, показал старинную библиотеку юридического факультета — стены до потолка заполнены старинными фоллиантами, провел нас по университетским садам и дворам. На улицах в этот воскресный день было пусто. Когда мы вернулись к машине, он вынул свой чемоданчик-портфель, нежно поцеловал мать, отца, пожал мне руку.

— Не пора ли нам пообедать,— сказал Грин.— Давайте поедем в Видсток, небольшой городок, здесь недалеко. Там есть таверна XVI века «Медведь», нас хорошо покормят.

Звякнул мелодичный колокольчик на двери. Мы вошли в сводчатое помещение из кирпича и черного дуба. В центре на большой жаровне на углях жарилась мясная туша.

Супруга Грина за обедом была немногословна. Она словно изучала меня. «Вы первый советский человек, мистер Кармен, с которым моя жена познакомилась,— сказал Грин.— Она у меня ярая антикоммунистка, попробуйте, может быть, вам удастся обратить ее в свою веру». — «Подрывная деятельность не входит в задачи моей поездки в Англию,— сказал я.— К тому же я хочу сохранить дружеские отношения с вашей семьей и закон-

чить этот обед до того, как миссис Грин позовет полицию». — «Полицию звать бесполезно, — отпарировала миссис Грин. — У нас в Великобритании не преследуют людей за их политические убеждения».

— Один поль в вашу пользу, миссис Грин, — любезно ответил я. — У вас вождь английских фашистов господин Мосли гуляет на свободе, а мы бы на вашем месте, вероятно, запрятали бы его в тюрьму за одно то, что он был единомышленником Гитлера, разрушившего Лондон и Ковентри.

Миссис Грин закусила нижнюю губу, а Графтон развел руками и, расхохотавшись, сказал: «Политическая дискуссия состоялась. Объявляю почетную ничью». Склонившись ко мне над столом, он сказал: «Я хотел бы показать вам Бленхейм, родовой дворец герцогов Мальборо, если он открыт сегодня для посетителей, вы увидите комнату, в которой девяносто лет тому назад родился Уинстон Черчилль».

Дворец был закрыт. Мы прошлись по аллеям парка, по газонам. И Грин показал мне лишь снаружи окно этой комнаты. Задумавшись на минуту, он мне сказал:

— Открою вам один секрет, убежден, что вы его сохраните. Дело в том, что Уинстон Черчилль доживает последние дни — это для всех ясно — он очень плох. И вот правительство Великобритании поручило мне руководить всеми киносъемками похорон Черчилля, которые могут состояться в ближайшие дни. Черчилль завещал похоронить его на кладбище приходской церкви в Блэпдоне, где были в свое время похоронены его отец и мать. Это кладбище здесь, поблизости. Хотите, подведем туда.

Мы остановили машину у подножия холма и по крутому склону поднялись к старой приходской церкви, стоящей на его вершине. На краю крутого склона у церкви небольшое кладбище. Здесь я увидел надгробные плиты на скромных могилах отца Черчилля — Рандольфа Черчилля и его матери, американки по происхождению — Дженни Черчилль. Рядом свободное место, где в скором времени должна появиться надгробная плита, под которой будет покониться прах Уинстона Леонарда Спенсера Черчилля.

Несколько лет тому назад он подробно описал церемонию собственных похорон и не пожелал, чтобы его похоронили в усыпальнице в Лондоне. Как-то он говорил сво-

ей жене Клементине, что хотел бы, чтобы его похоронили как солдата. С Клементиной Черчилль прожил вместе пятьдесят шесть лет.

Отсюда с холма Грин показал мне на извилистую ленту дороги, по которой похоронная процессия будет приближаться к месту погребения. В этом месте, где сейчас царил деревенский покой, будут толпы людей, оркестры, речи...

Мы возвратились в Лондон. Прощаясь с миссис Грин, я сказал: «Надеюсь, что в следующий приезд вашего мужа в Москву вы отважитесь покинуть на время свободный мир и побываете в нашей варварской стране». — «Если он возьмет меня с собой», — сказала миссис Грин. Мы дружески распрощались.

Оставив машину, мы с Грином медленно шли по улице Хайд-Парк Гейд. В тупике, недалеко от Альбертхолла напротив Кенсингтон Гарден трехэтажный дом № 28. Лишь в одном окне на втором этаже тусклый свет. «Это его спальня», — сказал Грин.

Там, в тишине, под неусыпным оком врачей и жены его, Клементины, заканчивал свой жизненный путь великий честолюбец, человек кипучей энергии, отметивший свое девяностолетие. Все меньше и меньше сведений о его личной жизни появлялось в последнее время в печати. Американская газета «Нью-Йорк геральд трибюн» писала, что занавес тактичного молчания опустился над повседневной жизнью сэра Уинстона, переносящего с трудом тяжелый груз своих лет.

С раннего детства Уинстон Черчилль мечтал о лаврах своего предка Джона Черчилля — первого герцога Мальборо, мечтал увенчать себя славой великого полководца. Он умело и тонко раздувал легенду о том, что не кто иной, как Уинстон Черчилль явился творцом победы антифашистской коалиции государств и народов во второй мировой войне, что он спас Англию от разгрома и поражения.

Ярый ненавистник Советского Союза, он и на склоне своей политической жизни, в 1953 году, заявил:

«Наступит день, когда во всем цивилизованном мире с несомненностью будет признано, что удушение большевизма при его рождении явилось бы величайшим благодеянием для человечества».

На протяжении всей своей политической жизни, да и

теперь, лежа в тиши своей спальни, перед лицом смерти, Черчилль оставался злейшим врагом Советского Союза.

В своем выступлении по радио 22 июня 1941 года Черчилль сказал англичанам, что, помогая Советскому Союзу, Англия спасет себя. «Вторжение Гитлера в Россию — это лишь прелюдия к попытке вторжения на Британские острова... Поэтому опасность, угрожающая России, — это опасность, грозящая нам и Соединенным Штатам точно так же, как дело каждого русского, сражающегося за свой очаг и дом, — это дело свободных людей и свободных народов во всех уголках земного шара». Кстати, и в этом знаменательном своем заявлении Черчилль не смог удержаться от заявления: «За последние 25 лет никто не был более противником коммунизма, чем я. Я не возьму обратно ни одного слова, которое я сказал о нем...»

Время приближалось к полуночи, тусклый свет в одном-единственном окне погруженного в темноту дома продолжал гореть. У меня перед глазами было бульдожье лицо британского премьера, пронизывающий умный его взгляд, устремленный в лица солдат почетного караула на московском аэродроме, хитрые искорки в глазах, когда он после обеда сидел на диване в Большом Кремлевском дворце, беседуя со Сталиным, его взгляд в объектив моей камеры из-под козырька военной фуражки, когда он поднял перед лицом руку с двумя растопыренными пальцами...

В эти минуты ночью, глядя в освещенное окно, я вспомнил и день в марте 1946 года в Нюрнберге, невероятное оживление на скамье подсудимых. Герринг жестикулировал, улыбался, что-то энергично говорил Рибентропу, фон Папену, Кейтелю. В этот день американские газеты вышли с крупными заголовками: «Объединяйтесь, чтобы остановить Россию!» Это был текст известного выступления Уинстона Черчилля в Фултоне, призывавшего Западный мир объединиться против мира социализма. Герринг, потирая руки и смеясь, сказал: «Это вполне естественно, так было всегда. Вы видите — я прав: опять старое равновесие сил». Фон Папен сказал: «Черт возьми, он очень откровенен». Подсудимые нюрнбергского трибунала в своем ажиотаже дошли до того, что заявили ходатайство о вызове Черчилля в Нюрнберг в качестве свидетеля...

Свет в окне на втором этаже погас, я взглянул на часы — было семнадцать минут первого...

Прошло два месяца. Днями и ночами, не выходя со студии, заканчивал работу над фильмом «Великая Отечественная...» Двадцать пятого января 1965 года я прочел в газетах сообщение о смерти Черчилля. Двумя неделями позже я получил посылку из Лондона. Графтон Грин прислал мне в подарок несколько томов — мемуары Черчилля «Вторая мировая война». В своем письме Грин писал, что книги он посылает на память о нашем посещении кладбища в Бладоне и о ночной нашей прогулке по Хагг-Парк Гейд, где в доме № 28 свет горел только в одном окне.

ДВЕ ВСТРЕЧИ

В маленькой, жарко натопленной избе в селе Заво-рыкино на столе расстелена карта Сталинграда, расчерченная цветными карандашами. Вокруг стола — люди, с которыми я встречался в разгар жестоких боев на подступах к Москве. С тех пор прошел год, но словно его и не было. Чуть разве прибавилось серебристого пнея на висках Константина Константиновича Рокоссовского. Как обычно, печать крайнего утомления на лице бессменного начальника штаба Михаила Сергеевича Малюгина. Веселые искорки в глазах командующего артиллерией Василия Ивановича Казакова. Дружной семьей прошли эти трое через всю войну.

Где же штаб Паулюса? Разноречивые сведения, добытые у пленных, ведут к одному квадрату в центре города. А точнее? Пока неизвестно...

— Константин Константинович, помогите снять пленение Паулюса, — сказал я молящим голосом, рассчитывая на добрые отношения, завязавшиеся в трудные дни подмосковных боев.

Рокоссовский усмехнулся.

— Ну что ж, поможем Кармену, только с одним условием: услуга за услугу...

— Все, чем я могу быть полезен... — начал я.

Но командующий прервал меня:

— Сначала вы помогите нам взять Паулюса. — Все вокруг засмеялись. Он подозвал меня к карте города: —

Видимо, командный пункт где-то здесь. Езжайте в армию Чистякова, а если мы в дальнейшем что-то уточним, постараемся сообщить вам.

Из села Заборыкино, где находился штаб Донского фронта, я летел к Сталинграду на У-2. Под крылом растянулись приволжские степи — поля великой Сталинградской битвы. Отсюда с высоты можно было охватить взглядом пространства, еще хранившие свежие следы боев.

С Волги тянула сильная поземка, но еще не были занесены снегом тысячи пепельных воронок, земля была похожа на увеличенные снимки лунных кратеров. В бескрайних степях, изрезанных пологими извилистыми балками, ежеминутно возникали большие темные пятна, которые издали казались селениями, городами или лесами, но когда самолет подходил ближе, оказывались густыми скоплениями немецких машин, брошенных отступающими войсками Паулюса.

Над двумя попавшимися нам по пути немецкими аэродромами летчик сделал по нескольку кругов. Сотни самолетов всех типов — сгоревших, подбитых и совершенно исправных. На аэродромах ни одного живого человека. Трупы на запорошенных пургой взлетных полосах. И только мерный стрекот нашего У-2, кружащего на небольшой высоте, нарушает тишину мертвого поля, усеянного свастиками, черными крестами — эмблемами «непобедимой» геринговской авиации. Невольно в эти минуты возникали в памяти дни лета сорок первого года, золотые поля Белоруссии, сотни черных крестов в синем небе. Пикирующие, ревущие, проносящиеся торжествующе над нашей головой, иногда так низко, что в стеклянном колпаке можно было разглядеть лицо гитлеровского аса. Они тогда были пьяны Брюсселем, Дюнкером, рвались к Москве. Вот их трагическое похмелье у берегов Волги...

Самолет мягко коснулся колесами снежного поля около догорающих строений станции Воропоново. Сегодня на рассвете отсюда выбили немцев, отступающих на восток к окраинам Сталинграда. Бой уже перекинулся к центральным районам города.

...Земля содрогается от канонады тысяч орудий. Окружение сжимается с каждым часом. По эту сторону кольца город заполнен толпами сдавшихся в плен немецких солдат. Они растерянно спрашивают наших бойцов:

«Куда следовать?» Солдаты отмахиваются, у каждого одна мысль — вперед! И сдавшиеся в плен немцы сами строятся в колонны, бредут куда-то на сборные пункты, сопровождаемые несколькими конвоирами. Вид их ужасен. Укутанные в одеяла, женские платки и какие-то тряпки, голодные, потерявшие не только воинский, человеческий облик.

Группа немцев стоит около нашей артиллерийской батареи, ведущей огонь. Они с любопытством смотрят на работу советских артиллеристов, которые посылают снаряд за снарядом по врагу. Артиллеристы делают свое дело, не обращая внимания на необычных «зрителей».

У батареи «катюш», расположившейся на пустыре, — тоже толпа немцев. Всем телом вздрагивая, провожают они каждый залп, подобный огненному смерчу. В глазах суеверный страх, смешанный с радостью: они уже зрители, а не объект.

29 января мы с Борисом Шером целый день колесили по улицам Сталинграда. Шум боя оглушает. Войска Шумилова, Толбухина, Чистякова и Чуйкова теперь заняты окончательной очисткой города от групп автоматчиков, еще сидящих в разрушенных домах. В нескольких местах приходилось оставлять машину и пробираться пешком. Город забит немецкими машинами. Рядом с огромными грузовиками десятки брошенных легковых машин. Садись в любую и поезжай. Сегодня продолжали сдаваться в плен сотни солдат и офицеров. Пленных первым делом отправляют на питательные пункты.

Около Волги был окружен солдатами 10-й армии и взят в плен командир 100-й пехотной дивизии генерал-лейтенант Зайенне. Я его видел вчера вечером. Ему пятьдесят четыре года, он награжден многими высокими орденами, они сверкают на его груди. Он сообщил, что Паулюс со своим штабом и личной охраной скрывается где-то в подвалах центральной части города. Вчера каждые два-три часа штаб Паулюса менял свое местонахождение. «Паулюс, — сказал генерал Зайенне, — выполняет директиву Гитлера драться до последнего солдата».

Войскам дан приказ тщательно разыскивать Паулюса, прочесывать весь город, осматривать каждый подвал.

Сегодня в 12 часов дня четыре немецких самолета появились над городом и наугад сбросили на парашютах продукты. Все парашюты были распахованы нашими сол-

датами. Нам с Шером досталась пачка сухих галет и огромный кусок жирной украинской колбасы, очевидно предназначенный для генерал-полковника фон Паулюса.

Сегодня сдались в плен несколько генералов. В штабе дивизии, куда я заглянул, чтобы узнать обстановку, приняли парламентаря. Его прислал командир известной 376-й пехотной дивизии генерал Даниэльс. Хочет сдаваться со своим штабом и остатками дивизии.

Мы вышли на высокий холм, откуда просматривалась глубокая извилистая балка, где проходит русло реки Царицы. С противоположного высокого берега спускается в балку извилистая черная лента — колонна войск. Когда они подошли ближе, мы увидели впереди одинокую фигуру человека, около которого кружился большой пес. За ним группа людей. А дальше — длинная черная лента. Человек с собакой — генерал, командир дивизии, группа людей — его штаб, черная лента — дивизия.

Щуплый, низкого росточка генерал-лейтенант фон Даниэльс шел глядя себе под ноги, засунув руки в заячью муфту, висевшую на шнурке. Он прошел со своими войсками огнем и мечом по Украине, по донским станицам. Сейчас по замерзшему руслу реки Царицы — последние шаги генерала Даниэльса во второй мировой войне. Впервые его дивизия была крепко бита под Москвой зимой прошлого года. Гренадеры 376-й дивизии шли на Москву, предвидя скорое окончание войны. Для них война кончилась в Сталинграде.

На дне оврага мы встретили их. На исхудавшем веснушчатом лице генерала — ни кровинки. Безбровые его глаза покорно и вопрошающе устремлены на майора Сорочкина, уполномоченного штаба дивизии. В глазах выражение боли и стыда. Он стоит навывтяжку, говорит, едва шевеля тонкими обескровленными губами. Я прислушался. Генерал, оказывается, беспокоится о... своих вещах. Два чемодана оставил он в штабном блиндаже. Его глаза выражали неподдельную тревогу не за честь разгромленной дивизии — за два чемодана барахла. Офицеры его штаба опустили на снег большие свои рюкзаки. Могучий пес — немецкая овчарка — несколько раз обошел вокруг ног своего хозяина-генерала и, опустив голову, медленно улегся на снег у валенок советского офицера.

Генерал расстегнул пояс, снял с него пистолет и про-

тянул майору. Майор был в этот момент занят разговором с пленным полковником, укутанным в женский пуховый платок. Револьвер оказался в моей руке. Что ж, война еще не окончена, впереди много сражений, генеральский «вальтер» будет для меня полезным сувениром.

Генерала усадили в «виллис» и отвезли в штаб армии.

— Могу ли я спросить, — сказал генерал, обратившись к начальнику штаба, — какая воинская часть взяла в плен меня и моих солдат. В этот период, когда мы были в окружении, наша разведка почти бездействовала, и я не имел возможности знать своего противника.

— О, пожалуйста, господин генерал, — вежливо ответил начальник штаба. — Вы находитесь в плену у армии, которой командует генерал Толбухин. Армия разгромила 101-ю, 103-ю, 297-ю немецкие дивизии, венгерский корпус. Это было в районах Александровка, Барвенково, Лозовая в январе—феврале прошлого года. В дальнейшем наши войска попали в окружение, вышли из окружения, сохранив материальную часть и даже тылы. Правда, ваше командование, господин генерал, успело уже объявить о том, что мы уничтожены полностью, а весь офицерский состав захвачен в плен. В дальнейшем мы громили группу Клейста, разбили 16-ю и 24-ю танковые дивизии. Под Сталинградом на рубеже Абганерово, Цаца разбили румынскую 251-ю дивизию, разгромили 1-ю пехотную дивизию, часть 20-й пехотной дивизии румын и 29-ю немецкую мотодивизию. И, наконец, наши войска громили остатки окруженной германской армии, очищая город Сталинград. Господин генерал, вы уже пятый по счету генерал, взятый нами в плен.

Генерал слушал молча, опустив глаза, подперев кулаками свои седые виски. Он немного отогрелся и даже расстегнул две пуговицы на своем мундире с орденами. Его пригласили в комнату к генералу Толбухину. Фон Даниэльс, стоя навытяжку, благодарил советского генерала за вежливое, рыцарское отношение советских офицеров к нему, его офицерам и солдатам. Он сказал:

— Я сдался в плен потому, что считал дальнейшее кровопролитие бессмысленным. Положение наших войск безнадежное. Мы недооценили мощь Красной Армии и расплатились за это жестоким поражением.

30 января гитлеровцы продолжали бессмысленное кровопролитие, закрепившись на небольших участках

территории города. Советская авиация перестала бомбить немцев: это уже стало опасно — можно попасть в своих. Сегодня в воздухе парадным строем прошли эскадрильи самолетов, покидающих Сталинград. Последняя группа — тридцать пять пикирующих бомбардировщиков — прошла на небольшой высоте над центром города, выстроившись в виде пятиконечной звезды. Летчики прощались с героическим городом. Самолеты легли на западный курс, а Сталинград, провожая их, салютовал залпами тяжелых орудий, уничтожавших последние гнезда обескровленного врага.

Где же скрывается Паулюс? Все генералы, сдавшиеся в плен, говорят, что Паулюс сделает то же в ближайшие часы. Но сделает он это только лишь после того, как, загубив последние войска, подчиняющиеся его приказу, докажет, что храбро сражался до последнего момента. Вчера я спросил генерала фон Дриппе, не пустит ли Паулюс себе пулю в лоб. Генерал улыбнулся и покачал головой. «Он этого не сделает», — сказал он.

На рассвете первого февраля советские бойцы обнаружили узел сопротивления в районе центрального универмага. Из этого очага гитлеровцы вели ураганный огонь. Командир части дал приказ окружить этот квартал. Бойцы приготовились к решительному штурму. К месту боя подвели несколько танков, по развалинам домов, откуда стреляли немцы, открыли оружейный огонь.

В разгаре боя наши бойцы и командиры увидели белый флаг. Гитлеровцы капитулировали. Был дан приказ прекратить огонь, и вскоре из подвала универмага вышел парламентар, который заявил, что генерал Паулюс со своим штабом находится здесь и просит прислать представителя для переговоров о капитуляции. Парламентар сказал, что Паулюс просит прислать генерала или полковника.

Для переговоров с Паулюсом был выделен полковник Лукин. Он прошел в подвал, где был встречен начальником штаба Паулюса генералом Шмидтом.

Генерал Шмидт заявил полковнику Лукину, что он уполномочен вести переговоры о сдаче и просит обсудить условия капитуляции. Полковник Лукин сказал генералу Шмидту, что он разговаривает с ним, имея полномочия от командующего 64-й армией генерал-лейтенанта Шумилова и командующего фронтом генерал-полковника

Рокоссовского. Никаких новых условий сдачи, кроме указанных в предъявленном ранее ультиматуме, никакого обсуждения этих условий, как и промедления процесса сдачи быть не может.

— Если у вас есть какие-либо сомнения в безнадежности вашего положения, — сказал полковник Лукин, — выйдите из подвала. Вы окружены большим количеством оснащенных техникой войск. Вокруг вашего штаба стоят танки и артиллерия. Предлагаю немедленно сдаться.

Через несколько минут к полковнику вышел Паулюс и заявил, что он передает себя и свой штаб в руки советского командования. Вскоре после этого Паулюс в сопровождении офицеров штаба вышел из подвала. Личный багаж Паулюса и ближайших его офицеров был погружен на грузовую машину. Паулюс, начальник штаба генерал-лейтенант Шмидт и личный адъютант Паулюса полковник Адам выехали в штаб армии.

Кинооператора в районе универмага не было. Да и как он мог там быть, ведь очагов сопротивления в Сталинграде 1 февраля было много. Разве что чудом мог бы один из операторов, снимавших в Сталинграде, оказаться именно в этом месте. О, если бы я знал, что чудо это ждет меня! Если бы я знал, что в штабе 10-й армии ждала меня телефонограмма Рокоссовского, верного своему обещанию и сообщавшего о пленении Паулюса!.. А я, не подозревая об ожидавшем меня подарке командующего, снимал на улицах Сталинграда. С невероятным азартом и увлечением снимал, как наши солдаты выкорчевывали из подвалов последних сопротивлявшихся фашистов, как те выходили поднимая руки, размахивая на палке белым полотенцем, любой белой тряпкой, попавшейся им под руку.

Бой у сталинградского вокзала начался еще с рассветом 1 февраля. На путях пылали несколько вагонов, с высокой водонапорной башни — из каждого ее окна искрились очереди немецких автоматчиков. Засевшие на водокачке гитлеровцы яростно отстреливались. Бойцы выкатили 45-миллиметровую пушку на прямую наводку и, прицеливаясь сквозь ствол, начали вгонять снаряды методично в каждое окно водокачки. Мы с оператором Борисом Шером снимали этот бой. Снимали, увлеченные тем, что предоставлялась возможность в одном кадре видеть и выстрел орудия и разрывы снарядов.

Вдруг произошло невероятное: наступила тишина. Да, мы не заметили, как утих, а потом и совсем прекратился

неистовый гром орудий. Тишина была неправдоподобной.

Не сразу дошло до сознания: тишина! Гром непрерывной канонады, бушевавшей в воздухе, вдруг сменился тишиной солнечного морозного дня. Стали слышны и тихий треск пожара, и скрип полоза саней, и чей-то негромкий говор. Сражение за Сталинград закончено?..

Лишь откуда-то издали доносился гул артиллерийской стрельбы. В северной части города, где было второе кольцо окружения, видимо, еще продолжался бой.

Бойцы, спя на кирпичах и снарядных ящиках, вертели самокрутки, глубоко втягивая сладкий дым махорки, говорили между собой, как о чем-то уже давно прошедшем, о боях, штурмах, о павшем друге, о грядущих сражениях. Говорили почти не глядя на густые толпы пемечких солдат, бредущих мимо развалин.

Молнией пронеслась мысль: если закончена Сталинградская битва, как же Паулюс? Значит, он сдался в плен. И, возможно, кто-то из операторов уже снимает это историческое событие!.. Немедленно в штаб армии!

сегодня ночью
я получил
радиограмму...

На пустыре, утыканном дымящими из-под земли железными трубами печурок, с трудом нашли землянку оперативного отдела штаба 10-й ар-

мии. Задавать вопросы не пришлось. Дежурный вручил мне телефонограмму от Рокоссовского — немедленно ехать в расположение штаба 64-й армии генерала Шумилова. На мой вопрос, что происходит в 64-й армии, дежурный процедил сквозь зубы: кажется, там сдается Паулюс. В эти дни в Сталинграде все воинские части мечтали пленить Паулюса. Поэтому и был так расстроен передавший нам телефонограмму полковник: его армию «обскакали»...

Через минуту мы уже мчались по разбитому городу, ориентируясь по карте. По дороге столкнулись с колонной машин. Впереди колонны — огромный, стального цвета «хорьх». Догадавшись, что в этой машине едет Паулюс, мы, обогнав колонну, погнали вперед. На карте у меня был отмечен квартал и дом, где помещается штаб 64-й армии. Мы легко его нашли. Около дома уже стояла группа офицеров, поджидавших пленников. Вскоре колонна машин подъехала к маленькому домику, остановилась. Мы с Шером уже стояли с камерами наготове.

Из серебряного «хорьха» вышел высокий худой человек в длинной, похожей на больничный халат немецкой шинели, мятой фуражке. Усталым растерянным взглядом

он осмотрелся кругом. Светило яркое солнце, он жмурился, переминаясь с ноги на ногу. Потом, медленно ступая большими фетровыми ботами по хрустящему снегу, человек пошел к крыльцу, поднялся по ступенькам — часовой-автоматчик внимательным взглядом проводил его — и в сопровождении нескольких советских офицеров вошел в дом. Это был командующий 6-й гитлеровской армией Фридрих Паулюс.

Я с волнением снимал идущего усталой походкой Паулюса. Он шел сутулясь, со страдальческим выражением на изможденном лице...

Следующие кадры были сделаны в просторной комнате штаба армии. Медленно раздевшись в сенях, Паулюс вместе с генерал-лейтенантом Шмидтом и полковником Адамом вошли в комнату. На наше операторское счастье, комната была залита солнечным светом, можно было снимать.

На пороге Паулюс стал навтыяжку, стукнул каблуками и поднял руку в фашистском приветствии. Щурясь от ударившего ему в лицо солнца, он в сопровождении своих спутников шагнул на середину комнаты. За столом сидел командующий 64-й армией генерал Шумилов. Вдоль стен комнаты на лавках — штабные генералы и офицеры. Кивком головы ответив на приветствие, Шумилов жестом указал Паулюсу на стул. Тот сел. Отчеканивая каждое слово, Шумилов сказал:

— Генерал-полковник, вы пленены 64-й армией, которая сражалась с вами от Дона до Сталинграда. Командование армии гарантирует вам воинскую честь, мундир и ордена.

Паулюс внимательно выслушал переводчика, склонил голову. Шумилов продолжал:

— Можете ли вы предъявить нам документ, удостоверяющий, что вы являетесь командующим 6-й германской армией генерал-полковником Паулюсом?

— Я могу предъявить вам мою «золтатенбух» — солдатскую книжку. — Паулюс достал свой документ и передал его Шумилову.

Когда Паулюс отстегивал пуговицы своего мундира, чтобы достать из внутреннего кармана удостоверяющую его личность «золтатенбух», рука его заметно дрожала. В комнате была напряженная тишина. Шумилов внимательно прочел документ, положил его перед собой на стол и снова устремил взгляд на своего пленника.

— Разрешите мне сделать важное заявление, — сказал Паулюс.

— Прошу, — сказал Шумилов.

— Сегодня ночью, господин генерал, я получил по радио от моего фюрера сообщение о том, что я произведен в чин генерал-фельдмаршала.

Шумилов легким кивком головы дал понять, что принимает заявление. После этого уже обращался к пленнику: «господин фельдмаршал». Он протянул Паулюсу коробку с папиросами «Казбек».

В комнате было тихо. Лицо Паулюса изредка сводила нервная судорога. Первый полководец гитлеровской армии, сложивший фельдмаршальский жезл к ногам победоносной Красной Армии, сидел подавленный. Он словно только сейчас в полной мере начинал отдавать себе отчет в том, какая трагедия постигла его войска и его самого — первого в истории войн фельдмаршала, сдавшегося в плен. Тишину нарушал только легкий треск моего киноаппарата, фиксировавшего этот исторический эпизод.

На груди у Паулюса и Шмидта ордена. Паулюс — один из крупнейших генералов гитлеровской армии — перед войной был начальником оперативного отдела Генерального штаба вермахта. Это ему, Паулюсу, было поручено составление плана «Барбаросса» — нападения на Советский Союз. 29 мая 1942 года он был награжден рыцарским орденом железного креста. В январе 1943 года был произведен в генерал-полковники. 15 января — несколько дней тому назад — он был награжден Дубовым листом к ордену железного креста. И, наконец, сегодня ночью произведен в генерал-фельдмаршалы. А потом сдался в плен. В немецкой армии десять фельдмаршалов. сегодня Гитлер потерял десять процентов своих фельдмаршалов.

Мундир Паулюса поношен, измят. Его лицо землистого цвета. На исхудалых щеках седоватая щетина. Фон Паулюс сохраняет, казалось бы, полное спокойствие. Но дрожат его руки, когда он подносит ко рту папиросу. Отвечая на вопросы, он говорит тихим, приглушенным голосом, продумывая каждое слово.

— Почему вы не приняли ультиматум советского командования о капитуляции? — спрашивает его Шумилов.

— Я имел приказ сражаться.

— Имели ли вы дополнительные инструкции впоследствии, когда попали в окружение?

— С самого начала я имел инструкцию сражаться до последней возможности.

— Отдали ли вы приказ северной группе сложить оружие?

— Я нахожусь в плену и не имею права давать приказ о капитуляции.

— Но когда командующий видит, что его люди напрасно гибнут, что дальнейшее сопротивление безнадежно, должен ли он предотвратить напрасное кровопролитие?

— Это может решить тот, кто находится с войсками. Я же нахожусь в плену,— уклончиво отвечал Паулюс.

В ходе дальнейшей беседы Паулюс сказал:

— Я впервые в России. В первую мировую войну я воевал на Западном фронте. Я вижу теперь, что вашу страну трудно победить. Своего поражения я не мог предвидеть. Я не предполагал, что вы располагаете такими силами. В операциях бывает счастье, бывает и несчастье. Меня постигло несчастье, которого я, увы, не мог предотвратить. Вы захватили меня в плен. Я ваш пленник...

Через несколько часов Паулюса отправили в Запоровку, в штаб фронта. Фельдмаршала везли на его же машине. За рулем «хорьха» сидел его личный шофер. В следующей машине — генерал Шмидт и полковник Адам. «Виллис», в котором ехал я, был в колонне третьим. Предстояло проделать тридцатикилометровый путь по приволжским степям. Мороз был около тридцати градусов.

Колонна шла по степной дороге при полном свете фар. Фронт уже откатился далеко на запад, мы внезапно оказались в глубоком тылу. Ветер гнал поземку, вихри снега метались в лучах света. Время от времени наша автоколонна обгоняла растянувшиеся на много километров многотысячные колонны пленных. В узких местах на замеченной снегом дороге несколько раз приходилось останавливаться, чтобы пленные могли потесниться и пропустить машины. Шум тысяч ног, шагавших по морозному снегу, словно гул гигантского водопада, стоял над степями Приволжья. В ярком световом пучке фар, как на экране, проплывали печальные образы солдат, обмотанных одеялами, мешками, тряпками. Я невольно смотрел на них глазами пленного фельдмаршала, который принимал в эту мороз-

ную ночь последний трагический парад своих разгромленных войск...

Дважды во время этого рейса мы останавливались по команде «Воздух!». На большой высоте шли вражеские транспортные самолеты. Подняв голову, Паулюс следил за их полетом. Самолеты везли парашюты с боеприпасами и продуктами для окруженной гитлеровской группы войск, для него, для Паулюса. Самолеты шли по приказу фюрера, еще не знавшего, что наступил конец. Ничем другим Гитлер помочь не мог.

Поздно ночью колонна машин прибыла в Заборыкино. Я постучался в дверь бревенчатого дома, где помещался представитель Ставки главный маршал артиллерии Воронов.

Мы подружились с Николаем Николаевичем в Испании, где он носил имя Вольтер. Он был советником республиканской армии по артиллерии. Много дней и ночей провели мы в осажденном Мадриде, встречались на Хараме, на Гвадалахаре, в Брунете. Здесь, в Заборыкино, мы впервые встретились после Испании.

— Ну и вид у вас, — сказал со смехом Николай Николаевич, — мне Рокоссовский рассказал, что вы сняли Паулюса. Есть хотите?

Я сознался, что забыл, когда я ел, когда спал.

— Давайте помойтесь, если хотите побриться, так и быть, дам вам свежее лезвие «жиллет». — Он взглянул на часы: — Поторопитесь, через сорок минут здесь у нас будет первая встреча с пленным фельдмаршалом. Сейчас сюда придут Рокоссовский, Калинин и Телегин.

— Вы мне разрешите, Николай Николаевич, присутствовать при встрече?

— Давайте присутствуйте. Сидите в уголке и присутствуйте. А снимать, вероятно, не сможете, вам же нужны для этого «юпитера», а мы, кроме лампочки от автомобильного аккумулятора, ничего предложить не можем.

— Тогда я хоть сфотографирую. Нельзя не зафиксировать эту историческую встречу. У меня будет одна просьба к вам и товарищу Рокоссовскому — дайте мне утром возможность вылететь в Москву со всем мате-риалом.

— Это мы вам обеспечим, — сказал Воронов.

— Вы уже здесь? — обращаясь ко мне, сказал входя Рокоссовский. — Ну как, сняли Паулюса? Как он выглядит, расскажите...

КОМАНДУЮЩЕГО
ФРОНТОМ ВЫЗЫВАЕТ
МОСКВА

В 2 часа 15 минут 1 февраля
фельдмаршала Паулюса ввели в ком-
нату. Переводчик майор Дятленко
сказал ему:

— Перед вами представитель Ставки Верховного Главнокомандования маршал артиллерии Воронов. И командующий войсками Донского фронта генерал-полковник Рокоссовский.

Фельдмаршал, стоя навывтяжку, молча склонил голову. Ему предложили сесть. Он спросил, окинув пристальным взглядом присутствующих советских военачальников:

— Это вами был подписан документ, переданный мне парламентаром, документ о капитуляции?

— Да, нами,— сказал Рокоссовский.

— Фельдмаршал, мы пригласили вас в столь поздний час, — сказал Воронов, — чтобы решить важный вопрос. Ваши войска разгромлены, тысячи ваших солдат сдались в плен, и сами вы, фельдмаршал, пленены. Но в северной части города в узком кольце продолжает сопротивляться последняя группа ваших войск. Советское командование располагает огневыми средствами большой силы — артиллерией, авиацией, достаточными, чтобы уничтожить эту группировку в течение нескольких часов. Мы предлагаем вам, фельдмаршал, обратиться к вашим солдатам и офицерам с предложением сложить оружие. Этим вы предотвратите бесполезное кровопролитие. Жизнь ваших солдат в ваших руках, фельдмаршал.

Паулюс внимательно выслушал Воронова. Лицо его подергивалось нервным тиком. Рокоссовский придвинул ему коробку папирос. Паулюс взял папиросу. Рука его задрожала. Он ответил:

— Я такого приказа моим войскам отдать не могу.

— Почему?

— Потому, что я нахожусь в плену, а они сражаются. Я просто не имею права отдать им приказ о капитуляции.

— Но вы отдаете себе отчет во всей бессмысленности их сопротивления?! — воскликнул Рокоссовский. — Ведь они будут уничтожены!

Паулюс повернулся к Рокоссовскому. В глазах у него была невысказанная боль. Он понимал гуманность сделанного советскими генералами предложения и, конечно, ощущал меру своей ответственности за кровь своих солдат. Минуту помолчав, он сказал:

— Нет, я не могу отдать приказ о капитуляции. На протяжении этой войны я был не раз свидетелем, как русские солдаты, оказавшиеся в безнадежном положении, все же сражались до последнего патрона. Сражались доблестно, героически. У моих солдат есть боеприпасы и оружие. У них имеется приказ продолжать сопротивление. Почему же вы предлагаете мне заставить моих солдат сдаться? Нет, я этого не в силах сделать.

— Ну что ж, в таком случае мы вынуждены завтра утром,— Воронов посмотрел на часы,— вернее, сегодня начать военные действия по разгрому группировки.

Паулюс склонил голову, развел руками и молча взглянул в глаза Рокоссовскому, словно говоря: «На вашей стороне сила, мы проиграли...»

Над столом горела маленькая автомобильная лампочка от аккумулятора. Я, сидя в уголке, записывал в блокнот почти стенографически каждое слово исторического диалога. Я оказался единственным журналистом, присутствовавшим там. Несколько раз щелкнул фотоаппаратом. Снимок «Допрос Паулюса» обошел потом всю мировую печать.

Воронов спросил Паулюса, нет ли у него каких-либо претензий к советскому командованию в отношении условий, в которых он находится. Паулюс энергично качнул головой:

— О нет, отношение к нам со стороны советских офицеров и солдат было рыцарским.

— Нет ли у вас, фельдмаршал, какой-нибудь просьбы к нам?

— Одна просьба. Я прошу, чтобы немецкие врачи остались со своими ранеными.

— Это мы уже сделали,— кивнул головой Воронов,— такой приказ отдан.

— Благодарю вас,— сказал Паулюс.

Когда он вышел, Калинин хлопнул ладонью по столу:

— Что хотите, а он сейчас держал себя как настоящий солдат!

В эту ночь я не спал. До утра писал корреспонденцию в «Известия» и Совинформбюро о последних часах Сталинградской битвы, о пленении Паулюса. Николай Николаевич утром зашел ко мне в закуток, где я писал, сидя на приготовленной мне для ночлега койке. Он был уже свежевыбрит.

— Неужели вы не ложились? Сумасшедший народ эти операторы, журналисты! Уж если мы, солдаты, находим время для сна, вам сам бог велел.— Он взглянул на часы.— Семь утра. Пошли завтракать к Рокоссовскому. Нам сегодня предстоит жаркий день.

Моя корреспонденция была готова. На десяти страницах убористым четким почерком, чтобы не затруднять связистов. Ее взял порученец Воронова, которому тот приказал немедленно передать на узел связи.

В доме Рокоссовского все были на ногах. Не успели мы войти, как раздался звонок телефона ВЧ. Подошел Рокоссовский. С минуту он молча вслушивался. Все, кто находился в комнате, замерли там, где их застал звонок, не сводили глаз с Рокоссовского. Он ждал. Вызывал Сталин.

— Здравствуйте, товарищ Васильев,— сказал Рокоссовский. На лице его появилась улыбка.— Спасибо, товарищ Васильев, мы вас тоже все поздравляем. Да, имели с Паулюсом беседу. Пришиблен, но держится хорошо.— Рокоссовский бросил взгляд на ручные часы и сказал:

— Скоро начинаем. Да, к концу дня, очевидно, закончим. Спасибо, передам, товарищ Васильев.

Положив трубку, Рокоссовский, обращаясь ко всем, сказал: «Просил поздравить».

Сталин сказал Рокоссовскому, что они там, в Ставке лишь недавно закончили составление коммюнике для Совинформбюро о завершении разгрома остатков немецкой группировки и перед тем, как отправиться отдыхать, стоя в коридоре у репродуктора, прослушали сообщение.

— А мы-то не догадались включить радио,— сказал Малинин.

— Самолет ждет вас на аэродроме,— сказал Рокоссовский.— Ну, надеюсь, вы довольны?

— Такая удача бывает у оператора, журналиста раз в жизни,— сказал я, горячо поблагодарил за помощь и, натянув полушубок, вышел на улицу. Мороз жуткий. Было утро второго февраля 1943 года. Трое суток без сна!

В соседнем доме я растолкал спящего Шера. «Виллис» помчал нас к аэродрому, до которого было километров пятнадцать. На всем пути, как и ночью, обгоняли бесконечные колонны пленных.

Самолет «дуглас», к которому мы подъехали, уже про-

гревал моторы. Летчики помогли нам погрузить ящики с пленкой. Это был материал всех операторов Сталинградского и Донского фронтов, снимавших разгром немецкой группировки. Пленка, на которой запечатлены большие события этих дней — последние бои на улицах Сталинграда, генералы, сдающиеся в плен со своими штабами, немецкие дивизии, ковыляющие в плен, пленный фельдмаршал...

Самолет поднялся над аэродромом и лег курсом на Москву. Впервые за трое суток я вздремнул, завернувшись в брезенты.

Весь путь до Москвы самолет прошел бредущим полетом. На центральном аэродроме ждала студийная машина. На улице Горького я впервые увидел на плечах у офицеров погоны. Лихов переулок. Студия ожидала сталинградский материал. Пленку в лабораторию сдал Шер, а я, не раздеваясь, свалился на первый попавшийся диван и мгновенно заснул.

Дороги войны привели советских кинохроникеров в Берлин, к горящему рейхстагу, а потом в Нюрнберг, где Международный военный трибунал судил гитлеровских военных преступников. С чувством гордости запечатлели мы на пленку советских солдат, стоящих на посту у двери Нюрнбергского трибунала. Эти парни прошли славный боевой путь от берегов Волги к Днепру, Висле, Одеру, Шпрее.

Десять месяцев заседал Международный трибунал, шаг за шагом вскрывая преступления фашизма. Наша киногруппа снимала на процессе фильм «Суд народов». Из окна Дворца юстиции было видно серое здание, обнесенное высокой стеной, — тюрьма, в которой содержались преступники. Из тюрьмы гитлеровские главари проходили подземным ходом в здание трибунала, усаживались в лифт, бронированные двери которого открывались на втором этаже, и попадали прямо на скамью подсудимых.

Ежедневно мы имели возможность подолгу наблюдать за этими людьми, некогда обладавшими зловещей властью над миллионами поработанных людей европейских стран. Все внимание сосредоточено на первом ряду скамьи подсудимых — Геринг, Гесс, Риббентроп, Кейтель, Йодль, Розенберг, Кальтенбруннер, Франк, Заукель, Штрайхер.

За столом трибунала — судьи. По двое от США, Фран-

ции, Англия и СССР. Советские судьи — генерал-майор Никитченко и подполковник Волчков. Председательствует англичанин — лорд-судья Лоуренс.

Зал был полон, когда советское обвинение предъявило трибуналу план вероломного нападения гитлеровской Германии на СССР, известный под названием «Вариант Барбаросса». Этот дьявольский план был подготовлен во всех деталях еще задолго до нападения гитлеровцев на нашу страну. Он вынашивался в штабах гитлеровского вермахта, обсуждался на многих секретных заседаниях. Альфред Розенберг приложил к «Варианту Барбаросса» свой план ограбления и полного уничтожения нашего народа.

Военная часть «Варианта Барбаросса» создавалась при ближайшем участии генерала Паулюса. Он, Паулюс, задолго до начала войны проехал вдоль всей границы СССР, на местах знакомясь с обстановкой. Генерал Руденко — главный обвинитель от СССР — представил суду показания фельдмаршала Паулюса.

Защита Геринга выступила против показаний фельдмаршала. Адвокат заявил: «Нам не внушает доверия этот документ. Мы хотели бы выслушать здесь, в зале суда, самого Паулюса, если, разумеется, он жив». Говоря это, адвокат был уверен, что советское обвинение не доставит Паулюса в Нюрнберг.

Председательствующий Лоуренс, спустив на кончик носа очки, обратился к Руденко с вопросом: «Господин Руденко, как вы полагаете, сколько времени понадобится для доставки фельдмаршала Паулюса в зал трибунала?» Руденко задумался на мгновение и ответил: «Несколько минут».

Появление Паулюса вызвало переполох на скамье подсудимых. Один из американских журналистов написал в своей корреспонденции: «Советский обвинитель Руденко сегодня бросил в зал трибунала атомную бомбу...» Элегантный, в черном штатском костюме, Паулюс вошел в зал и, приняв присягу, начал давать показания. Он с большими подробностями повторил все, что содержалось в его письменном заявлении, раскрывающем вероломный план нападения на Советский Союз. В зале стояла мертвая тишина.

— Кого из присутствующих вы считаете главным виновником нападения на СССР? — задал Паулюсу вопрос Руденко.

— Геринга, Кейтеля, Йодля, — отчеканил Паулюс, скрестив взгляд с бывшими своими коллегами.

Я встретился с Паулюсом после его выступления в комнате советского обвинения. Он отдыхал. Я снял его. Нас познакомили. Я не выдержал, сказал ему:

— Мы не впервые встречаемся с вами, господин фельдмаршал.

Паулюс вопросительно посмотрел мне в глаза:

— Простите, не помню, когда это было.

— Первого февраля 1943 года.

— О, как интересно! Вы тогда тоже снимали? Я, вероятно, выглядел очень бледным и худым, не правда ли?

— Да, у вас был очень утомленный вид.

Сопровождавший Паулюса офицер показал ему на часы. Он поднялся, раскланялся и пошел вдоль коридора походкой, хранящей военную выправку. Это была моя вторая и последняя встреча с гитлеровским фельдмаршалом, плененным на берегах Волги.

ТАНКИ ИДУТ НЕ ОСТАНАВЛИВАЯСЯ

Январь 1945 года. Ночь на Мангушевском плацдарме на западном берегу Вислы.

Такого огромного количества войск, которые были бы сосредоточены на одном, сравнительно малом куске земли, я ни разу не видел за годы войны. Местность на плацдарме безлесная, все войска, вся техника, штабы, штабеля боеприпасов, медсанбаты, кухни — все зарыто в землю, тщательно замаскировано. Только подойдя вплотную, можно было разглядеть утопленные в землю танки, орудия, самоходки, земляные норы — блиндажи, склады. Какой же необъятный труд людей потребовался, чтобы десятки тысяч машин, пушек, танков были так тщательно спрятаны, изготовлены для мгновенного удара! Все это переправлялось ночами через Вислу и исчезало под землей.

Впереди — оборонительные линии врага. Бетон, минные поля, проволока, снова бетон, опять доты, танковые рвы, надолбы, эшелонированные окопы, предельная насыщенность огня. И все это помножено на отчаянно дьявольскую решимость держать этот оборонительный вал,

стоять насмерть. За спиной у них — Германия, Берлин.

Пленные говорят: «У нас одна мысль — когда же русские начнут! Этого ужаса ждем каждое утро, в тишине чувствуем смерть. Знаем, что не выдержим. Все говорят — о, господи, скорее бы они начали, все равно — конец...»

Начнем мы завтра утром. Вернее, сегодня. Уже час ночи. Одновременно с двух плацдармов на Висле и третьего — на реке Нарев, севернее Варшавы. Когда минутная стрелка доползет до положенной черточки, на вражеские оборонительные рубежи обрушится невиданная сила огня.

Да, в эти дни мы будем вспоминать июль 1941 года. И гитлеровским генералам будет над чем задуматься. Пусть вспомнят, как рвались они к Москве, к Волге, торжествуя близкую победу.

Задолго до позднего январского рассвета начнется великое наступление советских войск на Германию.

Я вышел из землянки. Черное звездное небо, удивительная тишина. Где-то впереди одиночные выстрелы, в небо взлетали осветительные ракеты. Отсюда до границы Германии сто восемьдесят километров. Надо же вдуматься — граница Германии!..

Поеживаясь на холодном ветру, я слушал тишину этой ночи. Впервые подморозило. Ровно три года назад в декабре под Москвой были лютые морозы. Два года назад я сидел в Сталинграде. И вот до Германии рукой подать. А сколько километров отсюда до Великих Лук, до Старой Руссы, где я встречал войну? Как измерить долгие дороги войны, которые все-таки привели нас в Германию!

До рассвета считанные часы. Где-то в колоннах танков, которые устремятся завтра на запад, мой «виллис» будет как пылинка в грохочущем урагане. Спать сегодня не буду. Даже если и прилягу на земляной наре, накрывшись с головой полушубком, даже если и попытаюсь заснуть, хоть на часок, все равно — не засну...

В 1965 году, когда наша страна отмечала 20-летие Победы над гитлеровской Германией, на экраны страны вышел двухсерийный документальный фильм «Великая Отечественная». Работая над этим фильмом на протяжении почти двух лет, мы просмотрели более миллиона метров киноплёнки, снятых фронтовыми операторами в годы войны.

Работая над фильмом, я производил «раскопки» и в

моем личном архиве, к слову сказать, находившемся в хаотическом состоянии. Случайно раскрыв одну из брошенных на дальнюю книжную полку папок, я обнаружил связку своих телеграфных корреспонденций, отправленных из фронтовых узлов связи в «Известия» и Совинформбюро. На листы бумаги наклеены ленты телеграфного аппарата «Бодо» со строками, напечатанными заглавными буквами. Листы пожелтели и приобрели жесткость березовой коры. На некоторых сохранились служебные пометки: «Передал Сатурн», «Припяла Береза»...

Погрузившись в чтение, бегло расшифровывая все эти «зпт», «тчк», «абзац», я окупился в атмосферу последних недель, дней, часов войны.

Перед началом наступления наших войск от берегов Вислы к Одру и на Берлин я на несколько дней прилетел с фронта в Москву. Руководитель Совинформбюро С. А. Лозовский в беседе со мной подчеркнул чрезвычайную важность освещения в зарубежной печати всех этапов Берлинской операции, просил хоть изредка писать для Юнайтед Пресс. Я обещал сделать все от меня зависящее, если это не отвлечет меня от основной моей работы — киносъемки.

Весь боевой путь от Вислы до Одера я прошел с войсками 2-й танковой армии. Я крепко привязался к танкистам. Меня — кинооператора и журналиста — увлекла стремительность танковых прорывов. Следуя в передовых частях, устремлявшихся в глубокие рейды, я фиксировал на пленку неповторимые эпизоды. Боевая дружба связала меня с начальником штаба 2-й танковой армии генералом А. И. Радзиевским — талантливым восначальником, эрудированным и высококультурным человеком. Алексей Иванович охотно помогал мне в работе. Учитывая важность информации о действиях наших войск для советской и зарубежной прессы, он отдал приказ: мои телеграммы в Москву отправлять немедленно. Во фронтовых условиях для журналиста такой приказ был неоценим!

Во время наступления на Берлин бывало, что я передавал в Москву ежедневно по две-три короткие корреспонденции. Писал их, с трудом убеждая себя, что эти строки достигнут Москвы. Однако писал. И только впоследствии мне показали американские и английские газеты, в которых эти фронтовые телеграммы были напечатаны огромными шрифтами на первых полосах...

Иной раз не верится, что прошло уже более четверти века с того дня, когда умолкло эхо последнего залпа на улицах Берлина. Как будто не прошумели над посеребрёнными головами эти нелегкие два послевоенных десятилетия. Видно, в сердцах солдатских слишком глубоки и остры рубцы пережитого. Идут годы, а грозные образы войны, и горькая боль первых месяцев, и гордая радость последних наших битв свежи в памяти.

Вспоминать пережитое мне помогают беглые записи во фронтовых блокнотах, кадры снятой пленки. Записей, впрочем, сохранилось мало. А запечатленные камерой эпизоды стали частицей боевой кинолетописи, появившейся на свет благодаря работе всех советских фронтовых операторов, из которых многие героически погибли в боях. Вот почему я так обрадовался, обнаружив пачку фронтовых телеграмм.

Конечно, я мог бы сегодня пройти карандашом по их тексту. Мог бы кое-где их подправить, дополнить, отредактировать. Но я решил этого не делать. Пусть эти фронтовые очерки, репортажи, информации, написанные наспех прямо на телеграфном бланке в танке, в «виллпсе», в блиндаже, в землянке, останутся такими, какими перестучал их тогда военный телеграф. Эти страницы фронтовых телеграмм дороги мне бесконечно. Они живо воскрешают в памяти трудные и светлые дни нашей победы. И мне кажется, именно в нетронутом виде эти строки могут в какой-то мере передать читателю живую атмосферу тех неповторимых дней.

Поэтому, ничего не правя, я дал машинистке перепечатать телеграммы со штампами войсковых узлов связи и с подписью: «Военный корреспондент майор Р. Кармен»...

Вот некоторые из этих телеграмм.

МОСКВА «ИЗВЕСТИЯ» БЕЛОГОРСКОМУ.

СЕЙЧАС КАЖЕТСЯ, ЧТО МНОГО, МНОГО ДНЕЙ И ПОЧЕМУ НАЗАД ТАНКИ ТРОНУЛИСЬ СО СВОИХ ИСХОДНЫХ РУБЕЖЕЙ. СТОЛЬКО МАЛЫХ И БОЛЬШИХ ГОРОДОВ ОСТАЛОСЬ ПОЗАДИ. СТОЛЬКО ДЕРЗКИХ ШТУРМОВ, ТЯЖЕЛЫХ ПЕРЕПРАВ, ЖЕСТОКИХ БОЕВ. ЧЕТЫРЕСТА КИЛОМЕТРОВ — ШУТКА ЛИ СКАЗАТЬ — ПРОГРОМЫХАЛИ, ПРОШЛИ С БОЯМИ ГУСЕНИЦЫ ТАНКОВ, УСТРЕМИВШИХ ДЛИННЫЕ ОРУДИЙНЫЕ СТОЛЫ В СТОРОНУ БЕРЛИНА. А ВЕДЬ ВСЕГО ВОСЕМЬ СУТОК ПРОШЛО.

МАШИНЫ ДВИНУЛИСЬ В ШИРОКУЮ БРЕШЬ, ПРОБИТУЮ АРТИЛЛЕРИЙСКИМ ОГНЕМ, И, НЕ ОСТАНАВЛИВАЯСЬ, ПЕСУТСЯ ВПЕРЕД, ОБХОДЯ ИЛИ СМЕТЯ НА СВОЕМ ПУТИ НЕМЕЦКИЕ ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ РУБЕЖИ, УЗЛЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ, ЗАМЫКАЯ СТАЛЬНЫМИ ПЕТЛЯМИ ТЩАТЕЛЬНО ОБДУМАННОГО МАРШРУТА БОЕВЫЕ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА.

МОЩЬ И ТЕМП — ВОТ ЧТО РЕШАЕТ УСПЕХ ЭТОГО БЛИСТАТЕЛЬНОГО НАСТУПЛЕНИЯ, В КОТОРОМ ТАНКОВЫЕ ВОЙСКА ИГРАЮТ ВЕДУЩУЮ В ПОЛНОМ СМЫСЛЕ ЭТОГО СЛОВА РОЛЬ.

ПЕРВЫЕ СУТКИ РЕЙДА. ПЕРВАЯ ЗАДАЧА — ЗАХЛЕСТНУТЬ, ОТРЕЗАТЬ КРУПНУЮ ВАРШАВСКУЮ ГРУППИРОВКУ ПРОТИВНИКА. ТАНКИ РВАНУЛИ ПО МАГИСТРАЛЯМ НА СЕВЕРО-ЗАПАД. МАШИНЫ ШЛИ ПО ДОРОГЕ В ДВА РЯДА, И ЭТО БЫЛО БЫ ПОХОЖЕ НА ОБЫЧНЫЙ МАРШ, ЕСЛИ БЫ НЕ БОИ, КОТОРЫЕ ПЕРЕДОВОЙ ОТРЯД, ТАРАНОМ ПРОБИВАЮЩИЙ ПУТЬ ГЛАВНЫМ СИЛАМ, ВЕЛ НА КАЖДОМ ШАГУ, ОКОЛО КАЖДОГО ГОРОДКА, НА ПЕРЕКРЕСТКАХ ДОРОГ. ПРЕВОСХОДСТВО НАШЕ В СИЛЕ БЫЛО НАСТОЛЬКО ПОДАВЛЯЮЩИМ, ЧТО ЭТИ БОИ НЕ МОГЛИ ЗАМЕДЛИТЬ ДВИЖЕНИЯ ТАНКОВЫХ КОЛОНН. ВСЕ, ЧТО ОСТАВАЛОСЬ У ПРОТИВНИКА К ВОСТОКУ ОТ ДОРОГИ, БЫЛО ОТРЕЗАНО, ОБРЕЧЕНО. НЕМЦЫ МОГЛИ ЛИШЬ ПЫТАТЬСЯ ОБОГНАТЬ ТАНКОВЫЕ КОЛОННЫ, ЗАХОДЯЩИЕ К НИМ В ТЫЛ, И ВЫРВАТЬСЯ ИЗ ЗАМЫКАЮЩЕГО КОЛЬЦА. ПРОРВАТЬ КОЛЬЦО БЫЛО НЕВОЗМОЖНО: ЗА ТАНКАМИ НА ДЕСЯТКИ КИЛОМЕТРОВ СЛЕДОВАЛИ ПО ДОРОГАМ НАШИ ВОЙСКА — ПОЛЗЛИ САМОХОДКИ, БРОНЕТРАНСПОРТЕРЫ, АРТИЛЛЕРИЯ, ПЕХОТА НА МАШИНАХ, КОННИЦА. ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ МАШИН УСТРЕМЛЯЛИСЬ ПО БОКОВЫМ ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ МАГИСТРАЛЯМ. НОЧЬЮ ШОССЕ БЫЛИ ЗАЛИТЫ СВЕТОМ ФАР, ГУДЕЛА ЗЕМЛЯ ОТ РЕВА МОТОРОВ. ДЛЯ ДЕМОРАЛИЗОВАННЫХ, ЛИШЕННЫХ УПРАВЛЕНИЯ НЕМЕЦКИХ ЧАСТЕЙ, РАСТЕКАВШИХСЯ ПО ЛЕСАМ, ЭТА МАГИСТРАЛЬ БЫЛА НЕПРОХОДИМОЙ.

ГОРОД ГРУЙЕЦ — ПЕРВЫЙ НА НАШЕМ ПУТИ — БЫЛ ВЗЯТ С ХОДУ. ЕЩЕ ГДЕ-ТО НА ОКРАИНАХ СТРОЧИЛИ АВТОМАТЫ ОСТАВШИХСЯ СМЕРТНИКОВ — ЭСЭСОВЦЕВ, А ЧЕРЕЗ ЦЕНТР ШЛИ НЕСКОНЧАЕМОЙ ЛАВИНОЙ ТАНКИ, САМОХОДНАЯ АРТИЛЛЕРИЯ. ТЫСЯЧИ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ШПАЛЕРАМИ СТОЯЛИ ВДОЛЬ УЛИЦ. НЕ РАСХОДИЛИСЬ ЛЮДИ И С НАСТУПЛЕНИЕМ ПОЧИ. ЯРКИЙ СВЕТ ФАР И РОЗОВЫЕ ОТЕЛЕСКИ ПОЖАРОВ ОСВЕЩАЛИ РАДОСТНЫЕ ЛИЦА. НЕ СМОЛКАЛИ ГРОМКИЕ ПРИВЕТСТВЕННЫЕ КРИКИ В ЧЕСТЬ КРАСНОЙ АРМИИ. КАЗАЛОСЬ, ОСВОБОЖДЕННЫЕ ЛЮДИ РЕШИЛИ ВЫ-

СТОЯТЬ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА НЕ ПРОВОДЯТ ВОСТОРЖЕННЫМ «НЕХ ЖИЕ!» ПОСЛЕДНИЙ ТАНК. ПО ШЕСТВИЮ СТАЛЬНЫХ МАШИН НЕ БЫЛО КОНЦА И КРАЯ.

СЛЕДУЮЩИЙ ГОРОД — МЩОНУВ. ЗДЕСЬ ГИТЛЕРОВЦЫ ОКАЗАЛИ СИЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ. ПЕРЕДОВОЙ ОТРЯД ТАНКОВ БЫЛ ВСТРЕЧЕН МАССИРОВАННЫМ АРТИЛЛЕРИЙСКИМ ОГНЕМ. ОСТАНОВКА БЫЛА НЕДОЛГОЙ. КОЛОННА ТАНКОВ РАЗВЕРНУЛАСЬ В БОЕВЫЕ ПОРЯДКИ И, ОТКРЫВ ОГОНЬ ИЗ ВСЕХ ОРУДИЙ, УСТРЕМИЛАСЬ В ГОРОД. ПУТЬ ЧЕРЕЗ ЦЕНТРАЛЬНУЮ УЛИЦУ БЫЛ ОЧИЩЕН ДЛЯ ПРОХОДА ГЛАВНЫХ СИЛ. КОЛОННЫ МАШИН ПРОДОЛЖАЛИ СВОЙ ПУТЬ, ОСТАВИВ НЕСКОЛЬКО ТАНКОВ С ДЕСАНТАМИ АВТОМАТЧИКОВ ДЛЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ЛИКВИДАЦИИ ПРОТИВНИКА, ОТТЕСНЕННОГО К ОКРАИНАМ. ТО ЖЕ БЫЛО И В ГОРОДЕ ЖИРАРДУВ, ГДЕ ГИТЛЕРОВЦЫ, ПРОПУСТИВ ПЕРЕДОВОЙ ОТРЯД, ОТКРЫЛИ ОГОНЬ С ЧЕРДАКОВ ПО ПРОХОДЯЩИМ ЧЕРЕЗ ГОРОД МАШИНАМ. ЭТО ЗАДЕРЖАЛО ДВИЖЕНИЕ МАШИН БУКВАЛЬНО НА СЧИТАННЫЕ МИНУТЫ. КОЛОННЫ ПРОШЛИ ЧЕРЕЗ ОКРАИНЫ, А В ГОРОДЕ, ОСВЕЩЕННОМ ЗАРЕВАМИ ПОЖАРОВ, НЕСКОЛЬКО ТАНКОВ ОСТАЛИСЬ ВЕСТИ БОЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПРОТИВНИКА.

ШТАБ ТАНКОВОГО КОРПУСА ДВИГАЛСЯ НА МАШИНАХ ВМЕСТЕ С КОЛОННАМИ ТАНКОВ. НЕСКОЛЬКО БРОНЕТРАНСПОРТЕРОВ, ДВА ТАНКА, ДВЕ РАЦИИ И ОПЕРАТИВНАЯ КОМАНДНАЯ ГРУППА НА ОТКРЫТЫХ «ВИЛЛИСАХ». ВСЕ РУКОВОДСТВО ОПЕРАЦИЯМИ — ПО РАДИО. В ЭФИРЕ ПРОТЯНУЛИСЬ ПРОЧНЫЕ НИТИ, ИДУЩИЕ ЗВЕНЬЯМИ ОТ КОМАНДУЮЩЕГО ФРОНТОМ ДО КОМАНДИРОВ ТАНКОВ, ВЕДУЩИХ БОЙ. ЧЕТКАЯ БЕЗОТКАЗНАЯ РАДИОСВЯЗЬ БЫЛА НА ВСЕМ ПРОТЯЖЕНИИ НАСТУПЛЕНИЯ.

КОЛОННА ШТАБА ДВИЖЕТСЯ В ГЛУБОКОМ НЕМЕЦКОМ ТЫЛУ. ТРЕВОЖНАЯ, ТРЕТЬЯ ПО СЧЕТУ, ТЕМНАЯ БЕЗЛУННАЯ НОЧЬ. МАШИНЫ ИДУТ ОЩУПЬЮ, БЕЗ СВЕТА ПО БОКОВОЙ ПРОСЕЛОЧНОЙ ДОРОГЕ. СПРАВА, ТАМ, ГДЕ ГЛАВНОЕ ШОССЕ, ИДЕТ ОЖЕСТОЧЕННЫЙ ТАНКОВЫЙ БОЙ. ТЬМУ ПРОРЕЗАЮТ РАЗНОЦВЕТНЫЕ ТРАССЫ СПАРЯДОВ, ВСПЫШКИ ОРУДИЙНЫХ ВЫСТРЕЛОВ. ВПЕРЕДИ — СОХАЧЕВ, СО ВЗЯТИЕМ КОТОРОГО ЗАВЕРШИТСЯ ПЕРВЫЙ ЭТАП РЕЙДА.

КОРОТКИЕ ОСТАНОВКИ У ОПУШКИ ЛЕСА, В НЕБОЛЬШИХ ХУТОРАХ. КОМАНДИР КОРПУСА ГЕНЕРАЛ ВЕДЕНЕЕВ ВЫХОДИТ ИЗ «ВИЛЛИСА», НЕ НАДОЛГО ВЛЕЗАЕТ В МАШИНАУРАЦИЮ. ТАРАХТИТ ДВИЖОК, ИЗ КУЗОВА МАШИНЫ ЗВУЧИТ ОХРИПШИЙ ГОЛОС ГЕНЕРАЛА. ОН ГОВОРIT С КОМАНДИРАМИ ЧАСТЕЙ, ОТДАЕТ ПРИКАЗЫ, СВЯЗЫВАЕТСЯ С «ВЕР-

ХОМ», УТОЧНЯЕТ ЗАДАЧУ. СМОЛКАЕТ ДВИЖОК, КОЛОННА ТРОГАЕТСЯ ДАЛЬШЕ В ТЕМНОТУ.

НА РАССВЕТЕ ШТАБНАЯ КОЛОННА СДЕЛАЛА ОСТАНОВКУ В НЕБОЛЬШОМ ХУТОРЕ. СЕМЬЯ ПОЛЬСКОГО КРЕСТЬЯНИНА ПОТЕСНИЛАСЬ В ПРОСТОРНОЙ ХАТЕ. ГЕНЕРАЛ РАССТЕЛИЛ НА СТОЛЕ КАРТУ И ЗАЖМУРИЛСЯ ОТ УСТАЛОСТИ, СЛОВНО ЗАСНУЛ НА НЕСКОЛЬКО МИНУТ. ИЗРЕДКА СТЕКЛА ХАТЫ ДРЕБЕЗЖАЛИ ОТ НЕДАЛЕКОЙ АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ КАНОНАДЫ.

В ШИРОКОЙ КРОВАТИ ЛЕЖАЛА МОЛОДАЯ ЖЕНЩИНА, МОЛЧА РАЗГЛЯДЫВАЯ ПРИШЕДШИХ С МОРОЗА ЛЮДЕЙ.

— БОЛЬНА? — СПРОСИЛ ГЕНЕРАЛ, КЛАДЯ НА СТОЛ ПАПАХУ. ИЗ ТЕМНОГО УГЛА ШАГНУЛА К СТОЛУ СТАРУХА.

— НЕ, ПАНЕ ГЕНЕРАЛ, ОНА СЕЙЧАС РОЖАТЬ БУДЕТ, — СКАЗАЛА ОНА И ПРОШЕПТАЛА НА УХО: — МУЖА ЕЕ НЕМЦЫ ВЧЕРА УБИЛИ. ОН В САРАЕ ЛЕЖИТ, ОНА НЕ ЗНАЕТ...

ГЕНЕРАЛ МОЛЧА НАДЕЛ ПАПАХУ, ПОДНЯЛСЯ, МЕДЛЕННО СКЛАДЫВАЯ КАРТУ, СКАЗАЛ ОФИЦЕРАМ ШТАБА:

— ПОШЛИ, ТОВАРИЩИ. — И, ТОЛКНУВ СЛЕГКА В ПЛЕЧО ЛЕЙТЕНАНТА, ЗАСНУВШЕГО МЕРТВЫМ СНОМ У ПЕЧИ, СТРОГО СКАЗАЛ РОЖЕНИЦЕ: — МАЛЬЧИКА! ВОТ ТАКОГО БОЛЬШОГО, СЛЫШИШЬ?

ЖЕНЩИНА УЛЫБНУЛАСЬ И, КИВНУВ ГОЛОВОЙ, ПРОТЯНУЛА ГЕНЕРАЛУ ХУДУЮ РУКУ ИЗ-ПОД ОДЕЯЛА. МЫ ВЫШЛИ НА МОРОЗ. СВЕТАЛО. К ГЕНЕРАЛУ ПОДОШЕЛ РАДИСТ, ДОЛОЖИЛ:

— КОПЫЛОВ ВЫЗЫВАЕТ ВАС, ТОВАРИЩ ГЕНЕРАЛ. ЕГО ТАНКИ ВЕДУТ БОЙ В СОХАЧЕВЕ...

ВЗЯТИЕ СОХАЧЕВА ОЗНАЧАЛО, ЧТО ВАРШАВСКАЯ ГРУППИРОВКА НЕМЦЕВ ОКОНЧАТЕЛЬНО ВЗЯТА В КОЛЬЦО. ЧЕРЕЗ ОТКРЫВШУЮСЯ ДВЕРЬ Я УСЛЫШАЛ ПРИГЛУШЕННЫЙ ЖЕНСКИЙ СТОН. НОВЫЙ ГРАЖДАНИН ПОЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВА ПОЯВЛЯЛСЯ НА СВЕТ, ЧТОБЫ ПЕРВЫМ СВОИМ КРИКОМ, ЗАГЛУШЕННЫМ АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ КАНОНАДОЙ, ПРИВЕТСТВОВАТЬ ОСВОБОЖДЕНИЕ СТОЛИЦЫ РЕСПУБЛИКИ — ВАРШАВЫ.

В ЭТИ МИНУТЫ ХОЛОДНОГО УТРА ПЕРВЫЕ ШТУРМОВЫЕ ОТРЯДЫ СОВЕТСКИХ АВТОМАТЧИКОВ И СОЛДАТ ВОЙСКА ПОЛЬСКОГО ИЗ ПРЕДМЕСТЬЯ ВАРШАВЫ — ПРАГИ ПОШЛИ ПО ЛЬДУ ВИСЛЫ В ЛОБОВОЙ ШТУРМ. ГИТЛЕРОВЦЫ МЕТАЛИСЬ В ЗАМКНУТОМ КОЛЬЦЕ. ТАНКИ ПОЛУЧИЛИ ПРИКАЗ, РАЗВЕРНУВШИСЬ, НАЧАТЬ СТРЕМИТЕЛЬНОЕ НАСТУПЛЕНИЕ НА ЗАПАД. НА ГЕРМАНИЮ.

...ПРОШЛО ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ И НОЧЕЙ С НАЧАЛА НАСТУПЛЕНИЯ. НО СКОЛЬКО ПРОЙДЕНО! СЕЙЧАС УЖЕ ТРУДНО ВОССТАНОВИТЬ В ПАМЯТИ ОБЛИК КАЖДОГО В ОТДЕЛЬНОСТИ ИЗ ГОРОДОВ, ВЗЯТЫХ С ХОДУ. ЛОДЗЬ, ВРОЦЛАВЕК, ГНЕЗЕН, КОЛА, ИНОВРОЦЛАВ. МНЕ НЕ ПРИШЛОСЬ ЗАДЕРЖИВАТЬСЯ В ЭТИХ ГОРОДАХ. СНИМАЯ РЕПОРТАЖ ИХ ОСВОБОЖДЕНИЯ, Я СТАРАЛСЯ БЫСТРО ЗАВЕРШИТЬ СЪЕМКИ, ЧТОБЫ НЕ ОТСТАТЬ, НЕ ОКАЗАТЬСЯ ДАЛЕКО ПОЗАДИ ОТ ПЕРЕДОВЫХ КОЛОНН ТАНКОВ, ПРОДОЛЖАВШИХ БЕЗОСТАНОВОЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД.

ГОТИЧЕСКИЕ КОСТЕЛЫ, УЗКИЕ УЛОЧКИ, ФАБРИКИ НА ОКРАИНАХ. НЕМЕЦКИЕ ВЫВЕСКИ И ТАБЛИЧКИ, УКАЗАТЕЛИ, ПЛАКАТЫ НА СТЕНАХ, ПРИЗЫВАЮЩИЕ ТАЩИТЬ В ГЕСТАПО, В КОМЕНДАТУРУ «ШЕПТУНОВ». ПРИКАЗЫ, ОБРАЩЕННЫЕ К ПОЛЬСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ, С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ФРАЗАМИ: «ЗАПРЕЩЕНО...», «...БУДЕТ СТРОГО НАКАЗАН...», «...ВПЛОТЬ ДО СМЕРТНОЙ КАЗНИ...». ЗАПРЕЩЕНО ПОЛЯКАМ БЫЛО ВСЕ — УЧИТЬСЯ, ЕСТЬ, ПОКУПАТЬ, ОДЕВАТЬСЯ, ГРОМКО РАЗГОВАРИВАТЬ НА СВОЕМ ЯЗЫКЕ. РАЗРЕШЕНО БЫЛО ТОЛЬКО РАБОТАТЬ НА ОККУПАНТОВ, ГОЛОДАТЬ, ХОДИТЬ В ДЕРЕВЯННЫХ БАШМАКАХ И ВЕРИТЬ ГИТЛЕРОВСКОЙ ПРОПАГАНДЕ. ВОТ ПОЧЕМУ ДОЛГОЖДАННОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ НАШИМИ ВОЙСКАМИ ПОЛЬШИ ПРЕВРАТИЛОСЬ ВО ВСЕНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК, МНОГОЛИКИЙ, ОЗАРЕННЫЙ УЛЫБКАМИ, ОРОШЕННЫЙ СЛЕЗАМИ СЧАСТЬЯ. И В ПАМЯТИ МОЕЙ ЗАПЕЧАТАЛИСЬ НЕ УЛИЦЫ И ДОМА, А ЭТО СТРАСТНОЕ ЛИКОВАНИЕ МНОГОТЫСЯЧНЫХ ТОЛП, ОПЬЯНЕННЫХ РАДОСТЬЮ, СЖИМАЮЩИХ В СВОИХ ОБЪЯТИЯХ СМУЩЕННЫХ ТАНКИСТОВ И АВТОМАТЧИКОВ. ЭТО Я ЗАПОМНИЛ, ЭТО Я СНИМАЛ, ЭТОГО НЕ ЗАБЫТЬ НИКОГДА...

МОСКВА «ИЗВЕСТИЯ» БЕЛОГОРСКОМУ

НОЧЬЮ КОЛОННА МАШИН ПОДЪЕЗЖАЛА К НЕМЕЦКОЙ ГРАНИЦЕ. МНОГИЕ БУДУТ СПРАШИВАТЬ, ЧТО МЫ ПЕРЕЖИВАЛИ В ЭТИ МИНУТЫ.

«ВИЛЛИС» ШЕЛ БЕЗ ФАР ПО ДОРОГЕ, ОСВЕЩЕННОЙ ЛУНОЙ, СКРЫВШЕЙСЯ В МОЛОЧНОЙ МГЛЕ НИЗКОЙ ОБЛАЧНОСТИ. МЫ ОБГОНЯЛИ ПЕХОТУ И АРТИЛЛЕРИЮ. ЛОХМАТЫЕ ГОРБОНОСЫЕ КОНИ, ПОКРЫТЫЕ ПНЕЕМ, ТАЩИЛИ ДЛИННОСТВОЛЬНЫЕ ПУШКИ. ПЕХОТА ШЛА БОДРЫМ ШАГОМ, ОТДОХНУВШАЯ НА ПОСЛЕДНЕМ ПРИВАЛЕ.

НА МОСТУ ЧЕРЕЗ РЕКУ ПЕТЦЕ ОГРОМНЫЙ ПЛАКАТ:

«ВОТ ОНА — ПРОКЛЯТАЯ ГЕРМАНИЯ!»

КАЖДЫЙ СОЛДАТ, ПЕРЕХОДЯЩИЙ ЭТОТ МОСТ, ЗАМЕДЛЯЕТ ШАГ. С ЭТОГО МЕСТА НАЧИНАЕТСЯ НОВЫЙ ЭТАП БОЕВОЙ ЖИЗНИ ВОИНА, ПРОШЕДШЕГО ТЯЖЕЛЫЙ ПУТЬ ОТ ВОЛГИ, КУБАНИ ДО ГЕРМАНСКОЙ ГРАНИЦЫ.

БОЙ НА ГЕРМАНСКОЙ ГРАНИЦЕ БЫЛ ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛЫМ. НУЖНО БЫЛО ФОРСИРОВАТЬ РЕКУ ПЕТЦЕ, КОТОРАЯ БЫЛА ПРЕВРАЩЕНА НЕМЦАМИ В РУБЕЖ, РАССЧИТАННЫЙ НА ДЛИТЕЛЬНУЮ ОБОРОНУ. ТАНКИ ПРОРВАЛИСЬ К РЕКЕ, СОВЕРШИВ СРЕМИТЕЛЬНЫЙ 60-КИЛОМЕТРОВЫЙ БРОСОК ЗА ДВА ЧАСА. СПЕШИВШИЕСЯ АВТОМАТЧИКИ ПЕРЕПРАВИЛИСЬ НА ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГ РЕКИ И В ТЕЧЕНИЕ ДЕВЯТИ ЧАСОВ ВЕЛИ БОЙ, ПРИКРЫВАЯ ПОСТРОЙКУ ПЕРЕПРАВЫ.

В 14 ЧАСОВ 26 ЯНВАРЯ ТАНКИ ПЕРЕПРАВИЛИСЬ И, СМЫНАЯ ОТЧАЯННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ НЕМЦЕВ, ПОШЛИ ПО ГЕРМАНСКОЙ ЗЕМЛЕ.

НЕ ЗАБУДЕТСЯ ЭТА НОЧЬ, КОГДА МЫ ПРОСКОЧИЛИ ПЕРЕПРАВУ ЧЕРЕЗ ПЕТЦЕ И ОСТАНОВИЛИ МАШИНУ НА ТОМ БЕРЕГУ. КРУГОМ ВСЕ ГОРЕЛО, ВПЕРЕДИ ШЕЛ БОЙ. НЕ ВЕРИЛОСЬ. ТРИ С ПОЛОВИНОЙ ГОДА ТЯЖЕЛЫХ ИСПЫТАНИЙ ПРИВЕЛИ НАС НА ЭТУ ЗЕМЛЮ. ВСЕ, ВСЕ ВСПОМИЛОСЬ ЗА ЭТИ НЕСКОЛЬКО МИНУТ МОЛЧАНИЯ: ЛЕТО 41-ГО ГОДА, СТАРАЯ РУССА, БАРИКАДЫ НА ОКРАИНАХ МОСКВЫ, ГОЛОДНЫЙ ЛЕНИНГРАД, ТРУПЫ ДЕТЕЙ И СТАРІКОВ, ЗОНЫ ПУСТЫНИ ПОД СМОЛЕНСКОМ И КАДРЫ НЕМЕЦКОЙ КИНОХРОНИКИ, В КОТОРЫХ МЫ ВИДЕЛИ, КАК ОРДЫ МОЛОДЫХ ГИТЛЕРОВСКИХ УБИЙЦ, ЗАКАТИВ РУКАВА, СМЕЯСЬ, ШАГАЛИ С АВТОМАТАМИ ПО РАЗВАЛИНАМ НАШИХ, СОВЕТСКИХ ГОРОДОВ.

ПЕРЕД НАМИ ВО МРАКЕ ТРЕВОЖНОЙ НОЧИ БЫЛА ГЕРМАНИЯ.

УЖЕ МНОГО СУТОК НАШИ ТАНКИ ИДУТ ПО ГЕРМАНСКОЙ ЗЕМЛЕ. В ЭТИ ДНИ МЫСЛИ И ЧУВСТВА ЛЮДЕЙ СОСРЕДОТОЧЕНЫ НА ОДНОМ: МЫ В ГЕРМАНИИ. ВОТ ОНА! ЕЕ ОБЛИК ДОПОЛНЕН ДЫМАМИ ПОЖАРОВ, ТЯЖЕЛЫМИ ТАНКАМИ, ОРУДИЯМИ И АВТОМАТЧИКАМИ В БЕЛЫХ БАЛАХОНАХ, ХРАБРЫМИ РЕБЯТАМИ, БОДРО ШАГАЮЩИМИ ПО ДОРОГАМ, — ЭТО ПЕЙЗАЖ ГИТЛЕРОВСКОЙ ГЕРМАНИИ 1945 ГОДА.

— ВОТ МЫ И В ГЕРМАНИИ, — ГОВОРІТ ВЫЛЕЗШИЙ ИЗ ЛЮКА ДЛЯ КОРОТКОГО ПЕРЕКУРА НА ТВЕРДОЙ ЗЕМЛЕ ТАНИКІСТ. ОН ПРОШЕЛ ТЯЖЕЛЫЙ И ДОЛГИЙ БОЕВОЙ ПУТЬ, СТУПИЛ НА ВРАЖЕСКУЮ ЗЕМЛЮ. ОНА У НЕГО ПОД ПОГАМИ.

— ВОТ, ЧЕРТ ВОЗЬМИ, ШАГАЕМ ПО ГЕРМАНИИ! — ГОВОРИТ УЛЫБАЯСЬ ГЕНЕРАЛ, ОТОРВАВШИСЬ ОТ РАЗОСТЛАННОЙ ПЕРЕД НИМ КАРТЫ. — А ВЕДЬ КАК СЕЙЧАС ПОМНЮ, В 42-М ГОДУ ДРАЛИСЬ МЫ ТРОЕ СУТОК ЗА ДЕРЕВНЮ ПОДОСИНОВКА ПОД РЖЕВОМ. МАЙОРОМ Я БЫЛ. А ОТ ПОЛКА МОЕГО ТОГДА ОСТАЛОСЬ...

У ВСЕХ СЕГОДНЯ В МЫСЛЯХ ПРОШЛОЕ. ВЯЗЬМА, СТАЛИНГРАД, НАРВА, УБИТЫЙ ОТЕЦ, РУИНЫ ГОРОДОВ. У КАЖДОГО СВОЙ СЧЕТ ВРАГУ, КОТОРЫЙ ОН БЕРЕЖНО, КАК ГОРЬКУЮ ЧАШУ, ДОНЕС В БИТВАХ ДО ВРАЖЕСКОЙ ЗЕМЛИ. ВОТ ОНА — ГЕРМАНИЯ, С ЕЕ ДЕРЕВНЯМИ, ГОРОДАМИ, КИРХАМИ, ПОХОЖИМИ ОДНА НА ДРУГУЮ, АККУРАТНЫМИ ДОРОЖНЫМИ ЗНАКАМИ, ПУХОВЫМИ ПЕРИШАМИ, ДОРОДНЫМИ КОНЯМИ И БЛЕДНЫМИ ПОЛУГОЛОДНЫМИ ПОДРОСТКАМИ.

ГИТЛЕРОВЦЫ ОТСТУПАЮТ. ОНИ НЕ ПРОСТО БЕГУТ. ДЕРУТСЯ ЗА КАЖДОЕ ДЕРЕВО, КАЖДЫЙ ДОМ. СЛЕДЫ ЖЕСТОКОЙ БОРЬБЫ МОЖНО ВИДЕТЬ НА КАЖДОМ ШАГУ НАШЕГО НАСТУПЛЕНИЯ. ВТОРАЯ ТАНКОВАЯ АРМИЯ ИДЕТ ВПЕРЕД, СОВЕРШАЯ ЕЖЕДНЕВНО БРОСКИ ПО 50—60 КИЛОМЕТРОВ, И ГИТЛЕРОВЦЫ НЕ МОГУТ ОСТАНОВИТЬ ЭТОТ МАРШ СТАЛЬНЫХ КОЛОНН. ОНИ НЕ В СОСТОЯНИИ ЭТО СДЕЛАТЬ.

ГИТЛЕР ПРОСЧИТАЛСЯ В СВОИХ УПОВАНИЯХ НА «ФОЛЬКСШТУРМ», НА ВСЕНАРОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ КРАСНОЙ АРМИИ. ЗА ДВА ДНЯ ДО НАШЕГО ПЕРЕХОДА ГРАНИЦЫ ОН ПРИЕЗЖАЛ В ШНАЙДЕМУЛЬ И, ВЫСТУПАЯ НА ШИРОКОМ ПАРТИЙНОМ СОБРАНИИ, ПРИЗЫВАЛ ВСЕХ ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА ВЗЯТЬСЯ ЗА ОРУЖИЕ...

В КАЖДОМ ГОРОДЕ, В КАЖДОМ СЕЛЕ НАС ВСТРЕЧАЮТ СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ. СКОЛЬКО РАДОСТИ В ЭТИХ ВСТРЕЧАХ, СКОЛЬКО СЛЕЗ, ОБЪЯТИЙ И ПОЦЕЛУЕВ. В ГОРОДЕ ВИЗЕНТАЛЬ, КУДА ВОРВАЛИСЬ НАШИ ТАНКИ, НАВСТРЕЧУ ИМ ПО ПУСТЫННОЙ УЛИЦЕ БЕЖАЛА ГРУППА МАШУЩИХ РУКАМИ ПЛАЧУЩИХ ДЕВУШЕК. ТАНКИ ОСТАНОВИЛИСЬ. ЛЮБА КОЗЛОВА ИЗ ОРЛА, МИЛЯ КУЗЬМЕНКО ИЗ СУМ, ТАНЯ МАЛЬЦЕВА ИЗ КУРСКА ВСКАРАБКАЛИСЬ НА ТАНКИ. СМЕЯСЬ И ПЛАЧА, ОНИ ОБНИМАЛИ И ЦЕЛОВАЛИ ТАНКИСТОВ. В БЮССОВЕ КАТЯ ГОЛОБОРОДЬКО, ЛИДА ИЩЕНКО С ПОЛТАВЩИНЫ, ПРОНЯ УПНАХОВА ИЗ ЧЕРНИГОВА НАПЕРЕБОЙ РАССКАЗЫВАЛИ НАМ О СТРАШНЫХ ГОДАХ РАБСТВА. С ЧЕТЫРЕХ УТРА ДО ПОЗДНЕЙ НОЧИ РАБОТА НА ХОЗЯИНА. ПОБОИ, ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА, ГОЛОДНЫЕ ОБОРВАННЫЕ ДЕВУШКИ ВСЕ СНОСИЛИ, ТЕРПЕЛИ, ВЕРИЛИ, ЧТО СЕГОДНЯШНИЙ СВЕТЛЫЙ ДЕНЬ ПРИДЕТ.

НА ШОССЕ БЫЛ ВЫСАЖЕН ИЗ МАШИНЫ УДИРАВШИЙ

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ГОРОДА ШНАЙДЕМЮЛЬ ИОГАННЕС ДАНЦИГ. Я РАЗГОВАРИВАЛ С НИМ. ВИДНЫЙ ФАШИСТСКИЙ ЧИНОВНИК. ЧЛЕН НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ С 30-ГО ГОДА. ИДЕЙНЫЙ ГИТЛЕРОВЕЦ. ОН ШАРКАЕТ НОГАМИ, СТОИТ НАВЫТЯЖКУ, РУГАЕТ НА ЧЕМ СВЕТОМ СТОИТ ГИТЛЕРА, ХУЛИТ ВСЕ, ЧЕМУ СЛУЖИЛ. ГОТОВ ВСЕ ПРОДАТЬ, СПАСАЯ СВОЮ ШКУРУ. С ОТКОРМЛЕННОГО ЛИЦА ЕГО НЕ СХОДИТ ПОДХАЛИМСКАЯ УЛЫБКА.

ВЧЕРА НА МАШИНЕ С БЕЛЫМ ФЛАГОМ ПОДЪЕХАЛ К НАШИМ ТАНКАМ НЕМЕЦКИЙ МАЙОР. ОН СКАЗАЛ: «РУССКИЕ ПОДХОДЯТ К ОДЕРУ. ВОЙНА ПРОИГРАНА. СДАЮСЬ В ПЛЕН».

МАЙОР Р. КАРМЕН
ПЕРВЫЙ БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ

Город Зольдин похож на все маленькие города Германии. Две остроконечные кирпичные кресты, неуклюжая арка у въезда на окраине, несколько вымощенных булыжником улиц. Табличку «Гитлерштрассе» лижут языки пламени, перекрестки окутаны дымом, сквозь который идут нескончаемой вереницей машины, танки.

Город сравнительно с другими немецкими городами сохранился, гитлеровцев вышибли молниеносно, не дав им закрепиться в домах. На перекрестках к столбу прибиты стрелы с названиями городов. Невольно останавливаешь взгляд на стрелке «Берлин». Среди десятка других названий городов и деревень эта деловитая фанерная стрела говорит о главной цели.

Я сворачиваю с дороги, чтобы взглянуть на немецкий аэродром, захваченный нашими танкистами. Ангараы, прожекторы, зенитные батареи, штабеля бомб — все брошено. Танки ворвались сюда внезапно. Кругом десятки самолетов — «юнкерсы», «хейнкелы», «фокке-вульфы».

На аэродроме уже новые хозяева. Рулят из ангаров, садятся, взлетают советские истребители. Наш авиационный полк на рассвете овладел немецким аэродромом, чтобы отсюда прикрывать наступающие советские войска.

Рядом с аэродромом я увидел бараки, окруженные несколькими рядами колючей проволоки с белыми электроизоляторами. Точно как в Майданеке — фашистский стандарт. Я зашел в ближайший барак. В полумраке разглядел на парах живые существа. На меня устремились взгляды больших глаз, сверкающих на пергаментных

мертвенных лицах. Это были женщины. Они протянули поверх одеяла сухие, тонкие, как щепы, руки и молча глядели на меня.

— Кто вы?! — почти закричал я им. — Здесь есть русские?

— Есть! — ответил тихий голос с верхней нары. Я подошел и увидел девушку, приподнявшуюся на локте.

Прерывающимся шепотом она рассказывала:

— Осадчая Степанида. Шестнадцати лет увезли в Германию. Была во многих лагерях, городах. Здесь — филиал самого страшного лагеря Равенсбрук, что под Берлином. Строили этот аэродром. Босыми ногами утапывали снег на посадочных площадках. Позавчера немцы всех угнали, нас, больных, оставили. Загубили мою жизнь проклятые фашисты... — закончила девушка и, закрыв глаза, легла на спину.

Сколько женщин погибло в этом лагере? На это никто не мог мне ответить. Сотни? Тысячи? Женщины всех национальностей томились здесь, умирая от голода, истязаний, болезней. Неизвестна судьба двух американок — Джаксон и Виржинии Дальбер, трех женщин — офицеров английской армии, парашютисток — Лиллан Рольф, Даниэль Виллиам, Виолетты Шабо. Женщин до смерти избивала палками комендант лагеря садистка Вильгельмина Пилен.

— О, если бы она попалась нам в руки! — в один голос заговорили женщины, окружившие меня во дворе. На них — рубища с крестами, вшитыми на спине, деревянные колодки. Страшно смотреть на тринадцатилетнюю девочку Ядвигу Хомпцкую. На ее прозрачном лице огромные серые глаза смотрят по ту сторону мира. Удастся ли спасти эту девочку-старуху? Научится ли она улыбаться?

Часть майора Куратова, расположившаяся вблизи лагеря, окружила оставшихся в лагере изможденных женщин заботой. Им обеспечена медицинская помощь, питание, уход.

Около города Бромберг я встретил на шоссе большую колонну людей, идущих с котомками за плечами. Впереди колонны развевался большой британский флаг. Это была группа английских солдат и офицеров, освобожденных нашими войсками из лагеря английских военнопленных. Они были взяты в Дюнкерке, Кале, Сен-Валери. Пять

лет провели они в лагере в Торне. Там же наши войска освободили больше тысячи французов, проданных в рабство Гитлеру Лавалем. Англичане идут бодрым шагом по шоссе, хохочут, поют. Иногда останавливаются, чтобы поболтать с нашими бойцами и офицерами, среди которых некоторые кое-как изъясняются на английском языке.

В городе Шубин, в день его освобождения, я наткнулся на лагерь американских офицеров — военнопленных. В этом лагере содержалось тысяча пятьсот человек, взятых в плен в Африке, Сицилии и Франции. Накануне немцы угнали большую часть их на запад. Где-то наши танки их, наверное, догонят и освободят. В лагере осталось двести человек.

Меня встретил седой полковник Друри, одетый в свежий мундир с орденскими лентами. Все офицеры, как и полковник, одеты в мундиры, сверкающие золотыми пуговицами и знаками различия, они в галстуках, сорочки открахмаленные, ботижки начищены до зеркального блеска.

Я первый, оказывается, советский офицер, оказавшийся в их лагере. Наши танки вошли в город всего лишь час назад, лагерь — в стороне от главной магистрали, по которой шли колонны войск. Знакомясь с офицерами, я сказал, что я кинооператор и журналист.

От имени освобожденных офицеров полковник Друри просил меня через печать передать благодарность Красной Армии и маршалу Сталину. Американцы наперебой говорили мне о том, какое сильное впечатление производит своей мощью Красная Армия. Многие из них уже успели, выйдя за ворота лагеря, побрататься с нашими солдатами и офицерами.

— Нас восхищает дисциплина в ваших войсках, высокая культура и рыцарский дух ваших солдат и офицеров в отношении к побежденным, — сказал полковник.

Веселые парни окружили меня тесным кольцом, сыпали шутками, задавали уйму вопросов, быстро организовали мне бритье — душистый мыльный крем, свежее лезвие «жиллет».

В первые минуты моего посещения лагеря ко мне подошел молодой высокий парень, представился: Райт Брайн, корреспондент американской радиовещательной компании. Раненым попал в плен во Франции. Не смог ли я помочь ему отправить корреспонденцию в США.

«Даю вам два часа», — сказал я. Тем временем ребята потащили меня к столу.

На дощатом столе на тарелках были разложены плитки шоколада, жареные орешки, миндаль, сушеные фрукты, печенье, колбаса, масло. Все это — содержимое посылок, которые к рождеству прислал американским военнопленным Международный Красный Крест.

Меня не покидало чувство горечи и, скажу откровенно, даже злости при виде этих глаженных сорочек, щегольских мундиров, бритвенных приборов, пахучего мыла, а тут еще этот стол... Я вспоминал лагерь советских военнопленных, обнаруженные нашими войсками в Сталинграде, в Польше. Голод, истязания, пытки, груды мертвецов и живые скелеты...

Мы уже прощались, когда я вспомнил о Райте Брайне — журналисте. Он прибежал в последний момент и, вручая мне свою корреспонденцию, сказал:

— Я написал очень коротко о своем ранении во Франции, о жизни в плену, о том, как Красная Армия нас освободила. Прошу вас, сделайте так, чтобы эта первая моя после плена корреспонденция была переправлена в Соединенные Штаты.

Я твердо пообещал ему, что это будет сделано. Его статья была мной отправлена в Москву, в Совинформбюро через армейский узел связи. Впоследствии я видел в «Нью-Йорк таймс» эту корреспонденцию, она начиналась словами: «Я передаю эти строки через несколько часов после того, как лагерь американских военнопленных был освобожден частями Красной Армии. Советскому корреспонденту и кинооператору Роману Кармену, обнаружившему наш лагерь, я вручаю первые после моего освобождения слова, обращенные к американским читателям...»

«На Берлин!» — написано на башнях танков, на брезентах грузовиков, на стволах орудий. Короткие остановки усталых невыспавшихся танкистов. Я подошел в лесу к костру. Экипажи двух танков сгрудились около огня. Парни опускали в языки пламени обмерзшие, черные с красными ссадинами руки, поджаривали на палочках ломтики черного хлеба. Из люка вылез танкист.

— Ребята, — сказал он, сдвинув на затылок шлем с наушниками, — через двадцать минут важное сообщение.

Наверное, нам салют будет за сегодняшний город. Леша, как этот город называется?..

Хотелось рассказать им, как прекрасна в морозной дымке наша Москва, озаренная розовыми сполохами громыхающих залпов, ярким сиянием ракет. С какой любовью и лаской устремлены миллионы советских сердец к этим замечательным людям в черных полушубках, молча прильнувшим к запылевшей броне, слушающим через наушники далекий салют Родины, их доблести посвященный.

Отгремели залпы в честь воинов 1-го Белорусского фронта. Поудобнее уселись солдаты на броне, покрепче надвинули на уши шапки, поправили на груди автоматы. И танки, заворочав гусеницами, тронулись по шоссе к переправам на Одере.

МОСКВА СОВИНФОРМБЮРО

ПЕРЕДАЮ ДЛЯ ЮНАЙТЕД ПРЕСС

ВОЙСКА МАРШАЛА ЖУКОВА ВЫХОДОМ К ОДЕРУ ЗАВЕРШИЛИ ПЕРВЫЙ ЭТАП ГРАДИОЗНОГО НАСТУПЛЕНИЯ, НАПРАВЛЕННОГО СВОИМ ОСТРИЕМ В СЕРДЦЕ ГЕРМАНИИ.

ЕЩЕ ДЕСЯТЬ ДНЕЙ ТОМУ НАЗАД ТРУДНО БЫЛО НАЧЕРТИТЬ НА КАРТЕ ЛИНИЮ ФРОНТА. БЕЗОСТАНОВЧНО ПРОРЫВАЮЩИЕСЯ ВПЕРЕД ТАНКОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ЛОМАЛИ ОБОРОНУ НЕМЦЕВ, ПРИКРЫВАЮЩУЮ ПОДСТУПЫ К ОДЕРУ. ОБХОДИЛИ УЗЛЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЯ ИДУЩЕЙ ПОЗАДИ ПЕХОТЕ ИХ ЛИКВИДИРОВАТЬ. ВО МНОГИХ ЛЕСАХ, ДЕРЕВНЯХ И ДАЖЕ ГОРОДАХ ОСТАВАЛИСЬ ПОЗАДИ НАШИХ ТАНКОВ НЕМЕЦКИЕ ГРУППИРОВКИ, ОБРЕЧЕННЫЕ НА УНИЧТОЖЕНИЕ.

СЕЙЧАС ВСЯ ПРОЙДЕННАЯ НАМИ ОГРОМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ МЕЖДУ ВИСЛОЙ И ОДЕРОМ ЗАПОЛНЕНА СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ, И НЕТ УЖЕ ТАКИХ ЛЕСОВ, ГДЕ ОПАСНО БЫЛ ПРОЕХАТЬ, НЕТ ТАКИХ ЧЕРДАКОВ, ГДЕ СИДЕЛ БЫ НАЦИСТ С АВТОМАТОМ. В ОСВОБОЖДЕННЫХ ГОРОДАХ ПОЛЬШИ НАЛАЖИВАЕТСЯ НОРМАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ. МИНОВАЛИ ГОРЯЧИЕ РАДОСТНЫЕ ДНИ ОСВОБОЖДЕНИЯ, И ПОЛЯКИ ВЗЯЛИСЬ ЗА РАБОТУ — ВОССТАНАВЛИВАЮТ РАЗРУШЕНИЯ, ОТКРЫВАЮТ ШКОЛЫ, МАГАЗИНЫ, ПУСКАЮТ В ХОД ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗОВЫВАЮТ СВОЙ БЫТ.

ПРОДЕЛАВ ВЕСЬ ПУТЬ С НАСТУПАЮЩЕЙ АРМИЕЙ, Я ПОБЫВАЛ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ВО МНОГИХ ЗАНЯТЫХ СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ ГОРОДАХ ГЕРМАНИИ, В ДЕСЯТКАХ

ДЕРЕВЕНЬ, ПРОЕХАЛ СОТНИ КИЛОМЕТРОВ ПО МНОГИМ ДОРОГАМ.

В НЕСКОЛЬКИХ СЛОВАХ Я ХОЧУ РАССКАЗАТЬ О ГЕРМАНИИ.

ПРОРЫВ НАШИХ ТАНКОВ В ГЛУБЬ ГЕРМАНИИ БЫЛ СТРЕМИТЕЛЕМ. МНОГИЕ НЕМЕЦКИЕ СЕМЬИ, ПОГРУЗИВ СВОЕ ИМУЩЕСТВО НА БОЛЬШИЕ ФУРГОНЫ, ПУСКАЛИСЬ В ПУТЬ ПО ДОРОГАМ, НО ТАНКИ ДВИГАЛИСЬ БЫСТРЕЕ. ТЫСЯЧИ ТАКИХ ПОВОЗОК Я ВИДЕЛ НА ДОРОГАХ, ОНИ ВОЗВРАЩАЛИСЬ ДОМОЙ. НЕ ЗНАЯ СНА И ОТДЫХА, МЫ ДВИГАЛИСЬ ВПЕРЕД, ОСТАНАВЛИВАЯСЬ ИЗРЕДКА В ДЕРЕВНЯХ, ПОКИНУТЫХ ИХ ОБИТАТЕЛЯМИ. МЫ ЗАХОДИЛИ В ДОМА, ГДЕ НЕ БЫЛО НИ ЖИВОЙ ДУШИ: ГОРЕЛИ ДРОВА В ПЕЧАХ, СТОЛ БЫЛ НАКРЫТ ДЛЯ ОБЕДА, КОТОРЫЙ ЕЩЕ ТЕПЛЫЙ СТОЯЛ НА ПЛИТЕ. БРОШЕННАЯ НА СТОЛЕ СЕГОДНЯШНЯЯ ГАЗЕТА. ВО МНОГИХ МАЛЕНЬКИХ ГОРОДКАХ ЕЩЕ В ТЕЧЕНИЕ СУТОК ПОСЛЕ НАШЕГО ПРИХОДА ГОРЕЛО ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ИДУЩЕЕ ПО ВЫСОКОВОЛЬТНЫМ ЛИНИЯМ ИЗ-ЗА ОДЕРА. ЖИТЕЛИ, ОСТАВШИЕСЯ В СВОИХ ДОМАХ, СНАЧАЛА ПРЯТАЛИСЬ, ПОТОМ ВЫХОДИЛИ ИЗ СВОИХ УБЕЖИЩ И, ИСПУГАННО ГЛЯДЯ НА ПРОХОДЯЩИХ СОЛДАТ, ПРИНИМАЛИСЬ ЗА СВОИ ОБЫЧНЫЕ ХОЗЯЙСКИЕ ДЕЛА.

ОРГАНЫ НАЦИСТСКОЙ ПАРТИИ В ГОРОДАХ И СЕЛАХ ПЕРЕД ПРИХОДОМ КРАСНОЙ АРМИИ ПРОВОДИЛИ УСИЛЕННУЮ РАБОТУ, ПРИЗЫВАЯ НАСЕЛЕНИЕ К ВСЕНАРОДНОЙ ВООРУЖЕННОЙ БОРЬБЕ. НАСЕЛЕНИЕ ПОЛУЧАЛО ОРУЖИЕ. НО МАССОВОГО ДВИЖЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ГИТЛЕРОВЦАМ ОРГАНИЗОВАТЬ НЕ УДАЛОСЬ. НЕМЕЦКИЕ БЮРГЕРЫ ПО ПРИХОДЕ КРАСНОЙ АРМИИ ВЫВЕШИВАЛИ НА СВОИХ ДОМАХ БЕЛЫЕ ФЛАГИ. МНОГИЕ НЕМЦЫ, С КОТОРЫМИ Я БЕСЕДОВАЛ, ГОВОРИЛИ: МЫ ОЖИДАЛИ, ЧТО ВАШИ СОЛДАТЫ НАС ВСЕХ РАССТРЕЛИВАТЬ БУДУТ, НЕ ЩАДЯ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ...

— Я ЗНАЮ ОЧЕНЬ ХОРОШО,— ГОВОРИЛА МНЕ ОДНА НЕМКА В ГОРОДЕ ЗОЛЬДИН,— ЧТО ТВОРИЛИ НАШИ НЕМЕЦКИЕ СОЛДАТЫ В РОССИИ. МЫ БОЯЛИСЬ ПОГОЛОВНОГО ИСТРЕБЛЕНИЯ.

ЧУВСТВО СТРАХА У НЕМЦЕВ ПОСТЕПЕННО ИСЧЕЗАЕТ. ОНИ НИЗКО КЛАНЯЮТСЯ КАЖДОМУ СОЛДАТУ, СНИМАЮТ ШЛЯПЫ.

С КАМЕННЫМИ ЛИЦАМИ ПРОХОДЯТ СОВЕТСКИЕ СОЛДАТЫ ПО УЛИЦАМ НЕМЕЦКИХ ГОРОДОВ. НЕНАВИСТЬ К НЕМЕЦКИМ ФАШИСТАМ, ИСКАЛЕЧИВШИМ НАШУ СТРАНУ, ТЯЖЕЛЫМ ГРУЗОМ ЛЕЖИТ НА СОЛДАТСКИХ СЕРДЦАХ. НО Я

УБЕДИЛСЯ ЗА ЭТИ ДНИ, ЧТО ВО ВСЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ НЕ НАЙДЕТСЯ ТАКОГО БОЙЦА, КОТОРЫЙ БЫ СПОСОБЕН ПРИСТРЕЛИТЬ БЕЗОРУЖНУЮ ЖЕНЩИНУ, РЕБЕНКА ИЛИ СТАРИКА.

НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА ЛИППЕНЕ БЕЗО ВСЯКИХ ПРИКАЗОВ ВЫШЛО НА УЛИЦЫ С ЛОПАТАМИ, МЕТЛАМИ. ПОДМЕЛИ ГОРОД, УБРАЛИ СЛЕДЫ БОЕВ — ТРУПЫ ЛОШАДЕЙ, СГОРЕВШИЕ МАШИНЫ; ЖЕНЩИНЫ ВСТАЛИ В ОЧЕРЕДЬ ЗА ХЛЕБОМ У ПЕКАРЕН, ГОРОД ПРИОБРЕЛ МИРНЫЙ ВИД. НЕКОТОРЫЕ ГОРОДА ВРОДЕ КЕНИГСБЕРГА, В ИЗЛУЧИНЕ ОДЕРА НЕСКОРО ПРИОБРЕТУТ МИРНЫЙ ВИД. ОНИ ПРЕВРАЩЕНЫ В ГРУДУ РАЗВАЛИН. БОИ ШЛИ В НИХ ЗА КАЖДЫЙ КВАРТАЛ, КАЖДЫЙ ДОМ. Я БЫЛ В ШПАНДЕМУЛЕ В ТОТ ДЕНЬ, КОГДА ОН БЫЛ ОКОНЧАТЕЛЬНО ОЧИЩЕН ОТ НЕМЦЕВ. В ЭТОМ ГОРОДЕ УЦЕЛЕЛ СРЕДИ ТЛЕЮЩИХ РУИН ТОЛЬКО ПАМЯТНИК ВИЛЬГЕЛЬМУ ВЕЛИКОМУ.

НЕМЦЫ СЕЙЧАС КОНЦЕНТРИРУЮТ БОЛЬШИЕ СИЛЫ ПРОТИВ ВОЙСК МАРШАЛА ЖУКОВА. ОНИ ПЕРЕБРАСЫВАЮТ ОТБОРНЫЕ ВОЙСКА С ЗАПАДНОГО ФРОНТА, И, ПО-ВИДИМОМУ, ДЕЛАЕТСЯ ЭТО ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ СИЛЬНОГО КОНТРУДАРА ПО НАШЕМУ ФРОНТУ, УГРОЖАЮЩЕМУ БЕРЛИНУ.

СЮДА ПЕРЕБРОШЕНЫ ЛУЧШИЕ ТАНКОВЫЕ ДИВИЗИИ 6-Й ТАНКОВОЙ АРМИИ ДИТРИХА. СЮДА НЕМЦЫ ТЯНУТ ВСЕ СВОИ ОПЕРАТИВНЫЕ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕЗЕРВЫ. СЮДА БРОШЕНЫ ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ «АЛАРМ-ЧАСТИ», СФОРМИРОВАННЫЕ ИЗ ЛЕТЧИКОВ, МОРЯКОВ, ГИТЛЕРОВСКОЙ МОЛОДЕЖИ, «ФОЛЬКСШТУРМА». БОИ С КАЖДЫМ ДНЕМ ПРИНИМАЮТ ВСЕ БОЛЕЕ ОЖЕСТОЧЕННЫЙ ХАРАКТЕР.

Я ВИДЕЛ ВОЗЗВАНИЕ ГУДЕРИАНА, АДРЕСОВАННОЕ СОЛДАТАМ ВОСТОЧНОГО ФРОНТА. ТАМ ЕСТЬ ТАКИЕ ФРАЗЫ:

«ВТОРУЮ НЕДЕЛЮ МЫ ВЕДЕМ ТЯЖЕЛУЮ БОРЬБУ С ПРОДВИГАЮЩИМСЯ ВПЕРЕД ПРОТИВНИКОМ... СОВЕТЫ ДУМАЮТ, ЧТО МОЖНО ПОБЕДИТЬ ДЕРЗОСТЬЮ... НЕ ДАЙТЕ ОБМАНУТЬ СЕБЯ ПОТЕРЕЙ ТЕРРИТОРИИ!.. НАТИСК БОЛЬШЕВИКОВ НЕОБХОДИМО ОСТАНОВИТЬ! В РУКИ ВРАГА НЕ ПОПАЛИ ЦЕЛЫЕ НАШИ ДИВИЗИИ И КОРПУСА. НАШИ СОЕДИНЕНИЯ НА СРЕДНЕМ УЧАСТКЕ ВИСЛИНСКОГО ФРОНТА ДВИНУТСЯ НА ЗАПАД КАК «БЛУЖДАЮЩИЕ КОТЛЫ» К НОВЫМ ЗАРАНЕЕ ПОДГОТОВЛЕННЫМ РУБЕЖАМ... У КОМАНДОВАНИЯ ЕСТЬ СВОЙ ЯСНЫЙ ПЛАН... ВСЯ ГЕРМАНИЯ СМОТРИТ НА ВАС, СОЛДАТЫ!..»

НЕМЕЦКИЕ ГЕНЕРАЛЫ НЕ ОГРАНИЧИВАЮТСЯ ВОЗЗВАНИЯМИ К СОЛДАТАМ. НА МОСТУ ЧЕРЕЗ РЕКУ ОДЕР У ДЕРЕВНИ НИДЕЛЬКРЕНИГ НАШИ РАЗВЕДЧИКИ УВИДЕЛИ

ШЕСТЬ ВИСЕЛИЦ. НА ВИСЕЛИЦАХ — НЕМЕЦКИЕ СОЛДАТЫ. НА ГРУДИ У ПОВЕШЕННЫХ ТАБЛИЧКИ: «ТАК БУДЕТ С КАЖДЫМ, КТО ОТСТУПИТ БЕЗ ПРИКАЗА».

ПЕРЕДАЮ ДЛЯ ЮНАЙТЕД ПРЕСС

СЕГОДНЯ В ПЯТЬ ЧАСОВ УТРА ВОЙСКА МАРШАЛА ЖУКОВА НАЧАЛИ НАСТУПЛЕНИЕ НА БЕРЛИНСКОМ НАПРАВЛЕНИИ.

ЭТОМУ НАСТУПЛЕНИЮ ПРЕДШЕСТВОВАЛА СЕРЬЕЗНАЯ ПОДГОТОВКА. ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДНИ Я БЫЛ СВИДЕТЕЛЕМ, КАК БОЛЬШИЕ МАССЫ ВОИНСКОЙ ТЕХНИКИ ДВИГАЛИСЬ ПО ДОРОГАМ, ВЕДУЩИМ К БЕРЕГАМ ОДЕРА. В РАЙОНЕ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО УДАРА БЫЛИ СОСРЕДОТОЧЕНЫ МНОГИЕ СОТНИ ТЯЖЕЛЫХ ТАНКОВ И ОГРОМНЕЙШЕЕ КОЛИЧЕСТВО АРТИЛЛЕРИИ.

ПЕРЕД ФРОНТОМ НАШИХ ВОЙСК НЕМЦЫ СОСРЕДОТОЧИЛИ МНОЖЕСТВО ОТБОРНЫХ СТРЕЛКОВЫХ И ТАНКОВЫХ ДИВИЗИЙ, ПРИКРЫВАЮЩИХ СТОЛИЦУ ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ.

ЭТИ СТРОКИ Я ПИШУ НА ПЛАЦДАРМЕ ЗА ОДЕРОМ. ОРУДИЙНЫЙ ОГОНЬ НЕВИДАННОЙ СИЛЫ ОБРУШИЛСЯ СЕГОДНЯ НА РАССВЕТЕ НА ПЕРЕДНИЙ КРАЙ НЕМЦЕВ, СОТНИ САМОЛЕТОВ ЕЩЕ СО ВЧЕРАШНЕГО ВЕЧЕРА БЕСПРЕРЫВНО БОМБЯТ ЕГО.

СЕЙЧАС ДВА ЧАСА ДНЯ. БОЙ НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ РАЗГОРАЕТСЯ С ВОЗРАСТАЮЩИМ ОЖЕСТОЧЕНИЕМ. Я УЖЕ ВИДЕЛ ГРУППЫ НЕМЕЦКИХ ПЛЕННЫХ СОЛДАТ И ОФИЦЕРОВ, ОТПРАВЛЯЕМЫХ В ТЫЛ. Я БЕСЕДОВАЛ С НЕКОТОРЫМИ ИЗ НИХ. ВСЕ ОНИ ГОВОРЯТ О СВИРЕПЫХ ПРИКАЗАХ СВОИХ КОМАНДИРОВ СРАЖАТЬСЯ ДО ПОСЛЕДНЕЙ ВОЗМОЖНОСТИ, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДОПУСТИТЬ ПРОРЫВА РУССКИХ К ОКРАИНАМ БЕРЛИНА. ОДНАКО УЖЕ НАЧИНАЮТ ПОСТУПАТЬ ДОНЕСЕНИЯ С ПЕРЕДНЕГО КРАЯ, ГОВОРЯЩИЕ О ТОМ, ЧТО ВО МНОГИХ МЕСТАХ НЕМЕЦКАЯ ОБОРОНА ТРЕЩИТ. СЕЙЧАС, К ДВУМ ЧАСАМ ДНЯ ЕЩЕ РАНО ГОВОРИТЬ О ТОМ, ЧТО НЕМЕЦКИЙ ФРОНТ ПРОРВАН, НО, БЫТЬ МОЖЕТ, НЕ ЧАСЫ, А МИНУТЫ ОТДЕЛЯЮТ НАС ОТ МОМЕНТА, КОГДА МАССЫ БРОНИРОВАННЫХ МАШИН БУДУТ БРОШЕНЫ В ПРОРЫВ.

ВСЕ БОЙЦЫ И ОФИЦЕРЫ, ИДУЩИЕ СЕГОДНЯ В ЭТОТ ПОСЛЕДНИЙ ТРУДНЫЙ БОЙ, ЗНАЮТ, ЧТО ВОЙСКА СОЮЗНИКОВ УЖЕ НАХОДЯТСЯ НА ПУТИ К БЕРЛИНУ, ЗАВЕРШАЯ СВОЙ БЕСКРОВНЫЙ МАРШ ПО ДОРОГАМ ГЕРМАНИИ. Я БЕСЕ-

ДОВАЛ С СОЛДАТОМ, НА ГРУДИ КОТОРОГО МЕДАЛЬ СТАЛИНА-ГРАДА.

— НЕ ЗАВИДУЮ НАШИМ СОЮЗНИКАМ,— СКАЗАЛ ВАСИЛИЙ ПРОКУДИН, РЯДОВОЙ БОЕЦ, СКРОМНЫЙ ГЕРОЙ, ПРОШЕДШИЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЙ ПУТЬ ЭТОЙ САМОЙ СТРАШНОЙ ИЗ ВОЙН.— Я БЫ НЕ ХОТЕЛ ПРОМАРШИРОВАТЬ БЕЗ ВЫСТРЕЛА ПОСЛЕДНИЕ КИЛОМЕТРЫ К СТОЛИЦЕ ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ. Я ХОЧУ ПРИЙТИ В БЕРЛИН ПОД ГРОХОТ НАШИХ ОРУДИЙ И ВОДРУЗИТЬ НА ПЕРВОЙ КРЫШЕ ВОТ ЭТОТ МОЙ ФЛАГ ПОБЕДЫ,— ОН ВЫНУЛ ИЗ КАРМАНА АККУРАТНО СЛОЖЕННЫЙ КРАСНЫЙ ФЛАГ.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ
МАЙОР Р. КАРМЕН.

Пригород Берлина Линденберг. 21 апреля, 13 часов. Запись из дневника: *«Вчера, двадцатого, в семьнадцать тридцать я был на восточной окраине Бернау — пригорода Берлина. За ночь Бернау был окончательно очищен от фашистов, и наши танки получили задачу наступать непосредственно на Берлин. Утром сегодня дождь, туман, авиация не работала. Танкисты генерала Кривошеина, воодушевленные близостью заветной цели, устремились вперед. Вместе с танковыми колоннами я продвигаюсь на «виллисе» в сторону северо-западных окраин Берлина. Утром сегодня маршал Жуков в радиোগрамме сказал, что он надеется, что славные танкисты ворвутся в кратчайший срок в Берлин и водрузят над столицей фашистской Германии знамя Победы. Мы едем по дороге, на которой горят немецкие танки и самоходные орудия, валяются сотни трупов немцев. На каждом шагу тяжелые баррикады, которые саперам, продвигающимся на танковой броне, приходилось под огнем врага взламывать. Все дороги и поля густо минированы.*

Полчаса тому назад я был на батарее тяжелых стомиллиметровых орудий полковника Грекова. Они в двенадцать тридцать открыли огонь по центру Берлина из района Ейрхцоль. Огонь открыт по мостам через Шпрее и по территориям Штеттинского, Северного и Петтерского вокзалов.

В двенадцать тридцать мне сообщили, что передовой отряд танков бригады полковника Е. Вайнруба прорвался на северо-восточную окраину Берлина в районе Вейсен-зее».

ЭТУ КОРРЕСПОНДЕНЦИЮ Я ПИШУ В ТАНКЕ Т-34, КОТОРЫМ МНЕ ПРЕДОСТАВИЛО КОМАНДОВАНИЕ, ЧТОБЫ ДАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОБЫВАТЬ В ЗАНЯТОМ НАШИМИ ВОЙСКАМИ РАЙОНЕ БЕРЛИНА И СНЯТЬ КАДРЫ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ. ЧЕРЕЗ ПРИГОРОДЫ БЛАНКЕНБУРГ И МАЛЬХОВ Я ВЫЕХАЛ В РАЙОН ВЕЙСЕНЗЕЕ НА БЕРЛИНСКИЕ УЛИЦЫ, ОЧИЩЕННЫЕ ОТ ПРОТИВНИКА. ПО УЛИЦАМ РОЛЬКЕНШТРАССЕ, МЕЛЬХОВЕРШТРАССЕ, КЮСЛЕРШТРАССЕ И БЕРЛИНЕРАЛЛЕЕ БЕСПРЕРЫВНО БЬЮТ ТЯЖЕЛАЯ АРТИЛЛЕРИЯ И МИНОМЕТЫ ПРОТИВНИКА. БОЛЬШИНСТВО НАСЕЛЕНИЯ ПОКИНУЛО ЭТУ ЧАСТЬ ГОРОДА, ОДНАКО МНОГО НЕМЦЕВ ОСТАЛОСЬ В СВОИХ ДОМАХ, НЕСМОТРЯ НА АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ОГОНЬ. НАВСТРЕЧУ НАМ БРЕДУТ ГРУППЫ ПЛЕННЫХ ФОЛКСШТУРМОВЦЕВ, НИКЕМ НЕ КОНВОИРУЕМЫХ.

ЧЕМ ДАЛЬШЕ К ЦЕНТРУ ГОРОДА, ТЕМ ОЖЕСТОЧЕННЕЕ СТАНОВИТСЯ БОЙ. НАШИ ШТУРМОВЫЕ ОТРЯДЫ, СФОРМИРОВАННЫЕ ИЗ ТАНКОВ, САПЕРОВ, АВТОМАТЧИКОВ, ПРОТИВОТАНКОВЫХ ПУШЕК И ТЯЖЕЛЫХ САМОХОДОК, ИДУЩИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ УЛИЦАМИ К ЦЕНТРУ ГОРОДА, ШТУРМУЮТ КАЖДЫЙ ДОМ, ПОДВАЛ, ЧЕРДАК, ПРЕВРАЩЕННЫЕ НЕМЦАМИ В КРЕПОСТИ ОБОРОНЫ. БАРРИКАДЫ СООРУЖЕНЫ НА МНОГИХ ПЕРЕКРЕСТКАХ ИЗ БРЕВЕН, ИЗ РАЗВАЛИН ДОМОВ. СИЛЬНАЯ КАПОНАДА ДОНОСИТСЯ С ВОСТОЧНЫХ И ЮЖНЫХ ОКРАИН. БЕРЛИН ОКРУЖЕН С ТРЕХ СТОРОН, И ЭТО КОЛЬЦО НЕУМОЛИМО СЖИМАЕТСЯ С КАЖДЫМ ЧАСОМ.

ТОЛЬКО ЧТО Я ПОЗНАКОМИЛСЯ С ТРЕМЯ МОЛОДЫМИ ТАНКИСТАМИ. СООБЩАЮ ИХ ФАМИЛИИ: ГВАРДИИ МЛАДШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ КИРИЛЛОВ, ГВАРДИИ СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ЛЕОНОВ И ГВАРДИИ КАПИТАН ЮРКЕВИЧ. КОМАНДИР БРИГАДЫ — ПОЛКОВНИК ВАЙНРУБ ПОСЛАЛ ИХ В БОЕВУЮ РАЗВЕДКУ, И ОНИ ПЕРВЫМИ ВОРВАЛИСЬ НА СВОИХ ТАНКАХ В БЕРЛИН.

МОЛНИЯ. МОСКВА, РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ИЗВЕСТИЯ». БАКАНОВУ

МЫ ЕДЕМ ПО ДОРОГЕ, ВЕДУЩЕЙ В БЕРЛИН ЧЕРЕЗ ПРИГОРОД МАЛЬХОВ. ОН ПОХОЖ НА БОЛЬШОЕ СЕЛО, РАСТЯНУВШЕЕСЯ БОЛЕЕ ЧЕМ НА КИЛОМЕТР. НЕСКОЛЬКО МАССИВНЫХ БАРРИКАД ИЗ БРЕВЕН И ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ПРЕГРАЖДАЛИ ПУТЬ НАШИМ ТАНКАМ. У БАРРИКАД ТРУПЫ ГИТЛЕРОВЦЕВ, ВАЛЯЕТСЯ МНОЖЕСТВО ФАУСТОВ¹, ЧЕРНЫЙ

¹ Фауст-патронов.

ДЫМ ВАЛИТ ИЗ ДОГОРАЮЩЕЙ «НАНТЕРЫ». НАВСТРЕЧУ НАМ ИДУТ ТОЛПЫ ЛЮДЕЙ С УЗЛАМИ, ТЕЛЕЖКАМИ. ОНИ РАДОСТНО ПРИВЕТСТВУЮТ КАЖДУЮ МАШИНУ, КАЖДЫЙ ТАНК. ПРИВЕТСТВИЯ ЗВУЧАТ НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ. ЭТО РАБОЧИЕ БЕРЛИНСКИХ ЗАВОДОВ, СОГНАННЫЕ ГИТЛЕРОВЦАМИ СО ВСЕЙ ЕВРОПЫ. ИДЕТ МНОГО НЕМЕЦКИХ СЕМЕЙ, ОНИ ПОКИДАЮТ ГОРОД, ЧТОБЫ ПЕРЕЖДАТЬ УЛИЧНЫЕ БОИ. НЕМЕЦКАЯ АРТИЛЛЕРИЯ БЬЕТ ПО МАЛЬХОВУ. ПРИ КАЖДОМ РАЗРЫВЕ ЛЮДИ ЛОЖАТСЯ НА ЗЕМЛЮ, ПОТОМ ОПЯТЬ ТОРОПЛИВО ШАГАЮТ.

СНОВА ШОССЕ. НО ВОТ ПОКАЗАЛИСЬ ФАБРИЧНЫЕ ТРУБЫ, ДОМА. МЫ ВЫСКАКИВАЕМ ИЗ «ВИЛЛИСА». ПЕРЕД НАМИ, СПРАВА ОТ ДОРОГИ, ЖЕЛТЫЙ, ПРОБИТЫЙ ПУЛЯМИ ЩИТ... ЧЕТЫРЕ ГОДА ИДЯ ПО ДОРОГАМ ВОЙНЫ, ВЕРИЛИ МЫ, ЧТО УВИДИМ ЭТОТ ЩИТ С НАДПИСЬЮ «БЕРЛИН». ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ГОРДОСТИ НАШЕЙ НАСТУПИЛ. И ДОЛГО ХОТЕЛОСЬ ПРОСТОЯТЬ ЗДЕСЬ, У ВОРОТ БЕРЛИНА, ГЛЯДЯ НА ЭТИ ЧЕРНЫЕ БУКВЫ ОБЫКНОВЕННОГО ДОРОЖНОГО ЗНАКА...

ЧЕРНЫЙ ДЫМ СТЕЛЕТСЯ НАД ОКРАИНАМИ БЕРЛИНА. ГРЕМЯТ ЗАЛПЫ ОРУДИЙ, ВПЕРЕДИ СТУЧАТ ПУЛЕМЕТНЫЕ ОЧЕРЕДИ. МЫ ВЪЕЗЖАЕМ НА ШИРОКУЮ УЛИЦУ БЕРЛИНЕР-АЛЛЕЕ. ОНА ПУСТЫННА. ВДОЛЬ ФАСАДОВ ИДЕТ ПЕХОТА. ЕЖЕМИНУТНО ТО ТУТ, ТО ТАМ ГРОХАЮТ РАЗРЫВЫ НЕМЕЦКИХ СНАРЯДОВ. НО ПУСТОТА ЭТОЙ УЛИЦЫ ТОЛЬКО КАЖУЩАЯСЯ. ЗАХОДИМ ВО ДВОР. НАС МГНОВЕННО ОБСТУПАЕТ БОЛЬШАЯ ГРУППА НЕМЦЕВ, НЕМОК. ОНИ ПРИГЛАШАЮТ ЗАЙТИ В КВАРТИРУ ПОЕСТЬ. ЖЕНЩИНА ПРЕДЛАГАЕТ НАМ БУТЫЛКУ С МОЛОКОМ. И ВСЕ НАПЕРЕБОЙ ГОВОРЯТ, ЧТО РАДЫ ПРИХОДУ КРАСНОЙ АРМИИ, ЧТО ЖДАЛИ НАС С НЕТЕРПЕНИЕМ КАК ИЗБАВИТЕЛЕЙ ОТ ГОЛОДА И ЛИШЕНИЙ, ОТ ТЕРРОРА ГЕСТАПО, ОТ БЕСКОНЕЧНЫХ БОМБЕЖЕК. ОНИ ПРИГЛАШАЮТ НАС В БОМБОУБЕЖИЩЕ.

МЫ СПУСКАЕМСЯ, И ПЕРЕД НАМИ РАСКРЫВАЕТСЯ ВО ВСЕЙ СВОЕЙ ТРАГИЧНОСТИ БЫТ ЖИТЕЛЕЙ БЕРЛИНА. ТЕСНЫЙ БЕТОННЫЙ ПОДВАЛ ЗАБИТ МАТРАЦАМИ. ПРИ ТУСКЛОМ СВЕТЕ СВЕЧИ ВОСКОВЫМИ КАЖУТСЯ ХУДЫЕ, ИЗМОЖДЕННЫЕ ЛИЦА ДЕТЕЙ. И ВЗРОСЛЫЕ ВЫГЛЯДЯТ МЕРТВЕЦАМИ В ЭТОМ ПОДВАЛЕ. В СВОЕ ВРЕМЯ ОНИ ВЕРИЛИ ВСЕМ ОБЕЩАНИЯМ ФЮРЕРА, СМОТРЕЛИ В КИНОХРОНИКЕ НА ВИНОГРАДНИКИ КРЫМА, ПОЛЯ КУБАНИ, САДЫ УКРАИНЫ. МОЛЧА ПРИНОСИЛИ В ЖЕРТВУ ПРИЗРАЧНОМУ БУДУЩЕМУ СВОИХ СЫНОВЕЙ, МУЖЕЙ, БЕЗВОЗВРАТНО УХОДИВШИХ НА ВОСТОК. ИХ ПОСТЕПЕННО ОТРЕЗВЛЯЛИ МОГУЧНИЕ УДАРЫ КРАСНОЙ АРМИИ. ИМ ПЕРЕСТАЛИ ДАВАТЬ

ХЛЕБ. ОНИ СТАЛИ ЖДАТЬ КОНЦА. И НЕСМОТРЯ НА ДОЛГОЕ ПРИСТАЛЬНОЕ ОЖИДАНИЕ, НАШИ ТАНКИ НА УЛИЦАХ БЕРЛИНА БЫЛИ ДЛЯ НИХ НЕОЖИДАННОСТЬЮ.

ТУТ ЖЕ В ПОДВАЛЕ МНЕ БЫЛ ПОКАЗАН ВЧЕРАШНИЙ ВЕЧЕРНИЙ НОМЕР «АНГРИФФ». ВО ВСЕЙ ГАЗЕТЕ НИ СЛОВА О ТОМ, ЧТО СОВЕТСКИЕ ВОЙСКА ПОДХОДЯТ К БЕРЛИНУ. ПЕРЕДОВАЯ ДОКТОРА ЛЕЯ, ПРИЗЫВАЮЩЕГО ВСЕХ НЕМЦЕВ К ОБОРОНЕ ГОСУДАРСТВА, К ЗАЩИТЕ БЕРЛИНА. ОТ КОГО ЗАЩИЩАТЬ БЕРЛИН И КАК СКОРО ЭТО ПОНАДОБИТСЯ, ДОКТОР НЕ ОБМОЛВИЛСЯ НИ СЛОВОМ. НО КОГДА БЕРЛИНЦЫ ЧИТАЛИ ЭТОТ ЛИСТОК, СОВЕТСКИЕ ОРУДИЯ УЖЕ БИЛИ ПО РЕЙХСТАГУ, А ТАНКИ НАШИ БЫЛИ В ПРИГОРОДЕ ВЕЙСЕНЗЕЕ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ. 23.4.45.

МОСКВА, РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ИЗВЕСТИЯ». БАКАНОВУ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ

НОЧЬ Я ПРОВЕЛ НА УЛИЦЕ РЕННБАНШТРАССЕ, ГДЕ В ПОДВАЛЕ ОДНОГО ИЗ ДОМОВ РАЗМЕСТИЛСЯ ШТАБ ТАПЧОВОГО СОЕДИНЕНИЯ ГЕНЕРАЛА КРИВОШЕИНА. НИКТО В ЭТУ НОЧЬ НЕ СПАЛ. ОЧЕВИДНО, ОТ ОДНОЙ МЫСЛИ, ЧТО ЭТО ПЕРВАЯ НАША НОЧЬ, ПРОВЕДЕННАЯ В БЕРЛИНЕ...

СИЛА НАШЕГО НАТИСКА В ЭТИХ УЛИЧНЫХ БОЯХ ОГРОМНА. ОНА ВОЗРАСТАЕТ С КАЖДЫМ ЧАСОМ. ВОТ СООБЩАЮТ:

— ТЯЖЕЛАЯ БАРРИКАДА НА РЕЛЬКЕШТРАССЕ ВЗЯТА. ДВИГАЕМСЯ ДАЛЬШЕ...

— ДОМ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ГЕТЕШТРАССЕ И ЛАНГХАНЕШТРАССЕ В НАШИХ РУКАХ, И СОКОЛОВ ПЕРЕНОСИТ ТУДА СВОЙ ИП...

— ДАЙТЕ АРТОГОНЬ ПО СКВЕРУ ОСТЗЕЕПЛАЦ, ТАМ ПЕХОТА С ДВУМЯ САМОХОДКАМИ МЕШАЕТ НАШЕМУ ПРОДВИЖЕНИЮ....

Я ПОДНЯЛСЯ НА КРЫШУ ДОМА, ЧТОБЫ ВЗГЛЯНУТЬ ОТТУДА НА БЕРЛИН. В ЛЕГКОЙ МОЛОЧНОЙ ДЫМКЕ, ОЗАРЕННОЙ ЛУНЫМ СВЕТОМ, СМУТНО ВЫРИСОВЫВАЕТСЯ ДАЛЕКАЯ ПЕРСПЕКТИВА ОГРОМНОГО ГОРОДА. ЯРКИМИ ЗАРНИЦАМИ ВСПЫХИВАЮТ В НЕБЕ ОТБЛЕСКИ ОРУДИЙНЫХ ЗАЛПОВ. НЕСКОЛЬКО ОЧАГОВ ПОЖАРОВ РОЗОВЫМ ЗАРЕВОМ ПОЛЫХАЮТ В НОЧЬ, КОТОРАЯ ВОЙДЕТ НЕИЗГЛАДИМОЙ СТРАНИЦЕЙ В ИСТОРИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.

23.4.45.

В ту ночь генерал-лейтенант танковых войск Семен Кривошеин, оторвавшись от карты города, раздумчиво сказал мне:

— Пройдемся. Выйдем на воздух.

Мы выбрались из подвала и медленно пошли по улице. На углу он осветил фонарем табличку «Берлинераллее». Гвардейский танковый корпус, которым командовал генерал Кривошеин, первым ворвался в Берлин. Генерал немногословен. Прочитав название улицы, он спросил только:

— Помнишь Мадрид?

— Помню,— ответил я.

В одну из ноябрьских ночей 1936 года в осажденном Мадриде, когда фашисты подошли к самым его стенам и жестокие бои шли в Каса дель Кампо и в Карабанчело, я вышел из здания военного министерства на улице Гранвиа. В ночном небе гудели немецкие «юнкеры», где-то в соседнем квартале рвались бомбы, город был погружен в темноту.

В ворота въехала машина. Из нее вышел военный. Мигнув фонариком, я узнал его. Это был Семен Кривошеин — полковник, танкист. В Испании его звали коломел Нелле. Кривошеин со своими танками дрался в Каса дель Кампо. Советские танкисты стояли насмерть у ворот революционного Мадрида.

Как радостно было в ту тревожную ночь встретить близкого человека!..

— Как дела? — спросил я.

— Держимся,— ответил Семен.

Ты не был одинок тогда, истекавший кровью Мадрид. Многие отвернулись от тебя в те страшные дни. Джентльмены из Лондона хотели задушить Испанию кольцом блокады. Но советские люди были с тобой, Испания! В Каса дель Кампо они начали штурм Берлина.

...Молча шли мы вдоль Берлинераллее, медленно обходя трупы немецких солдат, обломки повозок, штабели снарядов в соломенных корзинках...

Я взглянул на генерала. А ведь он несколько не изменился с тех пор! Только виски заиндевели. Восемь с половиной лет... Июнь сорок первого года, потом Воронеж, Волга, Дон, Днепр, Висла, Одер и... Берлин.

Вот мы и пришли в Берлин, завершая долгий путь сражений, начатый у стен Мадрида...

ПЕРЕДАЮ ВОСЬМУЮ ТЕЛЕГРАММУ ДЛЯ ЮНАЙТЕД ПРЕСС

СЕЙЧАС УЖЕ МОЖНО КОНСТАТИРОВАТЬ, ЧТО ЧАСТИ КРАСНОЙ АРМИИ ЗАВЕРШИЛИ ОПЕРАТИВНОЕ ОКРУЖЕНИЕ БЕРЛИНА. БЕРЛИНСКИЙ ГАРНИЗОН ОТРЕЗАН ОТ ГЛАВНЫХ ГРУПП ГЕРМАНСКИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ В РАЙОНЕ МЮНХЕНА И МЕЖДУ ШТЕТТИНОМ И ГАМБУРГОМ. НАШИ ТАНКИ УСТРЕМИЛИСЬ НА ЗАПАД И, ЛОМАЯ СОПРОТИВЛЕНИЕ ФАШИСТОВ, ПРОРВАЛИСЬ К ГОРОДУ ПЛАУЭН, КОТОРЫЙ ЗАНЯЛИ СЕГОДНЯ НА РАССВЕТЕ. ТАНКИСТЫ, НАСТУПАЮЩИЕ В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ, С ЧАСА НА ЧАС ОЖИДАЮТ ВОЗМОЖНОЙ ВСТРЕЧИ С СОЮЗНЫМИ ВОЙСКАМИ. ВСЕ СОВЕТСКИЕ ТАНКИ, ПРОДВИГАЮЩИЕСЯ НАВСТРЕЧУ СОЮЗНИКАМ, ИМЕЮТ НА БАШНЯХ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ, ИЗВЕСТНЫЕ СОЮЗНИКАМ. ПО ИМЕЮЩИМСЯ СВЕДЕНИЯМ, СОЮЗНЫЕ ВОЙСКА НАХОДЯТСЯ ПРИМЕРНО В 25—30 КИЛОМЕТРАХ ЗАПАДНЕЕ ПЛАУЭНА.

ПРОДВИЖЕНИЕ НАШИХ ВОЙСК ПО УЛИЦАМ БЕРЛИНА СВЯЗАНО С БОЛЬШИМИ ТРУДНОСТЯМИ... ЧЕМ БЛИЖЕ К ЦЕНТРУ БЕРЛИНА, ТЕМ ОЖЕСТОЧЕННЕЕ СТАНОВИТСЯ СОПРОТИВЛЕНИЕ ВРАГА. ОБОРОНОЙ БЕРЛИНА, ПО ИМЕЮЩИМСЯ СВЕДЕНИЯМ, РУКОВОДИТ ЛИЧНО ГИТЛЕР. ОСОБЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ИМЕЮТ ПРИ ГИТЛЕРЕ ГИММЛЕР И ГЕББЕЛЬС. РЕЗИДЕНЦИЕЙ ГИТЛЕРА СЧИТАЮТ ЗАМОК В ТИРГАРТЕНЕ. В ГЛУБОКИХ ПОДВАЛАХ ЭТОГО ЗАМКА, ПО-ВИДИМОМУ, НАХОДИТСЯ ШТАБ ГИТЛЕРА.

...НА ВСЕХ СТЕНАХ ДОМОВ, НА ВСЕХ ЗАБОРАХ ЖИРНОЙ КРАСКОЙ НАПИСАНЫ ЛОЗУНГИ ГЕББЕЛЬСА, ПРИЗЫВАЮЩИЕ К ОБОРОНЕ БЕРЛИНА: «ОСТАНОВИМ КРАСНЫЕ ОРДЫ», «НЕ ПУСТИМ БОЛЬШЕВИКОВ В БЕРЛИН», «БЕРЛИН ОСТАНЕТСЯ НЕМЕЦКИМ». ЭТИ ЛОЗУНГИ ВЫЗЫВАЮТ УЛЫБКУ НАШИХ СОЛДАТ, ПРОХОДЯЩИХ ПО УЛИЦАМ БЕРЛИНА.

Впоследствии мы узнали, что резиденцией Гитлера был не замок в Тиргартене, а подземный бункер Рейхсканцелярии. Узнали мы и о Гиммлере — его не было в Берлине в эти последние дни, он вскоре был схвачен в британской зоне и при аресте отравился цианистым калием.

МОЛНИЯ. МОСКВА, ЛЕОНТЬЕВСКИЙ ПЕРЕУЛОК, 10. СОВИНФОРМБЮРО. ЛОЗОВСКОМУ, БАЛАШОВУ. ПЕРЕДАЮ ДЛЯ ЮНАЙТЕД ПРЕСС

ОДНИМ ИЗ САМЫХ ТЯЖЕЛЫХ ЭТАПОВ БОРЬБЫ ЗА БЕРЛИН БЫЛИ БОИ ПО ФОРСИРОВАНИЮ КАНАЛА БЕРЛИН-ШПАНДАУЭРШИФАРТС. ВЧЕРА ОН БЫЛ ФОРСИРОВАН, И

СЕГОДНЯ ТАНКИ ГЕНЕРАЛА БОГДАНОВА ПОДОШЛИ К РЕКЕ ШПРЕЕ. МЕЖДУ КАНАЛОМ И ШПРЕЕ РАСПОЛОЖЕНЫ РАСКИНУВШИЕСЯ НА БОЛЬШОЙ ПЛОЩАДИ ПРЕДПРИЯТИЯ «СИМЕНСВЕРКЕ» — ПЯТЬДЕСЯТ ПРОЦЕНТОВ ВСЕЙ ЭЛЕКТРОПРОМЫШЛЕННОСТИ ГЕРМАНИИ. СЕГОДНЯ Я ИХ ОСМАТРИВАЛ. ЭТУ КОРРЕСПОНДЕНЦИЮ Я ПИШУ В ОДНОМ ИЗ ДОМОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА СИМЕНСШТАДТ. МЕНЯ ЗАИНТЕРЕСОВАЛ ТЕЛЕФОН, СТОЯЩИЙ НА СТОЛЕ В ОДНОЙ ИЗ КВАРТИР ЭТОГО ПОСЕЛКА. ВЕДЬ ОТСЮДА ПРЯМАЯ СВЯЗЬ С ЦЕНТРОМ БЕРЛИНА. У МЕНЯ ВОЗНИКЛА МЫСЛЬ, КОТОРОЙ Я ПОДЕЛИЛСЯ С МОИМИ ТОВАРИЩАМИ — ОФИЦЕРАМИ-ТАНКИСТАМИ.

— ДАВАЙТЕ,— СКАЗАЛ Я ИМ,— ПОПРОБУЕМ ВЫЗВАТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ ГЕББЕЛЬСА.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ БЫЛО ВСТРЕЧЕНО ВЕСЕЛЫМ ОДОБРЕНИЕМ, И ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ЭТОГО ПЛАНА ВЗЯЛСЯ МОЛОДОЙ НАШ ПЕРЕВОДЧИК, ПРЕКРАСНО ВЛАДЕЮЩИЙ НЕМЕЦКИМ ЯЗЫКОМ, ВИКТОР БОЕВ. ПО КАК ДОБИТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ ГЕББЕЛЬСА? МЫ НАБРАЛИ НОМЕР БЕРЛИНСКОГО «ШПЕЛ-ЛЕРБЮРО». ОТВЕТИВШЕЙ СОТРУДНИЦЕ СКАЗАНО БЫЛО, ЧТО ПО ВЕСЬМА СРОЧНОМУ И ВЕСЬМА ВАЖНОМУ ДЕЛУ НЕОБХОДИМО СОЕДИНИТЬСЯ С ДОКТОРОМ ГЕББЕЛЬСОМ.

— КТО ПРОСИТ? — СПРОСИЛА ОНА.

— ЖИТЕЛЬ БЕРЛИНА.

— ПОДОЖДИТЕ У ТЕЛЕФОНА,— СКАЗАЛА ОНА,— Я ЗАПИШУ.

МИНУТ ПЯТНАДЦАТЬ МЫ ОЖИДАЛИ, ВСЛЕД ЗА ТЕМ СНОВА ГОЛОС СОТРУДНИЦЫ СООБЩИЛ НАМ, ЧТО СЕЙЧАС НАС СОЕДИНЯТ С КАБИНЕТОМ РЕЙХСМИНИСТРА ПРОПАГАНДЫ ДОКТОРА ГЕББЕЛЬСА. ОТВЕТИВШИЙ МУЖСКОЙ ГОЛОС СНОВА СПРОСИЛ, КТО СПРАШИВАЕТ ГЕББЕЛЬСА. НА ЭТОТ РАЗ ВИКТОР БОЕВ СКАЗАЛ:

— ЕГО СПРАШИВАЕТ РУССКИЙ ОФИЦЕР, А КТО У ТЕЛЕФОНА?

— СОЕДИНЯЮ ВАС С ДОКТОРОМ ГЕББЕЛЬСОМ,— ОТВЕТИЛ ПОСЛЕ ПАУЗЫ ГОЛОС.

ЩЕЛКНУЛ ТЕЛЕФОН, И НОВЫЙ, МУЖСКОЙ ГОЛОС ПРОИЗНЕС:

— АЛЛО.

ДАЛЬНЕЙШИЙ РАЗГОВОР ПЕРЕДАЮ СТЕНОГРАФИЧЕСКИ. ПЕРЕВОДЧИК ВИКТОР БОЕВ. КТО У ТЕЛЕФОНА?

ОТВЕТ. ИМПЕРСКИЙ МИНИСТР ПРОПАГАНДЫ ДОКТОР ГЕББЕЛЬС.

БОЕВ. С ВАМИ ГОВОРIT РУССКИЙ ОФИЦЕР. Я ХОТЕЛ БЫ ЗАДАТЬ ВАМ ПАРУ ВОПРОСОВ.

ГЕББЕЛЬС. ПОЖАЛУЙСТА.

БОЕВ. КАК ДОЛГО ВЫ МОЖЕТЕ И НАМЕРЕНЫ ДРАТЬСЯ ЗА БЕРЛИН?

ГЕББЕЛЬС. НЕСКОЛЬКО... (ПЕРАЗБОРЧИВО).

БОЕВ. ЧТО, НЕСКОЛЬКО НЕДЕЛЬ?!

ГЕББЕЛЬС. О НЕТ, МЕСЯЦЕВ!

БОЕВ. ЕЩЕ ОДИН ВОПРОС — КОГДА И В КАКОМ НАПРАВЛЕНИИ ВЫ ДУМАЕТЕ БЕЖАТЬ ИЗ БЕРЛИНА?

ГЕББЕЛЬС. ЭТОТ ВОПРОС Я СЧИТАЮ ДЕРЗКИМ И НЕУМЕСТНЫМ.

БОЕВ. ИМЕЙТЕ В ВИДУ, ГОСПОДИН ГЕББЕЛЬС, ЧТО ВАС НАЙДЕМ ВСЮДУ, КУДА БЫ ВЫ НИ УБЕЖАЛИ, А ВИСЕЛИЦА ДЛЯ ВАС УЖЕ ПРИГОТОВЛЕНА.

В ОТВЕТ В ТЕЛЕФОНЕ РАЗДАЛОСЬ НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ МЫЧАНИЕ.

БОЕВ. У ВАС ЕСТЬ КО МНЕ ВОПРОСЫ?

— НЕТ,— ОТВЕТИЛ ДОКТОР ГЕББЕЛЬС СЕРДИТЫМ ГОЛОСОМ И ПОЛОЖИЛ ТРУБКУ.

СЛУХ ОБ ЭТОМ ВЕСЕЛОМ РАЗГОВОРЕ БЫСТРО РАЗНЕССЯ СРЕДИ ТАНКИСТОВ. БОЕВУ ПРИШЛОСЬ ДЕСЯТКИ РАЗ ПОВТОРЯТЬ СВОЙ РАССКАЗ О ТОМ, КАК ОН ПО ДУШАМ ПОБЕСЕДОВАЛ С КОМИССАРОМ ОБОРОНЫ БЕРЛИНА.

— НУ, А МЫ УЖЕ ПОСТАРАЕМСЯ, КАК МОЖНО СКОРЕЕ ПОГОВОРИТЬ С ГЕББЕЛЬСОМ НЕ ПО ТЕЛЕФОНУ, А ЛИЧНО,— СКАЗАЛ ОДИН ИЗ ТАНКИСТОВ, УСАЖИВАЯСЬ В ТАНК.

Сейчас, по прошествии многих лет, вспоминаю, как возникла идея разговора с Геббельсом. Как-то стихийно, в результате логической цепочки мыслей: вот стоит на полу молчаливый телефон. Действует ли он? Поднимаю трубку, слышу сигнал зуммера. Ага, значит отсюда можно соединиться с любым абонентом Берлина?! Стоит только захотеть... Бросаю взгляд в окно, вижу забитый нашими танками широкий двор.

Любой, значит, кто захочет, может поднять телефонную трубку и сообщить в штаб обороны Берлина о скоплении танков и войск в районе, где мы находимся. Этой мыслью я поделился с моими товарищами офицерами-танкистами. Война-то не окончена, как же можно мириться с тем, что в руках врага, хотя и уже почти добитого, такая возможность связи.

С кем же соединиться? Уже впоследствии я сообразил, что в моей памяти в те минуты возник облик Михаила Кольцова. Он непременно позвонил бы. Кому? Ну, конеч-

но же, самому доктору Геббельсу, только ему!.. Попробуем...

Так родилась идея.

Чем ближе мы, переступая по этапам справочных бюро, секретарских телефонов, подбирались к цели, чем реальнее становилась возможность действительно услышать голос Геббельса, тем становилось страшнее: а вдруг и правда дозвонимся? А что, если доктор Геббельс возьмет да брякнет на весь мир, что большевики, дескать, пытаются вступить в переговоры... От этого предположения выступил холодный пот. За такое дело можно головы не сносить... Решение созрело молниеносно: нужно попросту облаять доктора. Облаять его в духе письма запорожцев турецкому султану!..

...Когда Боев повесил трубку, в комнате стояла зловещая тишина. К тому времени все присутствующие уже поняли всю меру риска. Каждый чувствовал себя соучастником, каждый прикидывал возможные последствия...

В комнату быстрым шагом вошел высокого роста офицер в почерневшем, выдавшем виды полушубке с мятыми погонами старшего лейтенанта. Это был литературный сотрудник газеты нашего гвардейского танкового корпуса «В бой за Родину» Владимир Баскаков, прошедший с корпусом долгий боевой путь с конца 1942 года, с Калининского фронта. Мы рассказали ему о телефонном разговоре, поделились своими тревогами.

— А что, собственно, страшного в вашем разговоре, — весело сказал Баскаков, — прекрасный разговор, только советую: немедленно на свежую память составьте акт, запишите каждое слово. На всякий случай.

— Ну, и всыпят нам за это дело, братцы, ох, и влетит же нам, — растерянно проговорил фоторепортер Виктор Темин.

Мы тут же отстучали на машинке в нескольких экземплярах официальный акт, в котором стенографически, как и в моей телеграмме, посланной в Москву, воспроизвели телефонный разговор. В это время во двор въехал броневик с офицером связи из штаба армии.

— Кто тут разговаривал с Геббельсом? — сухо спросил молодой капитан, войдя в комнату.

Мы ему тут же вручили наш акт. Он бережно вложил его в полевую сумку и, обведя всех нас взглядом, не предвещающим ничего хорошего, молча удалился.

Откуда они узнали? И так быстро!.. Да, кажется, Те-

мип прав, дорого нам обойдется разговорчик с руководителем обороны Берлина. Мы разошлись, стараясь не смотреть друг другу в глаза.

В общем, дело тем и кончилось. Никто не пострадал от этой озорной затеи. Но легенда о телефонном звонке доктору Геббельсу облетела тогда всю армию. Мне впоследствии говорили, будто Жуков, получив донесение, весело смеялся.

Геббельс через сорок восемь часов после этого телефонного разговора пустил себе пулю в лоб. Корреспонденцию эту Совинформбюро в Юнайтед Пресс не отправило. Вероятно, товарищи сочли всю эту историю неправдоподобной. Или решили, что она не соответствует серьезному духу времени.

МОЛНИЯ. МОСКВА, ЛЕОНТЬЕВСКИЙ ПЕРЕУЛОК, 10, СОВИНФОРМБЮРО, ЛОЗОВСКОМУ, БАЛАШОВУ. ПЕРЕДАЮ ДЛЯ ЮНАЙТЕД ПРЕСС

ЕЩЕ НОЧЬЮ СЕГОДНЯ ГРЕМЕЛА В ГОРОДЕ КАНОНАДА. В ОЖЕСТОЧЕННЫЕ АТАКИ ХОДИЛИ ГВАРДЕЙЦЫ, ТАНКИСТЫ И ПЕХОТИНЦЫ, ШТУРМУЯ ДОМ ЗА ДОМОМ, КВАРТАЛ ЗА КВАРТАЛОМ. И ВОТ ВСЕ КОНЧЕНО. НЕПРАВДОПОДОБНОЙ КАЖЕТСЯ ТИШИНА, НАСТУПИВШАЯ ВНЕЗАПНО В БЕРЛИНЕ, И ТРУДНО ПОВЕРИТЬ, ЧТО СВОБОДНО ЕДЕШЬ НА МАШИНЕ ПО УЛИЦАМ, ГДЕ ВЧЕРА ШЛИ ГОРЯЧИЕ БОИ, ГДЕ ЛИЛАСЬ КРОВЬ, РУШИЛИСЬ СТЕНЫ ДОМОВ И ГОРЕЛИ ТАНКИ. В ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ БОЕВ КАЖДЫЙ БОЕЦ И КАЖДЫЙ ОФИЦЕР ЗНАЛИ, ЧТО С МИНУТЫ НА МИНУТУ ГИТЛЕРОВЦЫ НЕИЗБЕЖНО ДОЛЖНЫ КАПИТУЛИРОВАТЬ. НО НАТИСК НЕ ОСЛАБЕВАЛ, И ЛЮДИ ШЛИ В БОИ, ЗНАЯ, ЧТО ИХ ЖИЗНЬ МОЖЕТ ОБОРВАТЬСЯ ОДНИМ ИЗ ПОСЛЕДНИХ ВЫСТРЕЛОВ ЭТОЙ ВОЙНЫ. ВЕРИЛИ В ПОБЕДУ И УМИРАЛИ С ЭТОЙ ВЕРОЙ ПЕРВОГО МАЯ СОРОК ПЯТОГО ГОДА ТАК ЖЕ, КАК ВЕРИЛИ ДВАДЦАТЬ ВТОРОГО ИЮНЯ СОРОК ПЕРВОГО...

В ЧЕТЫРЕ ЧАСА УТРА ПЕРВОГО МАЯ КОМАНДУЮЩЕМУ П-СКОЙ АРМИЕЙ ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКУ ЧУЙКОВУ СООБЩИЛИ, ЧТО С НИМ ЖЕЛАЕТ ВСТРЕТИТЬСЯ ПАРЛАМЕНТЕР. С БЕЛЫМ ФЛАГОМ В РАСПОЛОЖЕНИЕ НАШИХ ВОЙСК ПРИБЫЛ НАЧАЛЬНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА ГЕРМАНСКИХ СУХОПУТНЫХ СИЛ ГЕНЕРАЛ ПЕХОТЫ КРЕБС В СОПРОВОЖДЕНИИ ПЕРЕВОДЧИКА, ПОЛКОВНИКА. ГЕНЕРАЛ ЧУЙКОВ ПРИНЯЛ КРЕБСА У СЕБЯ В ШТАБЕ, В ОДНОМ ИЗ ДОМОВ ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ БЕРЛИНА.

ГЕНЕРАЛ КРЕБС ОБЪЯВИЛ, ЧТО ЯВИЛСЯ С ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНЫМ И СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНЫМ СООБЩЕНИЕМ. ОН ЗАЧИТАЛ ПИСЬМО, ПОДПИСАННОЕ ГЕББЕЛЬСОМ И БОРМАНОМ, В КОТОРОМ СООБЩАЛОСЬ, ЧТО В ТРИ ЧАСА ПЯТЬДЕСЯТ МИНУТ ТРИДЦАТОГО АПРЕЛЯ ГИТЛЕР ЗАСТРЕЛИЛСЯ И ОСТАВИЛ ЗАВЕЩАНИЕ, В КОТОРОМ РУКОВОДСТВО СТРАНОЙ ПОРУЧИЛ ГЕББЕЛЬСУ В КАЧЕСТВЕ КАНЦЛЕРА, ГРОСС-АДМИРАЛУ ДЕНИЦУ В КАЧЕСТВЕ ПРЕЗИДЕНТА И БОРМАНУ. ПИСЬМО НАЧИНАЛОСЬ СЛОВАМИ: «СООБЩАЕМ ВОЖДЮ РУССКОГО НАРОДА, ЧТО «ФЮРЕР ГЕРМАНСКОГО НАРОДА САМОВОЛЬНО УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ...» ГЕББЕЛЬС В ЭТОМ ПИСЬМЕ ПРОСИЛ О ПЕРЕМИРИИ МЕЖДУ ОБОРОНЯЮЩИМСЯ ГАРНИЗОНОМ БЕРЛИНА И СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ. ОТВЕТ БЫЛ ДАН ПАРЛАМЕНТЕРУ В КАТЕГОРИЧЕСКОЙ ФОРМЕ: НИ О КАКОМ ПЕРЕМИРИИ МЕЖДУ СОВЕТСКИМИ И ГЕРМАНСКИМИ ВОЙСКАМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В СОСТОЯНИИ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ С НАШИМИ СОЮЗНИКАМИ, НЕ МОЖЕТ БЫТЬ РЕЧИ. РЕЧЬ МОЖЕТ ИДТИ ТОЛЬКО О БЕЗОГОВОРЧНОЙ КАПИТУЛЯЦИИ ГЕРМАНСКИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ.

ГЕНЕРАЛ КРЕБС ПОПРОСИЛ РАЗРЕШЕНИЯ ПРОВЕСТИ ТЕЛЕФОННЫЙ ПРОВОД К ГЕББЕЛЬСУ, ЕМУ ЭТО БЫЛО РАЗРЕШЕНО, ОН СОВЕЩАЛСЯ С ГЕББЕЛЬСОМ. ПЕРВОГО МАЯ В ЧЕТЫРЕ ЧАСА ДНЯ ГЕББЕЛЬС ОКОНЧАТЕЛЬНО ОТКАЗАЛСЯ КАПИТУЛИРОВАТЬ.

В ЭТИ ЧАСЫ Я НАХОДИЛСЯ В ШАРЛОТТЕНБУРГЕ, ГДЕ ШЛИ ОЖЕСТОЧЕННЫЕ БОИ. ТАНКИ С ПЕХОТОЙ НАСТУПАЛИ ПО БЕРЛИНЕРШТРАССЕ И ВДОЛЬ ЛАНДВЕРКАНАЛА. БОЙ ПРОДОЛЖАЛСЯ ДО ПОЗДНЕЙ НОЧИ.

СЕГОДНЯ НОЧЬЮ, ВТОРОГО МАЯ, НЕМЕЦКИЙ КОМЕНДАНТ БЕРЛИНА ГЕНЕРАЛ АРТИЛЛЕРИИ ВЕДЛИНГ ОТДАЛ ПРИКАЗ О КАПИТУЛЯЦИИ. С РАССВЕТОМ СТИХЛА КАНОНАДА. НАЧАЛАСЬ МАССОВАЯ СДАЧА В ПЛЕН НЕМЕЦКИХ СОЛДАТ И ОФИЦЕРОВ. ПЕРВЫМ СДАЛСЯ 96-й КОРПУС. В ШТАБ ЧУЙКОВА, ГДЕ НАХОДИЛСЯ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МАРШАЛА ЖУКОВА ГЕНЕРАЛ АРМИИ СОКОЛОВСКИЙ, ПРИБЫЛИ ЧЕТЫРЕ НЕМЕЦКИХ ГЕНЕРАЛА, СДАВШИЕСЯ В ПЛЕН.

ПО УЛИЦАМ БЕРЛИНА ПОТЯНУЛИСЬ БЕСКОНЕЧНЫЕ КОЛОННЫ ПЛЕННЫХ. ВИД ИХ УЖАСЕН. ОНИ ИЗМОЖДЕНЫ, НЕБРИТЫ, ГЯЗНЫ, НО ЛИЦА ВЕСЕЛЫ — КОНЧИЛСЯ АД, КОНЧИЛИСЬ СТРАШНЫЕ ЧАСЫ, КОГДА НА НИХ ОБРУШИВАЛСЯ ГРАД СОВЕТСКИХ СНАРЯДОВ И БОМБ.

Я ПРОЕХАЛ СЕГОДНЯ МНОГО ДЕСЯТКОВ КИЛОМЕТРОВ ПО УЛИЦАМ БЕРЛИНА. ВОЙНА В ГОРОДЕ КОНЧИЛАСЬ. ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ НА УЛИЦАХ. ГОРОД ЗАПРУЖЕН ВОЙСКАМИ

КРАСНОЙ АРМИИ. ВСЯ ТА МОГУЧАЯ ТЕХНИКА, КОТОРАЯ ДЕСЯТКАМИ ДОРОГ ШЛА В НАСТУПЛЕНИЕ НА БЕРЛИН, СЕГОДНЯ ЗАПОЛНЯЕТ ЕГО УЛИЦЫ, ПЛОЩАДИ, СКВЕРЫ. НА МНОГИХ ДОМАХ РАЗВЕВАЮТСЯ КРАСНЫЕ ФЛАГИ. КРАСНЫМИ ФЛАГАМИ УКРАШЕНА КОЛОННА ПОБЕДЫ. С ЕЕ ВЕРШИНЫ ОТКРЫВАЕТСЯ ПАНОРАМА БЕРЛИНА. ЗА АЛЛЕЕЙ ПОБЕДЫ ЗА БРАНДЕНБУРГСКИМИ ВОРОТАМИ, ГДЕ ПРОТЯНУЛАСЬ ШИРОКАЯ МАГИСТРАЛЬ УНТЕР-ДЕН-ЛИНДЕН, ГОРИЗОНТ БЕРЛИНА ЗАТЯНУТ ЧЕРНЫМ ДЫМОМ. Я ЗАШЕЛ В ЗДАНИЕ РЕЙХСТАГА. ОНО РАЗРУШЕНО. НА ЛЕСТНИЦАХ И В СОХРАНИВШИХСЯ ПОМЕЩЕНИЯХ РЕЙХСТАГА СТОЯТ ПОЛЕВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ, ЗДЕСЬ РАСПОЛОЖИЛИСЬ ШТАБЫ БАТАЛЬОНОВ, ПЕХОТНЫХ ПОЛКОВ. НЕСКОЛЬКО СОСЕДНИХ С РЕЙХСТАГОМ ДОМОВ ЕЩЕ ГОРЯТ, ДЫМ ПОДНИМАЕТСЯ К КУПОЛУ РЕЙХСТАГА, НА ФАСАДЕ КОТОРОГО СОХРАНИЛАСЬ СТАТУА КОНИКОГО РЫЦАРЯ. УНЫЛО ГЛЯДИТ НА БРАНДЕНБУРГСКИЕ ВОРОТА ЕДИНСТВЕННЫЙ МОНУМЕНТ, СОХРАНИВШИЙСЯ НА АЛЛЕЕ ПОБЕД,—ПАМЯТНИК ФРИДРИХУ ВИЛЬГЕЛЬМУ.

НА БРАНДЕНБУРГСКИХ ВОРОТАХ РАЗВЕВАЕТСЯ ОГРОМНЫЙ КРАСНЫЙ ФЛАГ С СЕРПОМ И МОЛОТОМ. ЗДЕСЬ, У БРАНДЕНБУРГСКИХ ВОРОТ, УТРОМ ВТОРОГО МАЯ Я ВСТРЕТИЛ МНОГИХ СВОИХ БОЕВЫХ ДРУЗЕЙ. ВОТ Я ВИЖУ, ПОДНИМАЕТСЯ НА ТАНК КАКОЙ-ТО ЧЕЛОВЕК В СОЛДАТСКОЙ ШИШЕЛИ. НЕСКОЛЬКО СОТ БОЙЦОВ СЛУШАЮТ ЕГО ПЛАМЕННУЮ РЕЧЬ. ЭТО ПОЭТ ЕВГЕНИЙ ДОЛМАТОВСКИЙ. ОН ПРОШЕЛ СУРОВЫЙ ПУТЬ ВОЙНЫ. БЫЛ В НЕМЕЦКОМ ПЛЕНУ НА УКРАИНЕ, БЕЖАЛ ИЗ-ПОД РАССТРЕЛА, ВЕРНУЛСЯ В НАШУ СЕМЬЮ, КОГДА МЫ СЧИТАЛИ ЕГО ПОГИБШИМ. ВОТ ОТЧАЯННЫЙ ХРАБРЕЦ АЛЕКСЕЙ КОРОВОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА». НЕ РАЗ ОН ВОДИЛ БОЙЦОВ В АТАКУ, МНОГО БРОДИЛ С ПАРТИЗАНАМИ ПО ЛЕСАМ БЕЛОРУССИИ И УКРАИНЫ. В МОРСКОЙ ФОРМЕ ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТА ЖЕНЯ ХАЛДЕЙ, СПЯЛИСЬ С НИМ И ДОЛМАТОВСКИМ НА ФОНЕ РЕЙХСТАГА. КАКАЯ РАДОСТНАЯ ВСТРЕЧА В ЭТОТ СЧАСТЛИВЫЙ ЧАС ПОБЕДЫ, ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ БОЕВЫХ У ПОДНОЖИЯ БРАНДЕНБУРГСКИХ ВОРОТ! О ТАКОЙ ВСТРЕЧЕ МЫ МЕЧТАЛИ ГОДАМИ В ХОЛОДНЫХ ЗЕМЛЯНКАХ В СТУЖУ И ПУРГУ, ПОДНИМАЛИ ТОСТЫ В СТАЛИНГРАДЕ И ОЩЕТИНИВШЕЙСЯ «ЕЖАМИ» МОСКВЕ. Я ГЛЯЖУ ПО СТОРОНАМ НА ВЗВОЛНОВАННЫЕ, СЧАСТЛИВЫЕ ЛИЦА СОЛДАТ И ОФИЦЕРОВ. КАЖДОГО ИЗ НИХ ОСЕНЯЕТ В ЭТИ МИНУТЫ ОДНО И ТО ЖЕ ЧУВСТВО ВЕЛИКОЙ ГОРДОСТИ: «ВОТ Я В БЕРЛИНЕ!»

ТРЕТЬЕГО МАЯ БЕРЛИН УЖЕ ВЫГЛЯДЕЛ НЕ ТАК, КАК
ВТОРОГО. ГОРОД БУКВАЛЬНО НА ГЛАЗАХ ПРЕОБРАЖАЕТСЯ.
ВЧЕРА ЕЩЕ БЕРЛИН ПРЕДСТАВЛЯЛ ИЗ СЕБЯ ФРОНТОВОЙ
ЛАГЕРЬ. СЕГОДНЯ НА УЛИЦАХ СТОЯТ РЕГУЛИРОВЩИКИ,
НА КАЖДОМ ПЕРЕКРЕСТКЕ АККУРАТНЫЕ УКАЗАТЕЛИ,
ПОМОГАЮЩИЕ РАЗОБРАТЬСЯ В СЛОЖНОМ ЛАБИРИНТЕ БЕС-
КОНЕЧНЫХ УЛИЦ ЭТОГО ГОРОДА-ГИГАНТА. НА СТРЕЛКАХ
НАПИСАНО: «РЕЙХСТАГ», «ПЕРЕПРАВА ЧЕРЕЗ ШПРЕЕ»,
УКАЗАНЫ ВСЕ ПУТИ К ПРИГОРОДАМ. ВЕСЕЛО ПОМАХИВАЮТ
НА ПЕРЕКРЕСТКАХ СВОИМИ ФЛАЖКАМИ ДЕВУШКИ-РЕГУ-
ЛИРОВЩИЦЫ. МИЛЫЕ ДЕВУШКИ, ОНИ ПРОВОЖАЛИ НАС ПО
ДОРОГАМ ВОЙНЫ ОТ САМОГО СТАЛИНГРАДА И КАВКАЗА,
В ПУРГУ И ДОЖДЬ НЕСЛИ ОНИ СВОЮ ВАХТУ НА ОПАЛЕННЫХ
СПАРЯДАМИ И БОМБАМИ ПЕРЕКРЕСТКАХ, И ВОТ ОНА, ГОЛУ-
БОГЛАЗАЯ, РЯЗАНСКАЯ БЕЛОКУРАЯ ТАНЮША, РЕГУЛИРУЕТ
ДВИЖЕНИЕ НА ФРАНКФУРТЕРАЛЛЕЕ. НА ВИД ОНА ОЧЕНЬ
СУРОВА, НО РАДОСТНЫЕ ИСКОРКИ В ГЛАЗАХ ВЫДАЮТ ЕЕ:
ОНА ТОЖЕ СЧАСТЛИВА, ЧТО ВОТ ЗАВЕРШИЛА БОЛЬШОЙ
ПУТЬ ВОЙНЫ ЗДЕСЬ, НА УЛИЦАХ БЕРЛИНА.

БЫЛ Я СЕГОДНЯ В ДВУХ ТЮРЬМАХ БЕРЛИНА. ЗНАМЕ-
НИТАЯ МОЛБИТСКАЯ ТЮРЬМА — ОБРАЗЕЦ ИНДУСТРИАЛЬ-
НОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ ЗАМУРОВЫВАНИЯ ЗАЖИВО. ЕЕ
ФАСАД НА УЛИЦЕ АЛЬТЕМОАБИТ ПОХОЖ НА ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ ФАСАД ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО ЗДАНИЯ. И ТОЛЬКО
КОГДА ВХОДИШЬ ВО ВНУТРЬ, СОМНЕНИЙ НЕТ — ТЫ В ТЮРЬ-
МЕ. СОТНИ ОДИНОЧЕК, В КОТОРЫХ ТОМИЛИСЬ УЗНИКИ ГЕС-
ТАПО, ПУСТЫ СЕГОДНЯ. СТАРЫЙ ГОРБУН, ПРОДАВЕЦ ГАЗЕТ,
СИДЕВШИЙ В ТЮРЬМЕ ДО ПОСЛЕДНЕГО ДНЯ, ОСТАЛСЯ ТАМ
ЖИТЬ, У НЕГО НЕТ ДРУГОГО ДОМА В БЕРЛИНЕ. ОН ПОКАЗЫ-
ВАЛ НАМ ТЮРЬМУ. МЫ ВИДЕЛИ СТРАШНЫЕ КАНДАЛЫ ВСЕХ
ВИДОВ. НАПРИМЕР, ТАКИЕ: СТАЛЬНОЙ ПОЯС, ЗАТЯГИВАЮ-
ЩИЙ ТОРС ЧЕЛОВЕКА, К ЭТОМУ ПОЯСУ ПРИКОВЫВАЛИСЬ
РУКИ. ДРУГОЙ ВИД КАНДАЛОВ — КОМБИНАЦИЯ НОЖНЫХ
И РУЧНЫХ, СОЕДИНЕННЫХ СТЕРЖНЕМ. ПОСЛЕДНИХ ТРИСТА
ЗАКЛЮЧЕННЫХ НЕМЦЫ ВЫВЕЗЛИ ИЗ ТЮРЬМЫ ДВАДЦАТЬ
СЕДЬМОГО АПРЕЛЯ В НЕИЗВЕСТНОМ НАПРАВЛЕНИИ. КАКАЯ-
ТО КАВАЛЕРИЙСКАЯ ЧАСТЬ ИСПОЛЬЗОВАЛА ДВОР ТЮРЬМЫ
И НИЖНИЙ ПОЛУРАЗРУШЕННЫЙ ЭТАЖ ДЛЯ КОНЮШНИ.
МИРНОЕ ПОХРАПЫВАНИЕ КОНЕЙ В ТИШИНЕ БЫВШЕЙ
ТЮРЬМЫ ВНОСИТ ОСОБЫЙ КОЛОРИТ В ОБЛИК ЭТОГО СТРАШ-
НОГО МЕСТА, ГДЕ БЫЛИ ЗАГУБЛЕНЫ ФАШИСТАМИ ТЫСЯЧИ

НЕИЗВЕСТНЫХ НЕВИННЫХ ЛЮДЕЙ. ВМЕСТЕ С КАНДАЛАМИ НАМ ПОКАЗАЛИ ТОПОРЫ, КОТОРЫМИ ОТРУБАЛИСЬ ЛЮДЯМ ГОЛОВЫ. ВСЕ ЭТО УЖЕ ЭКСПОНАТЫ ДЛЯ МУЗЕЕВ, ГДЕ НАШИ ПОТОМКИ БУДУТ ИЗУЧАТЬ ТЯЖЕЛУЮ И МРАЧНУЮ СТРАНИЦУ ИСТОРИИ НАРОДОВ ЕВРОПЫ, ПОГРЕБЕННЫХ ПОД МРАКОМ ФАШИСТСКОГО ИЗУВЕРСТВА.

В ЛИЦЕНЗЕЙСКОЙ ТЮРЬМЕ, КОТОРАЯ СИЛЬНО РАЗРУШЕНА БОМБАРДИРОВКАМИ, МЫ ВИДЕЛИ КОМНАТУ СМЕРТИ — ГИЛЬОТИНА, ВИСЕЛИЦА В НЕСКОЛЬКО ПЕТЕЛЬ. ОДНА СТЕНА ПОЛНОСТЬЮ ОТВАЛИЛАСЬ, И ВСЯ ВНУТРЕННОСТЬ ТЮРЬМЫ РАСКРЫВАЕТСЯ ПЕРЕД ГЛАЗАМИ С ЕЕ БЕСКОНЕЧНЫМИ, КАК ПЧЕЛИНЫЕ СОТЫ, КАМЕРАМИ-ОДИНОЧКАМИ.

УЛИЦЫ БЕРЛИНА ЗАПОЛНЕНЫ ЛЮДЬМИ. ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ НЕ РАБОТАЕТ, И ТО, ЧТО МЫ НАБЛЮДАЕМ НА УЛИЦАХ, ПОХОЖЕ НА КАКОЕ-ТО МАССОВОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ НАРОДА. ВСЕ ВИДЫ ТЕЛЕЖЕК, ПОВОЗОК, КОТОРЫЕ ЛЮДИ ТЯНУТ И ТОЛКАЮТ ОДИНОЧКАМИ И ЦЕЛЫМИ СЕМЬЯМИ, ЗАПОЛНЯЮТ ПЛОЩАДИ, НАБЕРЕЖНЫЕ И УЛИЦЫ. ВСЕ ЭТО ПЕРЕМЕШАНО С ТЫСЯЧАМИ ВОЕННЫХ МАШИН, ПРОДОЛЖАЮЩИХ СВОЕ ДВИЖЕНИЕ ПО ГОРОДУ. ВОЙСКА НЕ ЗАДЕРЖИВАЮТСЯ НАДОЛГО В БЕРЛИНЕ, ОНИ ПРОХОДЯТ СКВОЗЬ НЕГО БЕСКОНЕЧНЫМ КОНВЕЙЕРОМ. СЕГОДНЯ Я ПОЗНАКОМИЛСЯ С КОМАНДИРОМ ВЗВОДА РАЗВЕДКИ ЛЕЙТЕНАНТОМ СЕМЕНОМ ЕГОРОВИЧЕМ СОРОКИНЫМ. ВМЕСТЕ С РЯДОВЫМ ГРИГОРИЕМ БУЛАТОВЫМ ОН ТРИДЦАТОГО АПРЕЛЯ ПОД УРАГАННЫМ ОГНЕМ НЕМЦЕВ ВЗОБРАЛСЯ НА КРЫШУ РЕЙХСТАГА И ВОДРУЖИЛ ЗНАМЯ. КОГДА МЫ ПРИШЛИ УТРОМ ВТОРОГО МАЯ К РЕЙХСТАГУ, НАД НИМ КЛУБИЛИСЬ ОБЛАКА ДЫМА. НЕМЕЦКИЙ ФАШИЗМ НАЧАЛ И ЗАКОНЧИЛ СВОЕ БЕССЛАВНОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ ПОЖАРОМ РЕЙХСТАГА.

3.5.45.

Кто первый водрузил Знамя Победы над рейхстагом? Прошли годы, в историю вошли имена Кантария, Егорова, капитана Самсонова. Сейчас, перечитывая свою телеграмму, в которой названы иные имена, я вспоминаю, как на ступенях рейхстага меня познакомили с лейтенантом Сорокиным и рассказали о подвиге, который он совершил 30 апреля вместе с солдатом Булатовым.

Я думаю, что мое телеграфное сообщение не опровергает официальной версии об историческом эпизоде водружения Знамени Победы в Берлине. Я помню, что видел на крыше рейхстага несколько флагов. Один развевался

над куполом — его подняли Егоров и Кантария, другой был привязан к конной статуе. Полыхали флаги и на правом и левом крыльях здания. Флаги эти были водружены советскими воинами, которые, не помышляя о личной славе, совершили в разгаре боя свой подвиг. Многие из них, как, например, упомянутые мной Булатов и Сорочкин, остались и поныне неизвестными. Где они, эти герои?

МОСКВА, ЛЕОНТЬЕВСКИЙ ПЕРЕУЛОК, 10, СОВИНФОРМ-БЮРО. ЛОЗОВСКОМУ

ПЕРЕДАЮ ИНТЕРВЬЮ С ВОЕННЫМ КОМЕНДАНТОМ ГОРОДА БЕРЛИНА ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКОМ, ГЕРОЕМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА БЕРЗАРИНЫМ.

ГЕНЕРАЛ БЕРЗАРИН ПРИНЯЛ МЕНЯ В СВОЕМ КАБИНЕТЕ, В ДОМЕ, ГДЕ ПОМЕЩАЕТСЯ ШТАБ АРМИИ, КОТОРОЙ ОН КОМАНДУЕТ, АРМИИ, КОТОРАЯ ПРОШЛА СЛАВНЫЙ ПУТЬ ОТ ВИСЛЫ ДО БЕРЛИНА. ЕМУ 41 ГОД. ГОЛОВА У НЕГО СЕДАЯ, А ЛИЦО МОЛОДОЕ, С ВЕСЕЛЫМИ ГЛАЗАМИ.

— УВЕРЯЮ ВАС,— ГОВОРИТ ГЕНЕРАЛ,— ЧТО ВОЕВАТЬ ГОРАЗДО ЛЕГЧЕ И ПРОЩЕ, ЧЕМ УПРАВЛЯТЬ ТАКИМ ОГРОМНЫМ ГОРОДОМ, КАК БЕРЛИН. ГОРОД РАЗБИТ БОМБАРДИРОВКАМИ, В ГОРОДЕ НАРУШЕНЫ ВСЕ ЕГО ЖИЗНЕННЫЕ ОРГАНЫ — ТРАНСПОРТ, ВОДА, ГАЗ, КАНАЛИЗАЦИЯ. И, КРОМЕ ТОГО, ГОРОД ТОЛЬКО ЧТО ПЕРЕЖИЛ ОЖЕСТОЧЕННЫЕ УЛИЧНЫЕ БОИ. МЕРЫ, КОТОРЫЕ МЫ ПРИНИМАЕМ, ЭТО МЕРЫ САМЫЕ ЭКСТРЕННЫЕ, В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРЫХ ДОЛЖНА В КРАТЧАЙШИЙ СРОК БЫТЬ НАЛАЖЕНА НОРМАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ.

ВОПРОС. КАК ВЕЛИКО НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ НАСЕЛЕНИЕ БЕРЛИНА?

ОТВЕТ. БОЛЬШЕ ДВУХ МИЛЛИОНОВ, НО РАСТЕТ С КАЖДЫМ ДНЕМ ЗА СЧЕТ ПРИБЫВАЮЩИХ ИЗ ДРУГИХ РАЙОНОВ.

ВОПРОС. КАК ОБЕСПЕЧЕНО НАСЕЛЕНИЕ БЕРЛИНА ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ?

ОТВЕТ. ЖИТЕЛЬ БЕРЛИНА ПОЛУЧАЕТ ЕЖЕДНЕВНО 200 ГРАММОВ ХЛЕБА, 400 ГРАММОВ КАРТОФЕЛЯ, 15 ГРАММОВ САХАРА, 30 ГРАММОВ МЯСА и 5 ГРАММОВ ЖИРОВ. УЖЕ ПУЩЕНЫ В ХОД КРУПНЕЙШИЕ МЕЛЬНИЦЫ БЕРЛИНА, ХЛЕБОПЕКАРНИ, ХОЛОДИЛЬНИКИ. ЧАСТЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ БЫЛА НА БЕРЛИНСКИХ СКЛАДАХ, НО УЖЕ ПРИХОДИТСЯ МНОГОЕ ПОДВОЗИТЬ. ЖИТЕЛЯМ БЕРЛИНА УЖЕ ВЫДАНЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ КАРТОЧКИ, РАСШИРЯЕТСЯ СЕТЬ ПРОДУКТОВЫХ МАГАЗИНОВ.

ВОПРОС. СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ ВОЗМОЖНЫМ В ЭТОМ ХАОСЕ РАЗВАЛИН ПУСТИТЬ В ХОД ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ?

ОТВЕТ. ЕСТЬ ПЛАН ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВСЕГО ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА. ВЧЕРА Я ИМЕЛ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНУЮ БЕСЕДУ С ГЛАВНЫМ ДИРЕКТОРОМ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА БЕРЛИНА ДОКТОРОМ УЛЬМЕРОМ И ГЛАВНЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ РУКОВОДИТЕЛЕМ ДОКТОРОМ ХАУЭРОМ. ОНИ МНЕ ЗАЯВИЛИ О ПОЛНОЙ СВОЕЙ ГОТОВНОСТИ ВЫПОЛНИТЬ ВСЕ МОИ ПРИКАЗАНИЯ. ПО ПЛАНУ ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ МЕТРОПОЛИТЕНА ДОЛЖНА БЫТЬ ПУЩЕНА 15 МАЯ. ИДЕТ РЕМОНТ ПУТЕЙ ДЛЯ ПУСКА ГОРОДСКОГО ТРАМВАЯ. В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ ПУСТИМ ГРУЗОВОЙ ТРАНСПОРТ. ЭТО ПОМОЖЕТ НАМ БЫСТРО ПРИВЕСТИ ГОРОД В ПОРЯДОК.

ВОПРОС. А КАК ОБСТОИТ ДЕЛО С ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ, ВОДОПРОВОДОМ И КАНАЛИЗАЦИЕЙ?

ОТВЕТ. УЖЕ РАБОТАЕТ КРУННЕЙШАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ БЕРЛИНА МОЩНОСТЬЮ 730 ТЫСЯЧ КИЛОВАТТ. ВО МНОГИХ РАЙОНАХ БЕРЛИНА УЖЕ ЕСТЬ СВЕТ. ТАМ, ГДЕ СВЕТА НЕТ, ЭТО ОБЪЯСНЯЕТСЯ СИЛЬНЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ СЕТИ. В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ СЕТЬ БУДЕТ ВЕЗДЕ ВОССТАНОВЛЕНА, И ВЕСЬ БЕРЛИН БУДЕТ ОСВЕЩЕН. В ТРЕХ РАЙОНАХ УЖЕ ДЕЙСТВУЕТ КАНАЛИЗАЦИЯ И ВОДОПРОВОД. ВЕДУТСЯ УСКОРЕННЫМИ ТЕМПАМИ РАБОТЫ ПО ИСПРАВЛЕНИЯМ ВСЕХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ. ВОСЬМОГО ЧИСЛА Я ВЫСЛУШАЮ ПОДРОБНЫЙ ДОКЛАД ПО ЭТОМУ ВОПРОСУ ДИРЕКТОРОВ ПРЕДПРИЯТИЙ. СЕДЬМОГО МАЯ ВЕЧЕРОМ БУДЕТ ПУЩЕН ПЕРВЫЙ ГАЗОВЫЙ ЗАВОД, НЕСКОЛЬКО РАЙОНОВ ПОЛУЧАТ ГАЗ.

ВОПРОС. НЕ ВСТРЕЧАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ С АКТАМИ САБОТАЖА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВСЕХ ЭТИХ МЕРОПРИЯТИЙ?

ОТВЕТ. НАОБОРОТ, Я ДОЛЖЕН ПОДЧЕРКНУТЬ, ЧТО ДИРЕКТОРА ПРЕДПРИЯТИЙ, ИНЖЕНЕРЫ И РАБОЧИЕ С БОЛЬШИМ РВЕНИЕМ ВЗЯЛИСЬ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ВСЕХ НАМЕЧЕННЫХ РАБОТ. ОНИ ИСКРЕННЕ ХОТЯТ ДАТЬ ЖИЗНЬ ГОРОДУ. ВСЕ МОИ ПРИКАЗЫ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ОЧЕНЬ ЭНЕРГИЧНО.

ВОПРОС. КАК ОРГАНИЗОВАНО УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА? КАКУЮ РОЛЬ ИГРАЮТ В ВОПРОСАХ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕМЕЦКОГО НАСЕЛЕНИЯ?

ОТВЕТ. ГОРОД РАЗБИТ НА РАЙОНЫ. В КАЖДОМ РАЙОНЕ — ВОЕННЫЙ КОМЕНДАНТ. НА ПОСТЫ КОМЕНДАНТОВ МЫ ПОДБИРАЕМ ОФИЦЕРОВ ИЗ СТАРШЕГО КОМСОСТАВА, ИМЕЮЩИХ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ. В КАЖДОМ РАЙОНЕ ЕСТЬ ТАКЖЕ НЕМЕЦКИЙ БУРГОМИСТР — НАИБОЛЕЕ ВЛИЯТЕЛЬНОЕ ЛИЦО, ПОЛЬЗУЮЩЕЕСЯ АВТОРИТЕТОМ СРЕДИ

НАСЕЛЕНИЯ. КРОМЕ ТОГО, В КАЖДОМ РАЙОНЕ ОРГАНИЗОВАНЫ ГРУППЫ СОДЕЙСТВИЯ КРАСНОЙ АРМИИ. ЭТИ ГРУППЫ, СОСТОЯЩИЕ ИЗ АНТИФАШИСТОВ-НЕМЦЕВ, ОКАЗЫВАЮТ ОГРОМНУЮ ПОМОЩЬ БУРГОМИСТРУ И КОМЕНДАНТУ В НАЛАЖИВАНИИ ЖИЗНИ, СНАБЖЕНИИ ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ, ПОМОЩИ НАШИМ ВОЙСКАМ, ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ВЫПОЛНЕНИИ НАСЕЛЕНИЕМ ВСЕХ ПУНКТОВ МОЕГО ПРИКАЗА НОМЕР ОДИН.

— МНЕ КАЖЕТСЯ,— СКАЗАЛ В ЗАКЛЮЧЕНИЕ БЕСЕДЫ ГЕНЕРАЛ,— ЧТО НЕМЦЫ НАСТОЛЬКО ИЗМУЧЕНЫ БЫЛИ ГИТЛЕРОВСКИМ РЕЖИМОМ, НАСТОЛЬКО ИСТОЩЕНЫ ДЛИТЕЛЬНОЙ ВОЙНОЙ, ЧТО ОНИ СОВЕРШЕННО ИСКРЕННИ В СВОЕМ ЖЕЛАНИИ ПОМОЧЬ НАМ ВО ВСЕХ МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ К УСТАНОВЛЕНИЮ НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИ ИХ СТОЛИЦЫ. НЕМЦЫ ОЧЕНЬ ОРГАНИЗОВАННЫЙ НАРОД, ОНИ ЛЮБЯТ ДИСЦИПЛИНУ И ПОРЯДОК. СМОТРИТЕ, С КАКИМ ЭНТУЗИАЗМОМ ВЗЯЛОСЬ НАСЕЛЕНИЕ БЕРЛИНА ЗА ОЧИСТКУ УЛИЦ ОТ ГРУД КАМНЕЙ, ОТ БАРРИКАД. ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ ВЫ БЕРЛИН НЕ УЗНАЕТЕ. ЕЩЕ ОДНА БОЛЬШАЯ ЗАБОТА У НАС— ЭТО ОКОЛО СЕМИДЕСЯТИ ТЫСЯЧ РАНЕНЫХ НЕМЕЦКИХ СОЛДАТ, ОСТАВШИХСЯ В БЕРЛИНЕ. ОНИ ВСЕ ОБЕСПЕЧЕНЫ УХОДОМ И ПИТАНИЕМ. МНОГИЕ ГОСПИТАЛИ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ПОД ЗЕМЛЕЙ, МЫ ПЕРЕВОДИМ В ХОРОШИЕ ПОМЕЩЕНИЯ В ГОРОДЕ И ЗА ГОРОДОМ. МЕДИКАМЕНТАМИ ОНИ ОБЕСПЕЧЕНЫ. ОЧЕНЬ ЖЕСТКИЕ ТРЕБОВАНИЯ МЫ ПРЕДЪЯВЛЯЕМ К НАШИМ СОЛДАТАМ И ОФИЦЕРАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В БЕРЛИНЕ. ПОДДЕРЖАНИЕ СТРОЖАЙШЕЙ ДИСЦИПЛИНЫ В ВОИНСКИХ ЧАСТЯХ ТАКЖЕ ВОЗЛОЖЕНО ПОМИМО КОМАНДИРОВ ЧАСТЕЙ НА РАЙОННЫХ КОМЕНДАНТОВ.

МЫ РАСПРОЩАЛИСЬ С ГЕНЕРАЛОМ. ПОЗДНЕЙ НОЧЬЮ Я ВЫШЕЛ НА УЛИЦУ. ЕДИНСТВЕННОЕ, ЧТО НАРУШАЕТ ТИШИНУ СПЯЩЕГО БЕРЛИНА,— ЭТО ШЕЛЕСТ ПРОНОСЯЩИХСЯ ВОЕННЫХ МАШИН И ЧЕКАННЫЙ ШАГ КОМЕНДАНТСКОГО ПАТРУЛЯ, СОВЕРШАЮЩЕГО СВОЙ НОЧНОЙ ОБХОД. МИГНУЛ ФОНАРИК, ОСТАНАВЛИВАЮЩИЙ МОЮ МАШИНУ. У МЕНЯ ПРОВЕРИЛИ ДОКУМЕНТЫ. СЕРЖАНТ С КРАСНОЙ ПОВЯЗКОЙ НА РУКАВЕ ШИНЕЛИ ПРИЛОЖИЛ РУКУ К КОЗЫРЬКУ И СКАЗАЛ:

— ДОКУМЕНТЫ ПРОВЕРЕНЫ, МОЖЕТЕ СЛЕДОВАТЬ.

Перечитав сейчас свои телеграммы и интервью с генералом Берзариным, я вижу два Берлина: трагический облик разрушенного, окутанного дымом пожарищ Берли-

на мая 1945 года и — столицу Германской Демократической Республики в наши дни.

Из груды развалин поднялся новый Берлин. Там, где торчали обугленные стволы деревьев, сейчас шумит свежая зеленая листва. И невольно вспоминаю: «...В ближайшие дни Берлин будет освещен...», «...скоро несколько районов Берлина получат газ...», «...группы содействия Красной Армии, состоящие из антифашистов, помогают работе военных комендантов...»

Я вспоминаю в связи с этим и другое, как в 1942 году, при въезде в освобожденную войсками Западного фронта Вязму, я взял на память деревянную табличку, на которой готическим шрифтом было начертано: «Wiazma». Я сказал тогда товарищам: «К этому сувениру я добавлю еще одну табличку с берлинской улицы Унтер-ден-Липпен». Почему-то я назвал именно эту улицу. И вот 2 мая 1945 года из груды дымящегося щебня на Унтер-ден-Липпен я откопал пробитый пулями эмалевый щиток с названием этой улицы. Сейчас он, как реликвия, прибит к стене над моим письменным столом...

Дни были полны острыми волнующими событиями, впечатлениями. Зная Победы над рейхстагом; путешествие в подземные недра бункера рейхсканцелярии; обугленный труп Геббельса... Безоблачным солнечным утром 8 мая на Темпельгофский аэродром съехались журналисты, кинооператоры. Здесь царил праздничное настроение. Как передать состояние легкости, счастья, душевного покоя, когда лежишь навзничь на траве и, глядя в небо, ощущаешь всем своим существом нечто непостижимое — война окончена! Четыре года позади!

А как же дальше жить? Без войны, без постоянной смертельной опасности, без того, что принято было называть храбростью, а по существу — или безразличия к смерти, которая была вокруг и всегда, или веры в то, что «повезет». Война приучила к тяжкому труду, к крови, к стуже, а порой такой тоске, от которой не спасали ни фляга с водкой, ни веселая шутка, ни раскаленная печурка, у которой можно было обсушиться и отоспаться...

Легкие белые облачка плывут в бледно-голубом небе, а если из-за облачка вынырнет самолет — долго еще нужно привыкать к тому, что не надо бежать, не нужно зарываться в землю...

В стороне приземлился серый «дуглас». Из него по

шаткой алюминиевой стремянке сошли на землю фельдмаршал Кейтель, генерал-полковник Штумпф, адмирал Фридебург, их адъютанты и конвоиры. Кейтеля усадили в черный лимузин, вручили ему толстую папку с документами, он погрузился в чтение бумаг. Кажется, это были тексты акта капитуляции. Я снял Кейтеля через открытое окно машины. Он бросил быстрый удивленный взгляд в мою камеру, услышав ее шум, и снова, поправив монокль в правом глазу, углубился в чтение документов.

Оркестр грянул марш. Из самолета с опознавательными знаками ВВС Соединенных Штатов вышли представители командования союзников. В Берлин прилетели Главный маршал авиации Артур Теддер, генерал Карл Спаатс, адмирал Берроу и генерал Делатр де Тасиньи.

Кортеж машин направился в Карлсхорст. Через разрушенный Берлин. Маршрут наш был отмечен стоящими с небольшими интервалами советскими солдатами-регулирущиками. Путь от Темпельгофа в Карлсхорст по улицам Берлина был предпоследним путем фельдмаршала Кейтеля в этом городе, где он когда-то принимал парады, стоял на трибуне рядом с Гитлером. Завтра — в одиночку. В тюрьме он проживет в ожидании суда и казни последние свои дни.

В Карлсхорсте в томительном бездействии провели много часов. Лишь около полуночи загорелись люстры в зале заседаний, где все было уже подготовлено для торжественного акта, завершающего победный конец войны.

Зал выглядел более чем просто. Столы покрыты зеленым сукном, за ними стали занимать места советские генералы — командующие прославленными армиями, начальники штабов — Богданов, Чуйков, Берзарин, Радзиевский, Телегин, Малинин. Здороваясь со многими из них, я ловил веселые искорки в их усталых глазах, вспоминал встречи под Москвой, в траншеях Сталинграда, на берегах Вислы...

Несметное количество журналистов, фотографов, кинооператоров — в отведенных им местах. Много американцев, англичан, французов. Знакомимся с коллегами. Офицеры в который раз инструктируют нас, сообщают протокол процедуры, строго предупреждают о соблюдении порядка. Как бы не так! Я прикидываю, как в пужный момент пробьюсь в первые ряды, и понимаю, что то же самое на уме у каждого из них. Представляю, какая произойдет свалка!..

Но вот по переполненному залу прошел шумок, и ровно в 12 часов — ноль часов 9 мая 1945 года — в зал вошел маршал Георгий Жуков. Он шел спокойно, походкой старого кавалериста, чуть покачиваясь, и, хотя в этот торжественный момент он был олицетворением монолитного мужества, силы, в его глазах сверкал озорной, радостный огонек. Жуков, конечно, знал, что каждый его жест — достояние истории. Но он не позировал. Был прост и спокоен. Был таким же, каким не раз я видел его в годы войны на командных пунктах, в штабах, когда он, откинувшись от карты, отчеканивая каждое слово, давал приказы. Я всегда смотрел на огромный выпуклый лоб, на крепкую его нижнюю челюсть, сильные руки.

Вслед за Жуковым в некотором отдалении шли к столу представители командования союзников Теддер, Спаатс, Берроу, Делатр де Тасиньи. В наступившей тишине прозвучали слова Жукова, приказавшего ввести в зал представителей верховного немецкого командования.

Зал замер в ожидании. Застрекотали кинокамеры. В дверях появился Кейтель. Он в мундире при всех орденах, за ним его свита. Шагнув в переполненный зал, он остановился и вытянул руку с фельдмаршальским жезлом. Жест получился фальшиво театральный, неуверенный. Кейтель продолжал стоять навтыяжку, ему предложили сесть. Уселся тоже как-то неуверенно, боком и повел глазами по залу, оглядывая сидящих за столами советских генералов и маршалов. С этими полководцами свела его судьба на дорогах Украины, в подмосковных лесах, в степях Сталинграда... Рука, лежащая на фельдмаршальском жезле, слегка дрожит... Он опустил глаза. Жуков сказал:

— Согласны ли представители верховного немецкого командования подписать акт о полной и безоговорочной капитуляции?

— Яволь! — ответил отчетливо и громко Кейтель. Он согласен. Даже рука его потянулась к авторучке в верхнем кармане френча. Но неожиданно в тишине прозвучал холодным голосом произнесенный Жуковым приказ:

— Я предлагаю немецким представителям подойти к нашему столу и здесь подписать акт о капитуляции.

Кейтель понял приказ и глубокий его смысл. Дрогнули веки, сжались челюсти, выпал из глаза и повис на шнурке монокль. Медленно поднявшись, он, пытаясь сохранить выправку, подошел к левому краю стола президиума...

Вот тут-то и началась безумная свалка фотографов и кинооператоров. Все ринулись к столу президиума, как одержимые, отталкивая друг друга локтями, громоздясь на столы и стулья, забывая о приличии, об обещаниях, данных офицеру, толкая генералов и адмиралов. Мне повезло прорваться на переднее место, потом меня оттеснили, потом я, кажется, сильно стукнув по голове ручкой от штатива американского адмирала, снова оказался в переднем ряду, одна мысль, одно чувство — снимать, снимать, чего бы это ни стоило, любой ценой, но только снимать!..

Кейтель ставил свою подпись на различных копиях и листах акта. В короткие промежутки, когда у него из-за спины забирали подписанный лист и клали перед ним новый, он выпрямлялся и растерянно взглядывал на фотографов, на зал, скинув нервным движением века монокль. Кейтель смотрел на советских генералов, разбивших полчища «третьего рейха».

Вслед за Кейтелем и его генералами акт был подписан представителями союзного командования. А когда Кейтель вернулся к своему столу и устало опустил на стул, он услышал приказ:

— Германская делегация может покинуть зал!

Переводчик на ухо перевел слова Жукова. Кейтель растерянно, неуклюже поднялся и, торопливо взмахнув жезлом, зашагал в открытую дверь, откуда навстречу ему и его генералам двинулись в зал официанты с шампанским и хрустальными бокалами. Начался банкет.

Помню, как журналисты тут же в зале собрались на короткую «летучку». Константин Симонов, оглядев боевых своих товарищей, сказал:

— Братцы, уже утро, и все равно в сегодняшний номер газеты материал не поспеет. Предоставим поэтому ТАССу сейчас передать информацию, а завтра, отдохнув, мы отгрохаем наши корреспонденции. Не возражаете?

Все бодрым хором заявили, что согласны.

— Будем надеяться, что никто из нас не нарушит этого джентльменского соглашения, — добавил Симонов.

Все хором заявили, что никто не нарушит.

— Тогда давайте выпьем за Победу! — сказал Симонов.

Банкет был оживленным, несмотря на крайнюю усталость его участников. За столом сидели полководцы — герои Берлинского сражения. Было много представителей

союзных войск и иностранных корреспондентов. Звучали тосты. И мы искренне жалели Бориса Горбатова, который, сославшись на крайнее переутомление и невероятную головную боль, покинул зал.

— Если я сейчас не лягу на несколько часов в постель, — сказал он, — я не напишу завтра ни строки.

Мы пировали до утра.

На следующий день мы узнали, что, простившись с нами, Горбатов помчался на узел связи и продиктовал для «Правды» подвал — подробное описание акта капитуляции. Номер «Правды» вышел с опозданием, но с сенсационным горбатовским материалом...

При состоявшемся на завтра разговоре Горбатова с Симоновым никто не присутствовал. Мне Горбатов потом рассказал, как он с улыбкой преподнес Симонову:

— Это, Костя, реванш за Люблин...

Я вспомнил — в 1944 году в Люблине все происходило примерно так же, как и на этот раз в Берлине. Василий Гроссман, Константин Симонов, Борис Горбатов, Евгений Кригер, Евгений Габрилович прилетели специальным самолетом, чтобы написать о Майдапекке. Они поклялись друг другу, что отправят в свои газеты материалы одновременно. Никаких «фитилей»! Но в ту же ночь узел связи фронта передал в «Красную звезду» три огромных с продолжением симоновских очерка о первом обнаруженном нами нацистском лагере смерти...

В четвертом часу утра мы вышли во двор. Над Берлином брезжил рассвет. Мы шли к своим машинам, о чем-то говорили, складывали аппаратуру и пленку. То, что произошло этой ночью, с трудом умещалось в сознании. Война стала за эти четыре года нашей жизнью, нашим существованием. И вот она закончилась этой ночью. Эта была последняя ночь войны. Об этом сейчас гудят телеграфные провода, весть несется над истерзанными, испепеленными полями Европы, заходит в дома, стучится в сердца...

9 мая 1945 года мы встретили первый рассвет мира в городе Берлине. Рассвет, который будут благословлять до конца своих дней и те, кто остался в живых после четырех лет войны, и те, кто родился в эту ночь.

ШКОЛА ЖУРНАЛИСТИКИ

Воспоминания документалиста — рассказ не только о том, что он видел в жизни, но и как смотрел он на все это, как его ощущения претворялись в кинорепортажи, в фильмы, в лаконичные сюжеты в киножурналах. Это и есть частицы биографии документалиста. Каждого документалиста. В том числе и моей биографии.

**ПЕРВЫЙ
ФОТОГРАФИЧЕСКИЙ
СНИМОК**

...Я родился в 1906 году в рабочем районе Одессы. Думаю о трудном детстве и начале юности. Пытаюсь определить истоки моей творческой биографии, я прежде всего обращаюсь в воспоминаниях к моему отцу, талантливому писателю Л. О. Кармену, безвременно погибшему в бурные революционные годы. Недавно в одесском издательстве вышла книга «Схватка у Черного моря», рассказывающая о драматических событиях в Одессе в годы гражданской войны, о героике подпольной революционной борьбы. В книге есть такие строки:

«В Одессе находилась большая группа писателей. Только незначительная часть из них сотрудничала в белогвардейской печати. Участвовал в издании одной газеты известный русский писатель И. А. Бунин. Однако, быстро разочаровавшись в этом деле, стал хлопотать о выезде на Балканы. Но были и такие писатели, которые не смирились с денкинским режимом, боролись с ним если не печатным, то устным словом. Белогвардейцы жестоко расправлялись с ними. В тюрьму был брошен одесский писатель Л. О. Кармен, главной темой творчества которо-

го была жизнь рабочих и грузчиков одесского порта.

Следователь, допрашивающий Кармена, говорил ему, что если он публично отречется от большевизма и опубликует в газетах письмо с призывом помогать «Добровольческой» армии, то будет освобожден из тюрьмы. Кармен отвечал, что он в партии большевиков не состоял, поэтому и отречься ему не от чего, но он сочувствует большевизму и будет за него бороться до последней минуты своей жизни.

Несколько раз водили Кармена в комнату для «допроса» и каждый раз его оттуда уже выносили. Из тюрьмы Кармен был освобожден после изгнания белогвардейцев. Вышел он едва живой, не держался на ногах и через два месяца, в апреле 1920 года умер в возрасте 44 лет».

Отец вступил в литературу в начале века. Он вышел из семьи беднейшего ремесленника, был самоучкой. Очень скоро он приобрел известность в широких читательских кругах своими рассказами, очерками и повестями о людях «дна», о рабочих каменоломен, «дикарях» одесского порта. Героями многих его рассказов были рабочие-революционеры, их непримиримая борьба с самодержавием. Вспоминая трудное детство, я прежде всего вспоминаю своего отца, его тонкий юмор, доброту его сердца.

Вскоре после моего рождения семья наша переехала в Петербург. Отец, уже признанный писатель, был приглашен сотрудничать в «толстых» журналах. Жили мы в Куоккала под Петроградом, где образовалась дружная литературная колония. Это был период расцвета творчества отца, его дружбы с Куприным, встреч с М. Горьким. Его книги «На дне Одессы», «Дикари» и другие пользовались большой популярностью.

После Октябрьской революции отца потянуло в родную Одессу, где он с головой ушел в пропагандистскую работу в большевистской печати, в Политуправлении Красной Армии. А когда Одессу захватили белогвардейские войска, однажды ночью застучали приклады в дверь нашей квартиры... Красная Армия, освободившая Одессу, выпустила из белогвардейской тюрьмы умирающего, замученного отца, и вскоре толпы людей проводили его в последний путь.

Как жалею, что не сберег подаренный мне отцом дешевый фотографический аппарат — коробочка «кодак», сыгравший, как сейчас вижу, решающую роль в моей жизни. Сохранился только пожелтевший крохотный

снимок — я сфотографировал отца незадолго до его смерти. Первый мой фотографический снимок!

Годы 1920—1922 были трудными. Потеря отца, тяжело перенесенный полуголодным мальчишкой сыпной тиф. Мне было тогда тринадцать лет, я учился в трудовой школе и подрабатывал — торговал газетами на улицах Одессы, был подручным, чем-то вроде мальчика на побегушках в гараже Совморфлота и гордо приносил домой воинский паек.

Издательство «Красная новь» в Москве выпустило книгу избранных произведений отца, гонорар за эту книгу дал возможность нашей семье переехать в Москву. Нужно было продолжать учиться. С треском провалившись на экзамене в МВТУ, оставил мечту о техническом образовании. Москва предстала передо мной в разгаре нэпа. Семье нужно было помогать, и я, записавшись в Рахмановском переулке на биржу труда, вскоре получил направление на работу в Московский городской ломбард. Конторщиком. Работал спустя рукава, вскоре меня выгнали за нерадивость, но я не печалился, был уверен, что еще найду настоящий путь в жизни. Конечно, нужно было учиться. Поступил на рабфак. Меня снова потянуло к увлечению детства — фотографии. Первые мои снимки были опубликованы в рабфаковской стенгазете. Но вот как-то мать, перебивавшаяся случайной литературной работой в начавшем тогда выходить «Огоньке», сказала: «Пойдем в редакцию».

Меня тепло встретили тогдашние руководители «Огонька» Михаил Ефимович Кольцов и писатель Ефим Зозуля. Выложил на стол довольно беспомощные любительские снимки, по которым никак нельзя было сказать, что их автор владеет искусством и техникой фоторепортажа. Однако Кольцов и Зозуля сказали мне:

— Ну, что ж, прекрасно, ты уже умеешь снимать!

ФОТОРЕПОРТАЖ — ШКОЛА МАСТЕРСТВА Я вышел из редакции взволнованный, в руках держал маленькую карточку — мой первый корреспондентский билет. Подписан он был Кольцовым, я храню его по сей день как дорогую реликвию. А в сентябре 1923 года на странице «Огонька» появился первый снимок с надписью «Фото Р. Кармена» — я снял по заданию редакции Василия Коларова, прибывшего в Москву после сентябрьского восстания в Болгарии.

От этого помера «Огонька» я отсчитываю годы моей

работы в журналистике, а впоследствии и в документальном кино. Я самозабвенно увлекся фоторепортажем. Работа в «Огоньке» была для меня большой школой мастерства.

Фоторепортаж был огромным куском моей творческой биографии, это безусловно. Фотография всесторонне увлекала меня: и изобразительная сторона этого дела, и техника — фотографические процессы, оптика, аппаратура, и кроме всего — оперативность фоторепортажа, которая всегда была для меня первейшим принципом. А впоследствии стала законом моей работы и в кинорепортаже.

Но, пожалуй, главное, что меня увлекло в профессии фоторепортажа, — широкая возможность видеть жизнь, все время быть со своей камерой в ее гуще. Я был счастлив, что передо мной раскрывалась страна, события. И меня, совсем молодого парня, захватили эти колоссальные возможности видеть мир.

В то время было два течения в нашей советской фотографии. Одним из них — очень значительным — была художественная фотография, старая великолепная школа русских фотографов, таких как: Еремич, Аллилуев, Живаго, Наппельбаум. Их фотографии воспроизводили все приемы живописи, высшей похвалой для этих работ было сравнение с живописью: «Смотрите, прямо картина». Эта плеяда мастеров пользовалась и техническими приемами, делавшими фотографию похожей на живописное произведение. Использовали приемы печати, такие, как бромомасляный процесс; фотография своей крупнозернистой фактурой становилась похожей на старинную гравюру, на офорт. Они использовали фотобумагу шероховатых поверхностей и различных тональностей, широко применяли вирование фотографии в разные цвета — розоватый, сепию и другие. В съемке они резкорисующую оптику заменяли моноклем — линзой, которая давала размытое, туманное изображение. Этой линзой снимали портреты и пейзажи. И в позитивном процессе применяли всевозможные пасадки на объектив увеличительного аппарата, чтобы размыть изображение. Это была блистательная плеяда великолепных, талантливых художников, мастеров русской фотографии, слава которой утверждалась многими и многими печатными дипломами на международных выставках художественной фотографии и в дореволюционные годы, и в первые годы после революции.

Однако бурное революционное время — начало 20-х

годов — неумолимо и закономерно определило рождение новой школы советской фотографии. Новое революционное искусство фотографии рождалось самой жизнью, это искусство своими корнями уходило в жизнь, в ее революционные процессы. Новое искусство фотографии рождалось в фоторепортаже. На смену поколению фотографов, запечатлевших бесценные фотодокументы первых революционных лет, гражданской войны, таких летописцев революции, как ленинградец Булла, Петр Оцуп, Савельев и другие, появились представители нового искусства фотографии — А. Шайхет, В. Лобода, К. Кузнецов, М. Альперт, П. Гроховский, А. Самсонов, Н. Штерцер, Н. Петров, С. Фриндланд, Г. Петрусов. Это была плеяда фоторепортеров 20-х годов, которые своими произведениями утверждали новое искусство в фотографии — документальные фотографии, в которых сила и выразительность была не в туманных, снятых моноклями закатах, не в живописных «картинах» уходящей в прошлое помещичьей русской усадьбы, пахара с деревянной сохой, не в заплесневелых прудах, не в размытых моноклями портретах. Новое искусство фотографии отражало жизнь, отражало нашу советскую действительность.

Для развития искусства репортажа в те годы были все условия. В 20-х годах выходило множество иллюстрированных журналов. Вслед за вновь родившимся «Огоньком» появились журналы «Прожектор», «Красная Нива», «Красная панорама», «Всемирная панорама». Было множество иллюстрированных профсоюзных журналов. Почти каждый профсоюз имел свой иллюстрированный журнал. Начал выходить журнал «Советское фото», в котором помещались лучшие фотографии, на его страницах развернулась широкая творческая дискуссия о путях советской фотографии. При московском Доме печати образовалась ассоциация фоторепортеров, ставшая творческим центром рождавшегося нового искусства советской фотографии. Вспоминаю темпераментные творческие дискуссии, споры, которые проходили в нашей ассоциации.

Открывшаяся в Доме печати (ныне Дом журналиста) в 1926 году первая выставка советского фоторепортажа по существу утвердила рождение нового революционного искусства советской фотографии, животворность новых свежих веяний в этом искусстве. А вслед за этой выставкой в 1927 году в Центральном Доме Красной Армии,

который помещался тогда на Воздвиженке — ныне проекте Калининна, напротив Ленинской библиотеки, — была развернута выставка «10 лет советской фотографии». Эта выставка была уже боевым столкновением двух поколений фотографов. Выступали и старые мастера — Еремин, Аллилуев, Живаго, и когорта молодых фоторепортеров, в произведениях которых утверждалось новое искусство революционной фотографии, главным героем которого был советский человек — строитель социализма, была динамика нашего времени.

Первой большой событийной съемкой, которая неизбежной вехой осталась в моей творческой биографии, были съемки похорон Владимира Ильича Ленина. Я, тогда шестнадцатилетний мальчишка, снимал в Колонном зале Дома союзов, на Красной площади.

Дни и ночи в Колонном зале Дома союзов, где на высоком холме из живых цветов в алом гробу, в защитного цвета френче с орденом Красного Знамени на груди — Ленин. В почетном карауле — мужественные воины революции, коммунары, прошедшие с ним, с Лениным, через десятилетия борьбы. Полные скорби глаза их залиты слезами. Они стоят, опустив руки, изредка кто покачнется, вот-вот упадет, не выдержав тяжести душевной. Непрерываемый поток подавленных горем людей... вдруг женский крик боли и отчаяния, стук падающего тела, в толпе мелькнут белые халаты врачей... сквозь аккорды траурных маршей сдавленные рыдания. Люди идут с лютого мороза, на ступенях мраморной лестницы разматывают шерстяные платки, башлыки, снимают заиженевшие меховые шапки, стараются ступать тише, замедляют шаг у гроба, поднимают на руках детей... Время от времени вспыхивают фиолетовым светом вольтовы дуги «юпитеров» — кинохроника снимает смену почетного караула, делегацию рабочих, принесшую венок, крестьян, людскую реку. Изредка снимаю и я, с трудом наводя камеру на фокус — мешают слезы. Ни на минуту не покидает чувство огромного горя. В этом океане скорби, проплывающем мимо меня, остро ощущаю мое собственное горе, сдавившее грудь, такое безысходное, какое может быть раз в жизни. Когда теряешь самого близкого, самого родного человека.

Умер Ленин.

На улицах города день и ночь горят костры. Мороз. Скорбь. Люди. Люди.

На Красной площади высокий помост, на котором гроб с телом Ленина, фанерный куб на месте нынешнего Мавзолея. Снимки у меня были плохие, помню, что я снял две дюжины стеклянных пластинок, из которых отобрал не больше шести хороших снимков.

В 1924 году я стал работать фоторепортером газет «Рабочая Москва» и «Вечерняя Москва». Заведующим иллюстрационными отделами этих двух газет был тогда начинавший писатель Евгений Петров. Большим событием в моей работе явилась покупка новой фотокамеры. Собравшись с деньгами, я купил клапп-камеру «Контецца Неттель». Это была новейшая репортерская камера, пришедшая на смену «зеркалкам».

Интересным было для меня сотрудничество в журнале «Тридцать дней», который начал выходить в 1925 году. В этом толстом иллюстрированном журнале с самого его возникновения я из номера в номер давал тематические репортажи. Помню целую серию очерков, которую я сделал о писателях — о Льве Никулине, Михаиле Кольцове, Михаиле Пришвине. Ряд очерков я сделал в содружестве с начинающей тогда журналисткой Татьяной Тэсс. Перелистывая сейчас комплекты «Тридцати дней» 1927, 1928 годов, я с удовольствием разглядываю свои фотоочерки о студентах, о заводской бане, об автозаводе, о новых модах, репортажи с улиц Москвы, фотостюды. От увлечения живыми зарисовками жизни, быта, от съемок репортажа, спортивных съемок, я часто устремлялся в чисто формальные поиски. Помню, как, поставив стеклянный сосуд, я долго «обыгрывал» его светом, в необычных ракурсах, менял точку съемки. В «Советском фото» был помещен мой снимок — поливочный шланг, лежащий на тротуаре. В этом снимке меня привлекло сочетание световых пятен воды на асфальте, теней, резко очерченной по диагонали линии шланга.

Я испытывал свойства оптики для выявления тематически главного элемента в своем снимке, выводя во внефокусность второстепенные детали и резко очерчивая главные изобразительные элементы. Этими поисками свойств оптики я занимался и в съемках портрета и деталей станка. Экспериментировал я и в светотеневой гамме — высвечивал ярким пучком света главный элемент или, наоборот, вычерчивал его силуэтным пятном, высвечивая фон. Увлеченно и вдумчиво я работал над проблемами линейной композиции кадра.

Я был ярким противником так называемой художественной фотографии. Очевидно, в этом выражалось подсознательное очень свежее отношение к искусству фотографии. Художественность я видел в использовании свойств фотографической техники, то есть в оптике, светотени, композиции, скорости затвора. В спортивных снимках, например, я делал попытки усилить ощущение скорости, устлавлявая малую скорость затвора и ведя камеру за движущимся объектом, чтобы смазанный фон подчеркивал динамику движения.

Эти поиски невероятно увлекали. Если вспомнить мои портретные съемки — в этом опять-таки был воинствующий протест против художественно-размазанных съемок моноклем. Используя резко рисующую оптику, я делал портретные снимки, на которых была вычерчена каждая пора кожи, ощутима была влажность вспотевшего лица рабочего человека, резкость волос, ресниц, зубов. Я был убежден, что фотография не должна рабски копировать живопись, считал, что искусство фотографии должно утверждаться своими самобытными путями.

Очень гордился почетными дипломами, которыми были отмечены мои работы в 1926 году в Доме печати на первой выставке советского фоторепортажа и в 1927 году на выставке «10 лет советской фотографии».

В поисках выразительных средств я не избежал и увлечений «левой фотографией». Не обошлось без влияния Родченко, искусство которого меня восхищало. Несколько моих фотографий в 1927 году были напечатаны в журнале «Леф». Например, такая фотография: вечером 7 ноября 1927 года я снял московскую иллюминацию с многократной экспозицией на одну пластинку. Тут были и зигзаги, проведенные автомобильными фарами, и композиционно в углах расставленные большие римские цифры X, и бесформенные световые пятна, прочерченные на пластинке праздничным фейерверком. Журнал жадно ухватился за эту «новаторскую» фотографию, напечатал ее, я был горд.

Но наряду с формальными поисками, которые сопутствовали моей работе, основным направлением был событийный репортаж. Из запомнившихся мне фоторепортажей была серия снимков, снятых на торжественном пуске первой советской гидроэлектростанции Волховстрой. Я был командирован редакцией «Огонька» на съемку этого большого события. Я снял репортаж — торжественный

ЗАВЕТНАЯ МЕЧТА —
КИНОКАМЕРА

митинг, трибуной которого была гидротурбина, где стояли инженер Графтио, Енукидзе. Много часов я потратил на съемку увлекшего меня кадра зеркального перепада воды на Волховской плотине, на фоне которого сияла огнями электростанция. Помню, снял этот кадр двукратной экспозицией — днем (перекрыв верхнюю половину пластинки) на контрольном свете снял зеркальный перепад воды, а вечером (прикрыв нижнюю часть пластинки) снял с выдержкой горящую огнями станцию. Снимок по тем временам был великолепен.

Снимал открытие Шатурской электростанции. После торжества все приехавшие из Москвы — среди них были инженер Графтио и, кажется, Г. М. Кржижановский — шли около двух километров к специальному поезду, который поджидал на путях. Была звездная ночь, мороз. Снег скрипел под ногами. Я волновался: чувствовал, что как фоторепортер, как журналист зафиксировал историческое событие, прикоснулся к чему-то значительному в жизни нашей страны.

Волховстрой, Шатурка — первенцы лепинского плана ГОЭЛРО. Какой гордостью светились лица людей, создавших эти станции, которые сейчас рядом с Братской, с гигантами Волжского каскада кажутся такими трогательно маленькими. Ленточка разрезана, загудела турбина.

Помнятся мне раскаты взрыва аммонала на берегах Днепра, первые кадки бетона, уложенные в плотину Днепрогэса. А на Кольском полуострове, в Хибинах, я снимал рождение нового города — несколько бревенчатых домов у подножия богатой апатитами горы Кукисвумчор, первых жителей этого ныне большого индустриального центра Советского Заполярья...

Разве можно забыть Сальскую степь осенью 1929 года, когда по земле вновь организованного совхоза «Гигант» двигалась первая колонна тракторов — тогда еще американских тракторов. Хлестал яростный ливень, завывал студеный ветер. Продрогшие люди на остановках прижимались грудью к горячим радиаторам машин, согревались...

В 1928 году я снимал приезд в Советский Союз Алексея Максимыча Горького, для встречи его я выехал на границу в Негорелое...

Фрунзе, принимающий парад войск на Красной площади...

Михаил Иванович Калинин, я снимал его в приемной, когда он принимал крестьян-ходоков, тепло беседуя с ними.

Парады на Красной площади, съезды в Кремле, полеты аэростатов.

На Ходынском аэродроме торжественная передача военно-воздушным силам эскадрильи самолетов «Ультиматум», построенных на средства трудящихся, в ответ на наглый ультиматум лорда Керзона Советской России.

Приемы послов в Кремле, Чичерин, выходящий из машины с портфелем и палочкой...

Разве сейчас упомянешь все, что снимал. Снимал с увлечением, жадно завоеывая новые и новые ступени мастерства.

Да. фоторепортаж был огромным куском моей творческой биографии, он был моей страстью, школой мастерства, школой журналистики.

Почти всегда на фотосъемках встречался с кинохроникерами. С завистью глядел я на киноаппарат и все больше чувствовал, как «тесно» в статичном фотографическом кадре. Какие широкие возможности отражения жизни дает кино в сравнении с фотографией! Вот где настоящая динамика, настоящее творчество! Начал серьезно подумывать о кинорепортаже. Это стало моей заветной мечтой...

Главным событием, определившим решительно и бесповоротно мое приобщение к профессии кинодокументалиста, был увиденный мной фильм режиссера Владимира Ерофеева «К счастливой гавани». Это был первый фильм, снятый советскими документалистами о капиталистическом мире. Острый кинодокумент, обличающий капитализм, повествующий о революционной борьбе рабочего класса. Впервые в документальном кино были показаны контрасты капиталистического мира — роскошь богачей, нищета рабочих кварталов, стачки, безработица, оупляющий человека рабский труд. Фильм этот был еще немой. Звук еще не пришел в кино, но он был блистательно снят и смонтирован с виртуозной выразительностью. Фильм был сюжетен в самом широком понимании сюжетности произведения, основанного на чистом репортаже.

Увлекла меня в этом фильме работа оператора Юрия Стилианудиса. Как он владел кинокамерой! Как он снимал! Он шел с камерой в толпе, смело переходя на крупные выразительные планы, крепил камеру на автомобиле,

делал умелые, осмысленные панорамы, виртуозно использовал оптику. Здорово снимал.

Я ходил в кино три раза, буквально штудировав каждый кадр. Меня поражала целеустремленность фильма, широта взглядов его авторов на действительность, страстная публицистичность, богатый профессионализм. И одна мысль овладевала мной все сильнее и сильнее: «Хочу так снимать! Я должен научиться так работать, должен овладеть искусством вдумчивого, острого кинорепортажа!..»

ПЕРВЫЕ КИНОСЪЕМКИ Осенью 1929 года я пришел в ГТК — тогдашний Государственный техникум кинематографии. Экзамены. Перед этим на полгода отложил в сторону фотокамеру, бросил работу и, запершись в четырех стенах, взялся за математику, физику, химию. Меня приняли на операторский факультет.

Прошел первый учебный год. Впереди каникулы. С моим другом, тоже студентом, Алексеем Самсоновым достали съемочную камеру «кинамо» и обратились на студию кинохроники с просьбой дать пленку и поручить нам съемки для «Совкиножурнала» в районах коллективизации. Пленку нам дали. Даже больше, чем мы рассчитывали. В путь!

Съемки, сделанные во время этой поездки, вошли несколькими сюжетами в журналы «Совкинохроники». Здесь были и кадры первых тракторных колонн на полях, репортажи коллективизации, помню портреты: сельский активист, избитый бандитами, с перевязанной головой, веселые ребята-трактористы, мрачное лицо кулака, а затем во весь экран — его налитые злобой глаза. Это были острые репортажи рождающегося в жестокой классовой борьбе колхозного строя.

Минул еще один учебный год. Техникум кинематографии был преобразован в институт. Во время вторых каникул мы — трое друзей — Михаил Слуцкий, Алексей Самсонов и я — уговорили Украинскую студию поручить нам короткометражный хроникальный фильм «Фабрика-кухня». Работали с невероятным увлечением. Привлекала механизация процессов производства, фактура механизмов, быстрота, с которой мелькали в кадре руки поваров, шли по конвейеру горы котлет, колбас, хлеба...

В начале 30-х годов я, как и многие мои сверстники-кинематографисты, увлекся творчеством голландского режиссера, тогда оператора — Йориса Ивенса. Его корот-

кометражные фильмы были образцом острого видения, он прекрасно владел кинокамерой, умел в отточенной форме, в четких деталях передавать сюжетную линию. Одним словом, творчество Ивенса было для меня высокой школой.

Я познакомился с Владимиром Ерофеевым. Уже рождалось звуковое кино, Ерофеев был энтузиастом применения звуковых съемок в документальном фильме. Он задумал создать в Средней Азии фильм, основанный на синхронных звуковых репортажах. Меня ошеломило предложение Ерофеева принять участие в фильме в качестве второго оператора. Мальчишку, фоторепортера, студента ВГИКа, еще ничем себя не проявившего в кино, приглашает в свою группу режиссер, которого я по-юношески буквально боготворил. Я решился спросить, почему же все-таки он берет меня. «Я не рискую, верю своему чутью, — сказал он, — вижу в вас единомышленника, знаю ваши фото».

Большой школой была для меня работа с Ерофеевым, этим подлинным фанатиком кинорепортажа. Фильм был интересным экспериментом вторжения в жизнь с микрофоном. Мы снимали шумы экзотических восточных базаров, народные праздники, говор народных балагуров, волхозный оркестр, хлопковые обозы. Шесть месяцев, гордый доверием, я трудился не покладая рук, с невероятным усердием. И хотя снимал ручной камерой, учился работать и со звуком. Каждая удачная документальная звукозапись казалась волшебством, техническим всемогуществом. Уроки этого первого кинопутешествия оказались полезными, запомнились на всю жизнь. Приверженность Ерофеева к звуку в документальном кино впоследствии сыграла огромную роль и в моей работе.

Так прошли четыре года учебы во ВГИКе. Я получил диплом кинооператора.

Меня направили на студию кинохроники. Помню чувство гордости — я стал членом славного коллектива кинохроникеров, уже тогда имевшего за плечами огромный творческий опыт, чистые традиции самоотверженного труда, пренебрежения опасностями, бескорыстного и увлеченного служения делу.

Молодость Центральной студии документальных фильмов это — невзрачный с виду домик в Брянском переулке близ нынешнего Киевского вокзала, где была киностудия «Культурфильм». Сектор кинохроники этой сту-

дни занимал на втором этаже всего лишь две комнаты. Со временем фабрикой кинохроники стал весь дом. Родная, милая наша «Брянка»! Там мужали, набирались опыта и мастерства юные романтики, пришедшие в кино с неистребимой жаждой быть в гуще жизни, те, кому суждено было стать создателями бесценных кинодокументов нашей эпохи.

Начинала группа энтузиастов — операторов, режиссеров, организаторов производства — Виктор Иосилевич, Ирина Сеткина, Сергей Гуров, Николай Кармазинский, Илья Копалин, Самуил Бубрик, Михаил Ошурков, Владимир Ешурич, Сергей Гусев, Алексей Лебедев, Александр Медведкин, Борис Макассев, Михаил Бессмертный, Роман Григорьев, Александр Щекутьев. Студия шаг за шагом выходила из кустарных форм производства, обзаводилась кое-какой аппаратурой. На съемки зачастую ездили на трамвае, на извозчике, пленку проявляли вручную, наматывая ее в темном подвале на деревянные рамы.

Но первым законом была оперативность. Регулярно, трижды в неделю выходил «Совкиножурнал», выходили короткометражные фильмы.

Куда не проникал в эти незабываемые годы человек с киноаппаратом! Он шел глухими таежными тропами с мужественными первопроходцами туда, где закладывались новые города, он в пургу и в стужу был рядом со строителями Магнитки, в знойных пустынях снимал первые километры стальных путей Турксиба, первые тракторы на колхозных полях, первые арктические экспедиции. Он был вездесущ, человек с «Брянки», и немало подвигов совершил, творя свое любимое дело.

Тридцатые годы на Центральной студии кинохроники были ознаменованы становлением документального искусства как искусства самобытного, образной публицистики. Фильмы Ильи Копалина, Лидии Степановой, Михаила Слуцкого, Якова и Иосифа Посельских, Федора Киселева, Леонида Варламова, Арши Ованесовой сверкали творческими находками, прокладывали новые пути в документальном кино, продолжая традиции Дзиги Вертова, Эсфири Шуб, Владимира Ерофеева — основоположников мирового документального кино, которые, к слову сказать, до конца своей жизни не покидали стен Центральной студии документальных фильмов.

С волнением перешагнул я в августе 1932 года порог

студии в Брянском переулке. Исполнилась заветная мечта — в руках кинокамера, я стал штатным оператором.

Увлеченно ринулся я в кинорепортаж. Учился у более опытных товарищей, каждый наряд на событийную съемку принимал как ответственное задание. Самый, казалось бы, незначительный сюжет для киножурнала представлялся мне как очень важный, вызывал щемящее чувство творческого беспокойства — как найти самое точное, самое увлекательное решение, как выстроить на экране ярче, выразительнее лаконичный двухминутный рассказ, повел-лу, репортажную зарисовку, то, что носит профессиональное название «сюжет».

Я был немало удивлен успехом, который выпал на долю одной из моих первых хроникальных съемок для «Совкиножурнала». Мне было поручено снять торжественный пуск Косогорской домны под Тулой. Приехал накануне пуска. Готовилась трибуна для митинга, который должен был состояться сразу же после того, как домна даст свой первый металл.

Я был поражен обстановкой, царившей на площадке пуска. Озабоченные люди обменивались короткими репликами, в который раз проверяли агрегаты, оглядывали свое детище. Наступила ночь, напряженная и тревожная. Никто не спал. Не мог покинуть площадку и я, волнение передалось мне. Я провел ночь у домны, снимая. Снимал людей, их озабоченные лица. Снимал окутанный паром силуэт домны на фоне зловещих, подчеркивавших эту обстановку, ночных облаков, мерцающие огни. Чем кончится эта последняя перед пуском ночь?..

А на рассвете я снял, как домна дала свой металл. Снял озаренные сполохами огня счастливые лица строителей и металлургов, снял огненную реку раскаленного металла и улыбки радости. От съемки митинга и торжественных речей на свой страх и риск отказался.

Этот короткий репортаж, который в киножурнале занял не более полутора минут, был захвален, его стали упоминать во всех обзорах продукции кинохроники. Шум похвал не вскружил мне голову, вызвал даже некоторое недоумение. И только по прошествии нескольких десятилетий, случайно просмотрев старый киножурнал, я искренне высоко оценил работу молодого оператора кинохроники, снявшего когда-то этот сюжет.

В репортаже я стремился к использованию всех выра-

зительных средств кинематографа. Экспериментировал увлеченно и горячо. Кстати говоря, никогда не увлекался вычурностью приема. Так, например, в репортажной съемке старался использовать минимальный свет, обеспечивающий лишь экспозиционную норму, жертвуя сознательно всевозможными световыми эффектами, чтобы не лишать снимаемые эпизоды их жизненной естественности.

Привлекал меня синхронно-звуковой репортаж. И как все просто в наши дни! Бесшумная камера, работающая синхронно с портативным магнитофоном, легкий через плечо аккумулятор... Страшно вспомнить звуковую камеру ШУ-7 — громоздкую, тяжелую, передвинуть ее на шаг можно было только втроем, ухватившись за ножки монументального штатива. А сколько к ней агрегатов, ящиков, проводов, аккумуляторов! И как велик был риск, что лопнет осциллографическая нить, воспроизводящая звук, находившаяся в недостижимом чреве камеры. И все же, в конечном счете, установив камеру, оператор оказывается с глазу на глаз с человеком, с его живой речью. Сейчас, когда новая техника позволяет легко пользоваться этим методом, звук стал неперенным компонентом репортажных съемок. Я увлекался синхронным репортажем в молодые годы, увлечен им и сейчас. Брал звуковую камеру в Арктику, снимая в полярную ночь фильм «Седовцы». Она была со мной и на фронте — мы с Р. Халушаковым в заснеженном лесу под Крюковым в разгар московской битвы записали разговор генерала Рокоссовского. Записаны были нами и гневные слова на летучем митинге в Волоколамске около виселицы с восемью повешенными партизанами. Звуковая камера была со мной в зале Международного трибунала в Нюрнберге, была в открытом море, на стальных эстакадах, во время съемок фильма о нефтяниках Каспия, в Индии, во Вьетнаме, на Кубе.

**ЧТО ТАКОЕ
«СЕНСАЦИОННЫЙ»
КАДР?**

Вспоминаю первое звуковое киноинтервью, снятое мной в июле 1934 года на аэродроме в Москве. Самолет компании «Дерулуфт» пришел в Москву точно по расписанию. Был жаркий июльский день. На аэродроме собрались журналисты, фоторепортеры. Аэровокзала, в нашем современном понимании, тогда на Ходынском аэродроме не было. Пассажирские самолеты приземлялись на северной оконечности аэродрома. Где-то на приколе ржавел и разваливался некогда

грозный «Илья Муромец» — первый в мире четырехмоторный бомбардировщик, похожий на гигантскую бабочку.

В дверях самолета «Дерулуфта» появился человек, одетый в спортивный костюм мягкой шерсти, на нем элегантная серая шляпа, галстук бантиком. В верхнем кармане пиджака — уголок белого платочка.

Бросив беглый взгляд вокруг, слегка сощурившись от ударившего ему в глаза яркого солнца, пассажир шагнул по ступенькам шаткой стремянки на траву. Спустившись, он на минуту задержался, словно желая ощутить наконец твердую землю под ногами, и медленно пошел к группе встречающих.

Узнав накануне о прилете в Москву английского писателя Герберта Уэллса, я добился направления на эту съемку на Ходынский аэродром. Еще в школьные годы, жадно глотая романы Уэллса, проникая в миры, созданные смелой фантазией писателя, я поражался талантливому полету дерзновенной его мысли, устремленной в туманные дали нашей планеты, опережающей самые невероятные научные предначертания ученых.

Позднее я часто обращался мыслями к любимому писателю моей ранней юности, когда стал фоторепортером, а затем кинооператором. Перед моими глазами проходили события, невольно напомиравшие мне об Уэллсе, о его встрече с Лениным, которого писатель назвал «кремлевским мечтателем»: когда я снимал пуск Волховской гидроэлектростанции, Шатурской электростанции и на берегах Днепра, потоки бетона, низвергавшиеся в тело плотины Днепрогэса. И на Волхове и на Днепре вспоминались мне слова: «Россия во мгле», «в какое бы волшебное зеркало я ни глядел, не могу увидеть эту Россию будущего...» Бурные события конца 20-х годов и начала 30-х годов активно полемизировали с Уэллсом.

Направляясь на Ходынский аэродром для встречи Уэллса, я решил взять у него киноинтервью. Звуковая кинокамера была громоздка, но все же я притащил ее на аэродром.

Он медленно шел к машине, когда я остановил его. В руке у меня был микрофон. Уэллс вопросительно взглянул на меня:

— Что вы хотите?

— Несколько слов для кинохроники.

— А что, собственно говоря, я должен вам сказать?

— Цель вашего приезда в Москву, мистер Уэллс.

Впрочем, можете говорить только то, что захотите,— почти умоляюще сказал я, в то же время прочно преграждая ему путь. Он невольно остановился, задумался и спросил:

— Можно говорить?

— Одну минуту! — сказал я и, передав микрофон помощнику, занял место у съемочной камеры. Кивком головы дал сигнал начинать.

Уэллс взглянул в объектив камеры настороженным взглядом. Говорить ему явно не хотелось. Возможно, потому, что он не знал еще, что сулит ему новый визит в Советский Союз, как пройдет предполагаемая встреча со Сталиным, что он на этот раз увидит в России. Подумав несколько секунд, он сказал:

— В двадцатом году я был в России и виделся с Лениным. Ленин сказал мне: «Приезжайте к нам через десять лет». Прошло, правда, четырнадцать лет, но я все-таки приехал.

Сказав это, Уэллс развел руками, давая понять, что больше он ничего не может сказать. И пошел к машине.

В этот же день он посетил Мавзолей Ленина, затем просмотрел фильм Вертова «Три песни о Ленине». 25 июля я снимал Уэллса на Красной площади во время физкультурного парада, мои товарищи — ленинградские кинооператоры — снимали его встречу с Павловым в Колтушах.

Просматривая свои кинокадры 30-х годов, я пытливо вглядываюсь в лицо человека, одетого в спортивный костюм, вижу его серые глаза, щетинку усов, папку в руке, слышу голос молодого кинооператора: «Пожалуйста, мистер Уэллс, несколько слов для кинохроники!» И жалею, что мистер Уэллс в тот солнечный день на московском аэродроме был так насторожен, так неразговорчив...

Еще один памятный репортаж. 26 февраля 1934 года уже в конце рабочего дня мне позвонил домой знакомый товарищ из Коминтерна. «Час тому назад,— сказал он,— нам сообщили, что западную границу СССР пересек немецкий пассажирский самолет. Из Кенигсберга передали, что в самолете только три пассажира. Возможно, что это...»

В эти дни вся наша страна, люди мира следили за волнующим финалом Лейпцигского процесса, где на протяжении нескольких месяцев Георгий Димитров вел мужественный поединок с фашизмом. Несгибаемый боец, коммунист выступал на этом позорном фашистском судилище

как гневный обвинитель. Судьи в Лейпциге оказались не в состоянии вынести смертный приговор Димитрову, Попову и Таневу. Советское правительство приняло трех болгар в гражданство СССР, но они еще были в фашистской тюрьме, где жизнь их висела на волоске.

Неужели они? Звонок в редакцию «Известий». Только что агентство Рейтер передало по телеграфу, что трое болгар отправлены из Берлина самолетом в неизвестном направлении...

Я ринулся на студию. Молниеносно погрузили в машину съемочную и осветительную аппаратуру. По городу наша машина мчалась, проскакивая красные светофоры. На Ленинградском шоссе мы обгоняли спешивших на аэродром людей. Они бежали группами, одиночками, у некоторых в руках были свернуты знамена. Значит, весть о таинственном самолете уже начала облетать Москву.

На аэродроме были несколько официальных лиц, сотни две людей. Вечерело. Скорее подключить осветительные приборы! Никто ничего точно не знал, у всех была лишь надежда: может быть, это Димитров.

А толпа стихийно росла. Приходили колонны рабочих из расположенных в районе аэродрома заводов. Над головами заколыхались знамена. Собралось около тысячи человек. Примчались товарищи из Коминтерна. Гнетущая тишина напряженного ожидания. Вспыхнули голубым светом осветительные приборы, погорели минуту и погасли. Слава богу, свет опробован, успели подключить.

И вдруг из низко нависших облаков с ревом вынырнул большой самолет. Пронесся над головами и пошел на посадку. На хвостовом оперении была черная свастика. Лапына людей хлынула на летное поле, окружила самолет. В наступившей тишине из пилотской кабины вышли двое летчиков в военной фашистской форме со свастиками на рукавах.

В двери самолета показалось знакомое по фотографиям волевое лицо Георгия Димитрова. Он оказался в ликующей толпе друзей, его обнимали, с головы его свалилась шапка. Что-то беззвучно шептали его губы, камера запечатлела слезы на его лице. Позади — фашистский застенок, напряженная борьба, блистательный поединок с беснующимся, рычащим от бессильной злобы Герингом: «Вы боитесь моих вопросов, господин премьер-министр!..» Девять месяцев борьбы за честь своей партии! Он на свободе. Страна Советов вырвала мужественного борца из

кровавых лап фашизма, он ступил на нашу землю как Гражданин Союза Советских Социалистических Республик. Он дома!

Кто-то запел «Интернационал». Димитров стоял без шапки, окруженный боевыми товарищами, снежинки ложжились на его шевелюру, тронутую седью.

Съемка была продолжена в номере гостиницы «Люкс» на Тверской улице, ныне улице Горького. «Дома» — так был назван короткий репортажный очерк о прилете Димитрова. Вечером на последних сеансах экстренный выпуск кинохроники уже демонстрировался в московских кинотеатрах.

Нам, советским кинорепортерам, не чуждо слово «сенсация». Но не в том понимании сенсации, на которую всегда были так падки пресса и кинохроника капиталистических стран. Не стремление вызвать интерес к мелкому факту, а хроника событий, имеющих ценность не одного дня — ценность для истории человечества. Ярким примером этого может послужить кадр, снятый оператором Михаилом Шнейдеровым — водружение на крыше рейхстага Знамени Победы. Этот «сенсационный» кадр переживет века. В моей жизни кинорепортера сенсационными были съемки некоторых событий, которые оставили след в истории, таких, как съемка пленения фельдмаршала Паулюса в Сталинграде, как первые кадры, снятые в освобожденном нашими войсками лагере смерти Майдаке, как подписание акта капитуляции Германии, как первые кадры фашистских главарей на скамье подсудимых в Нюрнберге.

Советский кинооператор, увлеченный своей работой, не сетует, что труд его недолговечен, что каждый новый день вытесняет события минувшего дня и кинозритель не пойдет смотреть устаревший киножурнал. Нет, репортаж события, взволновавшего миллионы людей, не умирает, не становится бледной тенью прошлого, он продолжает жить. И напротив, по мере того как запечатленное событие становится историей, кинокадры приобретают все большую ценность.

Довелось мне, еще молодому кинооператору, запечатлеть вошедший в историю подвиг советских людей, штурмовавших мертвую пустыню Кара-Кум.

1933 год был годом завершения первой нашей пятилетки. Гордость нашего народа — первые советские автомобили решено было опробовать, испытать в условиях

бездорожья. Для испытания была избрана труднейшая трасса, пролегающая через степи, горы, через мертвые пески, вязкие солончаки. Путь лежал через девятнадцать республик, областей, краев нашей страны. Десять тысяч километров. Около ста человек — водителей, инженеров, конструкторов, ученых, механиков — были участниками этого небывалого похода.

Четыре десятилетия отделяют нас от беспримерного подвига советских автомобилистов — покорителей пустыни. Но никогда не изгладятся в памяти эпизоды героической борьбы людей с неумолимой стихией знойного безмолвия мертвой пустыни. Колонне преграждали путь горы сыпучего песка, участники пробега, изнемогая от адской жары, помогали машинам преодолевать барханы.

Много лет бережно хранил я потертую «общую» тетрадь со своими путевыми записками о путешествии через пустыню Кара-Кум — первой экспедиции, в которой участвовал молодой кинооператор. Вечерами в пустыне при свете костра бегло записывал я в эту тетрадь все наши приключения. Первая запись:

«6 июля 1933 г. Из ворот Центрального парка культуры и отдыха им. А. М. Горького выехали двадцать три машины, покрашенные в белый цвет. Семнадцать грузовых и шесть легковых машин. Я в машине ГАЗ — полугорке. В колонне она идет под номером «6». На борту каждой машины надпись: «Москва — Кара-Кумы — Москва». Нас тепло провожают москвичи. Впереди 10 тысяч километров пути».

По неизведанной трассе, идущей от развалин древнего города Куня-Ургенча, через пустыню Кара-Кумы, через солончаки и сыпучие пески колонна советских машин пробивала себе путь к берегам Каспийского моря. За рулями автомобилей, штурмовавших пустыню, сидели создатели этих машин — автоконструкторы, инженеры, механики, начальники цехов Горьковского и Московского автозаводов.

Мучительный зной раскаленной пустыни, жажда валили людей с ног. На каждого участника пробега полагалась жесткая суточная норма воды. В эту норму входила вода и для бритья, и для умывания, и горячая жидкая пища, и, наконец, питьевая вода.

Пить!

Только тот, кто испытывал мучительную жажду в пу-

стыне, поймет, что нет большего наслаждения, чем глоток воды, освежающий воспаленные десны, пересохший язык и гортань.

Человек, страдающий от жажды, прикладывает к распухшим от зноя губам флягу с водой. Сначала он поболтает флягу около уха, чтобы определить, много ли еще в ней воды. Нужно обладать большой силой воли, чтобы не высосать всю дневную норму в один прием. Как тяжело оторвать флягу от рта, решительно завинтить пробку!..

Днем в кабинах машин температура доходила до семидесяти градусов.

Машины буксовали в песках, расходуя драгоценную влагу. Вода в радиаторах кипела. Люди заливали в кипящие радиаторы последние капли из личных фляг. Чтобы облегчить машину, шли, утопая ногами в раскаленном песке. Ломали ветки саксаула, подкладывали их под буксующие колеса и из последних сил подталкивали машину.

Путь автоколонны преграждали отвесные, высотой сто пятьдесят метров обрывы плато Устюрт, гряды песчаных барханов и глубокие каньоны древнего русла Аму-Дарьи, которые здесь зовут Дарьялыком.

Проводником автоколонны был старейший туркмен Кениме-Ших. Молчаливый старик — часами не услышишь от него ни одного слова. Очень красив был Кениме-Ших. Тонкое, худое лицо его словно отлито из темно-коричневой бронзы. Из-под гладко выбритого подбородка росла черная густая борода. Курчавая бахрома высокого тюльпека нависала над черными зоркими глазами храброго воина — жителя пустыни.

На его гимнастерке, побелевшей от солнца, сверкал боевой орден Красного Знамени. Кениме-Ших сражался с атаманом басмаческих банд Джунаид-ханом — наемником англичан, дрался в песках с войсками английских интервентов.

Кениме-Ших поражал нас знанием пустыни. По одним ему известным признакам определял он направление пути автоколонны.

Он поднимался на вершину бархана и долго смотрел вдаль. Потом разминая на ладони сорванную ветвь тамариска, изучал поверхность почвы, потом снова долго и внимательно оглядывал местность. Командор терпеливо ждал, вопросительно глядя на Кениме-Шиха.

— Куда пойдём? — спрашивал он наконец.

Түркмен, протянув руку к горизонту, говорил:

— Там колодец. Придем к нему до захода солнца.

— По машинам!

Перед заходом солнца экспедиция разбивала лагерь у долгожданного колодца. Кениме-Ших никогда не ошибался.

Наша автоколонна продолжала продвигаться по пустыне.

Участники пробега и машины с честью выдержали испытания первых дней. Тяжело было с водой. Нужно беречь каждую каплю. Но не привыкшие к зною пустыни люди расходовали воды больше, чем полагалось по установленной норме. Из-за сильной перегрузки моторов, штурмующих непроходимые барханы, пришлось доливать радиаторы машин из питьевого резерва. Словом, положение с водой становилось угрожающим.

Ближайший колодец Узун-Кую был на расстоянии ста километров. Но никто не знал, найдем ли мы в Узун-Кую достаточное количество годной питьевой воды. Правда, к колодцу Узун-Кую две недели назад был отправлен караван верблюдов с водой. Но нам не было известно, дошел ли туда караван. Решение было одно: экономить каждую каплю воды и всеми силами пробиваться к колодцу Узун-Кую.

Но неожиданно на нашем пути появилось препятствие, которое могло нас сильно задержать и усложнить экспедицию, — тяжелый песчаный подъем! Кениме-Ших сказал, что это единственный путь к колодцу Узун-Кую, обходных путей нет. Только форсировав этот, казавшийся непреодолимым, крутой песчаный барьер, машины выйдут на ровное плато и без труда достигнут колодца.

Шестьдесят первые сутки со дня выхода нашей колонны из Москвы ушли на этот памятный всем участникам штурм. Это было, пожалуй, самым тяжелым испытанием для машин и людей.

Несколько часов мы потратили лишь на то, чтобы устелить саксаулом высокий, тридцатиградусный подъем.

Все сто человек, ухватившись за толстые канаты, тащили машины наверх. Над пустыней снова — в который уже раз! — проносилось:

— Э-эх, взя-а-али!..

Вместе с кинооператором Эдуардом Тиссе мы снимали этот штурм в песках.

Нелегко было продвигаться с тяжелым киноаппаратом в такую жару.

Командор пробега Александр Максимович Мерецкий категорически запретил нам принимать участие в вытаскивании машин.

— Ваше дело — киносъемка, — сказал он. — Берегите силы.

Но мы все-таки, отсняв несколько кадров, бросались помогать товарищам, толкали машину и снова брались за киноаппарат.

Обнаженные до пояса люди, мокрые от пота, цеплялись за машины, тащили их, напрягая все силы. А солнце безжалостно палило, обжигало, выгоняло из людей последние капли влаги, которая ручьями катилась по обнаженным коричневым телам.

Пить!

Глоток воды!

Чего не отдал бы тогда каждый из нас за каплю холодной воды, за один лишь глоток ее! Но к полудню фляги уже были пусты, от дневной нормы ничего не осталось.

Где-то впереди колодец, долгожданный караван и бочки с прохладной водой. Но путь к воде преграждал песчаный подъем...

Вперед! Только вперед!

Воспаленная гортань горела как в огне. В глазах плыли радужные круги, человек ощущал каждый удар своего сердца, терял силы. Ноги увязали в горячем песке, а пад головой, в самом зените, словно заполняя собой весь небосвод, стоял — казалось, на одном месте, без движения — раскаленный диск солнца.

В сознании людей возникали мысли: есть же где-то облака, освежающие дожди и, наконец, существуют же в природе киоски с холодной газированной водой!

Однако у людей, штурмовавших пески, не было уныния. Иногда даже были слышны веселый смех, шутки.

На самых тяжелых участках появлялись руководители технической комиссии автопробега богатырь Эхт и на вид хрупкий, малого роста паренек Саша Черкасский — секретарь комсомольской организации нашей колонны.

— А ну, подхватили, ребята, разом... Э-эх!..

Тяжелую машину облепляли кругом, упирались в ее

кузов плечами, тянули за канат, и она трогалась, извергая фонтаны пара из кипящего радиатора.

Облизывая горячим языком потрескавшиеся губы, люди с сожалением смотрели, как в этих гейзерах пара улетучивалась, уходила в воздух драгоценная вода.

К вечеру часть машин была наверху. Решено было выдать людям добавочную порцию горячего чая.

Утром штурм продолжался. Последнюю машину вытащили лишь к концу дня. Перед автоколонной был открыт путь к колодцу Узун-Кую.

Обычно колодец в пустыне представляют как зеленый оазис, издаലെка манящий путешественника прохладной тенью развесистых деревьев, а под деревьями — журчащий чистый родник.

Ничего подобного в Кара-Кумах не увидишь. Представьте себе отверстие в полметра — метр шириной на небольшой площадке, затерянной среди барханов. В шагах может пройти караван или неопытный путник, даже не заметив этого отверстия.

А на карте пустыни колодец обозначен крупным кружком, как город, и между такими кружками пролегли тонкие пунктиры — древние караванные тропы.

Одна из караванных троп и привела нашу автоколонну к колодцу Узун-Кую.

Еще издалека мы услышали рев верблюдов: караван с водой ожидал нас у колодца. Он был послан навстречу автопробегу правительством Туркмении.

Первым подкатил к колодцу легкой «газик» командора.

Его встретил высокий седой туркмен, водитель каравана — караван-баши. Он доложил, что правительственное задание выполнено: пятьсот ведер пресной питьевой воды доставлено в центр пустыни.

Командор горячо его поблагодарил. Старика окружили участники пробега. Каждый хотел пожать ему руку, выразить благодарность за помощь, за воду. Киноаппарат запечатлел эту теплую встречу.

Пятьсот ведер воды!

И в колодце воды тоже оказалось вдоволь.

Пить! Медленно вливать в иссохшее горло холодную воду... обливаться из ведра разгоряченное, покрытое пылью тело... лить прохладную воду себе на голову или просто погружать лицо в ведро и, наслаждаясь прохладой, там, в ведре, сосать воду распухшими губами...

С тех пор прошло много лет, но я не могу смотреть на воду безразличным взглядом — льется ли она из крана на кухне московской квартиры, или серебрится в горном роднике. Это уважение к воде у человека, хоть раз испытавшего жажду в пустыне, — на всю жизнь...

Много лет хранил я тетрадь с записями, сделанными при мерцающем свете вечерних костров в автопробеге Москва — Кара-Кумы — Москва, вспоминал о тяжелой борьбе с песками.

Какая радость охватила нас, когда с высокого холма неожиданно увидели мы вызолоченные солнцем дали залива Кара-Богаз-Гола!

Пройдя тысячу километров по пустыням Туркмении, колонна автопробега вышла к берегам Каспийского моря...

Впереди предстоял еще долгий путь к Москве. Погрузившись на корабли, автомобили пересекли Каспийское море, прошли от Баку через Кавказский хребет, затем проделали путь от Орджоникидзе к Ростову, потом Харьков — Воронеж — Москва.

Стартовав в Парке культуры и отдыха в Москве 6 июля 1933 года, машины, пройдя 9500 километров, через девятнадцать республик, краев и областей, через степи, горы, пустыни, завершили свой путь в Москве 30 сентября.

Для меня, начинающего кинооператора, участие в Каракумском автопробеге было первым серьезным испытанием. Рядом со мной в пробеге был оператор Эдуард Тиссе, с которым мы, вернувшись в Москву, вместе сделали звуковой фильм о пробеге. Тиссе снимал хронику еще в годы гражданской войны, он был в числе кинооператоров, которые запечатлели образ Владимира Ильича Ленина, он был создателем бессмертного «Броненосца «Потемкина». Я же только начинал свою работу в кинохронике.

Прошли годы. Меня неудержимо тянуло в пустыню.

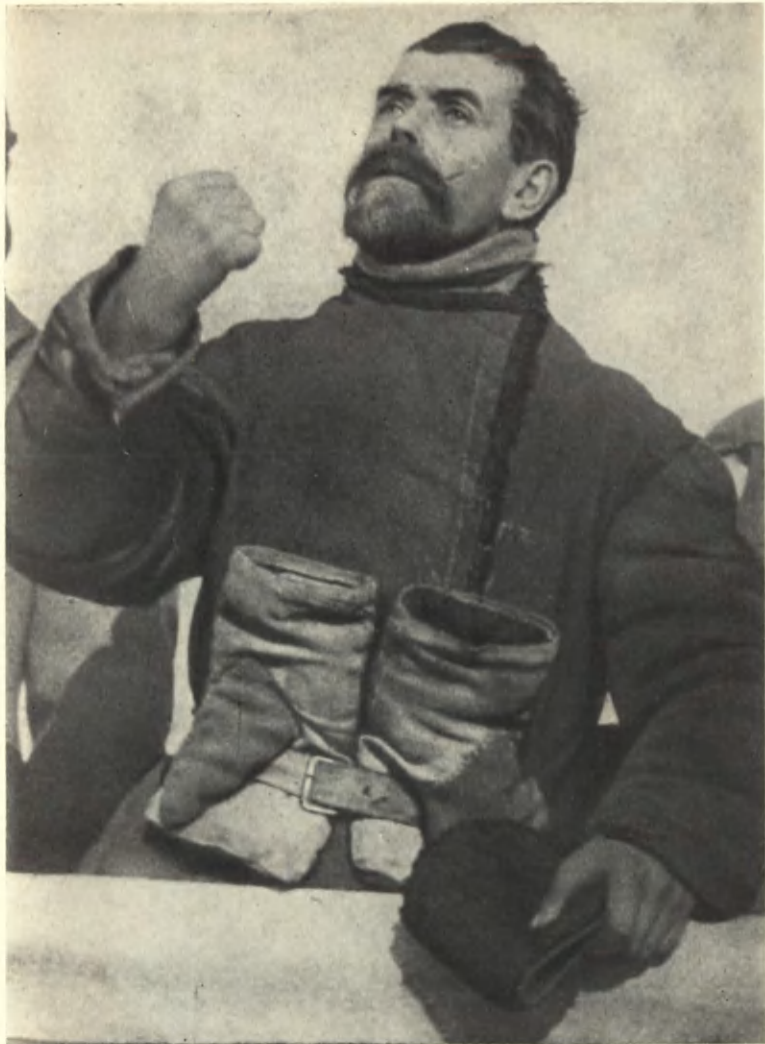
Если вы хоть раз совершите путешествие в Арктику, всю жизнь будете мечтать о холодном сверкании голубых льдов, о сказочной прелести северного сияния в поллярную ночь. И даже мороз, бешеная пурга и воспоминания о тяжелой борьбе со злой стихией вызывают непреодолимое желание снова вернуться в суровый край — трудиться и жить там.

Но почему же люди с улыбкой качают головами, не



Фоторепортаж был моей страстью. 1926 г.





Первые годы фоторепортажа, первые снимки.
Крестьянин, выступающий на сельском митинге.
Снимок был напечатан в журнале «Огонек».
1926 г.

«Снимок Роалда Амундсена у подъезда отеля
«Метрополь» — удача молодого фоторепортера.





Георгий Димитров после Лейпцигского процесса
прибыл в Москву. 1932 г.

↪ Увлечение «необычным» ракурсом — красноар-
меец на посту у Шаболовской радиостанции.
1928 г.



Одна из последних фоторепортажных съемок, перед тем как стал кинооператором,— Алексей Максимович Горький с внучками Дарьей и Марфой. 1931 г.



Фотоэтиюд «На рыболовном траулере» в Баренцевом море. 1929 г.





На съемках в пустыне в автопробеге Москва —
Кара-Кум — Москва. 1933 г.

✧ Автопробег Москва — Кара-Кум — Москва. Сле-
допыт пустыни Кемиме-Ших. 1933 г.



Бои в Мадриде. 1936 г.



Матэ Залка и П. И. Батов в Испании. 1937 г.

Советские добровольцы летчики-истребители на аэродроме на Алкала де Энарес. Первый ряд (справа): Г. Захаров, Е. Ярлыкин, П. Агафонов, Н. Мирошниченко. Второй ряд: К. Ковтун, П. Рычагов, К. Ковалевский, Н. Шмелько.





Михаил Кольцов на переднем крае обороны Мадрида. 1936 г.

Илья Эренбург. Барселона. 1936 г.

✦ Эрнест Хэмингуэй на командном пункте 12-й интербригады во время боев на Хараме. 1937 г.





Флагманский ледокол «И. Сталин» в полярную ночь в Гренландском море пробивается к «Г. Седову». 1940 г.

✦ Полярный капитан Михаил Белоусов. Радиоразговор с дрейфующим кораблем «Г. Седов». 1940 г.



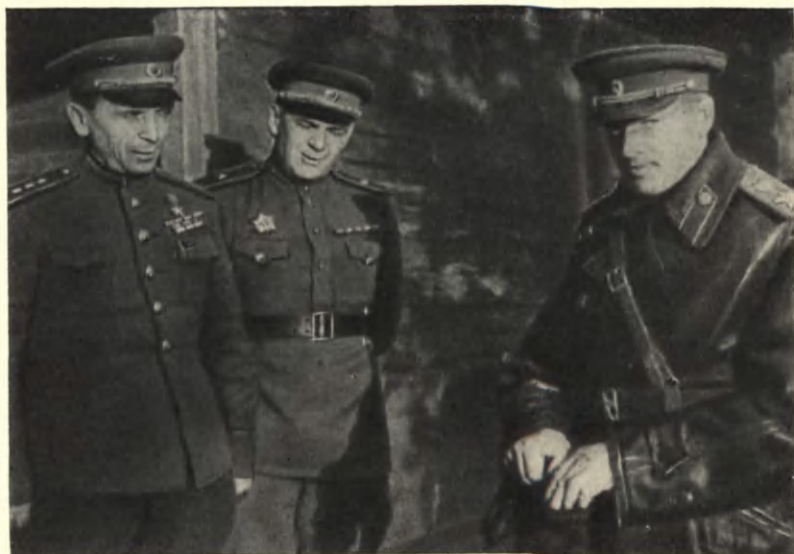
Бой на окраине деревни. Внизу — допрос пленного немецкого солдата. Июль 1941 г.



Под Москвой. Декабрь 1941 г. Внизу:

Ленинград в блокаде. Апрель 1942 г.





Сталинград. Допрос фельдмаршала Паулуса. Слева — представитель Ставки маршал артиллерии Н. Н. Воронов. В Испании его звали Вольтер. 2 февраля 1943 г.

Белоруссия. Командующий 1-м Белорусским фронтом маршал К. К. Рокоссовский, командующий 65-й армией генерал-полковник П. И. Батов (слева), член Военного совета армии Н. А. Радецкий. 1944 г.



Берлин, Карлсхорст. 9 мая 1945 г. Подписание акта безоговорочной капитуляции Германии. Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков.



Фельдмаршал Кейтель подписывает акт безоговорочной капитуляции Германии. Кадр из кинохроники.



Нюрнбергский трибунал. Фото Е. Халдея. 1946 г.





«Повесть о нефтяниках Каспия». Буровой мастер Михаил Каверочкин. Фото Е. Халдея. 1946 г.



Эстакада на Нефтяных камнях протянулась на 120 километров в открытом море на Каспии. 1953 г.



Вьетнам. Вражеский форт взят. 1954 г.



Президент Хо Ши Мин. 1954 г.



Куба. Фильм «Пылающий остров». Фидель с
крестьянами в провинции Ориенте. 1960 г.



Куба. Эрнесто Че Гевара. 1960 г.



Оператор **Марк Трояновский** на Северном полюсе. 1937 г.



Оператор **Борис Шер** перед боевым вылетом. 1943 г.



Оператор Николай Лыткин. 1944 г.

Операторы Борис Небылицкий и Сергей Киселев. 1960-е гг.



Куба. На съемках фильма «Пылающий остров».
1961 г.

верят, что можно мечтать о пустыне, с волнением вспоминать о ней!

Нужно побывать в пустыне, чтобы увидеть ее красоту и многообразие; почувствовать притягательную ее силу; ощутить прелесть ночевки под сверкающим куполом каракумского неба, когда на смену дневному зною приходит освежающая ночная прохлада; познать радость приближения к долгожданному колодцу и испытать преданность друга, разделившего с тобой последние капли воды. А с чем можно сравнить благородные чувства отважных людей — тружеников, прокладывающих воде новые и новые пути в пустыню, превращающих ее мертвые пространства в цветущую страну!

Тому, кто знает о пустыне лишь понаслышке, трудно представить, что можно тосковать по ней. Я тосковал. И впоследствии не раз совершал со своей кинокамерой путешествия по Кара-Кумам.

Впервые после автопробега 1933 года я снова участвовал в спортивном автопробеге, трасса которого проходила через Уральские степи, через Кара-Кумы, горными дорогами Памира. Это было в 1936 году.

Обе экспедиции были экзаменом на выносливость не только для автомобилей. Для молодого кинооператора это было испытанием умения снимать в тяжелых условиях.

НО ПАСАРАН!

Колонна автомашин Горьковского завода, завершавшая на улицах Москвы тридцатитысячекилометровый скоростной пробег по маршруту Москва—Горький—Кара-Кумы—Памир—Москва, остановилась около Красной площади. Цепочка милиционеров преграждала путь. В те времена еще по Красной площади проходила трасса уличного движения вдоль ГУМа, на этот раз площадь была заполнена людьми. Москвичи собрались на массовый митинг солидарности с испанским народом, который поднялся на борьбу с мятежными фашистскими генералами.

Когда наша автоколонна приближалась к Москве, в каждом городе, в каждом населенном пункте мы хватали газеты, жадно прочитывая сообщения из Испании. Телеграф приносил горячие новости из Мадрида, Барселоны, Севильи. Там шли уличные бои. Во мне зрело непреодо-

лимое желание быть свидетелем, участником испанских событий, которые, я чувствовал, войдут знаменательной вехой в историю нашего века. Стоя за цепочкой милиционеров, вслушиваясь в слова ораторов, решил, что сделаю все, от меня зависящее, чтобы немедленно улететь в Испанию.

Первую ночь в Москве после гигантского путешествия провел без сна. До утра писал письмо Сталину. Я понимал — оно должно быть предельно лаконичным, емким, содержащим концентрат веских аргументов. Не личного порядка, не «мне хочется» — политической аргументации: советский кинооператор обязан сегодня быть там. Именно советский кинооператор.

По пустынной Москве в пять часов утра я прошел до Кремля и, войдя в будку бюро пропусков у Боровицких ворот, передал дежурному конверт: «Иосифу Виссарионовичу Сталину. Лично». Письмо у меня приняли, не задав ни единого вопроса. Теперь оставалось ждать.

А жизнь шла своим чередом. Был проявлен материал, снятый во время автопробега. Просмотрел я и те материалы, которые были ранее присланы мной в Москву с различных этапов маршрута. Порадовался съемкам в пустыне Кара-Кум, которые отражали невероятные трудности преодоления автомобилями песчаных барханов, непосильный труд людей. Глядя на экран, вспоминал с каким трудом давался каждый кадр. Ведь в этом пробеге я был не только оператором, но и водителем машины. Снимать мог только когда на короткое время передавал управление машиной папарнику.

Просматривая материал, ловил себя на том, что сознательно отвлекаюсь от главного, чем живу. А жил я только и только Испанией. Жадно вчитывался в корреспонденции Михаила Кольцова, который был уже там и присылал в «Правду» изумительные репортажи. Он писал о Барселоне, которая в эти дни представляла собой поток раскаленной человеческой лавы, неслыханного кипения огромного города, переживающего дни высшего подъема, счастья. Все всколыхнуто, выплеснуто паружу, доведено до высшей точки напряжения. Я представлял себя с камерой на улицах, о которых Кольцов писал: «Нельзя не заражаться этим настоящим в воздухе волнением, слыша, как тяжело колотится собственное сердце, с трудом продвигаясь в толчее среди молодежи с вшивками, женщин с цветами в волосах и обнаженными саблями в руках,

стариков с революционными лентами через плечо. Среди песен, оркестров, воплей газетчиков, мимо уличных митингов и торжественного шествия рабочей милиции...» Как не быть сейчас там с камерой в руках! Особенно поразило меня, что в похоронных процессиях павших бойцов несут в гробах не горизонтально, а вертикально. И мертвые, как бы стоя, призывают живых продолжать борьбу. А вслед за похоронами несут растянутые одеяла и простыни, и публика щедро швыряет в них серебро и медь для помощи семьям убитых... Стоило научиться держать камеру в руках только ради того, чтобы запечатлеть все это.

Прошла неделя, как я передал письмо в кремлевское бюро пропусков. Никакого ответа. Где-то я, однако, верил, что письмо не останется без ответа.

15 августа на киностудии в Брянском переулке был утренний просмотр сюжетов, на котором обычно присутствуют все операторы, режиссеры студии. Просмотр хроникальных съемок, присланных из разных концов страны.

Приоткрылась дверь, полоска света проникла в темный просмотровый зал, и голос секретаря дирекции бросил в темноту:

— Кармен и Макасеев, срочно к директору студии!

Во мне все оборвалось, внутренний голос подсказал: «Испания!...»

Через двадцать минут мы с Борисом Макасеевым сидели в кабинете у Бориса Захаровича Шумяцкого, тогдашнего пачальника Главного управления кинематографии. Он сказал нам, что состоялось решение правительства направить двух кинооператоров в республиканскую Испанию. Шумяцкий ни словом не обмолвился о моем письме, возможно, он и не знал о нем. Мне было ясно, что письмо сыграло, очевидно, свою роль в состоявшемся решении. Прежде всего сказал Шумяцкий, он считает пужным спросить нас, согласны ли мы на эту поездку. В Испанию идет война, съемки сопряжены с риском для жизни, без нашего формального согласия он не считает возможным принять решение о нашей командировке. И я, и Макасеев заявили о безоговорочном согласии. Шумяцкий предложил незамедлительно начать подготовку к экспедиции.

Итак, летим в Испанию! Главной, конечно, задачей было технически, всесторонне обеспечить предстоящую работу. Прежде всего аппаратура. Лучшей репортажной

намерой в те годы была американская камера «аймо» фирмы «Белл-Хауэл», которая была на вооружении всех кинорепортеров мира. Советские операторы работали тоже на этих камерах. Последняя модель «аймо» была снабжена револьверной сменой оптики. Обе камеры — моя и Макасева — были тщательно проверены. Пленки мы с собой не брали, была дана телеграмма в Париж о закупке пленки «кодак» в специальной упаковке для камеры «аймо», на 30-метровых бобинах с черными ракордами, дающими возможность быстро перезарядить камеру на свету.

На следующий день после встречи с Борисом Захаровичем Шумяцким мне и Макасееву были вручены заграничные паспорта. Испанской визы в паспортах не было — Советский Союз в то время не состоял в дипломатических отношениях с Испанией, в Москве не было испанского посольства. Визу испанскую нам предстояло получить в Париже. Вечером того же дня у нас были и билеты на самолет Москва—Берлин—Париж, который вылетал 19 августа 1936 года.

На аэродроме нас провожали лишь несколько студийных товарищей и родные. Отъезд был обставлен почти секретно, очевидно, потому что лететь нам предстояло через территорию фашистской Германии, которая уже открыто стала на сторону испанских мятежников.

В то время в Москве был один лишь гражданский аэродром — Центральный, который традиционно называли Ходынской. Мы вышли на летное поле к пассажирскому самолету «фоккер» советско-германской фирмы «Дерулуфт». Одномоторный фанерный самолет казался тогда вершиной комфортабельности. К двери была приставлена стремянка в две ступеньки, мы заняли свои места в этом десятиместном «лайнере», хвостовым костылем опиравшемся на землю.

Первая посадка была в Великих Луках. Здесь были пройдены пограничные формальности, мы вручили пограничнику наши красные заграничные паспорта. Следующая посадка в Каунасе — это уже была «заграница». Нам предложили пройти в буфет аэровокзала, переждать, пока будет запущен самолет. Помню, мое воображение было потрясено лежащей на вазе в буфете связкой бананов. Никогда в жизни бананов я не ел, впервые мне представилась эта возможность. Подойдя к стой-

ЭРЕНБУРГ ПРЕДЛАГАЕТ
ПЛАН РАБОТЫ

ке, я непринужденно попросил пару бананов, бросил на прилавок доллар.

Наш самолет сделал большой круг над Берлином. Город был расцвечен флагами со свастикой. В эти дни в Берлине проходила Всемирная олимпиада тридцать шестого года. Наш самолет с глубоким креном на небольшой высоте пролетел над заполненным до отказа олимпийским стадионом.

Когда колеса самолета коснулись аэродрома Темпельгофф, нас охватило чувство тревожной напряженности — мы ступили на вражескую землю.

В Берлине — смена самолета. Пассажиров пригласили пройти в ресторан, самолет начали разгружать. Мы беспокоились о своем багаже, старались не упустить его из виду, но не могли же мы бежать за носильщиками. Тележки с чемоданами скрылись в аэродромной суতোлке, мы примирились с необходимостью довериться авиационной фирме, которая обязана была доставить и нас, и наш багаж в Париж.

Еще более, чем бананами, я был потрясен зрелищем живых фашистов. В черных и серых мундирах, со свастиками на рукавах, с железными крестами в петлицах. Не покидала мысль, что через несколько дней я буду на горячей испанской земле. Ошеломительным был этот бросок из Москвы в скопище врагов, улыбающихся, элегантных, козыряющих, беседующих друг с другом.

Быстро пролетели минуты в ресторане аэропорта. Я не притронулся к шницелю, выпил только бокал пива, глядя по сторонам. И вот уже предлагают пройти к самолету.

Поражал необыкновенный порядок в берлинском аэропорту. Не зная языка, можно было свободно ориентироваться по указателям, легко найти нужный выход к нужному самолету. Мог ли я тогда представить себе, что через несколько лет буду в майский день на этом же самом Темпельгоффском аэродроме снимать пленного фельдмаршала Кейтеля, которого выведут из самолета и повезут по разрушенному бомбардировками Берлину подписывать безоговорочную капитуляцию фашистской Германии, разгромленной вооруженными силами Советского Союза! Всего лишь несколько лет! Как далеко было до этого в Берлине, расцвеченном флагами международных Олимпийских игр...

Мы пересели в новый самолет. До Парижа будем лететь на трехмоторном «юнкерсе». Он был заполнен пасса-

жирами. За десять минут до отлета в проходе появился пилот, затянутый в элегантный мундир с золотыми пуговицами.

Приложив холеную руку к черному козырьку форменной фуражки, здороваясь с пассажирами, он прошел в пилотскую кабину, от него пахло дорогим одеколоном. Несколько лет спустя он, возможно, сидел за штурвалом «хейнкеля-111» и сбрасывал бомбы на Великие Луки.

Снова круг над Берлином, под крылом папорама фашистской столицы, расцветченной полотнищами со свастикой, а дальше — аккуратненькие квадратики земли, красные черепичные крыши, игрушечные домики, деревушки. Бельгия, посадка в Брюсселе. Уже стемнело, когда мы увидели на горизонте приближающееся зарево Парижа.

Мы сели на сверкающий огнями аэродром Ле Бурже около восьми вечера. Полет продолжался почти двенадцать часов. Сейчас, оторвавшись от бетонной дорожки Шереметьевского аэропорта, реактивный самолет ТУ-104 без посадки покрывает расстояние до Парижа всего за три часа.

Выйдя из самолета, мы оказались в объятиях незнакомых приветливых людей, сотрудников нашего парижского посольства. Среди них был Александр Александрович Садовский, представитель Инторгкино. Высокий, элегантный, в сером костюме, с палочкой. Ноги он потерял, когда партизанил в Приамурье. После боя, раненый, он остался на полотне железной дороги, поезд отрезал ему обе ноги. Садовский сразу же по-деловому рассказал о нашей дальнейшей программе в Париже. Отвозим вещи в гостиницу, затем — он посмотрел на часы — в 9.30 Илья Григорьевич Эренбург ждет нас в кафе на Монпарнасе, с ним мы сегодня же обсудим план поездки в Испанию.

В машине Садовского мы мчались по залитым огнями улицам Парижа. После бананов и живых фашистов третьим чудом капиталистического мира было зарево парижских улиц. Так вот он, Париж! Каким головокружительным был воздушный прыжок из Москвы в Париж после рейда по пустыням Средней Азии, по Памирским ущельям, над бурными потоками Пянджа, через песчаные барханы, солончаки и каменистые плато — я словно продолжал этот пробег по унизанным гирляндами огней Елисейским полям, по Большим бульварам... И все же, как ни

сказочен в своем вечернем сиянии был Париж, меня не покидала мысль: «Цель — Испания. Скорее, как можно скорее на горящую испанскую землю!»

Около Больших бульваров, рядом с площадью Мадлен, оставили в маленьком отеле багаж и помчались через вечерний Париж на встречу с Эрэнбургом.

Перед отъездом из Москвы я читал очерки Эрэнбурга об Испании. Он знает Испанию, посещал ее в бурные дни рождения республики. Конечно, он подскажет нам самые правильные решения.

Ровно в 9.30 мы шагнули с тротуара на открытую веранду кафе. С Ильей Григорьевичем были его жена Любовь Михайловна и Савич, впоследствии долгое время работавший в Испании корреспондентом ТАСС и «Известий». Гарсон сдвинул два столика, принес аперитивы, предусмотрительный Садовский достал из бокового кармана карту Испании, разложил ее на столе.

Предложение Эрэнбурга заключалось в следующем. Цель нашей поездки, прямая и непосредственная, — Барселона, Каталония, Мадрид. Главные события сейчас разворачиваются в Каталонии и в центральной части Испании. Но есть и ближняя точка, где идут жестокие бои, — Ирун, Сан-Себастьян. Это зона, прилегающая к Франции, расположена на севере вдоль побережья Бискайского залива.

Проехать туда очень просто. Поездом ночь езды от Парижа до испанской границы. Переходим испанскую границу и попадем в пограничный город Ирун, на подступах к которому сейчас идут бои. Там, связавшись с республиканскими властями, наверняка можно будет проехать и в Сан-Себастьян, где, очевидно, тоже снимем интересный материал.

— На эту поездку, — сказал Илья Григорьевич, — уйдет у вас не больше трех-четырех дней. А затем, когда вы вернетесь в Париж и отправите материал в Москву, вместе полетим в Барселону, в Мадрид.

— А как сейчас обстановка в Ируне? — спросил я.

— Судя по сообщениям французской печати, очень напряженная, — Илья Григорьевич кивнул головой на пачку газет. — Предсказывают в ближайшие дни падение Ируна и выход мятежников на французскую границу. Думаю, что республиканцы продержатся дольше. Но если вы направитесь прямо в Мадрид, не побывав на севере Испании, позже вам эта возможность не представится.

Кто знает, как сложится судьба этого небольшого пятачка республиканской территории.

С Эренбургом я встречался впервые. В последующие годы мы подружились. Многие повидали, вместе переживали испанскую трагедию в тридцать девятом году. В дни разгрома испанской республики знали, что немногие годы отделяют нас от продолжения вооруженной битвы с фашизмом, очевидно, на нашей земле. Бывая у Эренбурга на его московской квартире, я почти всегда встречал кого-нибудь из испанских друзей, наших военных людей, сражавшихся в Испании. И надписи, которые делал Эренбург на подаренных мне своих книгах, были на испанском языке.

ВИВА РУССКА
СОВЕТИКА!

План, предложенный Ильей Григорьевичем, был нами принят безоговорочно. Это давало возможность буквально завтра выехать в Испанию. Поезд уходит вечером, день на подготовку — более чем достаточно. После завтра утром мы начнем работать в Испании, будем уже там, где идут бои.

Илья Григорьевич посоветовал нам взять с собой его друга — французского фотографа Шима, который работал в коммунистической и левой парижской печати. Для него содружество с нами было великолепным шансом понаблюдать в Испании. Шим был гол как сокол. А поскольку он сопровождал нас в качестве переводчика, мы оплачивали его проезд и путевые расходы. Нам он был полезен, потому что профессионально знал наши нужды, мог быть и администратором и ассистентом. Испанским языком владел он неважно, но мог ориентироваться в любой обстановке. Одним словом, нам он мог быть очень полезен, и мы в этом впоследствии убедились.

Следующий день, стало быть 20 августа, ушел у нас на подготовку к отъезду. Во-первых, мы ознакомились с пленкой, которую Александр Александрович закупили для нашей экспедиции. «Кодак супер X» в 30-метровой упаковке на металлических бобышках. Сняли пробы, проявили — отличная пленка. Мы отделили необходимое — рассчитывали на два-три дня — для первого этапа экспедиции количество пленки. Взяли, конечно, побольше, потому что не могли предусмотреть, с чем мы встретимся.

Решили кое-что купить из одежды. Приехали мы в элегантных костюмах, как и полагалось при поездке за границу. Но для съемочной работы нужно было экипиро-

ваться специально. Каждый на свой вкус. Однако оказалось, что вкусы у нас с Борисом были одинаковые. Купили мы себе спортивные светлые броджи, к ним высокие ботинки на шнурках мотоциклетно-спортивного типа, курточки на молнии, черные береты. Одежда эта была удобная для работы, но мы оказались одеты почти одинаково. Потом Садовский свозил нас в район Кднши, в лабораторию, где будет проявляться наш материал, познакомил с техниками, с лаборантами.

Сравнительно немного времени ушло у нас на визит в испанское посольство, где быстро были оформлены визы.

Вечером Садовский, его жена, товарищи из посольства уже провожали нас на вокзале. С нашим сопровождающим Шимом мы тронулись в поезд к юго-западной точке Франции, где она граничит с Испанией. Утром мы прибыли в маленький пограничный городок Эндей.

Выйдя из здания вокзала, мы сели в такси и доехали до пограничного моста, отделявшего Францию от Испании. На этой стороне моста французские пограничники, на той — испанские. Предъявили паспорта французским пограничникам. Вежливо козырнув, они вернули нам документы, и мы пошли по мосту. Пошли в Испанию...

Не прошло и двух недель, как фотографии и кинопортреты, снятые на этом мосту, появились на экранах и в иллюстрированных журналах всего мира. Толпы беженцев покидали Ирун, занятый войсками Франко.

Мы шли по мосту, в тишине звучали наши шаги, впереди виднелась группа людей, к которым мы приближались. Они ждали нас молча, настороженно, видимо, с недоверием рассматривая двоих, одинаково одетых людей. Шим был одет обычно. Мы шагали, проклиная идиотские наши марсианские курточки и желтые ботинки, шли, нагруженные ящиками с пленкой, футлярами с аппаратурой.

Последние шаги пройдены. Шлагбаум. Красные паспорта. Вот тут-то и началось. Реакция ребят, одетых в синие комбинезоны, была мгновенной, бурной. Мы с Борисом, не выдержав, схватились за камеры и снимали по очереди пограничную «формальность». Нас обнимали, кричали «Вива Руссия Советика!», поднимали кулаки, жали руки, хлопали по спине, а потом целой толпой повели нас куда-то. Толпа по пути множилась, росла. Я кинул взгляд в ту сторону моста, группа чопорных французских пограничников молча наблюдала за этой сумато-

хой, поднявшейся на краю испанской земли, куда шагнули двое советских людей.

Нас привели в штаб обороны Ируна. Большой старинный дом из серого камня с колоннами, со скульптурами, украшавшими лестницу, ведущую к парадному подъезду. У входа во двор стояли сложенные из мешков с песком блиндажи, около них часовые. Весь двор был заполнен военными машинами, кузова которых были исписаны лозунгами, названиями общественных организаций, которые реквизировали эти машины у их владельцев. Когда мы подошли к штабу, нас уже сопровождало человек тридцать. У входа они, посоветовавшись, очевидно, решили, что получается слишком уж многочисленный эскорт для двух кинооператоров, и с нами дальше пошли несколько человек, а оставшиеся у ворот долго давали им советы, куда нас вести, с кем мы должны встретиться. Широкая мраморная лестница привела нас на второй этаж. На лестнице спали вооруженные люди, очевидно, пришедшие сюда с передовой. А оборона линии города, как нам уже успели по дороге рассказать, — рукой подать. Мы проходили анфиладами комнат, стены которых были обтянуты штофными обоями. Около стучащих машинок стояли в ожидании мандатов люди, опоясанные пулеметными лентами. Все это напоминало мне картины, фильмы, запечатлевшие образ Смольного в дни Октябрьского восстания. Среди вооруженных людей, наполнявших залы и коридоры старинного особняка, было много женщин. Молодые девушки, пожилые матроны, вооруженные ружьями, пистолетами. Все в комбинезонах. Этот комбинезон, ставший формой народной испанской милиции, назывался «моно». То там, то здесь резвились группки детей. Родителям не с кем было оставить их дома.

Нас познакомили с коренастым, похожим на тяжелоатлета майором Мануэлем Кристобалем — руководителем обороны Ируна. На нем была выцветшая, застиранная до бела голубая гимнастерка. Над левым надгрудным карманом нашивки и звездочка. «Команданте» — майор. Он кивнул нам головой, знаком попросив разрешения закончить диктовать машинистке какую-то бумагу. Закончив, пригласил нас присесть с ним в углу на диван. Я попросил Кристобала в нескольких словах ознакомить нас с военной обстановкой на этом участке фронта. Он взял карту района Ируна и Сан-Себастьяна, на которой была нанесена линия обороны. Эта линия проходила в самой

непосредственной близости к месту, где мы находились.

— Фашисты с каждым днем бросают все большие силы для того, чтобы овладеть Ируном, — сказал Кристобаль. — Они хотят отрезать от Франции все побережье страны Басков и Астурии, занятое республиканскими войсками. Ирун обороняют отряды народной милиции, сформированные из рабочих, крестьян. Много молодежи, много женщин сражаются на подступах к Ируну.

— Какое, по-вашему, соотношение сил? — спросил я.

— Самое невыгодное для нас. Если вы захотите проехать на передовую, вы увидите наше вооружение. А у них — эскадрильи современных самолетов, которые беспощадно бомбят наши линии обороны, у них много артиллерии, их поддерживают огнем тяжелых дальнобойных орудий военные корабли мятежников. Наше вооружение — очень устаревшие винтовки (и не у каждого бойца она есть) с очень ограниченным количеством патронов. Почти нет артиллерии, не говоря уже об авиации. Мы сражаемся за Ирун, который стоит на границе с Францией, но нам вовсе не легче оттого, что мы граничим с демократической Францией, в которой сейчас правительство народного фронта. До сих пор сражающиеся за законное правительство испанской республики не получили от правительства Блюма ни одного патрона, ни одной винтовки, ни одного пулемета. А над нашими позициями совершенно открыто и нагло летают итальянские «капрони», немецкие «юнкерсы» и «хейнкелы».

— Сформированы ли ваши воинские части по партийному принципу? — спросил я.

— В наших отрядах и бригадах сражаются плечо к плечу представители всех партий: коммунисты, анархисты, социалисты, католики. Страна Басков — цитадель католицизма. Однако, должен сказать, наши милисианос сражаются с фашистами, невзирая на свои бывшие партийные разногласия. Впрочем, и до войны эти разногласия не могли повлиять на монолитное единство подавляющей части испанцев, преданных республике, ненавидящих фашизм.

Во время беседы выяснилось, что Мануэль Кристобаль является руководителем провинциального комитета коммунистической партии. Я попросил поручить кому-либо сопровождать нас на передовые линии обороны Ируна. Он сказал, что сам поедет с нами, ему как раз нужно побывать на некоторых участках обороны.

Мы вышли во двор. И сразу же начали снимать. Мы запечатлели колоритную обстановку двора, заполненного вооруженными людьми, которые подходили к Мануэлю Кристобалью: одни просили у него указаний, другие — резервов, третьи говорили о необходимости пополнить запасы патронов, боеприпасов. Люди не обращали внимания на то, что на них направлен объектив кинокамеры. Мануэль Кристобаль, развернув боевую карту, ознакомился с обстановкой, тут же подзывал кого-то, отдавал короткие приказания. Этот человек был полон кипучей энергии.

Особенно запомнился мне беседовавший с Кристобалем человек, лицо которого было обрамлено курчавой черной бородой. Он держал в крепких узловатых крестьянских руках полевую карту, в кончике рта зажата алая роза, глаза его были золотистыми. Он был спокоен, немногословен. На его мятой гимнастерке были такие же, как у Мануэля Кристобаля, знаки отличия майора народной милиции. Я снял их обоих, погруженных в беседу, потом подошел вплотную и снял крупный план бородача, снял долгий, крупный план, не жалея пленки, чтобы дать зрителю возможность взглянуть в прекрасное лицо защитника испанской республики, командира народных вооруженных сил.

Мануэль Кристобаль подвел нас к машине. Отличный «бьюнк» весь был измалеван лозунгами. Это было выражением полного пренебрежения к респектабельности роскошных лимузинов, некогда принадлежавших высшим чиновникам или крупным капиталистам. На капоте, дверцах, багажнике и стеклах этих машин, помимо букв, обозначающих организацию, которой принадлежала эта машина, были и лозунги: «Долой фашизм!», «Вива, республика!», «Да здравствует народный фронт!» Парнишке, шоферу «бьюнка», Мануэль сказал, что отныне он поступает в полное распоряжение командьерос из Унион Советика. Тот, восторженно улыбаясь, поднял кулак, крепко пожал нам руки, быстро заговорил. Шим перевел нам, что парень просит нас быть уверенными, что он обеспечит нам хорошую работу. Мануэль Кристобаль, перекинув через плечо легкий автомат, сел в свою машину, мы на «бьюнке» рванулись за ним.

При выезде из города нас остановил патруль. Бойцы этого патруля знают Кристобаля, знают его машину, и он

проскочил без задержки. А нас остановили. Увидев это, он тоже остановился. Я подошел к нему и попросил задержаться минут на пятнадцать, мы снимем здесь несколько кадров. Он охотно согласился. Мы отвели в сторону свою машину и приступили к съемке. Впоследствии кадры этого патруля вошли во все кинохроники испанской войны, которые когда-либо делались и создавались кинематографистами многих стран. Женщина-крестьянка вся в черном с одноствольным охотничьим ружьем на плече поднятием руки останавливает машину, проверяет документы сидящих в машине, возвращает документы и таким же властным жестом предлагает им следовать дальше. Рядом старик и крестьянин с двустволкой. Стоят они около баррикады, построенной так, что машина не может проскочить, не замедлив хода. Мы сняли выразительные кадры. В этом эпизоде был как бы символический образ испанского народа — безоружного, вступившего в войну с фашизмом с охотничьим ружьем. Сняли разных людей, предъявляющих документы, — благообразного, хорошо одетого пожилого человека, группу вооруженных людей, девушку, опоясанную патронными лентами. Снимали, не привлекая внимания, установив длиннофокусную оптику. Иногда люди взглядывали в объектив нашей камеры, мы продолжали снимать. Я представлял себе, как в переполненных залах кинотеатров в нашей стране — в Москве, в Харькове, Оренбурге, Алма-Ате тысячи наших советских людей вопрошающе будут смотреть в лица испанцев — этой девушки, этого крестьянина, женщины в черном, стоящей на охране дороги.

Дорога, извиваясь, пошла в гору. Вдалеке на одном из холмов виднелось полуразрушенное здание древнего монастыря. Оставив машины у подножия холма, мы по узкой тропинке двинулись вверх. Мануэль Кристоаль сказал, что монастырь Сен Марсиаль один из главных опорных пунктов обороны Ируна.

Поднявшись в гору, мы пошли глубоким ходом сообщения. Видно, для фашистов эта высота была трудным орешком. На монастырь обрушено огромное количество артиллерийских снарядов, авиационных бомб. Здесь были большие потери, но взять фашистам эту высоту не удалось, этот форт крепко держал ключевую позицию на подступах к Ируну.

Сначала Мануэль представил нас командирам и солдатам. Сообщение, что эти двое парней приехали из Со-

ветского Союза снимать борьбу испанского народа, вызвало среди милисианос бурю восторга. Каждый хотел пожать нам руку, опять крики «Вива Руссна!», «Вива советико!», поднятые кулаки, горящие глаза. Командир дал ребятам возможность выразить чувства, однако вскоре прозвучала команда, каждый занял свою позицию в траншее.

Мы приступили к съемкам. Командиры докладывали Мануэлю Кристобалью обстановку. Прекрасный эпизод! Вот они — командиры вооруженных сил испанской республики, первые в истории Испании майоры, команданте из народа. По заглубевшим лицам, мозолистым рукам видно было, что это крестьяне, рабочие. Сколько внутреннего задора. Какая вера в то, что хотя и плохо еще командуют, быть может, не по правилам воюют, но дерутся за правое дело.

Снимали мы солдат, снимали пулеметчиков. Те, на кого был направлен объектив кинокамеры, открывали ураганный огонь по врагу, хотя мы об этом не просили. Некоторые после пулеметной очереди поднимали кулак, глядя в объектив нашей кинокамеры, выкрикивали лозунги. И мы снимали их, не уговаривая: «Не смотри в объектив, товарищ!» В этом взгляде и поднятом кулаке была наивная прелесть, чистота испанской души.

Немного поодаль от изрытых воронками траншей сняли артиллерийскую позицию. Только горькойironией могло звучать слово «артиллерия» применительно к тому, что мы увидели. Маленькая старинная пушка на двух огромных колесах. Из таких пушек парижские коммунары били по версальцам. Я не преувеличиваю. Удивительно, как она сохранилась, какими судьбами оказалась на вооружении республиканской испанской армии, и уж совсем удивительно, где и как они к ней боеприпасы нашли?

Снарядов было немного. Их берегли. Двое милисианос-артиллеристов заколачивали снаряд в ствол, потом капитан-артиллерист долго прицеливался. По его команде подручные солдаты то приподнимали лафет, то чуть подкручивали колесо, разворачивая пушку левее, правее.

А потом все отходили подальше и, став на одно колесо, ждали выстрела, не сводя глаз с главного артиллериста, державшего в руке веревку. Видимо, были все основания опасаться, что в момент выстрела пушка разлетится вдребезги.

— Фуэго! Огоны! — командовал артиллерист. Тут же он дергал изо всей силы за шнур, и пушка выстреливала, подскочив при этом на полметра вверх и откатываясь на несколько метров назад, где ее схватывали милисианос, тащили на старое место, снова забивали снаряд, снова целились, отбегали в сторону и зажимали уши в томительном ожидании выстрела. Один раз, подпрыгнув при выстреле, пушка перевернулась вверх колесами.

Такой была артиллерия республиканской армии в августе 1936 года, то есть через месяц после начала фашистского мятежа. А в воздухе над монастырем Сен Марсаль совершали на небольшой высоте широкие круги два современных двухмоторных итальянских бомбардировщика «капрони». У них — точные схемы республиканской обороны, большие запасы бомб, которые транспортом идут из Италии и из фашистской Германии. А здесь — охотничье ружье, музейная пушка, и вчерашний батрак с нашивкой лейтенанта ведет в бой таких же, как он, парней-крестьян, вооруженных через одного старыми винтовками, у каждого десятка два патрона да одна ручная граната за поясом.

снаряды мятежного крейсера «КАНАРИС»	Время шло уже к полудню. «Капрони» сбросили бомбы на соседнюю высоту, мы сняли разрывы
этих бомб. Итальянские самолеты прошли так низко, что отчетливо видны были их опознавательные знаки. Несколько бомб были сброшены и на нашу высоту. Один парень был ранен осколком бомбы, мы сняли, когда его несли на носилках вниз по горной тропинке. Сняли мы в перерыве между боем бойцов, когда им принесли свежую газету. Они просматривали газету, желая узнать новости, я спросил их: «Что вас больше всего интересует в мире?» — «Главное, что нас интересует: кто нам помогает и кто нас предает», — сказал один парень.	

Они, эти солдаты народной армии, стоящие на переднем крае вооруженной битвы с фашизмом, своим нутром понимали, что их предадут западные демократии. Иначе не могли бы безнаказанно парить в небе итальянские «капрони», не была бы закрыта граница. Почему нет у них пушек, снарядов и ружей? А у фашистов, которые рвутся к их траншеям, есть все?

Был еще первый месяц войны. Но уже трагически ясна была расстановка сил. И в глазах этих ребят я чув-

ствовал настойчивый, упрямый вопрос: «Кто поможет нам в этой борьбе?»

Мы распростились с ними и вместе с Мануэлем Кристобалем спустились по тропинке к нашим машинам. Вместе с ним мы вернулись в Ирун, где он выдал нам мандат, разрешающий свободное передвижение в зоне побережья Бискайского залива от Ируна до Бильбао. Мануэль предложил нам пообедать. Мы поблагодарили. У нас сейчас было единственное желание: снимать, снимать, снимать.

С Кристобалем я снова встретился через девять месяцев в трудные дни боев на подступах к Бильбао. Он руководил обороной Бильбао. В этих боях был тяжело ранен. И последняя наша встреча была уже в госпитале, куда я пришел навестить его перед отлетом в Барселону. Бильбао был тогда в кольце.

Имя Мануэля Кристобала вошло в историю гражданской войны в Испании как одного из крупных деятелей, вышедших из гущи испанского народа, испанского рабочего класса. Мануэль Кристобал стал впоследствии членом политбюро испанской коммунистической партии, он умер в эмиграции в годы второй мировой войны.

Мы выехали из Ируна, по дороге часто останавливались, снимали. В Сан-Себастьян приехали в три часа дня. Всемирно известный фешенебельный курорт Испании. Мы вышли из машины на знаменитом сан-себастьянском бульваре, запечатленном на красочных туристских проспектах, на открытках.

Сразу же начали снимать прогуливающихся по бульвару. Сняли парочку на скамейке, молодую женщину с ребенком. Кто мог бы подумать, что эти мирные кадры сняты в стране, где идет война... Война ворвалась в наши кадры тут же, внезапно. Я не успел закончить медленную панораму, которую вел, держа в кадре женщину, толкающую детскую коляску, как раздался грохот разрыва. Это было где-то рядом, справа от меня. Я резко развернул камеру и снял огромный фонтан воды, поднявшийся из зеркальной поверхности лазурной бухты, около пляжа. Снова устремил камеру на женщину, она уже бежала с детской коляской по бульвару. На ее лице был ужас. Бегущую с коляской женщину я снял на полный завод пружины камеры. В этот момент вспомнил эйзенштейновскую детскую коляску из «Броненосца «Потемкина».

Быстро сменил оптику, поставил телеобъектив и стал ждать нового разрыва. Он гроыхнул в самой середине бухты — снова огромный белый гейзер. Оглянулся — бульвар опустел. Где-то вдали я увидел Макасева. Нас осталось двое на опустевшем бульваре. И я снял безлюдный бульвар, снял еще несколько разрывов. Новое, ранее не изведенное чувство испытал я, когда над головой с тяжелым шипением пронесся снаряд и разрыв гроыхнул где-то в городе. Ко мне подбежал наш шофер. Он потянул меня за рукав. «Скорее в укрытие, скорее! Это «Канарис»!»

Один за другим проносились над головой снаряды, которые мятежный крейсер «Канарис» обрушивал на город. Конечно, никаких военных объектов в тихом курортном городке не было. Где-то на далеком мысе загрохотали береговые батареи. Манолло, наш водитель, что-то быстро говорил, тянул нас к машине. Шим объяснил, что он предлагает поехать на береговые батареи. Может быть, нам удастся снять «Канарис». Мы прыгнули в машину, помчались, но дорога оказалась перекрытой, а тем временем грохот береговых батарей затих. Шим внес предложение: по горячим следам снять последствия артиллерийской бомбардировки города. Мы последовали его совету.

День уже был на исходе. Первый наш день на испанской земле. Мы подсчитали — снято около восьмисот метров материала. Есть и боевые эпизоды, и репортажи на дорогах, облик прифронтового Ируна, люди, бойцы, фашистские самолеты, обстрел Сан-Себастьяна. В городе мы быстро нашли места, где разорвались тяжелые снаряды, сняли, как люди разбирают развалины домов, извлекают из-под развалин раненых.

Солнце было уже близко к горизонту, пора кончать съемки. Наш выезд в Испанию был рассчитан на четыре-пять дней, но могли ли мы предполагать, что первый же съемочный день будет так насыщен и снято будет так много актуального материала. Подумать только, позавчера, 19 августа, мы еще были на московском аэродроме. Сейчас мы можем поспеть к вечернему поезду, который нас доставит в Париж. Завтра, 22 августа, мы уже отправим в Москву снятый материал. Да, немедленно возвращаться в Париж! Во что бы то ни стало успеть на ночной экспресс!..

Манолло подвез нас к пограничному мосту ровно за

час до отправления парижского экспресса. Мы горячо поблагодарили его за помощь, попросили передать сердечный привет Мануэлю Кристобалью, тепло попрощались с испанскими пограничниками и, пройдя через мост, снова очутились на французской территории. На вокзале мы были за полчаса до отхода поезда. Когда сидели в вокзальном буфете, с упоением запивая терпким холодным пивом тающий во рту бифштекс, к нам подошел полицейский и, вежливо откозыряв, попросил нас последовать за ним. Мы переглянулись — этого еще не хватало. Взглянув на часы, мы поняли, что бифштекс останется не съеденным. Расплатившись с официантом, последовали за полицейским, который провел нас в полицейский пост вокзала, где комиссар предложил нам предъявить документы. Я попросил Шима перевести комиссару: «Мы что-нибудь нарушили? Почему нас задерживают?»

Полицейский комиссар весьма любезно, улыбаясь, сказал:

— О, нет, нет, никакого задержания, просто разрешите проверить ваши документы.

Я оглянул себя и Макасева. Конечно, мы привлекаем внимание нашими бриджами, одинаковыми куртками, беретами. Предъявили паспорта. Комиссар предложил нам немного подождать и вышел, очевидно, к начальству или к телефону. Через десять минут он возвратился и молча вернул нам паспорта.

— Что вы можете нам сказать? — спросил я.

— Ничего, месье, простите, что вас потревожили — это просто контроль. Мы находимся на границе со страной, в которой происходят очень острые события. Просто контроль, ничего более. Всего хорошего — вы свободны.

В вагон-ресторане уже никто не помешал нам сытно поужинать. Только здесь, только сейчас почувствовали невероятную усталость. Вспоминали прошедший день, работу, которая не прекращалась с раннего утра до вечера ни на одну минуту. Целый день на ногах! Первая встреча с Испанией! Первое боевое крещение. Что ни говори, а мы сегодня побывали под огнем, впервые в жизни. Над нашими головами свистели пули, рядом рвались бомбы, в бухте падали тяжелые снаряды фашистского крейсера. Кровь на мостовой. Да, это было настоящее боевое крещение.

Я засыпал в белоснежных, крахмальных простынях комфортабельного спального вагона, несущегося в Па-

риж. Перед глазами была энергичная, круглая физиономия Мануэля Кристобая, его крепкие крестьянские руки, державшие полевую карту, черные от загара, поросшие золотистыми волосами, автомат на плече. Крестьянин с двустволкой, женщина в черном.

Сегодня мы сняли первые метры пленки нашей испанской кинолетописи.

Предупрежденный нашей телеграммой Садовский встречал нас. В глазах его была тревога.

— В чем дело? Почему вернулись?

— Александр Александрович, дорогой, сняли все, много сняли! Сейчас главное — материал немедленно в Москву.

— Давайте проявим материал перед отправкой. Не возражаете?

Мы согласились. Первую партию снятого материала нам не мешало бы посмотреть. Проверить себя, пленку. Прямо с вокзала отправились в лабораторию. И уже не покинули ее до тех пор, пока на монтажном столе не просмотрели весь негатив. Полный порядок. Брака не было.

На следующий день, утром 23 августа, материал ушел рейсовым самолетом в Москву. Вечером этого же дня студия встречала на Центральном аэродроме в Москве наши первые испанские съемки. Через четыре дня после того, как мы вылетели из Москвы. Это, пожалуй, был непревзойденный рекорд оперативности.

А еще через два дня на экраны страны вышел выпуск «К событиям в Испании». Выпуск № 1. По рецензиям в московских газетах и по письмам товарищей мы смогли представить себе, каким успехом у зрителей пользовался этот первый испанский репортаж. Нам писали, что ни один художественный фильм за последние годы не имел такого успеха у зрителей, трудно припомнить времена, когда зрители так штурмовали двери кинотеатров. Впервые — живой образ борющейся Испании, который жаждали увидеть миллионы людей нашей страны.

Теперь перед нами стояла задача — глубоко и вдумчиво показать в последующих выпусках события в Испании. Мы готовились к поездке в Испанию уже надолго. На этот раз цель поездки — Барселона, Мадрид.

Вместе с нами в Испанию направлялся и Илья Григорьевич Эренбург. Через несколько дней мы выехали из Парижа, прибыли во французский городок Портбу, рас-

положенный на границе с Испанией, пересели на шаткий, игрушечный, курортный поезд, проехали на нем вдоль побережья Средиземного моря и через два дня вышли на вокзале в Барселоне.

день на полевом
аэродроме

Неповторимая в своем революционном накале огневая Барселона! На ее улицах и площадях кипящие толпы людей, еще не опомнившихся от радости недавней победы над поднявшими в городе вооруженный мятеж фашистами.

Мы снимали летучие митинги в городе, где толпы людей криками одобрения встречали каждую речь оратора. Окунувшись с камерой в толпу, мы «охотились» за яркими кадрами — снимали на улицах, площадях, бульварах, лица, улыбки, цветы, красивых девушек с цветами в прическах и винтовками на плече, подъезды отелей, где расположились штабы революционных организаций, партий, профсоюзов. Снимали мчащиеся по улицам машины, ошестинившиеся винтовками, украшенные лентами и цветами, отряды народной милиции, проходящие через шпалеры приветствующих их людей. Она была прекрасна, Барселона. Народ еще не представлял себе, какие испытания предстоят, победа казалась близкой, легкой, тон задавали анархисты, захватившие в городе лучшие отели, склады с оружием, автомобили, в толпе они выделялись своим воинственным видом, обвешанные оружием, в широкополых сомбреро, с черно-красными нашейными платками. Такой она запомнилась, августовская тридцать шестого года Барселона, карнавальная, полная веры в скорую победу и, увы, беспечная, легкомысленная.

В казармах Карла Маркса мы сняли формирование первых интернациональных частей — батальон Тельмана, сентурия «Димитров»; в колоннах, выстроившихся на казарменном плацу, стояли успевшие уже прибыть в Испанию антифашисты — французы, немцы, итальянцы, болгары. Волевые, полные решимости сражаться с фашизмом люди стояли с оружием в руках в боевом строю. Это были первые звенья будущих интернациональных бригад.

В барселонском порту мы сняли толпы людей, заполнивших пристань, где стоял расцвеченный флагами крейсер «Ханме Примеро» — революционный крейсер, оставшийся верным республике. Народ ликовал, матросы крейсера с борта корабля отвечали приветствиями бушую-

щей от восторга толпе, снятый нами эпизод напоминал нам кадры из фильма «Броненосец «Потемкин».

Илья Григорьевич презрительно ухмыльнулся, узнав, что мы хотим снимать бой быков: «Потянуло на испанскую экзотику?», но мы все же пошли. И не пожалели, что пошли, сняли великолепные кадры. Прославленные тореро посвящали очередного быка победе над фашизмом, поднимали кулак перед тем, как взять в руку малюту. По арене дефилировали отряды народной милиции, уходившие на фронт под Уэску, тысячи людей провожали их, подняв над головой кулак, пели гимн республики, забрасывали солдат и тореро апельсинами, сигарами, кидали на арену шляпы.

Илья Григорьевич скептически качал головой, когда мы, захлебываясь, рассказывали о нашей съемке, он был упрям, непоколебим.

С Эренбургом мы совершили пятидневную поездку на Арагонский фронт, были под Уэской, сняли боевые эпизоды на передовой. День провели мы на полевом аэродроме, снимая отважных республиканских пилотов, улетавших в бой на допотопных «фарманах» и «потэзах», возвращавшихся с изрешеченными пулями крыльями и фюзеляжами. Из одного вернувшегося на аэродром самолета — мы сняли это — товарищи бережно вытащили и уложили в санитарную машину смертельно раненого пилота. Ночь мы провели на командном пункте бригады анархистов, где Эренбург до утра проспорил с одержимым фанатиком, вождем испанских анархистов Дуррути, честным и наивным, страстно ненавидящим фашизм. Провожая нас, Дуррути на прощание сказал: «Встретимся в Мадриде». Я действительно встретил его в Мадриде через четыре месяца, встреча была трагичной...

Уйма снятого материала! Давно, давно не снимал с таким упоением, азартом. Скорее отправлять пленку в Москву, на экраны должны выйти следующие выпуски. У нас материала на два-три выпуска.

Вернувшись в Барселону, упаковали снятую пленку, Борис Макасеев вылетел в Париж, чтобы проследить за проявкой драгоценных кадров и отправкой их в Москву. Мы с Эренбургом едем в Мадрид. Советский Союз установил дипломатические отношения с Испанской республикой. На этих днях в Мадрид прибывает советское посольство.

В день нашего отъезда из Барселоны пришла печаль-

ная весть о падении Сан-Себастьяна и Ируна. Фашисты вышли к французской границе. Впоследствии мы видели хронику, снятую французскими операторами, — горящий Ирун, трагические сцены бегства испанцев, покидавших родную страну. Они бежали по мосту. По тому самому мосту, по которому две недели назад мы перешли границу и предъявили свои паспорта бойцам народной милиции.

Радостной была встреча с Михаилом Ефимовичем Кольцовым, он встретил нас у дверей отеля «Флорида», в котором поселились и мы. С этого момента я был почти неразлучен с ним. Вместе с Кольцовым мы совершили воздушный рейс на север. Над территорией мятежников перелетели из Мадрида в Бильбао, побывали в Астурии, я снял бой на окраинах Овьедо. Это было в сентябре. Фашисты взяли Талаверу, захватили Толедо, двигались на Мадрид, который уже стал приобретать черты фронтового города, готовился к обороне, стал строже, пустынее, испытал уже первые бомбардировки. Уже появились зримые черты того Мадрида, который вскоре стал осажденной крепостью, Мадрида, ставшего символом стойкости, мужества, таким он навеки останется в памяти человечества, осененный гордым лозунгом: «Но пасаран!»

Октябрь на редкость жаркий. Удушьяющий зной висит над рыжей землей Кастилии. Над асфальтом толедского шоссе — плывущее море, в котором издали грузовик кажется отделившимся от земли, прыгающим челном. Дорога местами — по несколько километров — совершенно пуста. Иногда попадаются длинные колонны людей, идущих в Мадрид. Они бегут из родных деревень, захватив с собой лишь то, что может унести маленький ослик или спотыкающаяся кляча. Здесь на дороге можно узнать положение точнее, чем в военном министерстве. Поездка по шоссе — это своего рода разведка. Остановишься, спросишь людей, едешь дальше. В двадцатитридцати километрах от Мадрида беженцев становится больше, они уже не бредут медленной усталой походкой, а бегут, подгоняемые раскатами артиллерийской стрельбы. Люди со страхом оглядываются по сторонам и твердят одно слово «фасистас».

Войска Франко вчера взяли Илнескас и движутся на Мадрид. Республиканцы пытаются задержать их короткими контрударами и артиллерией. Но мятежники еже-

дневно вводят в бой свежие части, наращивают авиационные удары, забрасывают республиканские тылы листовками:

«Мадрид окружен! Жители Мадрида, сопротивление бесполезно, помогайте нашим войскам захватить город, иначе национальная авиация снесет его с лица земли...»

«Национальная авиация» — это летчики и самолеты Гитлера и Муссолини. Это «юнкерсы», «хейнкелы», «капрони», «фиаты».

Вот они появляются над нашими головами, направляясь на Мадрид. На этот раз они не бомбят дорогу. Нагло, на высоте пятьсот метров идут над шоссе. Старик крестьянин поднимается из кювета.

— Ты француз? — спрашивает он меня. — Англичанин? Американец?

— Сой русо, — отвечаю я.

Он отступает, недоверчиво переспрашивает. Я уже к этому привык. Обычно кончается это хлопаньем по плечу, угощением сигаретами и пеннем советских песен. Сейчас — другое. Старик подходит ко мне и вцепляется своими крючковатыми руками в мое «моно» — серый комбинезон.

— Ты русский, — повторяет он злым шепотом. — Ты видел? Видел, я тебя спрашиваю? — он смотрит в небо, где еще видны в синем мареве самолеты. — Франко помогают все. Ему везут оружие, танки, самолеты. Кто нам поможет?

Он не выпускает меня, и крупные слезы прокладывают темные дорожки по белесой пыли на его смуглом морщинистом лице.

— Кто нам поможет? Вот наше оружие! — он бросается к своему мулу и вытаскивает из вьючной корзины старый дробовик. — С этим против самолетов Гитлера? — И снова шепотом, скороговоркой: — Помогите нам. Только вы нам поможете. Иначе они всех нас перебьют, слышишь, русский?

Он ждет ответа, опустив руки, глядя мне в глаза. Он верит, что русский не солжет. А знает ли он, что подводные лодки Италии и Германии рыщут в Средиземном море, что британские броненосцы блокируют порты республиканской Испании, осуществляя политику «невмешательства», если и знает — все равно ждет ответа.

— Будет, старик, помощь, — говорю я. — Скоро будет.

Он молча поднимает кулак. И долго смотрит мне вслед.

Из-за рыжих холмов вдали поднимаются столбы черного дыма. Оттуда доносятся глухие раскаты оружейных разрывов.

Фашисты наступают на Мадрид.

Мадрид тяжело дышит. Чем ближе фашисты, тем учащенное его дыхание. Город становится суровее с каждым днем. Население Мадрида тает. Дорога на Валенсию переполнена грузовиками, автобусами. Однако правительство Ларго Кабальеро до сих пор не опубликовало ни одного обращения к жителям столицы. Необходимость в таком обращении возрастает по мере приближения линии фронта. Что же решило правительство? Оборонять Мадрид или отдать его без боя? В народе и в войсках уже открыто говорят об измене генерала Асенсю. Он — правая рука Кабальеро, его главный военный советник. Эвакуация Мадрида проходит стихийно, хаотично. Никто толком не знает о положении на фронте. Только коммунисты напрямик говорят о смертельной опасности, угрожающей Мадриду, и призывают народ к обороне. «Но пасаран!» (Они не пройдут!) — лозунг, провозглашенный Долорес, стал самым популярным в Мадриде.

Я встретил Долорес в знойный день на выжженных солнцем холмах в трех километрах от города. Снимал жителей Мадрида — они рыли окопы. Переходя от одной группы к другой, я увидел Пассионарию. Мерно взмахивая киркой, она била каменистую красноватую землю. Невдалеке — Хосе Диас. Он болен, он устал от непосильной для него работы и прилег. Но товарищи и не пытаются уговорить его уехать. Отдохнув, он снова берется за кирку.

Снимаю вождей испанских коммунистов за работой на оборонительных рубежах Мадрида. Тысячи людей, работающих на этих холмах, знают, что они здесь. Никто не приходит поглазеть на них. Это — не сенсация. Долорес и Пепе — так зовут их все — с народом. Это в порядке вещей.

Работают дети, старики, юноши, девушки. Девочки с розами, вплетенными в волосы, носят кувшины с водой. Одну из них подзывает Долорес и медленными глотками пьет воду. Девочка ласково говорит ей:

— Долорес, хочешь я принесу тебе вина?

Долорес улыбается, благодарит, вытирает со лба пот и снова берется за кирку.

**В БОЮ ВСТУПАЮТ
СОВЕТСКИЕ ТАНКИ**

Кто же будет защищать Мадрид? Войска Франко неумолимо приближаются к городу. Правительство по-прежнему молчит. Едем с Макасеевым в казармы 5-го полка, в район Тетуан. На широком плацу снимаем обучение новобранцев. Организованный ЦК компартии 5-й полк превратился в кузницу военных кадров. Его батальоны, обученные и вооруженные, сражаются на всех фронтах. В частях 5-го полка способные командиры, среди которых уже завоевали всенародную известность Уинстер и Модесто, командующие крупными соединениями.

В Альбасете заканчивается формирование интернациональных бригад — на них возлагают большие надежды. Их комплектуют люди, имеющие опыт первой мировой войны. Интеровцы, как их называют, оставили семьи, дела, работу, пробрались в Испанию через множество пограничных и полицейских кордонов с одной целью — сражаться с фашизмом.

Ходят слухи, будто каталонские анархисты собираются послать свои части на оборону Мадрида. Они грозят разгромить Франко под Мадридом и двинуться на Бургос.

Слишком много слухов. Они ползут по Мадриду, а правительство Кабальеро продолжает храпеть молчание, ничего не опровергает и не принимает никаких мер к обороне города.

Мадрид переполнен шпионами. Генерал Мола объявил, что «национальные войска» идут на Мадрид четырьмя колоннами, а пятая выступит в самом городе. Так родился термин «пятая колонна» — синоним злого контрреволюционного подполья, синоним удара в спину.

Ночами мы слушаем радио. Бургос, Саламанка, Рим, Берлин, Лондон. Тщательно разработана программа торжественного вступления фашистов в столицу. Тут и белый конь, на котором Мола въедет на площадь Пуэрта дель Соль, и расписание парадов, и зловещие разговоры о «чистке» города...

Чувство огромной ответственности за каждый кадр, снятый в эти неповторимые часы, дни. Недавно получена из Парижа большая партия пленки «супер Х». Снимаю на окраинах, на фронте, артиллерийских позициях, на улицах Мадрида, на дорогах. Снимаю с утра до ночи.

И не ложусь, пока не заполню несколько страниц дневника.

Фронт все приближается. Фашисты наступают, охватывая город полукольцом. Главное направление их ударов — толедская дорога. Они уже захватили Сесенью, овладели важным узлом дорог в Брунете и Кихорне.

28 октября, на рассвете мы были свидетелями небывалого зрелища. Вечером накануне к нам в «Палас» приехала группа советских танкистов. Все в кожаных курточках, беретах. Наконец-то! Как ждали мы их, с какой тревогой следили за рискованным рейсом кораблей, идущих через моря, которые кишат фашистскими пиратами...

Вечером в «Паласе» один из наших танкистов весельчак латыш Арманд говорил мне:

— Запаси на завтра побольше пленки, будет что снимать...

Я увидел советские танки, когда они выходили из оливковой рощи на проселок. Они продвигались к исходным для атаки рубежам с открытыми люками, из которых выглядывали молодые ребята в кожаных курточках и черных беретах. Я вспомнил крестьянина с охотничьим ружьем на толедской дороге, его слезы. Стало светло на душе. Не соврал старику.

Танки, рокоча моторами, идут по дороге и обгоняют колонны солдат. Солдаты приветствуют танкистов неистовыми криками, восторгом, кидаются к ним и со слезами на глазах кричат: «Вива Россия Советика!», «Вива Республика эспаньола!..» Танкисты улыбаются, машут руками.

Сегодняшний день должен принести решительный перелом. Каждый пехотинец тщательно проинструктирован. Пехота пойдет за танками при поддержке артиллерии. Главное — не отставать от танков, закреплять успех...

На перекрестке в группе командиров — Долорес и Хосе Диас.

Оставляем машину в рощице вблизи артиллерийских позиций и вместе с Макасевым идем дальше, туда, где залегла пехота Листера, готовая ринуться вперед.

Мы с Борисом решили сегодня не разлучаться, идти рядом, не отставать от пехоты.

— Как думаете, поднимутся ваши? — спрашиваю молодого командира.

— Должны подняться. — отвечает он, но в его голосе нотка сомнения. Бойцы не обстреляны, ни разу не были в бою. Правда, в их рядах обученные солдаты 5-го полка, но их мало, соотношение — один к десяти. Очень мало...

Позади раздаются первые залпы республиканской артиллерии. Над нашими головами с шипением проносятся снаряды. Вскоре услышали гул моторов — пошли танки. Отсюда, с правого фланга, их не видно. Один мелькнул на гребне холма и ушел вперед. Пехота не поднимается, потому что над залегающей цепью роем загудели пули: фашисты открыли беспорядочный ружейно-пулеметный огонь.

— Вперед! — кричит командир.

Несколько бойцов поднимаются, но, видя, что остальные прижались к земле, снова ложатся. Гул танков уже еле слышен, огонь противника слабеет, и, наконец, пехота начинает перебежками продвигаться вперед. Мы снимаем перебежки, но вот начинает нас обстреливать фашистская артиллерия. Теперь цепи прочно залегают, как вкопанные. Вzbешенный командир, поднявшись во весь рост, размахивает револьвером, кричит, уговаривает, чуть не плача, прокликает — тщетно...

Несколько солдат, раненные осколками снарядов, орут благим матом, их выносят с поля боя. Каждого раненого сопровождают пять человек, несут кто его ружье, кто сумку. Солнце поднялось и начинает нещадно палить, командир охрип, устал, наступление сорвано. Но, может быть, это только здесь, на нашем участке, а другие части уже продвинулись далеко вперед? Мы идем по фронту, сгибаясь под тяжестью аппарата и большого запаса пленки. Часто ложимся на пыльную землю, чтобы переждать артиллерийские разрывы. Изнемогаем от жары. Гложет одна мысль: где наши танки, ведь для фашистов этот удар был полной неожиданностью. Как далеко они продвинулись?..

Над головой возникает ленивое монотонное жужжание — появились два «юнкера».

— Авианес!.. — проносятся по цепям. Крепчает огонь фашистской артиллерии. Где-то за соседними холмами слышны разрывы бомб. Это уже чересчур. Тут уже никакая сила не остановит солдат, устремившихся назад.

Долорес с маленьким маузером в руках останавливает бегущих, страстно их уговаривает — это пустяк, два самолета, ведь впереди наши танки!

К концу дня начали возвращаться танки.

Первая в истории современных войн бутылка с бензином была брошена марокканцем в танк на улице деревни Сесенья, в это утро 28 октября.

Для фашистов все же полной неожиданностью было появление наших танков. Они явно растерялись и остановились, ожидая повторных ударов. Однако, оправившись от неожиданности, снова начали наступать.

СИНЬОР
ЛАРГО КАБАЛЬЕРО
УЕХАЛ...

Тяжелые бои идут под Навалькарнеро, в Торрехоне, на подступах к Леганес. Республиканская пехота с каждым часом становится все более стойкой в обороне. Даже массированные налеты вражеской авиации не производят того ошеломляющего впечатления на солдат, какое наблюдалось совсем недавно. Танки уже не совершают далеких рейдов, они дерутся бок о бок с пехотой в жесточайших оборонительных боях. Они используются в сущности как самоходная легкая артиллерия прямой наводки, как оружие непосредственной поддержки пехоты, яростно дерущейся за каждую пядь земли на подступах к Мадриду. Если бы так же дрались раньше — под Талаверой, у Толедо!..

Потери огромны. Войска тают. Теперь уже по всему видно, что фашисты решили во что бы то ни стало в ближайшие дни ворваться в Мадрид.

Нас с Макасеевым вызвал к себе посол Розенберг. Правительство с минуты на минуту эвакуируется в Валенсию, посольство должно с правительством покинуть Мадрид.

— Вам обоим и корреспонденту ТАСС Марку Гельфанду нужно ехать в Валенсию, — сказал Розенберг. Это звучало как приказ.

А кто же будет снимать в Мадриде? В эти дни обоим советским операторам покинуть Мадрид было бы непростительной ошибкой! Спорить, доказывать не имело смысла. Я почувствовал в голосе посла нотку сомнения: «Мой долг сказать вам... решайте». Посоветовавшись с Макасеевым, мы решили разделиться. Борис возьмет на себя съемки в Валенсии, я остаюсь в Мадриде.

Как-то Хосе Диас спросил меня:

— Не нуждаешься ли ты в чем-нибудь для своей работы, Центральный комитет тебе окажет любое содействие. — Я был тогда без машины, сказал, что единственное, в чем нуждаюсь, — хороший автомобиль. И хоте-

лось бы шофером иметь надежного парня, коммуниста.
— Хорошо, мы тебе достанем машину,— сказал Хосе Диас.

Вечером этого же дня ко мне в «Палас» зашел молодой паренек и сказал:

— Я направлен к вам из Центрального комитета Коммунистической партии. По личному распоряжению товарища Диаса. Меня зовут Хулио Диегес. Я буду с вами работать, шофером.

— А машина? — спросил я.

— Спустимся вниз, посмотрите машину,— интригующе улыбнувшись, сказал он.

У подъезда отеля стоял новенький лимузин «накард». Хулио был явно доволен впечатлением, которое произвела на меня прекрасная машина. И тут же, отвернувшись лацкан пиджака, показал мне значок «Сегуридад», показал документы, разрешающие беспрепятственный проезд всюду, вытащил из кармана толстую пачку талонов на бензин.

С Хулио мы подружились. Он стал моим боевым другом, верным товарищем и ассистентом. Перед отъездом из Испании я помог ему осуществить заветную мечту — он поехал в Советский Союз в школу летчиков и, вернувшись в Испанию, сражался с фашистами на истребителе.

Мне очень не хотелось отпускать Хулио в Валенсию. Мне будет трудно в Мадриде без машины. Я успокоил его, сказав, что он вернется ко мне в Мадрид.

Все эти месяцы я неразлучно, бок о бок работал с Михаилом Ефимовичем Кольцовым. В тот момент, когда было принято столь важное решение — остаться в Мадриде, он мне был необходим. Однако где он?

Неужели 7 ноября фашисты будут в Мадриде?

Пригородный аэродром и местечко Хетафе уже в их руках. Ночью я видел Модесто. Я ни о чем его не спрашивал, но он сказал:

— Мадрида не отдадим!

— А войска? Чем ты будешь его оборонять?

— Продержимся своими силами, танками. Дождемся прихода интербригад.

На его сером от усталости лице я прочел настоящую уверенность. Мы выпили молодого вина, я уговорил его прилечь и вернулся в темный, пустынный Мадрид на его машине.

Лег не раздеваясь, сразу заснул. Но тут же меня разбудил телефонный звонок. На проводе Париж. Товарищ Садовский тревожно спрашивает, неужели я еще не эвакуировался.

— А я пока не собираюсь никуда уезжать. Шлите больше пленки, Александр Александрович! Черт возьми, все уверены, что часы Мадрида сочтены. Я убежден в обратном. И знаю, что нужно снимать, снимать, ибо каждый кадр, снятый в эти дни, — история.

Утром 6 ноября снимал в Карабанчель-Бахо бой на баррикадах. Это мадридское Дорогомиллово — рабочий пригород за рекой. Несколько дней тому назад снимал мадридцев, строивших в Карабанчеле баррикады, — сегодня уже из этих амбразур бьют пулеметы по наступающей фашистской пехоте, кругом рвутся снаряды, санитары ползком выносят раненых. Здесь, очевидно, главное направление удара фашистов. И этой-то горсточке бойцов народной милиции — я насчитал два десятка — предстоит отразить лобовой натиск армии Франко, рвущейся к центру Мадрида?

Фашисты уже просочились в парк Каса дель Кампо, в Западный парк, они охватывают город полукольцом.

— Неужели в самом деле катастрофа?!

Что день кончился, я заметил только, когда мой экспонометр отказался реагировать на сумеречный свет. Проверил пленку, снятую сегодня, 6 ноября, — 450 метров. В пятнадцати тридцатиметровых кассетах запечатлены боевые эпизоды на баррикадах Карабанчеля, толпы людей, бегущих из окраин столицы в центр города, улицы Мадрида, оклеенные плакатами, среди которых выделяется плакат: «NO PASARAN!»

Еду на попутной машине в отель «Палас», где живу. Это фешенебельный отель, имеющий свою скандальную историю. Он упоминается в мемуарах всех знаменитых разведчиков времен первой мировой войны. «Палас» был штаб-квартирой международного шпионажа. Сейчас у него совсем необычный вид. Весь квартал забит грузовиками, из которых солдаты выносят громоздкие предметы, сверкающие никелем, стеклом и белизной. На лифтах поднимаются операционные столы, шкафчики, в которых со звоном пересыпаются хирургические инструменты. Официанты в крахмальных белоснежных кителях поят мечущихся в бреду раненых минеральными водами из

ресторана. В отеле разместился наспех эвакуированный из Карабанчеля военный госпиталь.

Портье гостиницы посмотрел на меня как на выходца с того света, когда я попросил ключ от моей комнаты.

— Я полагал,— сказал он,— что сеньор уехал. Все уехали.

— Кто — все?

— Все, все,— и, взяв меня за плечо, он скороговоркой шепчет на ухо: — Правительство уехало, министры уехали, сеньор Ларго Кабальеро уехал. Они, кажется, решили отдать фашистам Мадрид. Где ваша машина, сеньор? Сейчас нельзя доверять шоферам. Держите ключ от машины у себя в кармане, сеньор.

— Я доверяю своему шоферу,— говорю я и поднимаюсь в свой номер. Смотрю на часы. Двенадцать. 7 ноября 1936 года наступило.

ТАНКИ ДЕРЖАТ ОБОРОНУ В ПАРКЕ КАСА ДЕЛЬ КАМПО	Не выдержал тишины, не могу от- дыхать, иду в военное министерство. Жуткое безмолвие пустых улиц нарушается резкими пулеметными очередями, одиночными выстрелами, звучащими где-то рядом. Пронеслась с бешеной скоростью по Гран-виа лег- ковая машина с ярко горящими фарами и, гудя сиреной, скрылась в направлении Валенсийского шоссе. В саду министерства нет часовых. Ни одной машины у подъезда. Ни живой души на лестнице. Иду, прислушиваясь к шу- му собственных шагов, длинной анфиладой комнат, оби- тых темно-красными штофными обоями, гобеленами. Никого. Приемная военного министра Ларго Кабальеро, которая всегда гудела, как улей, где толпились штабные офицеры, пуста. Толкаю массивную дверь и вхожу в кабинет Кабальеро. Пусто. Тишина. Так это правда — Мадрид всеми покинут? Откровенно говоря, жутково- вато...
--	--

Иду на звук голосов. Прохожу через небольшую двер-
ку в просторный зал. Слава богу, живые люди! Первым
вижу Антонио Михе — члена ЦК компартии — жизнера-
достного, коренастого. С улыбкой кивает мне головой
Владимир Сергеевич Горев, наш военный атташе, ком-
бриг. Высокого роста, худощавый, с неизменной трубкой
«Донхилл» в зубах, Горев давно уже покинул свой каби-
нет в посольстве, стал военным советником мадридского
фронта, он всегда в войсках, всегда на передовой, хлад-
нокровный, подтянутый, элегантный.

Рядом с ним подполковник Висенте Рохо — один из талантливых и по-настоящему преданных республике кадровых генштабистов. В стороне в беспомощной позе стоит старик в байковой куртке. Большие роговые очки на красном носу придают ему сходство с филлином — генерал Миаха. Это ему Ларго Кабальеро, уехав в Валенсию, поручил взять в свои руки оборону Мадрида, возглавить вновь образованную Хунту (совет) обороны Мадрида. Висенте Рохо только что начал докладывать обстановку, и я, глядя через его плечо на карту Мадрида, стараюсь не пропустить ни одного слова.

Положение, как выясняется, весьма неопределенное. Небольшие отряды 5-го полка занимают оборону вдоль реки Мансанарес. Танки небольшими группами держат оборону в Каса дель Кампо. ЦК компартии вооружает рабочие отряды и отправляет их в Карабанчель и к местам боев через Мансанарес.

Из разговоров я узнаю, что с часу на час ожидается прибытие 12-й интернациональной бригады, которой командует венгр — генерал Лукач. Несколько эскадрилий советских истребителей скоро будут переброшены на аэродром Алкала де Энарес. Если до утра не удастся централизовать управление разрозненными группами войск и если Франко утром пойдет на решительный штурм, дело может обернуться скверно.

Выхожу во двор, сажусь на ступеньки лестницы. В почном небе возникает мерное гудение. Вот самолеты гудят уже над головой, вот нарастает жуткий вой падающих бомб и в соседнем квартале гремят разрывы, через несколько минут небо окрашивается розовым заревом.

**ПРАВОФЛАНГОВЫЙ
СОВЕТСКОЙ
ЖУРНАЛИСТИКИ** Из военного министерства я пошел пешком в ЦК Испанской компартии. Дом ЦК напоминал в эту ночь Смольный в канун штурма Зимнего.

Отсюда шли отряды рабочих-коммунистов в Карабанчель и Каса дель Кампо. Отсюда тянулись нити руководства обороной к баррикадам и траншеям на окраинах Мадрида. В два часа ночи в комнате товарища Чэка, члена Политбюро и секретаря ЦК, я столкнулся наконец-то с Михаилом Ефимовичем Кольцовым.

— Давайте теперь не разлучаться, — сказал Кольцов, — машина ваша здесь?

— Ушла в Валенсию.

— И вы, сумасшедший, решились остаться тут без

машинны! — в сердитом его голосе я услышал ласковую теплоту. Как все-таки здорово, что я его встретил.

— Ладно, — сказал он, — мой «бьюнк» здесь. Будем держаться друг за друга, разберемся в обстановке. Дрануть всегда успеем.

Где-то в душе оба мы верили, что Мадрид не откроет ворот фашистам.

Для меня воспоминания об Испании неразрывно связаны с именем Михаила Кольцова. Месяцами мы были неразлучны, и сколь неоценимым университетом боевой журналистики была для меня эта дружба. Что может быть нагляднее, эффективнее такой учебы — мы вместе находимся на событии, видим, слышим, а через несколько дней я прочитываю кольцовскую корреспонденцию в «Правде», восхищенно развожу руками, снова и снова убеждаясь, что волшебство его письма не только в высоком профессионализме — здесь, как говорится, «искра божия». Мудрая, острая и веселая искорка необъятного кольцовского таланта. Этому научиться нельзя. Можно только стремиться хоть отдаленно достичь высот кольцовского мастерства...

Меж строк «Испанского дневника» перед читателем возникает многогранный облик автора — вдумчивый летописец неповторимых событий, государственный деятель, бесстрашный солдат. Я в своей жизни еще много раз прочту эту книгу, снова и снова вспомню живого Кольцова. Вот мы с ним, переползая и перебегая, добираемся до передней цепи бойцов, проникших в ограду крепости Алькасар в Толедо; забываем наш с Кольцовым полет над территорией мятежников в Астурию и Бильбао. Помню, на окраине Овьедо в окопе молодой боец во сне метался в жару, дрожа от холода. Михаил Ефимович укрыл его своим пальто. Сделал это он так, чтобы никто не заметил.

Ночью мы с Кольцовым шли вдоль набережной Хихона — портового города Астурии. Бушевал шторм. Волны Бискайского залива с яростью били о мол, ветер сбивал с ног. Город был погружен в темноту. Увидев полоску света в щели какой-то двери, мы шагнули через порог и оказались в зале небольшого кинотеатра. Шел фильм «Воскресенье», сработанный в Голливуде. Бородатый староста в поддевке подносил князю Нехлюдову хлеб-соль, тот по-испански благодарил: «Мучас граспас». Милисья-

нос сидели, кутаясь в мокрые одеяла, держа меж ног вилки. Посидев недолго в зале, мы снова вышли в беснующийся на пустынной набережной шторм. Кольцов, подняв воротник и намотав на шею шарф, усмехнулся: «Пойди разберись в этой чертовщине — Астурия, затемнение, Толстой, шторм, Нехлюдов, говорящий по-испански...»

В творческой биографии Кольцова немало было ярких страниц. Но, пожалуй, и для него — великого газетчика — Испания стала одной из самых ярких страниц жизни. А кольцовский «Испанский дневник», шагнувший с газетной полосы в большую литературу, стал произведением классической публицистики, ярко отразившим события, полные драматизма, человеческой доблести и поэтического пафоса. Кольцов любил Испанию, его любили и безгранично уважали солдаты интернациональных бригад, люди Испании, испанские коммунисты.

Утро 7 ноября 1936 года. Рассвет. на проводе москва По совершенно пустым улицам, останавливаясь на каждом квартале, едем с Кольцовым к Толедскому мосту. Решили сами проверить обстановку на всей линии обороны. Сейчас никому верить нельзя, только самому увидеть своими глазами эту линию, если она вообще существует. На Толедском мосту группа солдат, закутанных в одеяла. Идут в сторону Карабапчеля. Спрашиваю их, какой они части, куда направляются.

— Колумна лос агилос (колонна «орлы»), отстали от части. Там, в Карабапчеле, должен быть наш батальон.

— По-моему, не вы отстали от батальона, а батальон отстал от вас, он сражается, а вы поспешили к валенсианской дороге. Не так ли, орлы?

Орлы — молодые славные ребята — немного смущены, в моих словах, кажется, святая правда.

— Ну, пойдемте вместе.

Идем по Толедскому мосту, совершенно пустынному. Вчера тут было форменное столпотворение, тысячи людей с пожитками, сбивая друг друга с ног, бежали в город. Я здесь снял женщину, потерявшую своего ребенка. Она сквозь рыдания выкрикивала:

— Чикита миа! Девчоночка моя!..

Сейчас мертвая тишина, которая нарушается ружейной трескотней, гулким эхом проносятся по опустевшим

кварталам отзвуки выстрелов и редких орудийных разрывов.

Идем, прижимаясь к стенам домов. Выстрелы все громче, ближе. Вот и вчерашняя баррикада. До нее осталось метров сто. Рвется посреди улицы снаряд. Мы шахрахаемся в подворотню, отлежавшись, ползем дальше, добираемся до баррикады. Насколько здесь спокойнее, чем там, в центре Мадрида. Здесь все ясно. Знаешь, что фашисты — вот там, в сером трехэтажном доме. Но между нами — каменная баррикада. Гляжу на солдат, которые не отрывают взгляда от амбразур, не выпускают из рук пулемета. Кажется, сеньор Франко сегодня не попадет на Гран-виа. Сегодня на рассвете кто-то позвонил в военное министерство. К телефону подошел Мнаха. Звонили из Хетафе. Фашистский офицер назвал Мнаху старой вонючкой и сказал, что к полудню он со своими товарищами будет пить кофе в кафе на Пуэрто дель Соль.

Со стороны Толедского моста к баррикаде подкатывает республиканский броневик и начинает прямой наводкой бить по трехэтажному дому, методически, как гвозди, вбивая снаряды во все окна, по очереди.

Через пролом в стене перебрались в соседний дом с палисадником. Там бойцы залегли у бетонного основания забора, поставили пулемет. Отсюда они прекрасно видят большой пустырь и группу домов, в которых засели марокканцы и стреляют разрывными пулями — пули-хлопушки колотятся над нашими головами. Солдаты, увидев в моих руках кинокамеру, немедленно открывают ураганный огонь по фашистам. Каждый, выпустив обойму, поворачивается к аппарату, принимает картинную позу, поднимает кулак и кричит: «Вива эспанья!» Я умоляю не обращать на меня внимания, но поздно: внимание на нас уже обратил противник. Фашисты, решив, очевидно, что мы готовимся к атаке, начали поливать наш палисадничек ливнем ружейно-пулеметного огня. С большим трудом мы с Кольцовым выбрались отсюда, вернулись на баррикаду.

— Спасибо за доставленное удовольствие, — мрачно сказал Михаил Ефимович, отряхивая известковую пыль со своего плаща. — Давно я так не ползал на животе.

— Пойдемте, — сказал я.

— Ну вас к черту, дайте отдышаться, — сказал он, присев на мостовую и облокотившись спиной на стенку баррикады.

Гляжу на часы, рассчитываю разницу во времени... Вот сейчас над колоннами войск на Красной площади проносится команда «смирно»... В руках у солдат, присевших на корточки за нашей баррикадой, праздничный номер «Мундо обреро», богато иллюстрированный. Номер почти полностью посвящен Советскому Союзу. Москва, танки на Красной площади.

Расставшись с Кольцовым, возвращаюсь к Толедскому мосту и иду к центру города, чтобы проехать в парк Каса дель Кампо. Даже не знаю, как туда попасть. Стыдно сказать — два месяца в Мадриде и не удосужился побывать в этом излюбленном месте отдыха мадридцев.

Ориентируюсь по карте. Теперь вся кипа полевых карт заменена одним листком, который я снял со стены моей комнаты, — план Мадрида. За эти два дня он уже сильно изменился, исчерчен красными и синими кружками, стрелками.

Сейчас к полудню центр города опять, как и вчера, заполнился тысячами людей, повозок, машин. По бульвару Каселляно гонят стада скота. Раньше эти толпы были «транзитные» — люди шли из деревень через Мадрид на восток. Теперь тронулся Мадрид. Население узнало, что правительство оставило столицу, и ринулось из города. Это к лучшему — меньше жертв от бомбежек, да и с удовольствием будет, очевидно, трудно.

Очень осторожно, сверяясь ежеминутно с картой, еду по пустынной окраине.

Проникаю в парк. Главный натиск фашисты здесь предприняли ночью и сегодня на рассвете. Сейчас они притихли, все их атаки были отбиты. Идет редкая перестрелка. Здесь вся оборона держится главным образом на танках. Танки все время ведут огонь в сторону противника, беспрестанно меняют позиции, создавая у фашистов впечатление чрезвычайной густоты артиллерийского огня в республиканской обороне. Прошедшая ночь, рассказывают мне танкисты, была крошечным адом. Доходило до рукопашной. Главное — побольше снарядов. Танки, превратившиеся в маленькие кочующие форты, ведут огонь без передышки. К вечеру нужно ожидать решительной атаки, временное затишье объясняется тем, что фашисты, очевидно, стягивают сюда силы, концентрируют авиацию и артиллерию. В парке снял трогательный кадр в окопах. Молодой боец — верзила парень уговари-

вает старушку мать уйти домой. Здесь же передовая, убить могут! А она ни в какую. Стоит около амбразуры, смотрит любящими глазами на сына. Ему совестно перед товарищами. «Уйди же, madre, мамита миа!» А она; маленькая, седая... садится на глиняный выступ в траншее, говорит: «Не пойду!»

Вспомнил, что сутки ничего не ел. Солдаты накормили меня. Ломоть консервированной ветчины с сухими галетами, несколько глотков вина из фляги.

Возвратившись в город, заехал в «Палас» за пленкой. Позвонил Кольцову. Он поднял трубку:

— Куда вы запропастились! Давайте живо сюда! Очень важное дело. Да поскорее!

Я поднялся этажом выше и, открыв дверь, замер от изумления. В просторном номере Кольцова — роскошно сервированный стол, лучи солнца сверкали в дорогих бокалах, в серебряных ведерках бутылки замороженного шампанского, покрытые крахмальными салфетками. В центре стола — ваза с огромным букетом алых гвоздик. В комнате кроме Михаила Ефимовича я увидел Владимира Горева, его заместителя полковника Ратнера, полковника Хаджи Мамсурова и его переводчицу — расторопную, говорливую аргентинку Лину. У всех в петлицах гвоздики. Радостное, приподнятое настроение.

— С праздником! Встречаем в Мадриде 29-ю годовщину Октября. На зло фашистам, в Мадриде, черт подери!..

До этого, запомнившегося на всю жизнь дня я редко видел Хаджи Мамсурова. Осетин могучего телосложения с теплым взглядом черных глаз, он был нелюдим, неразговорчив. О хладнокровном мужестве Хаджи передавали шепотом удивительные истории. Не зная испанского языка, он ходил по фашистским тылам с небольшой группой отобранных им отчаянных храбрецов — испанцев. Его возвращение в Мадрид после очередного рейда опережалось известиями о сумасшедших по дерзости и отваге делах: летели на воздух артиллерийские склады, рвались на фашистских аэродромах начиненные бомбами немецкие бомбардировщики, взрывались эшелоны с оружием Гитлера и Муссолини, стратегические мосты. Он никогда ничего не рассказывал. А спросить его — только качнет черной как смоль шевелюрой и улыбнется застенчивой улыбкой, сверкнув из-под резко очерченных губ бело-

снежными зубами. Лишь однажды после долгих уговоров он согласился. Два вечера Эрнест Хэмингуэй просидел с ним в отеле «Флорида», это впоследствии помогло ему создать образ Джордано, героя романа «По ком звонит колокол».

В этих рискованных рейдах Лина была всегда рядом с Хаджи.

Прошли годы. Московская квартира генерал-лейтенанта Хаджи Мамсурова часто заполнялась испанскими ветеранами с побелевшими головами. За столом радушная хозяйка дома, милая наша Лина. То и дело слышалось неизменное: «А ты помнишь...» А у края стола их дочь — красавица, подперев кулачками лицо, ну точь-в-точь та самая огневая отважная мадридская Лина, жадно слушает отрывки боевых повестей.

Наша торжественная трапеза в «Паласе» была короткой. Первым, взглянув на часы, поднялся из-за стола Горев. В этот момент раздался телефонный звонок.

— Возьмите, пожалуйста, трубку, — сказал мне Кольцов, занятый беседой с Ратнером.

— Что?.. Кто говорит? Не может быть! Вызывает Москва. Радиоцентр.

— Это первый звонок из Москвы. В спокойное время они не пытались звонить, а сейчас, когда такое творится...

— Расскажите, что сегодня происходит в Мадриде?

Хватаю карту Мадрида и передаю все, что сегодня и вчера видел, рассказываю о боях за Мадрид, об образовании Хунты обороны, передаю трубку Михаилу Ефимовичу.

— Держимся! — задорно кричит он в телефон. — Держимся!

Снова трубка у меня в руках.

— Благодарим вас, — звучит далекий голос, — сейчас передадим в эфир в праздничной передаче, записали вас и Кольцова на пленку. Демонстранты еще продолжают проходить через Красную площадь!

Проводом завладевает редакция «Известий». Снова передаю информацию.

— Будем вас вызывать завтра! — говорит голос Москвы.

Повесил трубку, и еще не верится. Москва... «Будем вас вызывать завтра». Невольно улыбнулся: завтра, что будет завтра?..

Сколько же продержится Мадрид? День, неделю, месяц?.. Этого никто не может сказать. Нужны срочно резервы, подкрепления. Нужно использовать задержку фашистского наступления, создать прочную оборону на всех угрожаемых участках. Если Франко не удалось взять Мадрид с ходу, если его задержали на двое суток, это не значит, что удастся отразить концентрированный удар всех его сил на одном из участков. А этого можно ожидать с минуты на минуту. Город переполнен вооруженными фашистами, которые связаны по радио с командованием фашистских войск. Ночью было уже несколько вылазок — по городу носились таинственные машины, обстреливавшие патрули. Из окон многих домов уже были брошены на улицы бомбы. Фашистское подполье ожидает приказа о выступлении. Что будет, если эти банды выйдут на улицы Мадрида?..

В ЦК компартии, куда я снова заходил, Педро Чэка рассказал, как формируются рабочие отряды для охраны города. Они вооружены пулеметами, винтовками, им даны грузовые машины, автобусы. Несколько таких отрядов уже выдержали бои с пытавшимися действовать вражескими группами. Чэка расспрашивал меня подробно о Карабанчеле, Каса дель Кампо. Сегодня туда будут подброшены пополнения. По сообщениям, которые поступают от командиров частей, можно заключить, что войска дерутся прекрасно. Что-то в корне изменилось. Те самые дружинники, которые при первом появлении авиации бросали свои позиции, те, кто, взяв винтовку на плечо, деловито шагали по дорогам, отступая к Мадриду, сейчас дерутся как звери. С каждым часом крепнет дисциплина, крепнет уверенность, что дальше отступать некуда.

Утром сообщили, что 12-я интернациональная бригада прибыла в Мадрид. Ее с ходу бросили на самый тяжелый участок. К Французскому мосту.

Я пробираюсь к маленькому домику — сторожке лесника, скрытому густой листвой деревьев на берегу Мансанарес. Навстречу мне по дорожке идет человек. Мы внимательно оглядываем друг друга. На нем серая байковая куртка, светлые спортивные бриджи, коричневые сапоги со шпорами. Он свежевыбрит. Над улыбающимися полными губами щетинка подстриженных усов. Потом я

узнал, что таким он оставался всегда, даже в самые тяжелые минуты.

Из-под козырька на меня вопросительно взглянули лукавые глаза.

— Мне нужен штаб 12-й интербригады, — сказал я по-испански.

— Кто именно вам там нужен?

— Хочу видеть генерала Лукача — командира бригады.

— А вы кто такой?

Я назвал себя. Он подошел и крепко обнял меня. Мы не были с ним знакомы, но здесь крепко расцеловались, как самые близкие друзья. Еще бы! Встретиться вдали от Родины, да еще в такой обстановке!

С этого дня штаб славной 12-й интербригады стал моим родным домом на испанской земле. Он часто кочевал, этот гостеприимный дом. Иногда это был сырой блиндаж под Брунете, иногда роскошный замок сбежавшего маркиза в Эль-Пардо, где после тяжелого боевого дня мы ночью отдыхали в креслах за бутылкой старой малаги из маркизова подвала, у горящего камина, потому что холодный ветер задувал через пролом в стене замка. Адрес «родного дома» было узнать очень легко: там, где самые тяжелые бои, там, где решается судьба фронта, где ломится враг, там легко было найти 12-ю Матэ Залка бригаду. Каса дель Кампо, Харама, Посуэло, Брунете, Гвадалахара. Неизменным был боевой штаб этой прославленной бригады: худощавый, решительный Павел Иванович Батов — военный советник Лукача; спокойный, отважный болгарин Карло Луканов — начальник штаба бригады; седой болгарин Фердинанд Козовский — заместитель командира бригады; всеобщий любимец, совсем юный, весельчак, отчаянно храбрый адъютант Лукача — Леша Эйспер. Дружеской, тесной, боевой семьей была 12-я! Ее солдаты, говорящие на четырнадцати языках, вписали своими подвигами незабываемые страницы в историю войны в Испании. А после Испании? В партизанских отрядах Франции, в предсмертные часы в нацистских лагерях, в последних битвах с полчищами Гитлера вспоминали ветераны 12-й раскаленную землю Кастилии и Арагона, видели лучистый взгляд любимого своего генерала, который вел их в первых сражениях с фашизмом.

Матэ Залка с грустью делился с близкими друзьями

своей заветной мыслью — он завидовал своим коллегам писателям — Хэмингуэю, Кольцову, Эренбургу:

— Вы пишете. А мне даже некогда вытащить из кармана записную книжку. Сколько потрясающих эпизодов! Какие заманчивые замыслы приходят в голову и бесследно испаряются в грохоте снарядов и бомб. Какие люди окружают меня! С какой радостью взялся бы я за перо...

Добрый, дорогой Матэ! Как любил он людей, знал по имени каждого солдата. Сколько раз видели мы на лице железного командира слезы, когда погибали его люди. Но как ненавидел он врагов! Он ненавидел фашизм со всей страстью своего доброго чистого сердца и мечтал дожить до того дня, когда будет разгромлен фашизм.

— Красная Армия придет в Берлин, если только они посмеют напасть на вашу страну, — говорил он мне, — береги пленку!

Враг, в течение ряда дней с диким упорством и огромными силами наступавший в секторе Боадиллы, прекратил попытку прорвать фронт республиканских частей и притих.

С каждым днем увеличивается количество перебежчиков из лагеря фашистов. Они приходят в одиночку, небольшими группами, иногда в полном вооружении.

Их рассказы в большей мере объясняют неудачи армий генерала Франко под Мадридом.

Перебежчики в один голос говорят о том, что моральное состояние солдат мятежных армий ухудшается с каждым днем.

Большинство перебегающих — новобранцы, насильно мобилизованные фашистами для пополнения редееющих под Мадридом рядов мятежной армии.

— Недавно на мадридский фронт прибыл наспех сформированный в Севилье полк. Его разбавили марокканцами. Хотя марокканцам тоже не сладко живется в армии Франко, — рассказывал перебежчик, солдат этого полка, — но в сравнении с условиями, в которых находятся мобилизованные мятежниками испанцы, положение марокканцев можно считать привилегированным. Их лучше кормят. Такое отношение к марокканцам объясняется тем, что они безропотно идут в первых цепях в атаку. Они — единственная сила, на которую фашисты опираются в наступлении. Нас вперед не посылают,

боясь, что при первой возможности мы перейдем на сторону народа. Отношения между испанскими солдатами и марокканцами в нашем полку очень враждебные. Были случаи избиения марокканцев.

Перебежчики говорят о растущем брожении и среди марокканцев. Вспышки недовольства жестоко подавляются офицерами и молодчиками из «испанской фаланги», выполняющими в основном карательно-палаческие функции в тылу и на фронте.

Несколько дней тому назад республиканцы услышали ночью сильную стрельбу, доносившуюся со стороны деревушки Брунете, в районе которой расположены части фашистов. Республиканские части продвинулись в этом направлении и, к своему удивлению, не встретили сопротивления. Противника в окопах не оказалось — только свежие трупы. Несколько тяжелораненых, не приходя в сознание, скончались. От них не удалось ничего узнать о разыгравшейся здесь трагедии. Однако есть все основания полагать, что это было подавлено восстание и после расправы часть была немедленно отведена в тыл.

дыхание мадрида Телефонная связь с Москвой стала регулярной. Ежедневно к концу дня меня вызывают «Известия».

Фашисты жестоко бомбят Мадрид. Я жду «юнкерсов» на Гран-виа, на вышке «Телефоника». С этого 14-этажного небоскреба столица как на ладони. Падают бомбы, я засекаю место, спускаюсь на скоростном лифте и через пять минут вижу картину, к которой нельзя привыкнуть даже после многих недель жизни в осажденном Мадриде.

Пламя хлещет из разбитых окон, густым черным дымом окутаны целые кварталы. По улицам в клубах дыма движутся тысячи людей. Они только что покинули разрушенные горящие дома. В толпе почти нет мужчин, сплошь дети, женщины. Они бредут полуодетые, прижимая к груди плачущих младенцев, поддерживая под руки стариков и старух. А самолеты снова идут, и уже слышны разрывы новых бомб. Из пожарниц выносят тела, залитые кровью и покрытые густым слоем известковой пыли. Молодая мать, распластавшись на траве сквера, вцепилась зубами в окровавленное платице убитой девчурки. Как отвратителен должен быть для матери, рыдающей над трупом своего ребенка, спокойный вид человека с трещащим киноаппаратом. Вот он подходит, этот человек вплотную к ней и снимает крупным планом ее

горе. Потом он меняет объектив, перезаряжает кассету. Снова снимает. Вот только руки не должны дрожать у оператора. У хирурга, когда он проникает в зияющие людские раны, не дрожит рука?..

Убитых увозят на грузовиках. Десятки людей работают на развалинах, продолжают поиски трупов. Вот из-под груды щебня показалась русая детская головка. Дальше копают руками, медленно высвобождая плечики, ручонки. Рядом обнаруживаются еще две головки. Две девочки и один мальчик — все они не старше шести лет. Раздавлены, уничтожены.

Свою корреспонденцию в «Известия» я закончил в этот день словами: «Эти кинодокументы мы когда-нибудь покажем вам, господин Гитлер!»

Около Боадильи, где третий день идет жестокий бой, на передовые линии республиканское командование не пустило. Полковник значительно показал на вереницу грузовиков с ранеными бойцами, потом бросил на ходу: — Убьют, не пущу, — и, улынувшись, потрепал по плечу.

В двух километрах от маленького селения, где находится полевой штаб, гремит орудийная канонада. Ни на минуту не прекращается ураганный огонь, ружейный и пулеметный.

Франко бросил большие силы на этот участок — артиллерию, танки, пехоту. Трое суток части народной милиции сдерживают упорный натиск врага, отбивают атаку за атакой.

В небе появляются эскадрильи «юнкеров» в сопровождении истребителей. Они идут над линией фронта. Один за другим гремят взрывы и поднимаются желтые столбы. Мы уже научились определять по звуку вес авиационной бомбы. Эти бомбы не менее 250 килограммов. Если внимательно смотреть на летящий самолет, видно, как отделяются от него точки, постепенно ускоряя смертоносное свое падение.

«Юнкеры» разворачиваются и идут на Мадрид. Вслед за исчезнувшими в дымке тумана самолетами возникают отдаленные гулы взрывов. Неужели опять по городу бьют?

Машина катится по гладкому асфальту, пересекающему красивые рощи Эльпардо, королевского заповедника, резиденции бывшего короля Альфонса. Нам перебегают

дорогу стадо благородных оленей и антилоп. Они останавливаются недалеко от шоссе и провожают машину внимательным, пристальным взглядом, они не пугливы. Миллионы не стреляют в королевских оленей.

Городская застава. Проверка документов.

— Салут, компаньеро!

Мы в Мадриде, в рабочем районе Тетуан. Здесь узенькие улочки, маленькие двух- и одноэтажные домики, баррикады и всегда очереди у лавок. Сейчас этот район представляет ужасное зрелище. Так вот куда направились эти трижды проклятые «юнгерсы», скрывшиеся в серой дымке зимнего неба.

Рабочий район разбит. Дома превращены в груды пыльного щебня.

Бомбардировка была часа полтора назад, около развалин бродят люди, выкапывают из развалин кусок швейной машины, осколок стула, кастрюлю.

Никто не плачет. Женщины останавливаются и, ни на кого не глядя, что-то начинают говорить, опускаются на землю и так сидят с окаменелыми лицами.

Наступает ночь. Но на улицах Мадрида светло как днем. Небо окутано розовым дымом, полыхают целые кварталы. Бомбардировка продолжается. Солдаты помогают пожарным. Они храбро бросаются в горящие дома, спасая людей, выносят вещи, отвозят раненых в госпитали, карабкаются с брандспойтами по карнизам домов.

А на окраинах идет бой. Глубокой ночью в городе, окутанном заревом пожаров, обезумевшие от горя матери, потерявшие детей, вслушиваются в беспорядочную канонаду и ружейную трескотню.

Мадрид тяжело дышит. Но не сдаётся.

**«ПЯТАЯ КОЛОННА»
ДЕЙСТВУЕТ**

Снова снимаю, снимаю. Внутренний голос диктует: «Не береги пленку! Мир должен все это видеть!» Столица европейского государства впервые после окончания первой мировой войны подвергается бомбардировкам, тысячи мирных жителей гибнут под бомбами. Где-то в Лондоне заседает комитет по «невмещательству». Быть может, эти кинодокументы помогут честным людям мира в их борьбе за прекращение помощи Франко со стороны фашистской Германии и Италии?

Снимавшие в Мадриде кинооператоры — француз, два англичанина и американец — в первые дни ноября исчез-

ли. Видимо, переметнулись на ту сторону фронта, чтобы снять триумфальное вступление Франко в Мадрид. Они еще выжидают там, разглядывая в бинокль дома Мадрида. Какая же ответственность ложится на советского кинооператора, снимающего сейчас в осажденном Мадриде!

Как-то вечером позвонил мне Михаил Ефимович Кольцов. Он сказал:

— К вам сейчас постучит в дверь что-то очень огромное и лохматое. По-моему, это по вашей части, вы сможете разобраться, в чем дело, к тому же я не владею английским...

Раздался стук в дверь. Вошли двое. Один действительно огромный, толстый, с гривой курчавых волос на голове, другой — тощий, долговязый. Толстый протянул мне руку и с подкупающей доброй, застенчивой улыбкой сказал:

— Я Айвор Монтегю из Лондона, здравствуйте, товарищ Кармен. Познакомьтесь, мой коллега — кинооператор, — он назвал имя долговязого парня.

Он рассказал мне о цели своего приезда. В Англии был объявлен сбор денег на создание правдивого документального фильма о борьбе испанского народа с фашизмом. Вот они и приехали для того, чтобы снять этот фильм.

— У нас шестнадцатимиллиметровая кинокамера, — сказал Монтегю, — мы рассчитываем очень быстро провести съемки, вернуться в Англию и там широко показывать фильм, который мы снимаем.

— На какой срок вы планируете ваши съемки? — спросил я.

— Не больше месяца, мы хотели бы не задерживаться, фильм этот очень нужен. А знаете ли вы, — добавил он, — что в Америке из ваших кадров уже смонтирован фильм «Испания в огне» и текст к этому фильму написал Хэмингуэй?

Для меня это было новостью, хотя Садовский мне сообщал из Парижа, что материал, снятый советскими кинооператорами, нарасхват берут многие страны мира. Последующие дни я посвятил Айвору Монтегю и его напарнику. Я знал все места, где они могли снять ценный материал. Мы были на баррикадах в Карабанчель, в Касадель Кампо, в Университетском городке. Помог им снять разрушения в Мадриде, горы трупов в морге, были в 12-й интербригаде, ведущей бой на окраинах Мадрида.

Во время бомбежек я мчался с ними в районы, где были сброшены бомбы, поднимался с ними на «Телефонику», откуда они снимали Мадрид, окутанный дымом пожара. Через три дня напряженной работы Айвор сказал мне:

— А знаешь, по-моему, наш фильм уже почти готов. Мы сняли потрясающий материал, о большем мы и не мечтали. Еще снимем в Барселоне, Валенсии и вернемся в Лондон.

Прошли десятилетия. Где только мы не встречались с Айвором Монтегю, которого я полюбил за необыкновенную чистоту его души, честность, страстность. Он стал потом членом ЦК Коммунистической партии Великобритании, редактором «Дейли уоркер». Мы виделись с ним в Москве, в зале Нюрнбергского трибунала, в Кремле, где ему была вручена Международная Ленинская премия за укрепление мира между народами. Всегда мы вспоминали Мадрид, отель «Палас», нашу первую встречу в декабре 1936 года.

По ночам раздаются таинственные пулеметные очереди из темных окон, по утрам на улицах находят трупы республиканских офицеров, бойцов комендантских патрулей. Она действует, «пятая колонна», действует пока трусливо, из-за угла. Но в любой момент может поднять голову и всадить нож в спину защитникам Мадрида.

За последние дни органы общественной безопасности Мадрида установили, что из окон одного из домов, находящихся под охраной финляндского флага, несколько раз были брошены на улицу бомбы. Одной из бомб был тяжело ранен проходивший вечером по улице мальчик.

Сотрудники Сегуридада (управление общественной безопасности) явились в этот дом для производства обыска, уведомив о предстоящем обыске все иностранные посольства в Мадриде. Когда агенты Сегуридада появились у дверей дома, из окон был открыт ружейный огонь. Два милиционера были тяжело ранены. Двери пришлось взломать.

Этаж за этажом агенты Сегуридада брали дом. Из каждой комнаты с поднятыми руками выходил новый десяток человек — все испанские граждане. Комнаты, коридоры

доры устланы матрацами. Дом оказался превращенным в военную казарму фашистского подполья. Всего в особняке обнаружено и арестовано около пятисот человек, не считая женщин и детей. Тут же, в комнатах, были найдены склады оружия, боеприпасов и продовольствия. Скрывающиеся под охраной финляндского флага фашистские бандиты вели военный образ жизни. На стенах были развешаны приказы, «правила внутреннего распорядка». Выпускалась регулярно газета, информирующая о положении на фронтах, об очередных задачах фашистского подполья.

Большинство скрывавшихся — члены «испанской фаланги» — офицеры, крупные фабриканты, банкиры, несколько попов. Тут же обнаружены были кустарная военная мастерская, изготавливавшая бомбы из консервных банок, и склад готовых бомб.

Финляндский посланник заявил, что он и не подозревал, оказывается, о том, что в находящихся под его охраной домах скрывались бандиты.

При допросе арестованных выяснилась любопытная деталь: с укрывшихся бандитов взималась изрядная плата за право убежища от 100 до 1000 пезет с человека, в зависимости от его имущественного положения...

В это утро, как и всегда, пришли за здравствуют «КУРНОСЫЕ» — «ЧАТОС!» «юнкеры». Я насчитал в небе соток девять самолетов: двадцать семь бомбардировщиков, остальные — истребители прикрытия «хейнкели» и «флаты». Город мгновенно замер, опустели улицы и площади. В гробовой тишине — только мерный гул моторов. Но что это? Почему дрогнул парадный строй фашистских машин?

В небе вдруг возник новый звук. Как вихрь, пронеслись над крышами Мадрида четыре стаи краснокрылых истребителей И-16. Они ринулись на фашистов. Один Ю-52 сразу задымил черной струей, пламя охватило фюзеляж, и он, скользя на крыло, пошел к земле. Это произошло в один миг, но улицы, площади, крыши и балконы Мадрида сразу заполнились десятками тысяч людей. Два «хейнкеля», кувыркаясь, упали, объятые пламенем. Тысячеголосый вопль восторга пронесся над городом.

Наконец-то он наступил — долгожданный день. В небе Мадрида — советские истребители!

Люди кричат, бросаются друг другу в объятия, пла-

чут. Две старушки упали на колени посреди мостовой и замерли, подняв руки к небу.

— Виваа! Вива Руссна! — эти крики подхвачены тысячами. Летят в воздух береты, солдаты потрясают винтовками в вытянутых руках, девушки машут мантильями.

— Вива лос чатос!.. — кто-то сразу окрестил эти самолеты словом «чатос» (курносые). То ли по внешнему виду действительно курносого истребителя И-16, то ли любовная кличка относилась к русским парням-летчикам.

А бой в воздухе разгорается, там все смешалось. С треском пулеметных очередей, как стрекозы, кружатся несколько десятков самолетов. Пикируют, петляют, взмывают вверх. Из этой гущи вывалилось уже восемь гитлеровских самолетов. Каждого из них провожают неистовые крики счастливых людей.

И я снова вспомнил старика крестьянина на толедской дороге, его властный голос, требовательный, суровый: «Помогите нам!» Может быть, он сейчас здесь, на одной из площадей вспоминает русского, сказавшего ему тогда, что помощь обязательно придет.

Утром 2 декабря я был в здании медицинского факультета в Университетском городке. Двор и окружающие улицы разрыты глубокими воронками — результат воздушной бомбардировки. Фашистский батальон пытается завладеть зданием медицинского факультета, но, понеся большие потери, отступил.

Республиканские части, несмотря на сильный огонь, продвинулись вперед и выбили фашистов. Бои идут за каждый дом. Стены зданий Университетского городка разворочены пулями.

Мимо забаррикадированных окон нужно проходить низко сгибаясь — над головами с оглушительным треском рвутся немецкие разрывные пули. Бойцы народной милиции не отходят от окон и на ураганный огонь фашистов отвечают огнем из винтовок и пулеметов. Среди бойцов несколько девушек.

Несколько захваченных домов Университетского городка дают повод генералу Франко кичливо утверждать, что его войска ведут бои в самом Мадриде. Судорожно ухватившись за эти дома, фашисты сосредоточили здесь наряду с живой силой артиллерию и танки. За последние

три дня противник предпринял несколько сильных атак, но все они были отбиты.

В своей корреспонденции в «Известия» я сообщил, что во время боя в Университетском городке убит товарищ Ганс Баймлер, член ЦК Германской компартии, бывший депутат рейхстага. Он был организатором батальона Тельмана, состоявшего из немецких пролетариев. Первоначально батальон находился на арагонском фронте в районе Тардиенты.

Когда Мадрид оказался в опасности, Баймлер со своим батальоном прибыл на его защиту. Батальон сражался все время на передовых позициях, Ганс Баймлер всегда был в первых рядах бойцов. Фашистская пуля поразила его в самое сердце, и, падая, он воскликнул: «Рот фронт!»

Летчик лежал на красном бархатном диване, изредка закрывая глаза от боли. Вокруг него толпились офицеры, по очереди задавая ему вопросы на всех языках. Он не отвечает, и лицо его все бледнеет и бледнеет. Широкоплечий красавец гигант теряет силы.

— Вы немец? — спрашивают по-немецки.

— Вы итальянец? — спрашивают по-итальянски.

Раненого летчика привезли в военное министерство, еле отбив от бушующей толпы на бульваре Кастельяно. Летчик свалился на землю из гущи яростного воздушного боя, в котором было сбито три «хейнкеля» и один республиканский истребитель. Когда летчик спускался с парашютом, его подстрелили. Две пули попали в живот. Очутившись среди толпы, он потерял сознание.

— Вы француз?

— Вы испанец? — кричат ему в ухо, но он молчит, закрыв глаза и стиснув от боли зубы. А может быть, может быть, это наш? И молчит, думая, что попал к противнику?

— Ты русский? — тихо спрашиваю я.

Он медленно открывает глаза.

— Где я?.. — спрашивает он по-русски.

В санитарной карете везем с Кольцовым капитана Сергея Тархова в «Палас».

Его проносят в операционную.

Главный врач госпиталя профессор Гомесуйо, седой, с сухощавым аристократическим лицом, выйдя из операционной, неопределенно разводит руками:

— Одну пулю извлекли, другая осталась. Состояние тяжелое...

Здесь в «Паласе», навещая раненых друзей, я познакомился с испанской девушкой. Ей двадцать два года. Она окончила три курса медицинского факультета. Родители уехали в Валенсию. Она осталась в Мадриде. У нее огромные голубые глаза, светлые золотистые волосы выбиваются из-под белоснежной косынки. Ее жениха — летчика-лейтенанта — зверски убили фашисты под Кордовой. На подбитом самолете он, раненый, приземлил машину в расположении врага. Когда до девушки дошла весть о гибели друга, она уже была на фронте.

Зовут ее Люс — свет.

Весь коридор второго этажа, заполненный тяжелоранеными, — ее владения. Из всех дверей несетя зов:

— Люс!..

Когда она заходит в комнату, в глазах раненых зажигается огонек радости, надежды. Она нагибается над кроватью, прижимается нежной девичьей щекой к оброщенному восковому лицу. Что-то нежно шепчет на ухо, звонко смеется.

Спит она не больше двух часов в сутки, и то сидя на стуле и склонив голову на подушку, рядом с мечущимся в бреду раненым.

Я как-то спросил ее:

— Если фашисты войдут в Мадрид, ты уедешь в Валенсию?

Она с минуту смотрела на меня непонимающим взглядом, потом ответила:

— А мои раненые? — и, подумав, прибавила: — Фашисты не возьмут Мадрида.

Никому из раненых она никогда не отдавала предпочтения, но, когда привезли русского летчика, Люс как-то притихла. Она никого к нему не подпускала, перестала смеяться, сама проделывала все сложные медицинские процедуры, подолгу смотрела ему в глаза, угадывая каждое невысказанное желание, предупреждая каждый стон.

— Он будет жить, он должен жить, — шепчет она. — Он сражался за нас.

Все свободное время поочередно мы с Кольцовым проводим у постели Сергея Тархова.

— Не должен был я лезть на рожон, — слабым голосом говорит он. — Ну разве это серьезно: один против

шести! Мальчишество. Надо было уйти в облака, и все тут... Что говорят мои ребята?

— Твои ребята гордятся своим командиром. Ты героически дрался, сбил двух «хейнкелей». Товарищи привет тебе передают. Просили сказать, что вчера за день сбили восемь фашистов.

Он вдруг сжимает мою руку и спрашивает, глядя в глаза:

— Жить буду? Скажи.

— Скоро летать будешь. Слушайся Люс, поменьше разговаривай.

Бомба упала рядом с «Паласом», Тархов вскочил на ноги. Его еле уложили в постель, у него начался бред.

СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ МАРКИЗА

Все восхищаются Мадридом, героизмом его защитников, стойкостью его жителей. Засыпают восторженными телеграммами Хунту обороны Мадрида, но реальной помощи оружием, боеприпасами, людскими резервами пока не видно. Мадридцы вынуждены рассчитывать только на свои силы. Левореспубликанская газета «Политика» напечатала на первой полосе жирным шрифтом по адресу правительства Ларго Кабальеро: «Некоторые любители мягкого морского климата слишком поспешно отправились на побережье. Пусть попробуют эти туристы сунуться обратно в Мадрид!»

Мадрид доказал, что разговоры о необходимости его оставления и отхода на подготовленные рубежи — глубокомысленный вздор, похожий на измену. Какие рубежи? Кем подготовленные? Попробовал бы кто-нибудь теперь предложить оставить Мадрид!

Те, кто панически бежал в Валенсию, теперь нападают на скромных защитников Мадрида, обвиняя их в зазнайстве, в том, что они — мадридцы, — мол, считают себя пупом земли, что только они и дерутся с фашизмом. Последнее — справедливо. Франко действительно все силы бросил на Мадрид, в таких жестоких боях, в которые фашисты вводят массы техники, нет ни на одном из других фронтов. Две-три дивизии из Каталонии очень бы облегчили положение истекающего кровью Мадрида.

Мадрид держится. На каждом шагу в Мадриде перед глазами всплывают картины, напоминающие первые годы российской революции. В Мадриде наступила зима. Без снега. По опустевшим улицам хлещет холодный дождь.

Пронизывающий ветер рвет на стенах мокрые яркие плакаты, призывающие к обороне, кричащие о революционной дисциплине на фронте и в тылу, изображающие кровавый чудовищный фашизм, схваченный за горло мозолистой рукой. Магазины закрыты. Вдоль фасадов унылые, длинные очереди под блестящими зонтами. Бредут с вязанками дров старики. Женщины на тачках везут картошку, капусту. Но, если подойти ближе к стоящей очереди, на строгих, усталых лицах женщин не найдешь и тени обывательского недовольства. Увидев киноаппарат, женщины поднимают кулак. Геронизм мадридской женщины — домашней хозяйки войдет в историю революционной борьбы в Испании как образец стойкого самопожертвования.

А на заставах города по мокрым дорогам бесконечной вереницей идут обозы — красные обозы из деревень везут продовольствие героически обороняющемуся Мадриду.

Население Мадрида во многом сознательно отказывает себе, помогая фронту. В окопах под Боадилья дружинники угощали нас свежей розовой ветчиной, белым хлебом, и по рукам ходила хрустальная рюмочка с позолоченным ободком и герцогским гербом. Дружинники согревали продрогшие тела глотком доброго старого коньяка.

Такие же рюмочки на столе в старинном особняке бежавшего из Испании родовитого маркиза. В реквизированном особняке живут писатели, оставшиеся в Мадриде. Вчера мы с Кольцовым заехали к ним, провели там вечер. Маститый седой беллетрист сидел за столом, закутанный в шубу, подняв воротник, переговариваясь с хлопчущей около стола жизнерадостной Марией-Терезой Леон. Рафаэль Альберти в бараньем полушубке, молчаливо доедая гороховый суп, разглядывал семейный альбом маркиза. На этом альбоме карандашные и акварельные наброски знаменитых художников, эпиграммы, написанные рукой знаменитостей. На одной из страниц рисунок человека-полуобезьяны в лохмотьях с дубиной в волосатой руке. Под рисунком надпись: «Народ!»

Народ бережно сохранил особняк маркиза, его великолепную живопись. Маркизу нечего жаловаться на народ, построивший этот дворец и передавший его теперь в достойные руки. Вот другу маркиза герцогу Альба не повезло — в его дворец попала фашистская бомба. Я снимал бойцов народной милиции, которые выносили из го-

рящего дворца картины, статуи, музейную мебель. Все, что удалось спасти, солдаты бережно укладывали на газонах парка. У лепного фонтана лежал бюст хозяина дворца, вынесенный из горящего вестибюля. Надменным взглядом смотрел бронзовый герцог Альба в облака черного дыма.

Пленка на исходе. Надо ехать в Валенсию, туда прибыла из Парижа новая партия. Тщательно упаковываю снятый материал. Пишу монтажные листы. Выпротер на эту поездку «бьюик».

Сегодня утром Тархову стало как будто лучше. Вернувшись поздно ночью в «Палас», я просидел у него до утра, пока он не задремал. Неужели выживет? Мы стали особенно опасаться за него после бомбежки, когда он спрыгнул с кровати. Перед отъездом заглянул в палату, Люс приложила палец к губам и замахала на меня рукой. Спит.

В машине я решил выспаться за все эти дни. Ничего не вышло. Шофер так гнал по горной дороге машину, что не до сна. Часто я вспоминаю о своем «паккарде» и о чудесном парне Хулио Родригесе — шофере. Ужасно переживал Хулио, когда нас разлучили, отправляя его в Валенсию.

Более чем на пятьдесят километров дорога перед Валенсией идет по равнине через сплошные апельсиновые рощи. Я остановил машину и сорвал ветвь, отягощенную двумя десятками огромных спелых апельсинов.

Только сейчас, попав в Валенсию, я ощутил, как изменился облик Мадрида. Здесь на улицах нарядная толпа, масса цветов, кафе переполнены элегантными молодыми людьми и нарядными сеньоритами, афиши извещают о том, что в кабаре «Эль Соль» выступает знаменитая неподражаемая Хуанита Серрано. Красочные плакаты зовут на бой быков. Никаких бомбежек.

У подъезда отеля «Метрополь», где разместилось советское посольство, я наконец увидел мой «паккард». Из него выскочил Хулио, мы расцеловались.

Первое, что приласкало мой глаз, — огромный ящик с пленкой. Мы крепко обнялись с Борей Макасовым. Он рассказал о своих съемках на Теруэльском фронте, в Картахене, Валенсии, передал мне письма из Москвы.

Я помылся в ванне, надел свежую сорочку, купленную только что в соседнем магазине, и мы спустились позавтракать в ресторан отеля. Тишина, никто не стре-

ляет, официанты в белых кителях бесшумно подносят нам кофе, яйца. За соседним столиком сидят двое русских летчиков, видно только что прибывших. У «новеньких» растерянные лица — им подали странное блюдо — морская каракатица в собственном соусе, похожем на густые чернила. Блюдо очень вкусное, но на неопытного человека производит удручающее впечатление. Слышу реплики, произнесенные шепотом: «дрянь», «и как такую мерзость можно есть»... Сознательно не вмешиваюсь — любопытно, как ребята выйдут из затруднительного положения.

— Камарад, попрошу на минутку! — обращается один из них к официанту, тот подбегает к столу. И русский, мобилизовав весь свой арсенал знаний испанского языка, указав на подозрительное блюдо, потом проведя рукой по трассе своего пищевода и страдальчески замотав головой, говорит:

— Камарада! Но пасаран! Не пройдет эта штука, понимаешь, никак не пройдет... Но пасаран!..

Тут уж, весело расхохотавшись, мы пришли ребятам на помощь в выборе другого, более подходящего для летчика-истребителя блюда.

Хулио единственный в Испании шофер, признающий скорости ниже ста километров. В «паккарде» чудесное радио. Всю обратную дорогу мой слух ласкали безмятежные звуки музыки из Лондона, Парижа, Брюсселя, я дремал, слушая болтовню Хулио.

По Валенсийской дороге — единственной магистрали, соединяющей Мадрид с глубокими восточными тылами, с побережьем, тянутся бесконечные вереницы машин с продовольствием, иногда и с воинскими частями. Проезжаю городскую заставу, радостно вдыхаю воздух Мадрида. До чего же он стал дорог и близок, Мадрид! Заезжаю в «Палас». Тархов в тяжелом состоянии.

В военном министерстве я встретил Хаджи. Он временно состоит военным советником у Дуррути — вожака испанских анархистов. Хаджи рассказал: бригада Дуррути недавно пришла из Каталонии. Анархисты подняли по этому поводу невероятную шумиху. Они идут спасать Мадрид! Они потребовали поставить бригаду на самый тяжелый участок обороны Мадрида! Они, наконец, разгромят полчища Франко!

На второй день на их участке марокканцы форсирова-

ли Маисанарес и просочились в Университетский городок. Это очень опасно. Теперь фашисты — в черте города. Анархисты дали Хунте торжественное обещание исправить положение. Никто в это не верит. А сегодня утром они вдруг потребовали вывести их на отдых. Чудовищно!

— А какую позицию занимает Дуррути? — спросил я. Хаджи задумчиво мял свой берет.

— Понимаешь, — сказал он, — я полюбил его. Вот полюбил, и все. Верю в его честность. Он по-настоящему ненавидит фашистов, горячо любит Испанию. Но в каком он ужасном окружении! Меня иногда пугает его трагическая обреченность. В минуты откровенности он не в силах скрыть от меня своего отвращения ко многим авантюристам и негодьям, которые, как он говорит, позорят чистые его идеи. Вот я убежден, что он противник отвода бригады в тыл. Я еду к нему сейчас, хочешь, поеду вместе?

Особняк на тихой улице Мадрида, обсаженный большими развесистыми деревьями. Он принадлежал древнему аристократическому роду. Хозяева, конечно, удрали. По мраморной лестнице мы с Хаджи поднялись в бельэтаж, прошли по большому залу, обтянутому темно-зеленой шелковой материей. На стенах полотна старых мастеров. Из полумрака на нас смотрят глаза далеких предков хозяина дома. У дверей — рыцари в латах. Горят люстры. Нога утопает в мягких коврах. Прошли анфиладой роскошных комнат, никого не встретив. Издалека мы услышали стук пишущей машинки и, наконец, попали в комнату, где разместилась канцелярия штаба бригады. Массивная дверь из черного дуба охраняется четырьмя здоровенными парнями. У каждого по два маузера. Нас провели в кабинет, где Дуррути диктовал что-то машинистке. Он порывисто встал и, кинувшись навстречу Хаджи, долго пожимал ему руку, словно боясь ее выпустить. Он очень нервен. Его черные глаза, всегда светящиеся неистовыми вспышками, сейчас излучали еле уловимую грусть и растерянность.

Хаджи представил меня Дуррути, и я ему напомнил о нашей первой встрече. Это было три месяца назад. Мы с Ильей Григорьевичем Эренбургом с трудом отыскиали ночью его штаб в Каталонии под Уэской, почти всю ночь просидели в подвале разбитого дома. Дуррути пламенно излагал Эренбургу свои политические взгляды. В одном нельзя было заподозрить этого горячего человека: в не-

искренности его желания драться с фашизмом. А в остальном его речь была беспорядочным наивным бредом о всеобщем равенстве, о торжестве анархии. Илья Григорьевич часто своими вопросами припирал его к стене, Дуррути вскакивал, горячился и даже вдруг в сердцах воскликнул, что он за такие слова может и расстрелять. На рассвете, усталый, грустный, он провожал нас к машине, дал конвой и крепко пожал на прощанье наши руки.

Он вспомнил сейчас эту встречу и, явно желая оттянуть неприятный разговор, который предстоял ему, повел нас за собой.

— Посмотрим дом. Здесь так красиво...

Мы пошли за ним. Он останавливался у каждой картины, статуй, любовался, вглядывался в детали тончайшей работы. Вдруг, обернувшись ко мне, он сказал:

— Все, что тебе понравится, можешь взять на память о Дуррути...

Я поблагодарил, сказал, что обязательно захвачу пару рыцарей в латах и, откровенно говоря, даже не пойму, как я жил без них до сих пор. Дуррути весело рассмеялся. Хаджи молча взял его за руку, усадил на большой диван, обитый голубым атласом. Тот покорно сел и опустил глаза.

— Это верно, Дуррути, что ты отводишь бригаду в тыл? — спросил Хаджи. — Резервов нет, ты оголишь самый ответственный участок фронта.

— Да, я отвожу бригаду! — почти закричал Дуррути. — Люди устали! Устали от бомбежек и артиллерии! Люди не выдерживают! Я не могу!..

— Но твоя бригада всего лишь два дня на передовой. Ты знаешь, как народ оценил, что анархисты наконец из глубокого тыла пришли драться в Мадрид. Какое же впечатление произведет уход бригады? Что тебя заставляет предпринять этот шаг?

Дуррути опустил голову и, стиснув виски, тихо сказал:

— Знаю, все, все знаю, но они требуют. — Слово «они» он произнес со злобой.

Снова вскочил и зашагал по ковру. Стиснув кулаки, остановился около рыцаря и, сверкая глазами, сказал:

— Поеду в бригаду. Сейчас же.

— Я с тобой, — предложил Хаджи.

— Нет, нет! — словно испугавшись, воскликнул Дуррути. — Нет, я один поеду, — и решительным шагом на-

правился к себе в кабинет, кивнув на ходу охране: — Машину. В бригаду.

Он быстро затянул на байковой куртке пояс с пистолетом, мы вышли на улицу. К дому подъехала машина с охраной, из нее вышел начальник штаба бригады Дуррути. Рука его на перевязи. Я попросил Дуррути взять меня с собой: хотел снять его в Университетском городке. Он резко сказал:

— Нет, нет, нет, только не сейчас,— и подбежал к раненному начальнику штаба.

— Ну, что там у нас? — Тот вкратце доложил обстановку. Я снял их беседу. Дуррути кинулся в машину, и она в сопровождении четырех мотоциклистов рванула с места. Мы с Хаджи поехали в штаб обороны Мадрида.

Через час, проходя по коридору штаба, я увидел Хаджи. Он стоял спиной ко мне, глядя в окно. Я окликнул его. Он не ответил. Я тронул его за плечо. Он повернулся ко мне, его глаза были полны слез.

— Что случилось?

— Они убили его. Только что.

Предательский выстрел в спину оборвал жизнь Дуррути в момент самой напряженной борьбы его с самим собой и с «классическими» анархистами. Он мучительно хотел порвать с окружавшей его камарильей авантюристов и начать настоящую безоговорочную борьбу за свободу Испании. Он был честным человеком, он готов был сделать правильные выводы из всего, что происходило на его родине,— очевидно поэтому его и убили.

Ночью меня разбудили. Я поднялся в повогэднюю ночь на третий этаж.

Сергей тяжело дышал. Он изредка шептал что-то белеющими губами. Потом взглянул на нас и затих. Кольцов заплакал.

Я долго смотрел на его высокий красивый лоб, на спокойные восковые черты усталого лица. Люс проплакала у его изголовья до утра.

В ясный солнечный день мы с Кольцовым хоронили Сергея. Его товарищи не могли прийти на похороны. Они сражались. Долго не могли найти Люс, она исчезла. Прибежала она, когда уже закрывали крышку красного гроба. В осажденном врагами Мадриде она разыскала две белые хризантемы и положила их у изголовья Сергея.

Черный автомобиль-катафалк лавировал между трамваями. Его обгоняли с бешеной скоростью военные маши-

ны. Встречные поднимали кулаки, снимали береты. Солдаты молча, торжественно поднимали над головой винтовки. Черному катафалку салютовали строители баррикад на перекрестках. Женщины в черном, стоявшие в длинных очередях, поднимали кулак, провожая в последний путь капитана Сергея Тархова, посмертно удостоенного звания Героя Советского Союза.

А в небе кружили истребители, патрулирующие над городом.

На окраине маленькая девочка, подняв руку, остановила катафалк, что-то сказала шоферу и вбежала в дом. Через несколько минут она выбежала с букетом цветов и, поднявшись на цыпочки, положила цветы на гроб. Я обернулся. Девочка, подняв кулачок, смотрела нам вслед.

На кладбище тихо. Около часовни много трупов убитых во время последней воздушной бомбардировки. Женщина в окаменелых объятиях сжимает убитого вместе с ней грудного ребенка. Маленькие дети беспомощно раскинули ручки на влажной траве среди желтых листьев. Из города доносятся разрывы тяжелых снарядов.

В Испании хоронят, замуровывая гробы в ниши колумбария. Мы сняли гроб с катафалка, поднесли его к нише и, поставив на землю, открыли крышку.

На горизонте появились силуэты «юнкерсов». Эскадрилья республиканских истребителей сделала крутой разворот и пошла навстречу врагу. Гроб установили в нише, закрыли нишу мраморной плитой и замуровали алебастром.

Воздушный бой кончился. Истребители сомкнутым строем, крыло к крылу, возвращались на небольшой высоте на свой аэродром в Алкала де Энарес. Они с могучим ревом пронеслись над нашими головами. Летчики и не подозревали, что в боевом строю салютуют своему товарищу, провожают его в последний путь.

Неповторимый в своей мужественной красе Мадрид встречал новый, 1937 год.

Наступала новогодняя ночь. На серой пелене облаков над Мадридом были розовые отблески пожаров. Вот уже два месяца, как фашистские полчища подошли к стенам Мадрида. Франко оповестил мир, что войдет в Мадрид 7 ноября. Фашисты не взяли Мадрида ни седьмого ноября, ни восьмого, ни девятого. Они не вошли в Мадрид ни

в тридцать шестом году, ни в тридцать седьмом, ни в тридцать восьмом. Это стало известно позже, а в декабре мы считали дни и ночи. Бой шли в Карабанчель-Бахо, в парке Каса дель Кампо, в Университетском городке. В обороне города стояли рабочие Мадрида, бойцы коммунистического 5-го полка, плечом к плечу с ними стояли у стен Мадрида славные интернациональные бригады, сражались советские парни — добровольцы летчики, танкисты.

Мадрид вечером 31 января 1936 года был погружен в тревожную темноту. Машина медленно ехала по улицам, ощупью находя в темноте дорогу. Около баррикад на перекрестках я останавливал автомобиль, чтобы предъявить документы закутаным в одеяла бойцам. Мадрид был особенно насторожен в последние дни декабря. «Пятая колонна» в любой момент могла поднять восстание. За последние ночи патрули уже не раз мчались куда-то, где вспыхивали пулеметные очереди и беглый ружейный огонь.

Продрогшие люди до утра будут нести эту тревожную новогоднюю вахту. Они на каждом углу. Тени отделяются от стен домов, останавливают машину и, направив в окно дуло пистолета, шепотом спрашивают пароль.

В подъезде военного министерства — фронтовые машины, броневичок с орудием. Я прошел по длинным пустым коридорам, через большие залы, озаренные тусклым светом. На длинных бархатных диванах спали вооруженные люди. Здесь тишина, но если подойти к окну, прислушаться — стрельба совсем близко. Линия фронта — в городе. Сапоги у спящих покрыты рыжей окопной грязью, у многих перевязаны голова, руки. Сквозь бинт просочилась и запеклась кровь. Невыспавшиеся девушки отстукивали лаконичные мандаты угрюмым людям, обросшим черными бородами. В коридоре я столкнулся с танкистами. Политрук танкового батальона Иван Зуев и капитан Арманд. Они ненадолго приехали с передовой из Каса дель Кампо, где мы днем уже успели сегодня поздравить друг друга с наступающим Новым годом.

Я прошел в помещение Хунты обороны Мадрида. Первый, кого я там увидел, был Антонио Михе — популярнейший из руководителей Испанской компартии, член хунты. Коренастый, чуть полноватый, он был полон жизни, юмора. Только что вернулся из частей 5-го полка.

На вопрос — как обстановка? Ответил: превосходно! У Франко сегодня новогодняя ночь будет безрадостной. Ребята встречают Новый год с чудесным боевым настроением. Но пасаран!..

Я знал, что обязательно увижу тут Михаила Ефимовича Кольцова. Мы еще вчера уговорились вместе встречать Новый год. Ну, конечно, он здесь! И как всегда жизнерадостный, подтянутый, веселый.

— Поехали в Алкала де Энарес! К летчикам, — воскликнул Кольцов. — Вот и Антони хочет к нам присоединиться.

Тридцать километров от Мадрида по Валенсийской дороге. Маленький тихий городок Алкала де Энарес — родина Сервантеса — стал центром республиканской авиации центрального фронта. Рядом с городком на аэродроме расположены были советские истребители. Валенсийская дорога — единственная, соединяющая охваченный полукольцом врагов Мадрид со страной. Эта дорога, казалось бы, могла быть загруженной беженцами, оставляющими осажденный город. Ничего подобного. Этой ночью мы встретили только обозы с продовольствием, стада скота, которые крестьяне гнали в Мадрид.

Из темноты, насыщенной тревогой, напряжением и холодом, мы шагнули в светлый зал, уставленный праздничными столами, цветами. Гул веселых голосов, шутки, песни. Стрелка часов приближалась к двенадцати. Русые волосы, голубые, серые глаза, кожаные курточки... Сегодня я живо и отчетливо вижу этот стол, этих чудесных людей, полных жизни, радости, — советских летчиков в далекой Испании, в маленьком испанском городке — родине автора бессмертного рыцаря Печального образа. Им понятна была задача, поставленная страной, партией: сражаться с фашизмом! Сражаться на испанской земле, накапливая боевой опыт для грядущих боев с фашистами за свою Родину. Всем было ясно: это только начало. Впереди предстоят смертельные бои, уверены были — фашизм обречен. И только советским воинам суждено вогнать его в могилу.

Помню мужественные лица Захарова, Смушкевича, Пумпура, Арженухина, Рычагова, Агафонова...

С первым полуночным ударом часов поднялись все сидевшие за новогодним столом. Аж затрещали на швах кожаные курточки, засверкали глаза советских богатырей, которым с рассветом суждено было, затянув лямки

парашютов, снова сесть в краснокрылую машину. Снова идти в бой.

— За нашу Советскую Родину! — прозвучал тост, и у многих подернулись влагой глаза, привыкшие глядеть смерти в переносицу...

Много-много раз приходилось мне встречать Новый год далеко от родной земли. Было это и в ледяной арктической пустыне в полярную ночь; и на берегах лазурного Карибского моря; и в блиндаже под тремя накатами при коптящем огоньке «катюши»; и в штормовую ночь в открытом море в свайном городке нефтяников Каспия. И посчастливилось мне всегда в эти новогодние ночи быть рядом с прекрасными смелыми людьми. С уважением вглядывался я в их суровые лица, в каждую глубокую складку на лбу, в каждую седую прядь.

Несколько строк из моей корреспонденции в «Известия», отправленной в дни, когда фашистские войска предприняли большое наступление на берегах реки Харамы, имевшее целью отрезать Мадрид от Валенсии: «В эти дни на передовых линиях борьбы за Валенсийскую дорогу я несколько раз встречал человека, неуклюже шагавшего по окопам. Он пробирался на самый передний край, присаживался к бойцам интербригады, беседовал с ними. Это — известный американский писатель Эрнест Хемингуэй, он вместе с голландским кинооператором Йорисом Ивенсом снимает фильм о борьбе испанского народа...»

Был тяжелый день. Бои шли в районе Марата де Тахунья, где фашисты наступали большими силами, гоня в атаки массы марокканцев. На самом трудном участке оборону держала 12-я интернациональная бригада. В бой были введены советские танки.

Утром Ивенс на лету познакомил меня с Хемингуэем, а в течение дня я дважды видел их издали — Хемингуэя, Ивенса и оператора Джона Ферно, они шагали с камерой по окопам, взбирались на холмы, отлеживались, прижавшись к земле во время артиллерийских налетов. Цель у них, как и у меня, была одна — снять боевые кадры. Очевидно, описывая один из тех дней, когда мы встретились на Хараме, Хемингуэй писал в своей фронтовой корреспонденции:

«...Эго вторая атака за последние четыре дня, которую я наблюдаю так близко. Первая проходила в серых с оливковыми деревьями, изрытых холмах в секторе Мара-

та де Тахунья, куда я направился с Йорисом Ивенсом снимать пехоту и наступающие танки в момент, когда они, точно наземные корабли, взбрыкали со скрежетом по крутому склону и вступали в бой.

Резкий, холодный ветер гнал поднятую снарядами пыль в нос, в рот и в глаза, и, когда я плюхался на землю при близком разрыве и лежал, слушая, как поют осколки, разлетаясь по каменистому нагорью, рот у меня был полон земли. Ваш корреспондент известен тем, что всегда не прочь выпить, но никогда еще меня так не мучила жажда, как в этой атаке. Хотелось, правда, воды».

Мы встретились пополудни около НП 12-й интербригады. Утомленные многочасовой ходьбой по окопам, лазаньем по каменистым склонам холмов, присели, отдышались. Было ясно — трудовой день окончен, бой стихал. Штаб 12-й даже в боевой обстановке был гостеприимным домом. Матэ Залка, высунувшись из блиндажа, взглянул в нашу сторону и сказал:

— Потерпите немного, по договоренности с фашистами наступает обеденный перерыв, скоро нам принесут чего-нибудь поесть.

Хемингуэй, вздохнув, полез в задний карман своих широченных штанов, извлек объемистую флягу.

— Пока генерал Лукач нас кормит обещаниями, давайте-ка выпьем, ребята. — Отвинтив закрывающий горловину фляги алюминиевый стаканчик, он, держа его на уровне глаз, налил коньяку. Пили по очереди, Хемингуэй выпил последним. Завинчивая флягу, сказал: — Мы выпили за русских танкистов. Они сегодня хорошо протюжили окопы марокканцев у той оливковой рощи.

Хемингуэй был одет в легкий светлый плащ, вымазанный в окопной глине. Под плащом — свитер и мешковатый пиджак. Грубые, на толстой подошве башмаки. На голове черный баскский берет. Под густыми дугами бровей — очки в круглой железной оправе. Черные, большие, чуть свисающие к углам рта, усы.

Пробежавшему мимо адъютанту Лукача Леше Эйсне-ру я сунул в руки «лейку», он щелкнул нас — Ивенса, Хемингуэя и меня, сидящих на земле. На снимке Хемингуэй смотрит в аппарат с внимательным прищуром едва заметной улыбки. Снимок сохранился, он очень мне дорог.

Жил Хемингуэй в Мадриде в отеле «Флорида». Раньше там жили и мы с Кольцовым, до того, как переехали в Палас-отель. Несколько вечеров я провел у Хемингуэя.

Обычно комната его была забита людьми, большинство которых были одеты в военную форму интербригад — грубую суконную куртку, такие же шаровары, заправленные в высокие ботинки на толстой подошве, с огромными пистолетами на поясе. У двери стояли всегда прислоненные к стене две-три винтовки. Хозяин встречал входивших приветливым «хэлло», кивал на стол, уставленный бутылками, вскрытыми консервами, апельсинами, лежавшими прямо гроздью вместе с веткой. Звучала речь — английская, испанская, кто-то болтал по-французски, по-немецки. Окна были зашторены, комната утопала в сизом тумане табачного дыма. Помню, в один из вечеров на кровати полулежала одетая в военную форму очень красивая молодая женщина, рассыпав на подушке золотую гриву пышных волос. Ее ботинки были вымазаны глиной, говорила она на немецком языке, пересылая речь испанскими словами, пила неразбавленный виски. Кто-то сказал мне, что она врач одной из интербригад, немка. Хозяин дома подсаживался к ней, подолгу беседовал.

Когда духота и облака табачного дыма становились невыносимыми, в комнате выключали свет, распахивали окно, тогда становились слышны шумы боя — ружейная трескотня и короткие пулеметные очереди. До передовой отсюда, от улицы Гран-виан было рукой подать, линия фронта проходила в Университетском городке, в парке Каса дель Кампо, на реке Мансанарес, все это было рядом. На расстоянии квартала от «Флориды» на Пласа де Республика, опоясанной каменными баррикадами, Дон Кихот, сидящий верхом на Россинанте, был обложен мешками с песком.

Когда, спустя много лет, вспоминаю эти вечера, встречи на разных участках фронта, охватывает чувство горечи — почему не записал в блокнот слова Хемингуэя, его шутку, гневную реплику, не запомнил, кто был его гостем? Почему не было тогда ощущения, что встречи с этим человеком, с простым собеседником, радушным хозяином номера «Флориды», станут бесценным воспоминанием? И никто не ловил каждое сказанное им слово — балагурили, обменивались репликами, отпускали крепкие слова в адрес фашистов или просто молча сидели рядом с человеком в железных очках, немного возбужденным от выпитого, громко смеявшимся, умеющим слушать не перебивая собеседника, пытливого, вдруг погружавшегося в раздумье.

Он расспрашивал меня о съемках, был увлечен работой по созданию фильма «Испанская земля», тепло говорил об Ивенсе.

Как-то я спросил его, не собирается ли он приехать в Советский Союз, он сказал, что мечтает об этом. И с улыбкой добавил, что ему рассказывали, что в нашей стране есть места, где великолепно ловится форель.

Встречались редко. Бывало, приедешь куда-то, говорят, что только что здесь был Хемингуэй. Мы, к примеру говоря, ни разу не столкнулись с ним на Гвадалахаре, где был разгромлен итальянский экспедиционный корпус, а рыскали одними и теми же путями. В деревне Бригуэга, откуда выбили итальянских фашистов, я снимал, как бойцы Листера соскабливали со стен лозунги «Вива Муссолини!», а спустя час Людвиг Ренн, которого я встретил на дороге, спросил: «Ты не видал Хемингуэя, он поехал в Бригуэгу». Первого мая командир 14-й интербригады Сверчковский — Вальтер закатил роскошный праздничный ужин, был туда приглашен и Хемингуэй. Я провел вечер у Сверчковского, а Хемингуэй в этот вечер был в штабе 12-й в Моралехе, его не отпустил из-за праздничного стола Матэ Залка. Наутро я вылетел в Бильбао, окруженный фашистами, там я узнал о гибели Матэ Залка. Это тяжелое известие дошло до Хемингуэя шестнадцатого мая в Бимини.

Прошли годы. Началась вторая мировая война. И среди тех удивительных случайностей, которые происходили с людьми во время войны, произошло то, что до сих пор мне кажется неправдоподобным. Было это в начале сорок третьего года. Проездом с одного фронта на другой мне довелось двое суток провести в Москве. Жил на студии, заехал буквально на несколько минут в свою пустую, холодную квартиру на Полянке — нужно было что-то взять из вещей. Не успел перешагнуть порог, как раздался телефонный звонок, я поднял трубку. Звонили из ВОКСа: «Вам пришло письмо. Судя по конверту и маркам, письмо с Кубы. Как вам его передать?» Недоумевая, что это может быть за письмо, сказал, что заеду за ним.

Я был поражен, увидев подпись Хемингуэя. Письмо шло долго, неизвестными путями, и кто знает, дошло бы оно до меня, если бы не чудесное совпадение — надо же мне было подойти к телефону...

Письмо было в одну страничку. Долго я его носил в нагрудном кармане гимнастерки, перечитывал. Много было потеряно во время войны, но как же был я огорчен спустя два года, обнаружив, что потерял это дорогое мне письмо от далекого друга. Писал он примерно следующее — я запомнил почти слово в слово:

«Дорогой Кармен! Не представляю, где и когда дойдет до вас это письмо. Я, зная Вас, убежден, что Вы в огне сражений, в боях, которые Ваш народ ведет с фашизмом. А я пишу Вам с далекой Кубы, которая в стороне от сражений. Но не подумайте, что я отсиживаюсь в тиши. Представьте себе, что, будучи здесь, на Кубе, я тоже воюю с фашистами. Сейчас я не в праве рассказывать Вам, в чем выражается эта моя борьба с фашизмом. Придет время, я об этом расскажу, уверен, что мы встретимся. Быть может, встретимся на полях сражений в Европе, когда будет открыт Второй фронт. Сердечный привет! Салуд! Ваш Хемингуэй».

Впоследствии мы узнали о героической борьбе Хемингуэя с нацистскими подводными лодками, которые крейсировали у северных берегов Кубы, нападая на транспорты союзников. Это он и имел в виду в коротких строках своего письма. Свой рыболовный катер «Пилар» Хемингуэй переоборудовал, вооружил его, укомплектовал командой отчаянно смелых, преданных ему друзей. Эту боевую работу они вели на протяжении двух лет. В 1944 году Хемингуэй высадился в Нормандии, он все-таки дорвался до схватки лицом к лицу с ненавистными ему фашистами.

Так и разошлись наши пути. Когда я прилетел на Кубу, оказалось, что Хемингуэй недавно улетел в Испанию. А до этого Анастас Иванович Микоян, навестивший Хемингуэя в его вилле близ Гаваны, рассказывал, как хозяин дома, показывая свою библиотеку, снял с полки книгу «Год в Китае» с авторской надписью. Книгу эту я послал ему перед самой войной.

Осталось навсегда ощущение теплоты испанских встреч, и, вероятно, сила обаяния Хемингуэя в том и заключалась, что, когда он был рядом, когда подливал тебе виски, смеялся или задумывался, слушая тебя, шагал по комнате, не было чувства, что рядом с тобой человек, имя которого будет бесконечно дорого всему человечеству.

Как-то вечером, когда я сидел в комнате у Кольцова, в «Паласе» раздался стук в дверь. Зашли двое парней. Оба в кожаных тужурках на молнии. Мы сразу по их внешнему виду догадались — летчики. Один — высокий, с пшеничной шевелюрой, курносый, из-под густых белых бровей на нас смотрели голубые глаза. Другой — ему по плечо, широкоплечий, чернявый. У голубоглазого через плечо был в деревянной кобуре маузер. У другого под тужурочкой наш русский «ТТ». Оба — улыбчивые, застенчивые.

— Здравствуйте, товарищи. Мы с аэродрома из Алкала, вот решили заглянуть в Мадрид. Нет ли у вас газеток последних?

— Господи, ребята, берите все, что есть. — Кольцов засуетился, собирая со столов и подоконников номера «Правды», «Комсомолки». — А часто вы бываете в Мадриде?

— Вообще-то каждый день наведываемся, правда... обычно на самолете. А бывает вечерами на машине приезжаем.

— Заглядывайте в любое время, запросто, — сказал Кольцов, — всегда в конце дня Кармен или я бываем дома. Застанете — входите, берите газеты.

Просидели летчики у нас больше часа. Время пробежало незаметно за интересной беседой. Они рассказывали о боевой работе. Кольцов делал беглые записи в своем блокноте. Задавал вопросы. У обоих были испанские имена, нам они сообщили свои настоящие, русские: голубоглазый Родригес — Георгий Захаров, чернявый Педро Хименес — Павел Агафонов.

Стали они приезжать вечерами почти через день. Когда не было их, как-то тревожно становилось, уже родными эти двое пареньков стали. Каждый день в небе смертельная карусель, из которой вдруг падал огненный факел — то фашистский самолет, то наш. Сжималось сердце — неужели Жора Захаров или Паша Агафонов? А вечером, когда раздавался стук в дверь и заходил улыбающийся один из них, — камень сваливался с души. И следовал рассказ о том, что происходило сегодня в воздухе, сколько сбили, кого из товарищей потеряли. А потом, нагрузившись газетами, они уезжали. Особенно подружился я с Захаровым. Часто я впдел его на аэродроме, наблюдал, как садился он в самолет, как командовал

эскадрильей. Это был уже не тот застенчивый Жорка, который, цепляясь за мебель кобурой маузера, ходил по нашей комнате в «Паласе». Уверенный в себе, целеустремленный, собранный, окутанный лямками парашютов, он, кивнув мне, захлопывал над головой колпак, по сигналу ракеты взмывал в воздух и вел в бой своих двенадцать ястребов.

Тревожным было ожидание на аэродроме.

Лицо летчика, возвратившегося из боя, было каким-то потусторонним. Он вылезал из самолета, медленным взглядом подсчитывал пробоины, проводил рукой в кожаной перчатке по фюзеляжу, по крылу, словно поглаживал боевого коня. В его глазах был еще незатухший блеск, рождавшийся там, в небе, где он встречался с врагом. Побеждал кто сильнее, у кого крепче воля, острее взгляд, молниеноснее реакция на маневр противника. Нечеловеческое перенапряжение! И снова катятся колеса машины по траве аэродрома, открывается колпак, летчик идет развалистой походкой, отстегивая на ходу парашют...

Произошел с Георгием Захаровым как-то забавный случай. Легко сказать, забавный — чуть не стоил ему жизни. Было это так. На истребительном аэродроме обычно летчики сидели в самолетах в готовности номер один, сигналом для взлета эскадрильи была ракета. Зеленая означала вылет на Мадрид, по сигналу красной ракеты эскадрилья взлетала и совершала круги над аэродромом, чтобы встретить фашистские бомбардировщики, направляющиеся на наш аэродром.

Случилось, что у Захарова мотор не завелся сразу после ракеты. Ребята взмыли в воздух, а он чуть задержался, оторвался от земли и пошел на Мадрид. Сделав широкий круг над Мадридом в поисках опередившей его эскадрильи, он своих самолетов не обнаружил и, недоумевая, куда же они девались, пошел на второй круг. Наконец увидел двенадцать истребителей, идущих боевым строем впереди него. Догнав и подстроившись к ним, он начал проходить сквозь их строй, чтобы занять свое ведущее место во главе эскадрильи. И тут он похолодел, увидев, что забрался в стаю «хейнкелей» и «фиатов». Их было двенадцать, он тринадцатый, счет правильный, единственная ошибка — самолеты были фашистские.

Раздумывать было некогда. Захаров, с ходу короткой очередью сбив ведущего, вступил в воздушный бой, ка-

кого, очевидно, не случилось в истории воздушных сражений — один против двенадцати! Надо заметить, что тогда наши истребители еще были без бронеспинков и пушечная сзади вражеская очередь могла прошить пилота. Захаров увидел, что его с хвоста атакуют три истребителя, в этот момент брызнул стеклянными искрами приборный щиток его машины, обожгло плечо и ухо. Счастье, что он, взглянув назад, слегка отклонился вправо и очередь прошла мимо его головы.

Одна мысль — тянуть на свой аэродром. Выручала прекрасная маневренность машины, Захаров взмывал свечой, совершал сумасшедшие перевороты, скользил на крыло, атаковал врагов и в то же время тянул на восток, к своему аэродрому.

Загорелся второй фашист. Осталось десять — против одного. Остервеневших, чувявших легкую победу, поживавших одинокую, кувыркавшуюся в стремительных виражах машину струями пулеметных очередей. Но самолет был еще послушен, это было чудом — он повиновался Захарову, который в этой сумасшедшей схватке атаковал, увертывался и в то же время тянул, тянул, тянул на восток, держа в своем поле зрения всех врагов, чтобы не подставить себя под смертельный удар.

Вот один из них, набрав высоту, ринулся сзади. Захаров, сделав переворот в крыло, пропустил его вперед и вонзил вслед книжальную очередь. Тот вспыхнул и, вертясь, пошел к земле. Третий! Уже показались очертания родного аэродрома. Там ребята, они выручат. В это время один из фашистов пристроился к нему в хвост. Захаров свалил машину почти в вертикальное пики, а тот неотрывно шел за ним, занимая смертельную для Захарова позицию. Земля неслась навстречу. Фашист открыл огонь. Захарова обгоняли струи трассирующих пуль. На критической высоте — собственно высоты уже не было — Захаров взял ручку на себя, его истребитель послушно взмыл вверх, а фашист, не рассчитав, врезался в землю.

И в этот момент Захаров увидел своих ребят, которые дружно кинулись на врагов, клевавших командира. Позже, на земле, все выяснилось — ракета-то была красная. Эскадрилья, поднявшись по этой ракете, совершала круги над аэродромом, а Захаров сгоряча устремился в сторону Мадрида...

Из двенадцати фашистов, которых встретил Захаров

над Мадридом, вернулись на свой аэродром только трое. Захаров сбил трех, четвертого вогнал в землю, а пятерых сбили его летчики.

В машине Захарова насчитали сто тридцать шесть пробоев. Разбита была приборная доска, разорвана в клочья головная подушка пилотского сиденья, разорван шлем и вырван клоч из кожаного пальто на плече. Из четырех орденов Красного Знамени, украшавших грудь Георгия Захарова, один — за этот уникальный воздушный бой.

Прошло месяцев шесть после нашего знакомства. Встречаясь с Жоржем в Мадриде, я угадывал чертовскую усталость в глазах, в движениях, в том, как он садился, рукой проводил по шевелюре и глазам, словно отгонял тяжелые образы смертельного боя. Он никогда не жаловался на усталость, но однажды у него вырвалось: «Собьют меня скоро, чует сердце. Вроде надломился я, устал...» Сколько же месяцев подряд, подумал я тогда, может человек выдержать такое напряжение.

Как-то приехал Жорж, и я сразу почувствовал, что он не в настроении.

— Что с тобой? — спросил я.

— Понимаешь, пришла смена, прибыли новые летчики. Всю нашу группу, всех, первыми приехавших в Мадрид, отправляют в деревню (деревней ласково называлась Родина, Москва). Всех, кроме меня и Пашки Агафонова.

— Почему вас оставляют?

— Говорят, нужно натаскивать в бою тех, что приехали, новеньких. Пожалуй, оно и правильно... — он замолчал, сложив руки на коленях, и я понял, что этого богатыря ломит нечеловеческая усталость. Шутка ли, полгода по несколько воздушных боев почти ежедневно!

— Когда назначен отъезд?

— Завтра вечером из Валенсии уходит пароход. А мы с Пашкой, — добавил он, — еще повоюем с фашистами.

Я проводил Захарова и Агафонова к машине. План действий возник мгновенно. Через двадцать минут, сидя за рулем машины, я мчался в Валенсию.

За эти месяцы я подружился с нашими советскими советниками по авиации — Смушкевичем (его в Испании звали Дуглас), с Борисом Свешниковым, военно-воздуш-

ным атташе, который занимался доставкой, отправкой летчиков.

Весь путь до Валенсии, что-то около трехсот километров, частично по горной дороге, я промчал за четыре часа. Около полуночи подкатил к отелю «Метрополь» и тут же ввалился в комнату Свешникова. Он еще не спал, я все ему выложил.

— Ты же убьешь этих ребят, — горячился я. — Золотые, штучные летчики! Если уж человек говорит, что его собьют в первом бою, значит, дошел до психологического барьера!..

Свешников, видно, встревожился:

— Да это же не надолго, следующим пароходом и отправлю их. Захаров, Агафонов асы, орлы, еще не родился немец, который их собьет!

— Поверь, не дотянут они до следующего парохода, — не унимался я. — Сейчас же звони им и отправляй их домой.

— Хорошо, я это сделаю, — сдался Борис. — Пожалуй, ты прав.

Я спустился к дежурному по посольству, передал ему для отправки в Париж привезенную снятую пленку и, не дожидаясь утра, рванул обратно в Мадрид.

Свешников сдержал свое слово. Через несколько дней, приехав в Алкала де Энарес на истребительный аэродром, я увидел новые лица, спросил о Захарове, сказали: «Уехал в деревню».

Догадался ли Жорж о том, что я помог ему в трудный момент его жизни? Прошли месяцы. Я вернулся в Москву. Справлялся о Захарове, никто из моих друзей «испанцев» не мог мне сказать, где он.

После Испании я почти год провел в Арктике — летал с воздушной экспедицией на поиски Леваневского. Зимовал на Земле Франца-Иосифа. Только весной 1938 года с летчиком Ильей Мазуруком я вернулся на Большую землю. Снова встретившись с испанскими друзьями, узнал, что Жорж Захаров полетел в Китай добровольцем. Это был период ожесточенной борьбы китайского народа с японскими империалистами. В Китае сражались советские летчики-волонтеры. В их числе был и Георгий Захаров. В сентябре 1938 года я должен был лететь в Китай, меня не покидала мысль, что я встречу там моего друга.

Встречу ли? Китай велик. Во время одного из моих дальних рейсов — я направлялся тогда в Северный Китай — остановился на ночлег в городке, возле которого расположен был военный аэродром. Городок был мал, не было в нем приличной гостиницы. В поисках пристанища я набрел на общежитие китайских летчиков, предъявил свой документ военного комитета, в котором содержалась просьба оказывать содействие советскому кинооператору.

Пока дежурный по общежитию внимательно изучал мои документы, во двор въехали три автобуса, из которых высыпала шумная орава молодых парней в кожаных курточках, среди китайцев мелькнули европейские лица. Вдруг что-то огромное ринулось на меня, затрещали в медвежьих объятиях мои ребра, глянули на меня из-под золотых кудрей голубые глаза, и грозившая мне удушением кожаная курточка завопила:

— Салуд, камарадо!

— Жорка!..

Волонтеры. Благородное, овеянное романтикой освобожденных войн слово. Советские волонтеры-летчики в Китае охраняли мирных жителей городов и сел от варварских налетов японской авиации.

До поздней ночи затянулась беседа с летчиками, а потом почти до утра мы с Жоржем Захаровым ходили по парку, подсаживались на скамейки. Боевая дружба спаяла летчика-истребителя и кинооператора. Судьба и долг забрасывали нас в далекие углы земного шара, туда, где огонь, где люди боролись за свободу.

Когда из-за синеющей на горизонте горной гряды показался краешек солнечного диска и блики заиграли на металлических боках, в стеклах штурманских рубок воздушных кораблей, весь летный состав уже собрался на аэродроме. Долго еще, сидя в автомобиле, оборачивался я назад, глядя на удаляющиеся ангары, на самолеты, на фигурки людей в кожаных курточках, одна из которых была мне бесконечно дорога.

Год провел я в Китае. Летом 1940 года я получил письмо: «Дорогой Ромка, если взглянешь на бланк, увидишь, что твой мадридский друг стал большим начальством...» Да, бланк был внушительный: «Командующий военно-воздушными силами Сибирского военного округа генерал-майор Г. Н. Захаров». Я немало не удивился такому быстрому скачку вверх, зная авторитет Захарова

среди товарищей, его знание дела, любовь к небу, боевой опыт. Именно такие, рожденные крылатыми, и должны командовать.

В первый же приезд Жоржа в Москву мы горячо обнялись на пороге моей квартиры. Он стал моим частым гостем, как брат приходил в мой дом. Уже сгущались на Западе тучи войны, снова мы потеряли друг друга из виду.

Июль, 1943 год, Орловско-Курская битва. На правом фланге развернувшегося сражения наступали войска Западного фронта. Я в то время был начальником киногруппы Западного фронта. Однако этот «командный» пост не означал, что я отложил в сторону камеру. Руководство группой не мешало мне продолжать съемочную работу. Отсняв наступательные операции на Орловском направлении, стал готовиться к боевому вылету. На этот раз мы должны были с Борисом Шером лететь на двух штурмовиках в одной группе. Мы подружились с летчиками, механики помогли нам осуществить давно задуманное дело — вмонтировали кинокамеру в крыло штурмовика. Объектив был устремлен в направлении огня при атаке земных целей. Приспособление могло дать очень эффектные кадры при штурмовке.

Несколько раз слышал я брошенную летчиками фразу: «Хозяйстве Захарова», пропуская это мимо ушей. И как же обрадовался, узнав, что в соседстве с дивизией штурмовиков располагается истребительная дивизия, которой командует гвардии генерал-майор авиации Георгий Захаров. Всего лишь пять километров до его штаба.

Встретились, все рассказали друг другу, Жорж поделился радостью — недавно у него родился сын.

— Часто вожу ребят в бой, — сказал он. — Начальство, правда, запрещает, но без этого никак нельзя. Летчики должны быть уверены в своем командире, должны знать, что в любой момент могу быть с ними, плечом к плечу в бою. Поучать на земле недостаточно. Надо летать. Машины у вас прекрасные, новый истребитель ЛА-5 — изумительная машина. Из него можно выжать в бою черт-те что. Скорость, маневренность, вооружение — что надо. Отличная машина. А мои французы летают на ЯКах. Они их освоили, предпочитают эту машину любой другой.

— Какие французы?

— Разве не сказал? В составе моей дивизии воюет полк «Нормандия», укомплектованный французскими лет-

чиками. У себя на родине они сражались в партизанских отрядах, тосковали по небу. Отличные ребята, хорошо слетались с моими парнями, вполне усвоили наши методы воздушного боя. Некоторые уже награждены советскими боевыми орденами. Были среди них и потери, здесь, далеко от родной земли они погибли, сражаясь за свою Францию.

Выглядел Жорж великолепно. Казалось, еще шире раздалась его могучая грудь, на обветренной, словно кипятком ошпаренной физиономии из-под выгоревших густых бровей голубели веселые глаза.

Я поделился с Жоржем своими планами вылетов на штурмовике. Немцы сосредоточили на брянском аэродроме огромное количество боевых самолетов. Предполагается нанести по ним концентрированный удар. Можно снять великолепные кадры. Захаров, молча выслушав меня, после долгой паузы сказал:

— Что касается брянской операции, ты мне военной тайны не открыл. Моя дивизия участвует в этом деле, мы будем прикрывать штурмовиков и бомбардировщиков. Непизбежны большие потери с нашей стороны. Откажись от вылета.

Я стал возражать. Все к моему вылету приготовлено, камера вмонтирована в крыло, разрешение командования получено.

— Какого командования? — спросил Захаров.

— Командир дивизии полковник Котельников...

— Делай как знаешь, но если хоть немного считаешься с моим мнением, не лети. Тем более, что камера твоя, установленная в самолете, сработает и без тебя, включить ее может и летчик, и стрелок-радист. Не обязательно тебе сидеть на борту.

Разговор на этом прервался, в сенях хаты слышались голоса. В дверь постучали.

— Сейчас познакомлю тебя с французами, — сказал Жорж, услышав за дверью веселый смех и французскую речь.

В комнату вошли двое наших военных и двое французских летчиков, одетых в черные курточки, с золотыми нашивками на погонах, с веселыми искорками в черных глазах. Щелкнув каблуками, они отдали честь генералу. «Бонжур, месье женераль», — сказал один из них. Жорж пригласил их к столу.

Один из французов был командир «Нормандии» майор

Жан Луи Тюлян, второй — переводчик Эхенбаум, прекрасно говоривший по-русски. С Эхенбаумом мне довелось эту беседу, начатую в крестьянской хате под Сухиничами, продолжить после войны за столиком кафе в майский день на бульваре Капуцинов в Париже.

Захаров с Тюляном, развернув на столе карту, во всех деталях обсуждали предстоящую операцию, ту самую, в которой предстояло участвовать мне. На «Нормандию» была возложена задача прикрывать штурмовики, возвращающиеся на свои аэродромы после полета на вражеский аэродром.

Утром следующего дня в дивизии Захарова состоялся разбор предстоящей операции, собрались командиры всех авиационных частей, участвующих в операции. Руководил разбором командующий 1-й воздушной армией Герой Советского Союза Михаил Михайлович Громов. После совещания Захаров представил меня ему. Громов сказал:

— Полковник Котельников сообщил мне, что вы хотите кинокамерой усилить огневую мощь его полка.

Я доложил Громову о камере, установленной на борту самолета, он спросил:

— А второй кинооператор будет ручной камерой снимать?

Я ответил утвердительно.

— Так вот, оператору, который с ручной камерой, я полет разрешаю. А вы, товарищ Кармен, не полетите.

— Разрешите спросить почему?

— Считаю нецелесообразным ради киносъемки лишать группу самолетов двух опытных стрелков-радиостов. Самолет, в котором вмонтирована кинокамера, может полететь и без кинооператора.

Громов дал понять, что разговор окончен.

Наступил день вылета. Тяжелая была операция. Нашу истребительную авиацию враг перехватил своими истребителями и сковал воздушным боем на подступах к брянскому аэродрому. Им не удалось этим ослабить силу нашего удара, множество их самолетов было уничтожено на земле, аэродром превратился в море огня. Но, возвращаясь после операции, наши штурмовики оказались почти беззащитными, без прикрытия истребителей.

В этот день в воздухе произошел случай, вошедший в историю нашей фронтовой кинохроники. Группа штурмовиков, в которой летел оператор Борис Шер, подверглась

нападению фашистских истребителей. Борис отложил в сторону киноаппарат и взялся за крупнокалиберный пулемет. Увидев в боевом прицеле атакующий его истребитель, Борис нажал гашетки пулемета. В рамке прицела Борис видел черные кресты, вспышку пламени, черный дым. Это произошло совсем недалеко от нашего аэродрома...

Я с нетерпением и тревогой ожидал возвращения группы штурмовиков. Вот они показались над аэродромом. Один, другой, третий. Какое счастье — самолет с тройкой на борту совершал посадку. Еще не зная, что произошло в воздухе, я обнял Бориса, спускавшегося с борта самолета. А летчики сбивчиво, взволнованно говорили:

— А говорили, не сажай к себе оператора, не сажай оператора. Какой молодец, ах, какой молодец!..

Тяжелым и грустным было совещание у командира полка. Четыре машины не вернулись на аэродром. В их числе была и та, на которой должен был лететь я, ее пилотировал рыжий, веснушчатый капитан Кучеров. Где-то в гуще брянских лесов вместе с боевой машиной сгорела и кинокамера, и пленка, на которой, вероятно, был запечатлен неповторимый кадр объятых пламенем аэродрома...

На следующий день мы с Борисом уезжали на другой участок фронта. По дороге заехали в дивизию Захарова. Он уже знал, что Шер награжден орденом Отечественной войны за сбитый в воздушном бою «фокке-вульф». Было ему также известно, что в воздухе сгорел самолет с камерой. Мы провели с Жоржем весь вечер. На столе был скромный ужин, состряпанный порученцем генерала. Кто знает, когда увидимся снова? Положив руку мне на плечо, сказал:

— А ведь мы, кажется, сквитались.

— В чем?

— Борис Свешников уже потом, в Москве рассказал мне, как ты ночью примчался к нему в Валенсию.

В голубых глазах генерал-майора мелькнули озорные искорки.

— Выпьем, — сказал он, — за орден Бориса...

В 1943 году президент Франции генерал де Голль во время своего визита в Москву наградил нескольких советских военачальников орденами Французской республики.

Офицерским крестом Почетного Легиона был награжден генерал-майор авиации, Герой Советского Союза, почетный мэром города Парижа, Георгий Нефедович Захаров, курносый голубоглазый Жорка, с которым мы побратались в трудные незабываемые дни боев за Мадрид.

ГРЕНАДА,
ГРЕНАДА,
ГРЕНАДА МОЯ...

Прошли годы. Материалы боевой испанской кинохроники, бережно хранимые в Государственном архиве СССР, использовались в фильмах, создаваемых во многих странах мира. Из этих материалов в 1938 году режиссер Эсфирь Шум смонтировала фильм «Испания», французский документалист Фредерик Россиф широко использовал съемки советских кинооператоров в своем великолепном фильме «Умереть в Мадриде», удостоенном премии Оскара, часто видел я свои кадры на экране телевизоров.

На протяжении многих лет меня не покидала мечта вернуться к дорогому мне материалу, однако большие события год за годом не давали мне возможности делать фильм об Испании. И только в 1966 году я приступил к осуществлению этой заветной своей мечты.

Фильм об Испании делали два человека — писатель Константин Симонов и я. Один из нас двоих — Симонов не был в Испании в годы гражданской войны. Как и многие люди его поколения, хотел быть там, но мечта его сражаться с фашизмом не осуществилась. А другому автору фильма — мне — выпало счастье быть в Испании.

И все же, хотя Симонов и не был в те годы в Испании, она была его юностью и вошла красной нитью в его творчество всех последующих лет. Кажется, нет поэмы, пьесы, романа Константина Симонова, где героями не были бы люди, сражавшиеся с фашизмом.

Это и определило закономерность творческого содружества двух авторов.

Мы, современники, не можем забыть Испании 1936—1939 годов. Своими чувствами и думами человечество возвращается к событиям 30-летней давности, хотя после этих событий было столько, казалось бы, грандиозных со-

бытий, прямо затронувших сотни миллионов людей нашей планеты. Даже люди в нашей стране, пережившие такое, как говорится, чего свет не видывал, вспоминая свою юность, вспоминают Испанию.

Фильм представлялся нам не только хроникой гражданской войны в Испании. Фильм — о том, какое место заняла Испания в жизни нашего поколения, не только поколения советских людей — поколения антифашистов всего мира, всех стран, всех народов.

Приступая к работе над фильмом, мы с Симоновым провели много дней в просмотровом зале. На экране проходили перед нами образы сражающейся Испании, осажденный Мадрид, огневая Барселона, интернациональные бригады, траншеи Гвадалахары.

Все эти тридцать лет я мечтал пройти по улицам Барселоны, Толедо, Бильбао, когда-то перегороженным баррикадами! Прикоснуться к раскаленной солнцем рыжей земле в предгорьях Гвадаррамы. Как мечтал я пытливо посмотреть в глаза каждого испанца, молчаливо спрашивая его: «А ты помнишь, компаньеро, те трудные и навеки ставшие гордостью наций испанские дни».

И вот представляется возможность — туристская поездка. Ехать или не ехать?

— Ни в коем случае! — говорили друзья, качая головами. — Мало ли какие пакости могут подстроить тебе во франкистской Испании, ведь там помнят тебя...

— Надо ехать, — решил я. И Симонов поддержал меня в этом решении.

— Возьмешь с собой кинокамеру, снимем памятные места боев, эти кадры нужны будут для нашего фильма.

Лететь в Испанию туристом? Останавливаться в комфортабельных отелях Барселоны, Севильи? В прохладном сумраке кафедралов слушать заученные слова предупредительного гида? В ту самую Испанию, которая тридцать лет тому назад с такой неистовой страстью вторглась в жизнь моего поколения?

Она, Испания, неизгладимо осталась в сердцах, в благодарной памяти тех, кто сражался на землях Кастилии и Арагона, вдыхал горький дым пожаров Мадрида, кто опустился в испанскую землю павшего в бою друга. В трагические дни поражения республики, впоследствии в блиндажах под Вязьмой и в танковых рейдах на германской земле каждый из участников сражений давал обет — мы встретимся с тобой, Испания.

Ехать! Обязательно ехать, решил я. Хоть чертом, хоть туристом, хоть дьяволом. Как угодно, но увидеть тебя, Испания! Моя молодость!

«Каравелла» испанской авиакомпания «Ибериа» завершает рейс Рим—Барселона. Под крылом безмятежная лазурь Средиземного моря, а в мозгу мысль: как встретят нас в Испании?

В самолете загорелся сигнал: «Застегнуть поясные ремни», самолет шел на посадку, пересекая береговую полосу. В иллюминаторе правого борта медленно проплывала панорама Барселоны.

Впервые я увидел Барселону в августе 1936 года. Незадолго до этого рабочие отряды Барселоны в уличных боях разгромили поднявших восстание мятежников.

Первое, что мы увидели, спускаясь по трапу из самолета, — толпа фотографов, кинорепортеров. Невольно оглядываясь — кого они встречают, — сошли на землю и поняли, что атака газетчиков и фотокинорепортеров была устремлена на нас.

Беседуя, мы приблизились к полицейскому пограничному пункту. Полицейские, вежливо улыбаясь, мгновенно проштемпелевали наши паспорта. Багаж не подвергли осмотру. Что это? Личная инициатива таможенников и полицейских? Видимо, все же команда сверху. Чиновник, у которого над головой на стене портрет каудильо, встречает предупредительной улыбкой нас, «советикос». А как расценить атаку репортеров, любопытных и явно доброжелательных, засыпающих нас градом вопросов: «Как советские люди относятся к испанскому народу?», «Читают ли в России «Дон-Кихота»?», «Что вы намерены повидать в Испании?»...

Пресс-конференция, начатая у борта самолета стихийно, нарастая, продолжалась уже в вестибюле гостиницы, где были представлены газеты всех направлений — фалангистские, католические, иллюстрированные еженедельники.

Константину Симонову — вопросы о советской литературе, о его книгах, планах, «собираетесь ли писать об Испании?» Его книга «Товарищи по оружию» переведена на испанский, издана в Барселоне.

Еще в минуты первой «пристрелки» на аэродроме молодая журналистка спросила, где я изучал испанский язык. На минуту задумался. Сказать ей? Вспомнил предо-

стережения друзей. Умалчивать не было смысла, ответил напрямик:

— Я был в Испании.

— Когда были? — она насторожилась.

— В 1936—1937 годах, — сказал я.

Забегали по блокнотам журналистские карапдаши. Вокруг меня сомкнулись жаждущие сенсации газетчики. Кто-то из них метнул вопрос:

— Вы участвовали в гражданской войне?

— Да, снимал кинорепортаж. Да, разумеется, на стороне республиканцев... Да, да, вернулся через тридцать лет в Испанию, которая мне дорога, близка.

Скорее на улицу! Толпа пешеходов, поток автомобилей, броские витрины магазинов ничем не напоминают Барселону революционных страстей гражданской войны. Это естественно, вглядываясь в Испанию сегодняшнего дня, я, собственно, и не ищу внешних черт прошлого.

Перед глазами Испания, залечившая раны войны, восстановившая разрушенные дома, построившая много новых. Испания, пережившая двадцать семь лет франкистского режима, Испания, «очищенная» от тех, кто сражался за республику, Испания, вырастившая новое поколение. «В Испании царит социальный мир и порядок», — это сказал Франко в послевоенные годы, в разгар жесточайших расправ. Мир и порядок на улицах Барселоны, полицейские в белых касках и белых перчатках регулируют движение. Мир и порядок. Удастся ли в рамках туристской поездки глубже заглянуть в сердце народа, встретиться с рабочими, рыбаками, с товарищами по профессии?

В газетных киосках на ярких обложках журналов, на первых страницах газет лысый старичок с брюшком. Хефе де Эстадо, каудильо де Эспанья — глава государства, вождь Испании. Он вручает кому-то ордена, кого-то принимает, где-то разрезает ленту. Газеты с умилением рассказывают о любви каудильо к внукам. Он занимается рыбной ловлей и охотой, играет в гольф. Да, он, конечно, подрыхлел, я видел его недели две тому назад, просматривая в Москве архивную кинохронику. Пружинящей походкой, сияющий, он поднимался об руку с Гитлером по лестнице в Берхтесгадене. Диктор говорил о задушевности этой исторической встречи. В другой хронике он, торжествующий, улыбающийся, принимал парад в Мадриде. Да, он сильно сдал. Говорят, что престарелый каудильо по-

храпывает на заседаниях Совета министров. Но из-под сонных отяжелевших век глава государства пристально следит за всем, что происходит в стране.

Среди прохожих мелькают черные лакированные треуголки «гвардиа сивиль» — гражданской гвардии, которая с давних времен стала зловещим символом тупой жестокости в подавлении революционных выступлений народа. В 1934 году молодой полковник Франко руководил подавлением восстания астурийских горячков. Рабочие Астурии помнят хорошо «гвардиа сивиль», Франко сохранил свою черную гвардию. А вместе с ней опорой режима стала и военная полиция. Ее чины носят форму мышинного цвета, в народе их называют «серыми». Их тоже можно встретить в мирной толпе на Рамбле, на Пласа де Каталан, где мы совершаем прогулку.

У жителей Барселоны свежи в памяти расправы, которые «серые» чинили во время студенческих демонстраций, забастовок. Совсем недавно в Барселоне дубинки «серых» обрушились на головы вышедших на антифранкистскую демонстрацию молодых священников. Невероятно! Трудно поверить, что служители католической церкви — одного из верных оплотов франкистского режима — вышли на улицы с антифранкистскими лозунгами. Они были зверски избиты, демонстрация рассеяна.

На испанских монетах вычеканен профиль пожилого человека, окруженный, как венчиком, словами: «Милостью божией вождь Испании». Милостью божией и, разумеется, милостью и волей могущественной высшей католической иерархии, которая и по сей день является опорой власти. Но полицейские дубинки, гуляющие по головам служителей церкви, поднимающих свой голос против диктатуры, не оставляют сомнений в том, что в Испании ширится движение самых разнообразных слоев, не довольных существующим режимом.

Меня потянуло в порт, туда, где в августе 1936 года толпы людей приветствовали революционный крейсер «Хайме примеро», ставший на сторону республики. И сюда же в июне 1937 года хлынула вся Барселона встречать советский пароход «Зырянин», прибывший с грузами, жизненно необходимыми республике. Тысячи судов окружили входивший в гавань празднично расцвеченный флагами советский корабль. На его борт поднялся советский консул в Барселоне Антонов-Овсенко. Для него, старого большевика, Испания стала новым штормом Зимнего.

Завтра покидаем Барселону. Впереди путешествие по стране.

До поздней ночи я бродил по городу, присаживался у стоек маленьких баров, с наслаждением вслушивался в испанский говор. В одном месте меня вовлекли в беседу зашедшие выпить пива трое строительных рабочих. Для них как гром с ясного неба прозвучало слово «совьети́ко». Сначала не верили, потом долго, крепко жали руки, у одного из них, пожилого краснолицего толстяка, повлажнели глаза. И снова шел я по ночным улицам, вновь и вновь переживая радость встречи с дорогой мне землей. Нет, ты жива, Испания, неистребим твой мятежный гордый дух, твоя мудрость, твоя человечность! Жива и вечна.

Барселону мы покидали с чувством некоторой, я бы сказал, досады. Для журналиста туристская поездка, не дающая возможности кое-где задержаться, поглубже, поосновательнее взглянуться в жизнь, — большое испытание. Слишком уж молниеносно прошел этот первый день на испанской земле.

Мы были оторваны от этой страны на протяжении долгих и трудных лет. Словно все кончилось в 1939 году, когда, пройдя через снега Пиренеев, опустил к ногам французского пограничника свою винтовку последний солдат республики.

Но Испания не перестала существовать. Народ Испании продолжал жить, несмотря на трудные, порой страшные испытания. Народы не умирают. Мы польстили бы режиму Франко, сказав, что он остановил историю Испании. Военные трибуналы остались в горькой памяти народа, но убить его, остановить его историю они не смогли. Вот почему меня радует звонкий смех молодежи на заливной солнцем, напоенной ароматами цветов улице испанского города, радует каждый дом, построенный руками труженников на испанской земле. Но сильнее всего трогают чувства доброй приветливости к нам, советским людям, со стороны испанцев. Мы ощущаем это на каждом шагу. Слова «русо», «совьети́ко», как талисман, мгновенно раскрывают нам души испанцев — старых, молодых, Улыбки, вопросы, неутолимое любопытство, теплые, сердечно звучащие слова. Все это боязливо, с оглядкой. Так было на протяжении всего нашего путешествия по стране.

Мы побывали в редакциях некоторых влиятельных газет, где шел вежливый открытый разговор, в котором ис-

панская сторона активно поднимала вопросы нормализации отношений между нашими странами.

В ночном кабачке Севильи, где мы смотрели и слушали танцы и песни фламенко, одна из артисток вышла на авансцену и сказала: «Мы, испанцы, всегда радушно встречаем гостей из разных стран. Но сегодня с особой радостью мы принимаем гостей из России. Для вас, русские друзья, мы хотим исполнить любимую нашу песню». Песня была прелестной, исполнение блестящее, мы были тронуты сердечностью красавицы испанки.

А когда самолет, на котором мы совершали рейс Барселона — Сан-Себастьян поднялся в воздух, в репродукторе прозвучал мелодичный голос стюардессы, приветствовавшей пассажиров от имени экипажа воздушного корабля. Она сначала произнесла приветствие по-испански, а затем повторила текст, с трудом выговаривая слова и очень симпатично их коверкая, на русском языке.

Внизу панорама желтой земли — Каталония. Далеко с левого борта проплыл большой город. Это Уэска. Вспомнилось, как в сентябре тридцать шестого года мы с Михаилом Кольцовым, совершая перелет из Мадрида в Бильбао над территорией мятежников, не отрывались от иллюминаторов, чтобы вовремя предупредить пилота о появлении вражеских истребителей.

В Сан-Себастьяне мы снова попали под обстрел журналистов. Да, времена меняются, и очень стремителен ход этих перемен в Испании. Мы глазам своим не верили, увидя перед фешенебельным отелем «Трех королей», куда были приглашены на завтрак, развевающийся на флагштоке... Государственный флаг Советского Союза. Утром его еще не было среди других флагов.

Это было в Памплоне, где туристская компания преподнесла нам главный «гвоздь» маршрута — присутствие на знаменитой фьесте Сан-Фермин. Мы попали в Памплону, к сожалению, в последний день фьесты, поэтому не увидели центрального ее события, которого нигде в Испании, кроме Памплон, не увидишь. Быков, привезенных для корриды, здесь утром прогоняют через весь город. Огораживают барьерами боковые улицы, и стадо быков мчится по заготовленной трассе. А перед быками бегут люди. Высшей удачей считается — бежать под самыми рогами, поддразнивая и без того раздраженного быка. Этим можно завоевать расположение обожаемой сеньориты, прославиться среди друзей.

Благоразумные люди, правда, предпочитают устроиться на крышах домов, на балконах и за барьерами. Некоторые испанцы, поджав губы, цедят: «Ке барбариада!» (Какое безрассудство!) Большинство же восхищается лихой удалью смельчаков. Ни одна фьеста в Памплоне не обходится без пропоротых спин, животов. На этот раз, сказали нам, потери сравнительно скромны — всего трое забоданных насмерть, а семеро, залатанные хирургами, пожинаящие свою славу в местном госпитале, возможно выживут.

Мы приехали в Памплону во второй половине дня и, выйдя из автобуса, оказались в бушующем море людей, танцующих, бьющих в барабаны и литавры, дующих в трубы, передающих из рук в руки бутылки и бурдюки с молодым баскским вином и сидром. В разных углах площади, в узких улочках девчонки отплясывали со своими дружками фламенко. Повсюду ревели, безумно фальшивя, самодеятельные оркестры. Хохот, девичий визг, звон кастаньет. Над головами плыли смешные плакаты, а иногда народ, словно по команде, валился на мостовую: все задирали ноги к небу и затягивали шуточную печальную песню: «Прощай, дорогая фьеста, о, как ты была коротка...»

Такова она, Испания. Люди живут трудно, бедно. Но когда наступает праздник, они веселятся от всей души.

Мы медленно дрейфовали, зажатые со всех сторон в веселой толпе. Кто-то повязал нам яркие шейные платки с бегущими быками. Усталые, присели за столиком кафе на тротуаре, и гид немедленно сообщил, что в этом кафе, вот за тем столиком в углу, у того окна, один известный писатель сеньор Хемингуэй писал книгу «Фьеста».

Страна басков — это северная часть Испании. Горный край. Как непохож он на выжженные каменистые холмы Ламанчи, Кастилии, на степи Андалузии, на апельсиновые рощи Леванта! Бархатная зелень альпийских лугов, синяя гладь Бискайского залива. Машина проносится над горными потоками, набирает крутыми виражами высоту, поднимаясь к темным массивам хвойных лесов, и от молочных облаков снова устремляется к журчащим в ущельях ручьям.

По дорогам медленно шагают запряженные в телегу волы, украшенные головными уборами из лохматой белой

овчины. На склонах гор деревни — каменные дома с красными черепичными крышами, с неизменной башенкой католической церкви. Баски традиционные католики, народ суровый, мужественный.

Баски издавна боролись за свою автономию. Они обрели ее только при республике и вновь ее лишились после победы Франко. Индустриальных рабочих этого края, богатого ископаемыми, с развитой металлургической и горной промышленностью, так же, как и героических горняков соседней Астурии, называют гвардией испанского рабочего класса. Баскские рабочие всегда самоотверженно боролись за свои права, боролись за независимость при монархии, сражались с полчищами Франко в годы войны. Они и сегодня в первых рядах забастовочного движения.

Мы въезжаем в столицу страны басков Бильбао. Мрачноватый город, сложенный из громад каменных серых домов. В осенние и зимние месяцы Бильбао окутан туманами, плывущими из Бискайского залива. Здесь в центре города можно увидеть большие корабли, разгружающиеся у речных причалов.

Невольно вспоминаю Бильбао тех дней, когда войска Франко уже были на ближних подступах к городу. Бильбао был насторожен, суров. На его окраинах без устали с утра до вечера сотни людей строили окопы и укрепления. Образцовая дисциплина царила во время воздушных тревог. Не меньше десяти раз в день появлялись над городом эскадрильи трехмоторных «юнкерсов»... Я покидал тогда Бильбао ночью по единственной оставшейся дороге, ведущей вдоль берега на Сантандер. Хлестал злой дождь, брели усталые солдаты, укутанные в промокшие одеяла. Дорогу с моря обстреливали военные корабли. Тогда я был убежден, что никогда в жизни больше не увижу Бильбао. И вот сегодня полицейский весь в белом широком жестом руки в белой перчатке пропускает туристский автобус, на котором мы въезжаем на оживленную главную улицу столицы басков.

Ну как не обращаться к прошлому! На каждом шагу любая деталь вызывает к горькой памяти. Вот на шоссе, заполненном мчащимися машинами, дорожный знак:

«ГЕРНИКА — 14 км.»

Знак как знак. Снятая с белой окантовкой дощечка. Я был в Бильбао в мае тридцать седьмого года, когда

пришла страшная весть о том, что несколько часов назад «национальная авиация» — так назывались воздушные армады гитлеровских военно-воздушных сил — смела с лица земли Гернику. Теперь-то все стало известным — подлинные документы, секретные приказы, откровенные мемуары раскрыли злобещий замысел: в порядке «опыта» была поставлена задача уничтожения целого города одним массированным ударом авиации. Недавно я докопался в архивах до ролика нацистской кинохроники, где Геринг награждает орденами летчиков легиона «Кондор», уничтоживших Гернику. Сейчас в Гернике построены новые дома.

Бургос, Саламанка, эти два города во время гражданской войны были столицами франкистской Испании. Сюда Гитлер и Муссолини направили своих послов, покинувших Мадрид — столицу республиканской Испании. В Саламанку мы приехали в полдень 18 июля. В этот день во всех газетах были помещены под крупными заголовками статьи, посвященные тридцатилетию начала гражданской войны, восхваляющие престарелого каудильо и его режим. В одной из передовых статей рядом с пышными фразами содержался упрек в адрес испанской молодежи, которая ничего не хочет помнить, не желает знать о жертвах тех, кто строил-де новую национальную Испанию.

День нерабочий, город словно вымер, труженики рады отдохнуть. Опущены жалюзи на окнах. Оживлена только Пласа Майор. Тут в здании алькальде (мэра города) идет праздничный прием, и толпа глазеет на маркизов и генералов, выходящих на широкий балкон. А под балконом строй войск в парадной форме с вытканными золотом штандартами.

Я взял в поездку 16-миллиметровую кинокамеру. Газетные репортеры не раз задавали мне вопрос: «Новый фильм об Испании?» Ну какой же фильм в туристской поездке. Просто путевой кинодневник. Снимаю солдат и офицеров, выстроенных с оркестром под балконом. Форма парадная, каски сверкают, белые перчатки на прикладах американских автоматов, выправка безупречная. Очевидно, так же отлично выглядели на прощальном смотре в Мадриде батальоны «голубой дивизии», отправлявшиеся на Восточный фронт. Командир дивизии генерал Муњос Грандес — нынешний первый заместитель

главы государства — торжественно отметил 25-ю годовщину основания «голубой дивизии».

Мне довелось снимать колонну пленных испанцев в 1942 году зимой на Северо-Западном фронте. Как жалко они тогда выглядели! Лишь на минуту они оживились, услышав испанскую речь — я заговорил с ними, — и снова потухли безразличные ко всему глаза, они брели по колено в снегу сломленные, отрешенные. Испанцы не в ответе за «голубую дивизию». С ней мы рассчитались на нашей земле, как говорится, на месте и сполна. Но рассчитывались мы не с испанским народом, наши «катюши» вели суровый разговор с теми, кто благословил «голубую» на бесславный конец в русских снегах.

Направляю камеру на генералов, идущих к своим автомобилям. Одрахлевшие франкистские генералы обвешаны орденами, они охотно позируют, улыбаются. Снимаю их крупным планом. О, если бы они знали, что снимает их советский кинооператор, который тридцать лет тому назад снимал на баррикадах Мадрида! Тогда нас разделяли несколько домов, объятых пламенем, кусок мостовой; попадись я тогда в руки этого мило улыбающегося перед кинокамерой старикашки — разговор был бы коротким. Еще один крупный план... Граспас — благодарю...

Мы завершали путешествие, направляясь из Малаги через Севилью в Толедо, Мадрид. Степи, холмы, степи. Автобус мчал нас по землям Ламанчи. Здесь из города Пуэрто Лапиче начал свой скорбный путь рыцарь Печального образа. На безлюдной в полуденный час площади города ему поставлен памятник. Благородный рыцарь и по сей день продолжает свой путь. Сражается, терпит обиды, мечтает о торжестве добра. Множество испанских деревень обезлюдели, стоят вымершие, с заколоченными окнами, люди ушли. От голода крестьяне бегут во Францию, Англию, Бельгию, Швейцарию, Западную Германию. Неоглядные пространства земли пустуют, дичают.

К Мадриду автобус мчал нас по толедской дороге. Мучительно знакомые места, которые навсегда остались в памяти, Ильескас, Торрехон де ла Кальсада, Хетафе... По этой дороге войска Франко рвались к Мадриду, здесь в октябре 1936 года шли жестокие бои. На этой самой толедской дороге я снимал бесконечные толпы идущих к Мадриду беженцев.

Сейчас там, где каждая пядь земли была изрыта снарядами и бомбами, выросли новые дома, поселки, виллы. Вот на этом поле в погожий октябрьский день тысячи мадридцев вышли на строительство оборонительных рубежей.

И вот уже Карабанчель-Бахо, рабочий район, где бои шли на баррикадах, где каждый дом был крепостью, Толедский мост, Гран-виа, бульвар Кастельяно. Знакомые перекрестки, дома, запомнившиеся спуски в метро, куда бежали обезумевшие от ужаса люди, когда над головами нависал звенящий гул трехмоторных «юнкеров»...

Сейчас, вглядываясь в облик залитого солнцем, условно одного из красивейших городов мира, можно только, углубляясь в воспоминания, найти черты Мадрида дней войны. Какой город не изменится за тридцать лет! Много построено, выросли новые кварталы, поднялись новые дома в центре, город оживлен, в его артериях ощущается деловой ритм. Источники этого ритма большого бизнеса — на улице Алькала. Здесь тихо. Сонными громадами высятся серые здания банков. За этими зеркальными витринами и дверьми с золотыми буквами названий банков вершатся судьбы современной Испании. Низкий жизненный уровень людей труда, промышленные «бумы», кризис в сельском хозяйстве, дубинки, гуляющие по головам демонстрантов, показная роскошь десятков семей, «средний годовой доход на душу населения», в котором в одной куче учтен и «заработок» автомобильного короля и «доход» рыбака и шахтера, — такова адская кухня экономики франкистской Испании.

Оживленный Мадрид это — парадный фасад страны, полной острых противоречий, жгучих, нерешенных проблем. То, что зреет за кулисами фасада — в рабочих поселках, в аудиториях университетов, в шахтах и цехах завода, теперь все чаще прорывается наружу.

Я помню тебя, Мадрид, другим. Погруженным ночами в темноту, окутанным дымом пожаров, опустевшим, тревожным.

Я прохожу по городу с камерой в руках. На площади Эспанья — памятник Сервантесу. Рядом с обелиском бронзовый Дон-Кихот верхом на Росинанте и Санчо Пансо на осле. Окраины этой части Мадрида отодвинулись сейчас далеко. А осенью 1936 года шлем бронзового рыцаря едва возвышался над каменной баррикадой, возведенной здесь жителями Мадрида.

Чуть повыше на улице Гран-виа кинотеатр «Капиталь». Прохожих пронзает жгучий взгляд несравненной Софи Лорен. Помню, как здесь, в длинной очереди, кутаясь в мокрые одеяла, стояли под морозящим дождем милисианос. Ветер рвал протянутое через улицу полотнище «Но пасаран!», а из витрины кинотеатра на озябших людей глядел с озорным прищуром Василий Иванович Чапаев в заломленной папаче.

В зрительном зале во время эпизода «психической» атаки прозвучал голос из репродуктора: «Батальон «Куатро вьентос» — на выход!» — застучали приклады винтовок, и два десятка человек, шагая через головы сидящих в проходах, двинулись к дверям. Проходили боком, озираясь на экран, где белогвардейские русские офицеры шли напролом под пулеметы точь-в-точь, как марокканцы под Хетафе...

А наискосок от «Капитоля» был отель «Флорида».

Куда же она девалась, «Флорида»? На пустыре гудят экскаваторы, раскачиваются стрелы строительных кранов.

В небольшом номере отеля «Флорида» на втором этаже вечерами не хватало стульев, и люди в суконных куртках — форме интербригад — сидели на подоконниках, на кровати. Паркет был измазан окопной глиной, табачный дым застилал лица. Хозяин комнаты, добрый и радужный, слушал гостей, задумчиво глядя сквозь очки, весело смеялся, шутил. И никто, по-моему, в эти вечера не задумывался о бессмертии великого Хемингуэя, который попросту болтал с приятелями, подливая им в мятую солдатскую кружку обжигающего виски. Сюда на огонек приходило множество людей. Молча кивнув головой, уходили, чтобы ночью вернуться в свой блиндаж в Каса дель Кампо, до которого от порога «Флориды» было рукой подать.

Я задержался, чтобы снять бульдозеры, которые утюжили прах незабвенной «Флориды».

В будний день в парке Каса дель Кампо тихо, безлюдно. Стрельчатые лучи солнца пронизывают кудрявые кроны деревьев, теплыми бликами ложатся на зелень травы. Стрекочат цикады, поют птицы. Передний край обороны Мадрида. Здесь у реки Мансанарес в дождливый ноябрьский день впервые я встретил Матэ Залку. Штаб его бригады был в сторожке лесника. Советник генерала Лукача Павел Иванович Батов сидел над полевой кар-

той. Его глаза после нескольких бессонных ночей были голубее, чем всегда. Вот эта сторожка, она цела. Вот Французский мост. По нему мчатся автомобили. В Касадель Кампо стояли насмерть советские танкисты. Они дрались рядом с испанцами, французами, чехами, немцами, американцами, поляками. Первое боевое крещение получил здесь юный политрук — танкист Ваня Зуев, героически погибший в 1942 году на Волховском фронте. Здесь дрались погибший под Ржевом Герой Советского Союза Арманд и ворвавшийся со своим танковым корпусом на улицы Берлина Семен Кривошенин, а многие русские парни здесь сложили свои головы. Могилы их поросли на испанской земле высокой травой. Так же, как и траншеи, следы которых едва заметными впадинами пролегают меж деревьев.

Вечером Гран-виа залита потоками слепящего света реклам, витрин дорогих магазинов. Блики света мелькают в бесконечном потоке автомобилей. Бесшумно скользят роскошные лимузины. Огни, огни...

Когда мы с Симоновым шли по Гран-виа мимо сверкающих огнями реклам кинотеатров, оба мы думали о том, что настанет день и наш фильм об Испании мы покажем здесь, в Мадриде. Молодые испанцы, родившиеся после окончания войны, увидят на экране героическое прошлое своей страны. Ту часть этого прошлого, которую им так до сих пор и не дали узнать во всей ее горечи и во всем ее величии.

На улицах испанских городов ни один полицейский, пристально следящий за каждым иностранцем с кинокамерой, не мог заподозрить, что я снимаю тот самый вход в метро, где когда-то снимал обезумевших от ужаса людей, бегущих под землю, спасаясь от бомб. Снимая поток автомобилей на толедском мосту, я в точности уложился в границы кадра, снятого мной 30 лет назад, когда на этом мосту, перегороженном баррикадой, защитники Мадрида отбивали одну за другой атаки марокканцев, рвущихся к центру Мадрида.

Работа над фильмом продолжалась почти два года. Периоду монтажа и работы над сценарием предшествовала пора долгих и кропотливых поисков нужного материала. Основой послужил извлеченный из архива материал, снятый нами в Испании. Здесь тоже были неожиданные находки. Казалось, я помнил каждый метр, каждый сня-

тый эпизод. Но вдруг обнаруживалось неожиданное. Я, например, вдруг увидел шесть кадров Хэмингуэя, которого весной 1937 года снял в окопах с республиканскими бойцами и забыл об этом. Или, например, тщательно разглядев один кадр, я узнал молодого комиссара интербригад итальянца Луиджи Лонго, ставшего руководителем итальянских коммунистов. В архивах ГДР мы обнаружили кадры гитлеровского легиона «Кондор», который под командованием генерала Рихтгоффа воевал в Испании. Мы обнаружили в архивах и итальянскую фашистскую кинохронику — транспорты с войсками и оружием, прибывающие в Испанию.

Главная тема нашего фильма — интернациональная солидарность антифашистов всего мира. Тех, кто тогда стал под знамена интернациональных бригад, чтобы на испанской земле вступить в бой с фашизмом. О советских наших парнях, дравшихся в Испании, так мало писалось, говорилось!

Благородному подвигу интербригадцев, живым и павшим на испанской земле антифашистам, советским добровольцам посвящали мы фильм, который решили назвать строкой из стихотворения Михаила Светлова «Гренада, Гренада, Гренада моя...». Стихи эти, ставшие песней, написанные в 20-е годы в революционной России, с новой силой прозвучали в республиканской Испании:

Я хату покинул, пошел воевать,
Чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать...

Эта песня звучит в фильме, когда советские парни — танкисты и летчики вступают в свой первый бой с фашистами на испанской земле.

Строки Светлова пережили десятилетия, они стали символом интернационализма. Так же, как слова Долорес Ибаррури — «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях», — стали символом всей войны с фашизмом.

«Наши мертвые стали частицей испанской земли, а испанская земля никогда не умрет. Мертвым не надо вставать. Теперь они частица земли. А землю нельзя обратить в рабство, ибо земля пребудет навеки, она переживет всех тиранов». Этими словами Хэмингуэя заканчивается фильм «Гренада, Гренада, Гренада моя...».

После тяжелого года, проведенного на фронтах Китая, я приехал в Москву. Из материала, снятого в Китае (а снял я там много тысяч метров), я собирался делать большой фильм. Но перед тем, как приступить к работе над фильмом, необходимо было отдохнуть. Отдыхал я на берегу Черного моря, в Сухуми, безмятежно, изредка лишь находя время, чтобы привести в порядок свои дневники, походные тетради, которые я захватил с собой. Это было началом моей работы над книгой «Год в Китае».

Была поздняя осень 1939 года. Мой отдых был прерван неожиданной телеграммой со студии: **«НЕМЕДЛЕННО ВЫЛЕТАЙТЕ МОСКВУ СРОЧНОЕ ЗАДАНИЕ»**. В сущности необычного в этой телеграмме ничего не было. Кинооператор всегда готов к неожиданности. В эти дни разразилась война с Финляндией, я, вылетая в Москву, был убежден, что меня направляют на фронт. Оказалось другое. В эти дни в Полярном бассейне заканчивал свой дрейф ледокольный пароход «Г. Седов». Решением Советского правительства в Арктику направлялся ледокол «И. Сталин» под командованием Героя Советского Союза Папанина. Ледокол шел в высокие широты Ледовитого океана, чтобы освободить «Седова» из ледового плена, привести героический корабль к родным берегам.

Пароход «Г. Седов» начал свой дрейф осенью 1938 года. В восточном секторе Арктики сложилась тогда тяжелая ледовая обстановка, в лед вмерзли десятки кораблей, в том числе «Малыгин», «Седов», «Садко». На выручку кораблей двинулся ледокол «Ермак». Ему удалось вырвать из ледового плена множество транспортных кораблей, вывести затертого льдами «Малыгина», оказать помощь ледоколу «Садко». Наиболее сложная ледовая обстановка была вокруг «Г. Седова», который оказался зажатым среди полей тяжелого многолетнего льда. Все попытки «Ермака» пробиться к «Седову» не увенчались успехом. «Седову» предстоял долгий тяжелый дрейф через льды Полярного бассейна, через район Северного полюса.

Много лет назад Фритьоф Нансен в целях изучения дрейфа полярных льдов сознательно вморозил во льды свой корабль «Фрам». С немногочисленным мужественным экипажем Ф. Нансен проделал на «Фраме» трехлетний дрейф через северный полярный бассейн. Такая же пер-

спектива была и перед парходом «Г. Седов». Правда, между кораблями была существенная разница — «Фрам» был специально сконструирован для этой цели и имел яйцевидную форму, при сильном сжатии льдов его выталкивало на поверхность. «Седов» же — железная коробка, которую при сжатии неминуемо постигла бы трагическая участь корабля «Сибиряков». Он мог быть раздавлен льдами. Несмотря на тяжелые обстоятельства, Советское правительство приняло решение все-таки не бросать корабль. Вызвались добровольцы, пожелавшие составить экипаж дрейфующего корабля. Их было множество, но отобрали тринадцать человек. Командовать «Седовым» был назначен молодой капитан Константин Бадигин. Самолетами перебросили «Седову» продовольствие в расчете на три года дрейфа, необходимую научную аппаратуру. Команда молодых, мужественных людей направилась в этот легендарный дрейф.

Два с половиной года страна следила за «Седовым». Часто вокруг корабля сжимались льды, уже, казалось, неминуемой была его гибель. Люди переносили на лед аварийные запасы продовольствия, радиостанции, они рвали аммоналом лед вокруг судна, спасая корабль. На протяжении двух с половиной лет не раз они были на грани гибели, но настойчивость, героизм, выдержка людей спасали корабль, и дрейф продолжался. Жили в каютах, отапливаемых печурками. Прodelали титаническую работу по резервированию ходовой машины «Седова», разобрали ее, смазали каждую деталь. Трудились, боролись, верили, что настанет день и корабль без посторонней помощи совершит попытку вырваться из ледового плена.

И вот сейчас «Г. Седов» уже в Гренландском море. Дрейфом его тянет на юг к чистой воде, но ледовая обстановка по-прежнему тяжелая. На выручку двинулся могучий флагман советского ледокольного флота.

Я уже знал, что такое полярная ночь, вспоминал, как в 1937 году, зазимовав на острове Рудольфа и в бухте Тихой, я надолго сложил свою киноаппаратуру. Теперь необходимо было решать проблему освещения в условиях полярной ночи. Ясно, что мы возьмем на борт ледокола осветительные приборы. На ледоколе есть электроэнергия — это не проблема. Но что будем делать, когда шагнем с ледокола на лед, когда оторвемся от корабля?

Пришла счастливая мысль, которая впоследствии благоприятно решила исход нашей сложной киноэкспедиции.

Я вспомнил, что на полевых аэродромах, где нет мощных прожекторов, пользуются осветительными ракетами. Около двухсот мощных ракет пятиминутного яркого горения взял я с собой на борт ледокола.

Нас было трое кинематографистов в этой киноэкспедиции: оператор Виктор Штатланд, звукооператор Рува Халушаков и я. 15 декабря 1939 года из Мурманского порта вышел ледокол. Курс на Север, туда, где ждал нашей помощи затертый льдами корабль, откуда за каждым шагом нашей экспедиции следили тринадцать героев, два с половиной года проводивших в ледовом плену.

Не буду описывать все этапы нашего рейса. В Баренцевом море нас встретил жестокий одиннадцатибалльный шторм. Нужно сказать, что ледокол во время шторма сильно швыряет. Его корпус яйцевидной формы, и он болтается как скорлупа на волнах. Семь суток продолжался этот шторм, во время которого большая часть команды лежала плашмя, обессиленная борьбой со стихией. Нас окружала полярная ночь.

В этот поход я шел, как мне сейчас кажется, уже вооруженный зрелостью и опытом не только кинорепортажа, но и режиссерской работы. Поставил перед собой задачу — не просто запечатлеть события, которые нас ожидают, но создать фильм. Мне хотелось, заглянув вперед, определить структуру будущего фильма, наметить узловые эпизоды, которые станут основой киноповести о человеческом подвиге.

Трудно было заранее предусмотреть, какие испытания нас ожидают. Ясно было, что кульминацией будет встреча с «Седовым», там, далеко, во мраке полярной ночи. Наш ледокол держал с «Седовым» круглосуточную радиосвязь. Обстановка усложнилась. Никто не знал, как произойдет встреча с дрейфующим кораблем. Быть может, спасти их придется уже, когда они высадятся с раздавленного льдами корабля, подбирать их на обломках льдины. Но вернее всего, мы подойдем к «Седову» борт к борту, увидим в ночи этот сказочный корабль, поможем ему вернуться к родным берегам.

Да, не просто событийный репортаж — нужен фильм, который способен будет передать драматизм этой героической эпопеи. Драматургия будущего фильма — подвиг седовцев и трудный, рискованный поход нашего ледокола, который впервые в истории в условиях полярной ночи забирался в высокие широты по вольной воле, а не из-за

того, что его затягивало дрейфом, как это было с нансеновским «Фрамом», как, очевидно, случилось с кораблем «Святая Анна» Брусилова, как это было с кораблем «Г. Седов». Итак, две основные драматургические линии будущего фильма — подвиг седовцев и рискованный трудный поход их спасателей.

Это было удивительное состояние — переход от безумной качки к ровному ходу! Вода в стакане на столе была недвижима, только тихое скрежетание льда, трущегося о борта идущего корабля. Люди ожили. Объявлен аврал — все вышли на палубу устранять последствия небывалого шторма: был поврежден фальшборт, волной сорвало и унесло в море катер, грузы на палубе были разбросаны, чудом удержался закрепленный на палубе фюзеляж самолета.

Мы взялись за съемки. Работали буквально круглосуточно.

На борту корабля пользовались осветительными приборами — «пятисотками». Снимали во всех отсеках корабля, в машинном отделении, в кочегарке, в капитанской рубке, в радиорубке.

Прошли Шпицберген, начались тяжелые многолетние льды. Начальник экспедиции Иван Дмитриевич Папанин и капитан ледокола Михаил Белоусов разрешили нашей киногруппе сойти на лед, чтобы снять общие планы форсировавшего ледовые поля арктического флагамена.

Вот здесь-то и пошли в ход осветительные ракеты. Мы расположили на льдине их в ряд, примерно в пятидесяти метрах от корабля. Направление ветра было от ледокола в нашу сторону, это мы предусмотрели, чтобы белый дым ракет не заслонил нам корабля. На ледоколе попросили зажечь все бортовые огни. Ледокол начал форсировать ледовое поле. Одновременно вспыхнули все ракеты: феерическое зрелище! Корабль, покрытый льдом от ватерлинии до верхушек мачт, словно засахаренный! Ледокол давал задний ход и, разогнавшись, таранил ледяное поле. Снимали в две камеры это сказочное зрелище — окутанный паром, покрытый льдом корабль, сокрушавший многолетние льды, запечатлев многократно с разных точек этот неповторимый кадр.

Не обошлось без происшествия. Под ногами Халушакова вдруг треснул лед, покрывавший занесенную снегом полынью. Провалившись по грудь, Рува хватался за края льдины, которая крошилась. Его безудержно тянуло под

лед. На выручку бросился Виктор Штатланд. Он лег плашмя на лед, пополз к Халушакову и крепко схватил его за руку. Но края полыньи продолжали рушиться, опасность угрожала уже им обоим. Трое матросов, бывалых полярников, ринулись спасать ребят. Ракеты отгорели, потухли, воцарилась кромешная тьма, на ледоколе мгновенно развернули мощный прожектор, его голубой луч, разрезав мрак полярной ночи, осветил полынью, копошащихся около нее спасателей. Халушакова вытащили на лед. Через несколько секунд он превратился в ледяной столб, звенящий, трещающий при каждом движении. Его и Штатланда молниеносно подняли на борт ледокола, раздели, обтерли спиртом, а бутылка коньяка из заветного папанинского фонда завершила процедуру «оживления» принявшего ледовую ванну оператора.

Впервые в Арктике оказалась звуковая камера (сказалась моя страсть к синхронному звуку в документальном кино). Записали и сняли великолепный по своей теплоте и непосредственности первый прямой радиотелефонный разговор Папанина и Белоусова с «Г. Седовым». Папанин говорил: «Держитесь, братки, идем к вам. Уже встреча близка! Везем вам свежие помидоры и апельсины. Еще день, ну, два-три дня, но мы проломаем, продолбим этот лед, встретимся с вами. Знаем, что вам тяжело, держитесь, братки!..»

Папанин говорил восторженно, с присущим ему озорным юморком. Капитан Михаил Белоусов, обращаясь к капитану «Г. Седова» Бадигину, говорил: «Костя, дорогой...» Медленно, в скупых выражениях рассказывал о ледовой обстановке, о ресурсах угля, спрашивал о самочувствии людей, о состоянии корабля, о ходовых агрегатах. Он был небрит, говорил хриплым от ангины голосом. Высокого роста человек с мужественными чертами лица, опытный, выдавший виды полярный «волк».

В последнем телефонном разговоре, который состоялся с «Г. Седовым», я взял микрофон и попросил капитана Бадигина, чтобы в момент встречи вся команда, все тринадцать героев-седовцев стояли у борта в носовой части корабля. И еще просил никого не брить бороды.

Наступил долгожданный час. Во мраке полярной ночи, вдали, на мгле показался огонек «Седова», его прожектор. Наступила кульминация арктической драмы, неповторимой по высокому накалу человеческих чувств. Вот он, «Седов»! Вот во мраке виден живой его огонь! Все ближе,

ближе! Мы направили свои камеры, свет всех прожекторов в сторону «Седова». Из мрака ночи показался обледеневший, с истерзанными бортами, украшенный разноцветными сигнальными флагами, гордый корабль, преодолевший неимоверные трудности ледового дрейфа.

Вся команда — тринадцать седовцев в меховых одеждах — стояла на носу. Все они в объективе наших камер, обросшие бородами, поднявшие руки, веселые, кричащие. На борт ледокола вышел самодеятельный духовой оркестр, и могучие звуки «Интернационала» смешивались со скрежетом ломающихся льдин, последних льдин, разделяющих наши корабли, плыли над ледовой пустыней. Флагманский ледокол советского ледокольного флота вплотную подошел к борту «Седова». Мы запечатлели заиндевелую, покрытую ледяными сосульками надпись на носовой части корабля: «Г. Седов».

Более трех суток стояли мы борт к борту с «Седовым». За это время Виктор Штадланд, Рува Жалушаков и я не сомкнули глаз. Сняли целую повесть о том, как зимовали седовцы, как вели они свою научную работу, как текла жизнь на борту дрейфующего корабля. Седовцы продолжали вести свой обычный образ жизни, продолжали свои научные наблюдения. Мы снимали, снимали, снимали без конца.

Седовцы наведывались к нам на ледокол, они помылись в бане, сменили белье, но оставались в заиндевелых каютах «Седова». Радиост Полянский продолжал сеансы радиосвязи с Большой землей, капитан Бадигин в своей покрытой инеем каюте вел последние записи в судовом журнале «Г. Седова», которому суждено было стать музейной реликвией.

Разразилась пурга. Метеоролог, молодой ученый Виктор Буйницкий, направился к отдаленному от борта корабля пункту магнитных наблюдений. Мы последовали за ним со своими осветительными ракетами. Буйницкий шел с фонарем «летучая мышь». Гонимые ветром, бесновались в свете наших ракет тучи падающего снега, человек шагал через торосы, это был впечатляющий кадр — так трудились седовцы два с половиной года.

Поистине волнующим был снятый нами эпизод запуска ходовой машины «Г. Седова». Гигантскую машину — нужно представить себе этот неистовый труд — седовцы во время дрейфа разобрали до винтика, берегли, а сейчас заново собрали. Незабываемый момент — механик Тока-

рев медленно «отдает» пусковой рычаг. Окутанные паром шатуны — на них ни пятнышка ржавчины, они лоснятся от масляной смазки, отсвечивают серебром — совершают по мановению руки человека первый оборот. Машина жива! Корабль, сохраненный людьми, жив! На глазах седовцев, собравшихся в машинном отделении, в который раз вижу слезы. Слезы людей, совершивших беспримерный в истории человечества подвиг!

Торжественным был завершающий акт героического дрейфа. Тринадцать человек обошли вмерзший в лед корабль и поднялись на ледовый холм. Здесь они водрузили красный флаг родной страны, на котором в левом нижнем углу были написаны даты начала и окончания дрейфа, географические координаты встречи двух кораблей.

На плече у каждого из них была винтовка.

Седовцы обнажили головы, несколько минут стояли молча около флага. Шел снег. Снежинки ложились на бороды, ресницы, на плечи людей. Мы снимали. Медленная панорама по лицам. Они были необыкновенно красивы, герои Арктики, в эту минуту торжественного, молчаливого их прощания со льдиной.

Мы запечатлели и общий план — группу людей на фоне двух обледеневших кораблей, окутанных облаками белого пара.

Седовцы подняли винтовки к звездному небу — это было в двенадцать часов дня, — и пад льдами Гренландского моря раскатилось эхо троекратного салюта.

Ночные залпы были очень эффектные. Из каждого ствола при выстреле вылетал столб яркого пламени. Об этом ярком пламени я заранее позаботился, проделав накануне кропотливую работу, — в каждый патрон к пороху подмешал большую щепотку порошка фотографического магия. Это было, так сказать, «режиссерское вмешательство» в подлинный жизненный эпизод.

А в это время в Москве ассистенты подбирали в киноархиве исторические кадры экспедиции полярного исследователя Георгия Седова к Северному полюсу, снятые в 1912—1914 годах Пинегиным — участником экспедиции Седова на судне «Св. мученик Фока». Прикидывая в уме монтажный план будущего фильма, я послал на студию радиogramму о необходимости разыскать эти уникальные кадры. Впоследствии они органически легли в фильм «Се-

довцы», рассказавший о подвиге экипажа корабля, носящего имя отважного русского исследователя Арктики, погибшего во льдах во время похода к полюсу.

Настал час счастливого возвращения кораблей к родным берегам. Пробившись через льды, они вышли из полосы полярной ночи. Через несколько суток, когда мы шли уже по чистой воде, показалась на горизонте первая зорька — предвестник дня, предвестник Большой земли. А потом выглянуло солнце. Впервые за два с половиной года седовцы увидели чайки, которые стаями кружились над кораблем. Мы запечатлевали на пленку эти моменты, я мысленно, закрыв глаза, монтировал будущий фильм, финалом которого стала торжественная встреча в Москве. Увитые цветами машины мчались по улицам столицы в Кремль, где за праздничным столом седовцы узнали, что каждому из них присвоено звание Героя Советского Союза.

ПОКОРТЕЛИ МОРЯ

Бывает, что замысел фильма вынашивается годами. Иногда он рождается внезапно по вдохновению. Какне-то глубоко тронувшие, взволновавшие тебя образы неожиданно овладевают тобой, не дают покоя, вызывают раздумья, и ты становишься одержимым идеей фильма. Тут уже нет пути назад, фильм должен быть осуществлен, он уже в тебе, ты им живешь.

Так неожиданно возник замысел фильма о людях, добывающих морскую нефть. Я возвращался в Москву из Туркмении, где закончил съемки фильма «Советский Туркменистан». Работа над этим фильмом была зовом сердца. Еще в 1933 году, пройдя с колонной автомашин через пустыню Кара-Кум, я ощутил прелесть сурового края — края безводных песков. Меня покорили мужественные люди, преобразующие землю мертвого знойного безмолвия в цветущие оазисы. После завершения пробега я в своих записках писал: «Меня неудержимо тянуло в пустыню. Тому, кто не бывал в пустыне, трудно представить себе, что можно тосковать по ней...» Фильм «Советский Туркменистан» поэтому стал не просто одним из многих в обширной серии картин о советских республиках.

Для меня он явился итогом многолетних наблюдений. Самолет, идущий рейсом из Ашхабада в Москву, пролетал над безбрежными просторами пустыни, над синей гладью Каспия. Приближаясь к Баку, самолет стал снижаться, я прильнул к окну. И тут я увидел необыкновенный город в открытом море. Волны бились о стальные сваи. На широких свайных площадках виднелись двухэтажные дома, огромные нефтяные резервуары, нефтяные вышки. По эстакадам мчались автомобили, поезда... Да, вот так может родиться творческий замысел. Порой достаточно одного толчка, встречи в пути, чтобы ты оказался в волнующем его плену. Всегда привлекала меня тема труда, подвига советского человека, его борьбы со стихией. В тот день, когда под крылом самолета, как чудесное видение, возник необыкновенный, свайный город в открытом море — это продолжалось не более минуты, — твердо было решено, что будет создан фильм о подвиге людей, покоривших Каспий.

Совпадение? Нет, вероятно, закономерность — возвратившись в Москву, я прочел в «Новом мире» очерк писателя И. Осипова «Остров семи кораблей». Он рассказывал о том, как бакинских геологов на протяжении многих лет привлекала каменная гряда в открытом море. Вокруг выступающих из-под морской волны черных скал видны были радужные пятна нефти. Волны перекачивались через заржавевшие остовы разрушенных, потерпевших кораблекрушение на этих скалах кораблей. Бывалые моряки называли гряду «кладбищем кораблей».

Геологи решили во что бы то ни стало разгадать тайну черной каменной гряды. Все говорило о том, что у этих скал на морском дне таятся богатейшие месторождения нефти. На крохотном островке высадился десант энтузиастов. Они построили небольшой свайный домик, установили рацию, начали строить буровую вышку. Среди высадившихся на островке был знаменитый буровой мастер Михаил Каверочкин.

Девяносто дней и ночей провели первооткрыватели морской нефти на этом островке. Буровая вгрызалась в глубокие недра. И вот наступил день, волнующий, памятный, когда морские глубины должны были ответить на зов людей: есть ли нефть под этими скалами, пойдет ли нефть из буровой.

На вышке царила напряженная тишина. Геолог Алиев, Михаил Каверочкин и их товарищи напряженно следили,

как медленно откручивалась заслонка скважины. Труба была направлена горизонтально над поверхностью моря.

Это был день 5 января 1949 года. Проходили последние минуты этой смелой разведки морских недр, сейчас по расчетам должна показаться нефть. Напряжение нарастало с каждой секундой, взгляды были устремлены в одну точку. Об одном думали сейчас Каверочкин и Атта Курбан Алиев — пойдет ли нефть? Неужели весь труд бригады на этих скалах пропал даром? И он настал, этот час, возблагодаривший людей за их труд, за их веру. Из трубы забил нефтяной фонтан. Нефть с гудением, похожим на шум реактивного двигателя, вырывалась из трубы, ложилась на поверхность волн. Люди подставили ведро, оно наполнилось нефтью, Курбан Алиев, опустив в него руки, подошел к Михаилу Каверочкину и ласково провел по его щекам руками, вымазанными золотистой нефтью. Это было рождением нефтяного промысла в море. Это было первой страницей героической повести о нефтяниках Каспия, началом героической эпопеи, строительства города на стальных сваях в ста двадцати километрах от берега, в открытом море, на нефтяных камнях. Трудовой Баку послал в море на строительство промысла самых лучших, самых отважных людей.

Мы приехали на Нефтяные камни, когда там были уже причалы, у которых разгружались корабли с оборудованием, уже заканчивалось строительство резервуарного парка, строились новые дома на стальных площадках. Не чудо ли это? Двухэтажный дом, чистые комнаты с центральным отоплением, лестницы, покрытые коврами, столовая, магазин, сберкасса, парикмахерская, а под ногами бьет в стальные сваи каспийская волна, иногда набегает жестокий шторм, и тогда волны перекатывают через эстакаду, а люди на буровых продолжают самоотверженный труд, ибо ни на минуту нельзя остановить бурение.

Мы начали снимать фильм. Кто-то сказал нам: «Этот фильм можно снять в две недели. Ведь все под рукой — буровые, строительные краны, резервуары, люди». Мы, однако, снимали фильм полгода. Съемочная группа — операторы Д. Мамедов, А. Зенякин, С. Медынский — шесть месяцев провела в море, вживаясь в суровый быт нефтяников, снимая эпизоды, которые разыгрывались на свайных площадках во время жестоких штормов. Кинематогра-

фисты стали близкими друзьями нефтяников. Труженики моря уже не обращали внимания на кинокамеру, которая каждый день появлялась то там, то здесь на эстакаде, на буровых, на строительстве новых домов. Живя в море, мы постигали величие подвига добытчиков морской нефти. Мы видели необыкновенные примеры товарищеской выручки в трудную минуту, полюбили этих людей и некоторых из них, по достоинству оценив их труд, сделали героями нашей повести.

Здесь на каспийском нефтяном промысле родилась профессия морского нефтяника. И я обратил внимание, что бывалые моряки, обслуживающие промысел, любят говорить: «Я нефтяник», а мастера добычи с чувством гордости говорят: «Я моряк».

Главным героем нашего фильма стал буровой мастер Михаил Каверочкин. Много часов провели мы с камерой на его буровой в открытом море. Наблюдали за его работой, снимали, а в свободное от вахты время в беседах с ним постигали сокровенные черты его отношения к своему труду. Широкоскулое, пористое лицо его потемнело от соленых ветров. Под чуть припухлыми веками — светлые глаза, внимательные и добрые, когда он говорит со своими учениками. А на буровой, когда Михаил Каверочкин стоял в мокром, словно лакированном плаще из негнущегося брезента, облином нефтью и потоками колючего ливня, когда ураганный ветер сбивал с ног, его глаза становились холодными, цвета штормовой волны. Отрывистые команды он подавал властно, повышая голос лишь настолько, чтобы в шуме моря, ветра и скрежета буровой слова доходили до слуха его подручных. В эти минуты единоборства со стихией он был собран в тугий узел решимости, воли. Человек этот словно чувствовал далекое биение пульса глубоких недр морского дна, хранящих пласты невиданной емкости. Он, как никто, умел безошибочно проникать в эти пласты, вкладывая в мастерство глубокого бурения подлинный талант и вдохновение.

Каверочкин стоял на содрогающейся от ударов волн и ветра буровой, широко расставив ноги в резиновых сапогах, его рукам повиновались тяжелые механизмы, и лицо, обрызганное глинистым раствором, казалось каменным.

И снова после трудной вахты лицо его, грубое, кремневое там, в грохоте урагана, обретало застенчивую теплоту. Положив на стол крепкие руки труженика моря, он вел неторопливый разговор с товарищами, и в усталых,

снова ставших голубыми глазами его светилась доброта щедрого сердца.

Если бы мы не жили в море полгода, в поле зрения нашего объектива не попали бы явления, которые нельзя предусмотреть никаким сценарием.

В апреле 1953 года на нефтепромыслах произошло событие, которое могло кончиться трагической гибелью людей, гибелью всего того, что люди создали в море. Со дна морского, педалеко от свайного города, вырвался грифон — гигантский фонтан нефти и газа. Подводный вулкан с огромной силой выбрасывал осколки кремнистых пород. В свайном городе объявлено чрезвычайное положение. Было ясно, что стоит над водой столкнуться двум кремням и искра, малюсенькая искра, превратит этот фонтан в горящий факел... Так и произошло. Бушующее пламя охватило большую водную территорию. К счастью, море было спокойным. Но ужасающая лавина желто-красного огня ползла по воде к эстакадам, буровым.

Люди сражались с огнем. Задыхаясь от дыма и газа, они вплотную подступали к раскаленной лавине пламени, стремясь разбить ее. В этом дьявольском хаосе черного дыма все было подчинено единой команде, бок о бок с пожарными стояли труженники промысла. Огонь медленно полз к резервуарному парку, в котором было десять тысяч тонн нефти. Танкерам, пришедшим за нефтью, отдана команда отойти в море. Прибыла флотилия кораблей, готовая эвакуировать людей с гибнущего промысла.

Шесть часов продолжалась борьба с огнем. Люди победили. Пламя было разбито на несколько очагов, задавлено. Счастьем было, очевидно, и то, что подземный вулкан, столь внезапно возникший, прекратил свое действие. Спасены были буровые, дома, эстакады, добытая нефть. И тому, кто приехал бы через несколько часов на Нефтяные камни, при виде лазурного моря, буровых, на которых работали люди, эстакад, по которым снова курсировали поезда и автомобили, не могло бы прийти в голову, что недавно, вот только что, морской промысел поборол страшное бедствие.

Мы подробно сняли эпизод борьбы людей с огнем. Оператор Джаваншир Мамедов проявил подлинный героизм, он снимал в самом пекле — на эстакаде, на пожарном катере. И в нашем фильме, который в целом рассказывал о необыкновенном мужестве людей, добывающих морскую нефть, этот эпизод борьбы с огнем лежал в фарватере

общего замысла. Я был взбешен, когда кто-то сказал: «А здорово у вас получилось, когда вы подожгли нефть в море. Изумительное зрелище!..»

Когда фильм «Повесть о нефтяниках Каспия» был уже закончен и выпущен на экраны, мы узнали, что на морские вышки вагрянула новая беда и герои нашей повести победили еще в одной схватке со стихией. С Волги, от астраханских берегов, пошел по Каспию лед. Ледяные глыбы, которые обычно растапливались на пути солнцем, в ту весну приближались к свайному городу, грозя сокрушить его. Наша киногруппа, узнав об этом, готова была снова вылететь в Баку, снять еще один эпизод, показать новую победу героев нашего фильма. Борьба со льдами была не менее героической, чем схватка с огнем. На Нефтяные камни была доставлена тяжелая артиллерия, орудия в упор расстреливали надвигавшиеся на эстакаду льды, эскадрильи бомбардировщиков бомбили их. Люди спускались на лед, отталкивая льдины от свай.

Жизнь подсказывала, что повесть о героическом труде морских нефтяников еще не окончена. И через шесть лет наша киногруппа снова выехала на Нефтяные камни для того, чтобы создать продолжение первого фильма, новый фильм — «Покорители моря».

За годы между двумя нашими фильмами в море произошло страшное бедствие. Налетел небывалой силы шторм, и на разведывательной буровой, не соединенной с промышленной линией эстакады, оставалась бригада Михаила Каверочкина. Ураган достиг такой силы, что катера не смогли пробиться на помощь.

До последнего момента, пока не разразилась катастрофа, по радио звучал спокойный, уверенный голос Каверочкина. Вышка рухнула в море. Так героически погиб первооткрыватель морской нефти — герой нашей повести Михаил Каверочкин.

Новый фильм «Покорители моря» был как бы патетическим реквиемом памяти погибших героев. Мы снова пробыли в море шесть месяцев, продолжая рассказ о людях, с которыми зритель познакомился в первом фильме. Они проходят в новом фильме, как и раньше, в обстановке сурового труда. Ученик Каверочкина, комсомолец Курбан Абасов стал Героем Социалистического Труда, депутатом Верховного Совета СССР. Буровой мастер Юсуф Керимов и молодой инженер Бахтияр Мамедов, сделавшийся руководителем морского промысла, тоже были удостоены зва-

ния Героя Социалистического Труда. Многие эпизоды, заснятые в первом фильме, нашли свое развитие во втором — люди, появившиеся на экране в то время, когда они создавали первые морские буровые, теперь прокладывали новые пути в неизведанные дали Каспия. Далеко ушли в море вышки, разросся город — уже на сто двадцать километров протянулась эстакада.

Снимая фильмы «Повесть о нефтяниках Каспия» и «Покорители моря», я не задавался целью рассказать, как добывается в море нефть. Хотелось создать образ героического трудового коллектива, раскрыть характеры людей в не выдуманных, а подсказанных самой жизнью обстоятельствах. С документальной точностью передали мы факты, события, явления, свидетелями которых были, находясь в море в общей сложности почти год. Драматургия обоих фильмов — подвиг людей, покоряющих стихию, горечь потерь, радость и торжество трудовых побед. Там, где Михаил Каверочкин и его товарищи, высадившись на каменной гряде, построили свайный домик, сейчас возводится из бетона и стекла одиннадцатистажный дом, в море появляется невиданная техника, помогающая добывать нефть на больших глубинах. Вырастает новое поколение покорителей моря. Мы продолжим нашу повесть о нефтяниках Каспия. Обязательно продолжим.

СВЕТ В ДЖУНГЛЯХ

ВЫ БУДЕТЕ ПЕРВЫМИ
СОВЕТСКИМИ ЛЮДЬМИ
НА ВЬЕТНАМСКОЙ
ЗЕМЛЕ

Эти записки о путешествии во Вьетнам я начинал в Москве, в апреле 1954 года, после завершения работы над фильмом о нефтяниках Каспия, готовясь к ответственной экспедиции в далекую страну, чудесную и непохожую на все страны, куда забрасывала меня на протяжении многих лет профессия кинорепортера.

«Много думаю о будущем фильме. Трудность его создания в том, что мы мало знаем страну, о которой должны рассказать миллионам кинозрителей. Читаю все, что написано о Вьетнаме. Географические брошюры дают лишь схематическое представление о культуре и географии стра-

ны: тропический климат, джунгли, население двадцать три миллиона человек. Средняя годовая температура в Сайгоне +25. Животный мир — обезьяны, тигры, дикие слоны. В водах Меконга водятся крокодилы...

Интересно, заманчиво. Однако не это волнует сердца миллионов людей, устремленные с тревогой к сражающемуся Вьетнаму.

Кровью смелых воинов окрашены воды Меконга и Светлой реки. Очагами непримиримой борьбы с колонизаторами стали джунгли Вьетнама. В руинах города. Пепел древних книг — героических летописей свободолюбивого народа — несут муссоны по выжженной напалмом земле.

Эти строки, посвященные Вьетнаму, сражавшемуся в те годы с французскими колонизаторами, я писал, когда США еще не воевали на земле Индокитая. Американцы лишь годом позже, приняв печальную эстафету от обанкротившихся во Вьетнаме французских завоевателей, открыто начали вводить свои войска во Вьетнам.

Чувства волнения, ответственности за предстоящую работу я разделяю с моими товарищами по экспедиции — кинооператорами Евгением Мухиным и Владимиром Ешурпиным. Мы встретились с Чрезвычайным и Полномочным послом Демократической Республики Вьетнам в СССР товарищем Нгуен Лонг Бангом, долго беседовали с ним.

— Вас ждут с нетерпением во Вьетнаме, — говорит он. — Вам предстоит тяжелая работа, но наше правительство, общественные организации страны помогут всем, чем возможно в сложных условиях военного времени. Боюсь, что трудно вам будет переносить наш климат.

Он дал много дельных советов, касающихся оснащения экспедиции, хранения пленки, упаковки аппаратуры. В разговоре упоминались плащи, сандалии, одежда, хинин. Пожелав нам счастливого пути, посол сказал:

— Вы будете первыми советскими людьми на вьетнамской земле. Первыми! Вас встретят как братьев. Увидите, с какой любовью наш народ относится к Советскому Союзу.

Забота о кинопленке поглощает главное наше внимание. Выдержит ли нежная цветная пленка адский зной и влагу тропиков? Пленку запаиваем в железные банки, упаковываем их в обитые толстым войлоком для термоизоляции деревянные ящики. Берем с собой сорок тысяч метров пленки. Сорок километров!

Аппаратура. Каждый из нас оснащен тремя кинокамерами — легкие репортажные автоматы с комплектом первоклассной оптики. Как предохранить аппаратуру от влаги и ржавчины? Нам рассказывали, что во Вьетнаме пишущую машинку нужно хранить над жаровней с горящими углями...

Палатки. С Иваном Дмитриевичем Папаниным нас связывает давнишняя арктическая дружба. Сейчас Иван Дмитриевич работает в Академии наук СССР. С заботливым вниманием снабжает он нас из экспедиционного фонда академии великолепными палатками из легкой водонепроницаемой ткани, mosquito-сетками.

Груза набирается все больше и больше. Взвесили — около тонны. А ведь ничего лишнего!..

В Москве сейчас гостит Йорис Ивенс. На нашей студии он монтирует свой документальный фильм «Песня великих рек» — большое публицистическое киноповествование о международном профсоюзном движении.

Этот фильм снимали для Ивенса десятки кинооператоров во всех частях света. Нас с Йорисом связывает многолетняя дружба. Мы встречались в 1936 году в Испании, потом многие годы мы следили друг за другом, на несколько дней разминувшись в Китае в 1938 году. Было что-то общее в нашей биографии кинодокументалистов, летавших с камерой по свету.

После недолгой встречи опять расстаемся, теперь, наверное, снова надолго...

— Меня зовут «летучий голландец», — говорил он. — Как же назвать тебя?

Самолет покидал Москву в полночь. Оказывается, груза нашего ровно столько, чтобы взять на борт не более трех пассажиров. Стало быть, мы занимали весь самолет. На серебряном фюзеляже воздушного корабля, освещенного прожекторами, розовый отблеск неона, которым светятся буквы «Москва» на фронтоне аэропорта. Последние рукопожатия друзей, пришедших проводить нас в далекое путешествие.

Среди провожавших был оператор Марк Трояновский. Через несколько дней ему предстояло лететь на Северный полюс. Кто-то острил насчет тропических ананасов и полярных льдов. Здесь был и мой друг, летчик Илья Мазурук, который «повезет» Марка на полюс, и Ивенс, напоминавший мне: «Так не забудь о женщинах Вьетна-

ма!» — наказ снять эпизод для его будущего фильма о международном движении женщин в борьбе за мир...

Обычно самолет далеко обходит столицу. На этот раз наш ИЛ-12 пошел прямо над Внуковским шоссе, миновал университет на Ленинских горах и врезался в зарево Москвы.

Мы увидели город, сверкающий миллионами электрических огней. Первый раз в жизни предстала передо мной столица в таком великолепии вечернего наряда. Сколько света! Но едва мы успели обменяться восторженными восклицаниями, как улыбл под крыло рубины Кремля, исчезла Москва, в ночи за окном лишь зеленый сигнальный огонек, ровный гул моторов, да мы — трое, погруженные в мысли, далеко опережающие летящий над темной землей самолет.

...Тяжелый полет! Несколько раз выходил и внимательно оглядывал пассажиров второй пилот. Молчаливо улыбнувшись, словно желая вселить в нас уверенность в том, что все благополучно, он медленно закрывал за собой дверь, удалялся в кабину. А за окном — клубы туч, озаряемые вспышками молний, самолет продолжал полет через вакханалию ливня, грозových облаков, то взмывая вверх, то снова проваливаясь, сотрясаясь всем корпусом.

Стрелка высотомера медленно поползла вниз, и вдруг — разрыв в тучах, под нами — извилистая лента реки, город. Над купами деревьев, над крышами домов, над садами и рисовыми полями мы спокойно скользнули на зеленое поле пекинского аэродрома.

Спустились по лесенке на зеленую траву, и здесь, на твердой почве все еще казалось, что земля колыхается. Нас окружили давно ожидавшие вьетнамские товарищи. Начальник Главного управления кинематографии Демократической Республики Вьетнам товарищ Фам Ван Хоа представил нам двоих молодых ребят-переводчиков. С ними нам предстоит работать полгода. Отсюда завтра на рассвете мы на поезде доедем до вьетнамской границы.

Наши спутники провели нас в мастерскую, где были куплены тропические пробковые шлемы. Водрузив их на голову, мы с любопытством оглядывали друг друга. Толстый Женя Мухин был похож на героя детской сказки Маршака «Мистер Твистер». Каждый десятый человек здесь облачен в такой головной убор, но нам казалось, что мы привлекаем всеобщее внимание.

...24 мая 1954 года в 8 часов 15 минут вечера мы перешли китайско-вьетнамскую границу. Силуэты высоких гор чернеют на фоне ночного неба. Миллионы светлячков, словно яркие звездочки, упорхнувшие с неба, мелькают, заполняя окружающее нас пространство, напоенное знойным тепличным ароматом тропической ночи.

На пограничной заставе нас встретил третий переводчик. Зовут его Ван. Маленький, щуплый парень. Широкополый тропический шлем сидит на его голове, нависая над плечами, как большая шапка гриба. Он очень хорошо владеет русским языком, весело, заразительно смеется. С первой же встречи он стал как-то очень дорог мне — худенький милый Ван. Я предложил ему быть моим спутником во всей экспедиции. Так оно и было. Мы не разлучались семь с лишним месяцев, до того момента, когда в окне самолета, увозившего меня из Вьетнама, мелькнуло печальное, расстроенное лицо с влажными глазами моего друга Вана.

Мы тронулись. Наша автоколонна — три трофейных американских «джипа» и две грузовые машины. Едем горной дорогой.

Проехали двадцать пять километров. Ван предложил остановить машину.

— Ветер слабеет, — сказал он, — а когда ветер утихнет — пойдет дождь.

Мы подняли брезентовый тент на нашем «джипе», и действительно тут же хлынул проливной дождь — теплый, тропический ливень, которым так пугали нас перед отъездом из Москвы.

— Май — сентябрь — период тропических ливней, — сказал Ван. — Боюсь, что это очень будет мешать вам в работе, и передвигаться трудно — ведь вам придется много ходить пешком.

НОЧНЫЕ ДОРОГИ
ВЬЕТНАМА

Дорога идет через горы. Мы часто обгоняем вереницы повозок. Маленькая тусклая лампадка, подвешенная к оглобле, едва освещает вознице путь по горной дороге. Двигаются обозы только ночью. В сущности, думаю я, дорога почти безопасна. Она вьется крутыми виражами среди высоких гор. Современный скоростной самолет, если он и пожелает пикировать, неизбежно врежется в одну из конусообразных горных вершин. А обнаружить днем с воздуха машину тоже трудно — над дорогой нависают густые шапки зеленой листвы бамбуков и пальм.

На многих местах дороги следы бомбежек. Тяжелые бомбы сносят огромный кусок шоссе именно там, где труднее всего будет его восстановить, обычно над пропастью. Навстречу усталой походкой идут группы людей — юноши, девушки, много среди них и пожилых. Освещая себе путь бамбуковыми факелами, они возвращаются с ремонтных дорожных работ.

Встречаются дорожные патрули. Они идут цепочкой с автоматами на груди. В эту ночь дважды нас останавливал такой патруль. Перекинувшись несколькими словами с Ваном и проверив документы, они приветствуют нас, приложив руку к шлему, предлагают следовать дальше. Ван рассказывает:

— Враги часто засылают диверсантов, сбрасывают парашютистов, которые разрушают дороги, рвут связь, пытаются вести разлагающую работу среди населения. Дорожные патрули ведут постоянную борьбу с диверсантами при активной помощи крестьян.

Метнулся в сторону олень. Мы успели лишь заметить пару горящих глаз и стройный силуэт в стремительном прыжке. Ван говорит без умолку. Он тщательно выговаривает трудно произносимые русские причастия, возвратные глаголы, знает много русских поговорок. Ему известны все пословицы, относящиеся к его малому росту: «Мал золотник, да дорог», «Маленький, да удаленький». Слушаю его с большим интересом. Он хорошо знает свою страну, пародные обычаи, предания, легенды. Иногда очень жалею, что в машине в темноте не могу записать все, что он рассказывает, и умоляю его потом, перед сном напомнить народную легенду, увлекательную повесть о вьетнамской девушке-героине, народную сказку о жадном помещике и добром скворце, чтобы записать ее.

Третью ночь мы ехали под непрерывным проливным дождем. Часто приходилось вылезать из машин, которые медленно преодолевали участок дороги, днем разрушенный бомбардировкой. Сейчас здесь при свете бамбуковых факелов, под проливным дождем работали десятки людей, ремонтировавших путь. Таскали камни, землю, стволы деревьев.

Ночью мы переходили вброд очередную реку. Шли по пояс в воде, осторожно нащупывая ногами скользкие валуны на дне стремительного потока. Когда выбрались на другой берег, я увидел в свете электрического фонаря веселое лицо Вана, задорный его чуб, торчащий из-под

плема. Он уже успел побывать в ЦК, вернулся и занял свое место в «джипе» рядом со мной.

Предстоит преодолеть еще небольшой участок, всего девять километров горной дороги. Дорога поистине ужасна! Она еще не закончена стройкой, некоторые участки ее нависли над обрывом. Когда «джип» буксует колесами в мокрой глине на краю пропасти, шофер прижимает машину к скале, чтобы на лишний миллиметр отодвинуть правое колесо от бездны, и машина скребет металлом левого борта о камни скалы. Признаться — страшно!

Снова остановка перед рекой.

— Автомобильное путешествие кончилось, — сказал Кхоа. — Переправимся через эту реку и дальше пойдем пешком. Уже остался небольшой участок пути.

ночные голоса
джунглей

Тронулись пешком. Начали мы свой путь еще до наступления вечера. Днем на тропах в джунглях царит влажный сумрак. Лучи солнца едва прорываются через густую листву. Это начинает нас беспокоить. Несколько раз в зарослях джунглей днем мы замеряли экспонометрами силу света. К нашему огорчению, стрелка экспонометра едва-едва поднималась на шкале — света явно недостаточно для съемки. Как мы будем выходить из этого положения?

Быстро сгущаются сумерки. Сопровождавшие нас ребята зажгли бамбуковые факелы. Они связали несколько сухих стволов бамбука, предварительно расцепив их пожом. Бамбук медленно горит, освещая нам путь. Трудно идти по еле заметной, скользкой, размытой дождем глинистой тропинке. На пути — подъемы и спуски по вырубленным в глине скользким ступеням. Справа и слева от тропы — стена непроходимых джунглей. В этих зарослях вьетнамских джунглей нашли себе могилу тысячи и тысячи солдат французского экспедиционного корпуса.

По стволам и листьям застучали тяжелые капли. Через минуту потоки теплой воды уже низвергались с пина. Тропический ливень! Он иногда не прекращается сутки и больше. Ноги по щиколотку влезают в жидкую трясиину, хлюпающую, засасывающую, сильно затрудняющую ходьбу. К нам доносятся таинственные ночные голоса джунглей. Резкие вопли обезьян, крики почной птицы, рычание неведомого зверя, свист и визг каких-то насекомых, скрип стволов бамбука.

Шагавший около меня Лен вдруг остановился и сжал мою руку. Низкий рев донесся до нас издалека. Подоспевший к нам Ван, улыбаясь, сказал:

— Ну, теперь вы услышали голос самого главного обитателя джунглей. Где-то бродит тигр.

Путь нам преградила широкая река. В свете факелов мы увидели покачивающийся на воде легкий плот из длинных толстых стволов бамбука, связанный лианами. На этом плоту нам предстоит переправиться на другой берег вместе со всей аппаратурой. Первым решился стать на шаткий плот Володя Ешурин. Взглянув на его грузную фигуру, вспомнив его вес девяносто пять килограммов, я ожидал близкой развязки. Плот угрожающе закачался. Ешурин с напряженным лицом, стараясь не шелохнуться, начал удаляться от берега. Через реку протянута толстая лиана. Парень, сидящий на корточках на плоту, перебирает руками, подтягивая судно к другому берегу, где горят бамбуковые факелы, роняя на поверхность черной, как тушь, воды золотые капли горячих углей.

Опять узкая тропинка, вырубленная в джунглях. Это уже последний этап нашего пути. Где-то за надежной стеной буйно растущих исполинов в невидимой точке джунглей Северного Вьетнама расположен поселок. Там — Совет Министров республики, Центральный комитет Партии трудящихся Вьетнама. Свято хранит народ тайну этого места. Дорого дал бы враг, чтобы узнать эту точку и обрушить на нее всю силу своих бомбовых ударов, уничтожить, снести с лица земли...

Несколько раз я видел тянувшийся вдоль тропы густой жгут телефонных кабелей, белые изоляторы на стволах деревьев. Это говорило о том, что мы приближаемся к месту назначения. Когда же из-под темного свода листвы неожиданно возник в свете факелов окликнувший нас часовой, я понял: наш поход закончен.

Пройдя несколько сот метров, увидели электрический свет, услышали тарахтенье маленькой электростанции. Прошли в темноте мимо нескольких бамбуковых хижин. Из одной доносилось жужжание динамо и стук ключа радиопередатчика.

Наконец под крышей! Пусть бушует над головой тропический ливень. Здесь так светло, сухо! Так манят бамбуковые лежанки. Растянуться во весь рост, отжаться долгожданному отдыху.

Едва успели мы сменить мокрую одежду, как в хижину

вошли двое людей. Нас поздравили с благополучным прибытием члены Центрального комитета партии трудящихся товарищ То Хыу — заместитель министра информации и пропаганды, выдающийся революционный поэт Вьетнама, и товарищ Хуан Тун — ответственный редактор газеты «Народ», органа Центрального комитета партии.

За накрытым столом завязалась увлекательная беседа, которой, казалось, не будет конца. Вопросы сыпались с обеих сторон. Нужно было обо многом спросить, сказать друг другу самое важное, узнать самое необходимое. Каждые несколько минут они говорили:

— Спать немедленно! Нам приказано немедленно вас уложить отдыхать...

То Хыу — человек маленького роста, похожий телосложением на подростка. Ему тридцать четыре года. С пятнадцати лет он ушел в революционное движение, а девятнадцатилетним юношей уже был приговорен к каторжным работам. Его заключили в каторжную тюрьму, пользующуюся самой тяжелой репутацией, расположенную на границе между Патет Лао и Центральным Вьетнамом. Через пять лет ему удалось оттуда бежать. Стихи, написанные То Хыу в тюрьме, в рукописях расходились по стране. Он стал любимым певцом народа, борющегося за свободу. Накануне августовской революции 1945 года он руководил повстанческим комитетом в Гуэ.

В годы войны ему не хватало времени для писания стихов и поэм, но он перевел несколько стихов советских поэтов. Он рассказывает:

— В 1947 году наши войска и партизаны вели ожесточенные бои на Светлой реке и на горных перевалах. Люди уходили из родных сел и городов, превращенных врагом в выжженные зоны. Я нашел однажды вечером советскую книгу «Советские девушки» и там прочел переведенное Люкэтом на французский язык стихотворение Константина Симонова «Жди меня». Оно взволновало мое сердце. Я видел моих сестер, перенесших невероятные страдания, думающих о своих близких и любимых, сражающихся на фронте. Всю ночь до рассвета я переводил стихотворение. Хотите я вам прочту его?

Вьетнамцы читают стихи нараспев, как песню. Он тихо пел, и его мелодичная напевная речь была похожа на орлиный клекот. Потом он прочел переведенное им стихотворение «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»

— Я нашел его в другой книге, название которой не

помню, — сказал он. — Это было осенью 1949 года. Я перевел это стихотворение, вложив в перевод собственные чувства любви к моей ~~испененной~~ ~~врагом~~ земле.

Он прочел и это стихотворение. Трогательны были в певучей вьетнамской речи мягко произносимые русские «Алеша», «Смоленщина...»

— Спать, товарищи, немедленно спать!..

Но сон не шел. Уже несколько раз договаривались: «Еще двадцать минут и тогда...» Проходили новые двадцать минут, а беседа не кончалась.

**«РЕВОЛЮЦИОНЕР
ДОЛЖЕН ВЛАДЕТЬ
ЯЗЫКОМ ЛЕНИНА»**

Проснувшись в шесть часов утра, я осмотрелся. Поселок ЦК — около двадцати бамбуковых хижины — предстал теперь передо мной освещенным пробивающимися через густую листву стрельчатыми лучами восходящего солнца. В поселке уже начался деловой день. Слышен был стук пишущих машинок. Тихий перезвон телефонных аппаратов. Сюда доносился шум горной реки, протекавшей где-то поблизости. Некоторые сотрудники ЦК шли с купанья с полотенцами через плечо. Кое-кто с мисочками и бамбуковыми палочками шел в столовую. Другие деловой походкой проходили по тропинкам, протоптанным от одной хижины к другой с бумагами в руках, сидели, углубившись в занятия, на своих рабочих местах.

Вьетнамский домик или хижину, такую, как эта в поселке, собственно говоря, трудно назвать домом. Скорее, это терраса с земляным полом, огражденная с четырех сторон барьером из плетеного бамбука. Крыша из пальмовых листьев. Никаких окон, дверей. В огражденной барьером «комнате» две-три бамбуковых лежанки, два бамбуковых стола. Вот и все. В таких хижинах и в джунглях — Центральный комитет Партии трудящихся Вьетнама, министерства, государственные учреждения. Сотрудники этих учреждений одинаково одеты: крестьянский костюм — рубашка из коричневой ткани с широким воротом на груди, с белыми пуговками. Из этой же ткани широкие штаны. На ногах — сандалии, сделанные из автомобильных покрышек. Эту обувь можно считать одним из величайших изобретений сражающегося вьетнамского народа. Сандалии удобны и прочны. Если вспомнить, что толстая покрышка рассчитана на тяжесть пятитонного автомобиля, то обувь эту практически можно считать вечной. В таких сандалиях легко переходить вброд реку —

выйдя на другой берег, лишь тряхнешь ногой, чтобы выбросить застрявший под подошвой камушек, и дальше в путь. Резиновые сапожки — обувь миллионеров вьетнамцев в годы войны.

Нам сообщили: нас приглашает президент Демократической Республики Вьетнам товарищ Хо Ши Мин. Его резиденция в полутора километрах от поселка ЦК.

Бывают встречи, запоминающиеся на всю жизнь, оставляющие в сознании и сердце глубокий след. Такой была наша встреча с президентом Хо Ши Мином.

Мы шли по узкой тропинке вдоль крутого обрыва, под которым шумела горная река. Потом углубились в насыщенные пряными испарениями заросли бамбука, пальм и диких бананов и вскоре увидели бамбуковую хижину. С ее крыльца навстречу нам пошел человек в крестьянской одежде. Если бы мы встретили президента на дороге, на рисовом поле, наверняка приняли бы его за простого крестьянина. Знакомое по портретам тонкое лицо, редкая борода, добрая, приветливая улыбка.

— Здравствуйте, товарищи! Как ваше здоровье? — сказал он, радушно протягивая нам руки и приглашая войти в свою хижину. И с первого же момента, когда мы сели за дощатый стол, замахав всерами из пальмового листа, с первых же слов беседы покинуло нас чувство напряжения и волнения, с которыми мы шли сюда.

Здесь, в джунглях Северного Вьетнама, в походах, в напряженном труде провел президент восемь лет — все суровые годы войны. Никакие трудности и невзгоды, опасности и лишения не согнули стойкого революционера, посвятившего жизнь борьбе за свободу своего народа. На восьмом году войны ему было шестьдесят четыре года, но перед нами сидел человек, полный молодой энергии. На его смуглом худощавом лице и высоком лбу не видно морщин. И все время притягивают вас его темно-карие глаза с золотистыми искорками. Иногда на эти добрые усталые глаза ложилась тень грусти. Это когда он говорил о неимоверных страданиях своего народа, о неисчислимых жертвах, о жестокости врага.

Бамбуковое жилище товарища Хо Ши Мина ничем не отличалось от тысячей хижин, в которых живут крестьяне Вьетнама. Разве только то, что в его хижине, которую он с улыбкой называл «дворец президента», было два этажа — нижняя терраса была его рабочим кабинетом, верхняя — жилищем, местом отдыха. На рабочем столе — кипы

свежих газет, знаменитая его пишущая машинка, о которой рассказывали корреспонденты, побывавшие у него в гостях, маленькая портативная «бэби», на которой он сам выстукивает свои статьи, документы, воззвания к народу и армии. Много книг. На втором этаже — его ложе, циновка на полу, выдавший виды, сильно потрепанный чемодан. В углу мы увидели рыжую кошку с тремя котятами.

Мы не удержались от того, чтобы сказать, что нас поражает скромность его жилья.

— А я привык к такой жизни, — сказал он. — К этому приучили меня годы революционной борьбы, подполья. Легок на подъем как партизан. За пять минут соберусь и готов в поход.

Он нас подробно расспросил о пути, который мы проделали.

— Мы позаботились, — сказал он, — о специальном рейсе самолета, чтобы быстрее вас доставить из Пекина во Вьетнам. Как вы переносите наш климат? Очень жарко вам здесь?

— Уже привыкли, товарищ Хо Ши Мин, акклиматизировались, — сказал Женья Мухин, нестово обмахиваясь пальмовым веером, вытирая пот, ручейками стекающий за ворот рубашки.

Хо Ши Мин рассказал нам о только что закончившейся битве в Дьен Бьен Фу, историческом сражении, в котором войска народной армии одержали крупную победу над колонизаторами. Только в плен было взято семнадцать тысяч солдат и офицеров французского экспедиционного корпуса.

Хо Ши Мин говорит о генерале де Кастр, сдавшемся в плен в Дьен Бьен Фу вместе со своим гарнизоном:

— Де Кастри тоже высказывается за мир. Это сейчас, когда он в плену. Раньше он о мире не говорил.

Без гнева говорит Хо Ши Мин о жестоком карателе, сейчас пахотящемся в лагере военнопленных.

Три тысячи крестьянских домов были сожжены и сотни людей, заподозренных в партизанской борьбе, — мужчин, женщин и стариков провинции Ха Донг были расстреляны. Сейчас в плену де Кастри отрицает. Все отрицает, изредка лишь говоря:

— Я солдат, я выполнял приказ.

Мучительно знакомые слова. Мы, советские люди, слышали это «я солдат...» на протяжении четырех лет на Смоленщине, в Сталинграде, в омытых кровью украинских селах, под Волоколамском...

Хо Ши Мин говорит о Женеве. Трудно предсказать сейчас окончательный результат Женевского совещания. Но оно не может быть безрезультатным. Огромны силы мира, поднявшиеся во всем мире.

— Вам будет нелегко работать,— говорит он.— Мы, конечно, сделаем все от нас зависящее, чтобы облегчить вам условия, но, к сожалению, слишком велики трудности военного времени.— Горячо говорит он о большой любви вьетнамцев к Советскому Союзу.— Вы, первые советские люди, приехавшие в нашу страну, будете ощущать эту любовь на каждом шагу. Наш народ очень чувствительный, сентиментальный...

Беседа наша шла на русском языке. Мы спросили:

— Тяжело было вам изучить русский язык?

— Революционер должен владеть языком Ленина,— ответил он.

Мы провели с товарищем Хо Ши Мином почти целый день. Несколько раз он, извинившись, удалялся к своему рабочему столу, чтобы просмотреть срочную почту, разговаривал по телефону. В таких случаях он давал нам кипу свежих газет и иллюстрированных французских журналов или предлагал осмотреть окрестности его «дворца».

— Мы с вами будем встречаться часто, смело просpite все, что вам необходимо для обеспечения вашей работы.

— У нас единственная к вам просьба, товарищ Хо Ши Мин,— сказал я.— Первое и главное, что нам необходимо,— видеть страну. Ночное передвижение по стране не дает этой возможности. Очень просим разрешить нам ездить днем на машинах по дорогам. У нас, у всех троих, достаточный военный опыт, мы всегда вовремя сможем уберечься от воздушного нападения.

Хо Ши Мин немного помолчал и ответил:

— Ни в коем случае, товарищи. Мы потеряли много лучших людей нашей партии от бомбежек, от воздушных атак. Понимаю ваши затруднения, но подвергать вас риску не можем, и, если вам необходимо будет передвигаться днем, придется это делать пешком, на лошадях или на велосипедах. Запрещение дневного движения машин на дорогах является законом в нашей стране.

Взглянув на наши разочарованные лица, он с веселым смехом пожал нам руки и сказал:

— Ну, вот и договорились, все ясно!..

Мы распрощались.

Наутро ливень, продолжавшийся без перерыва целые сутки, прекратился. Но тронулись в путь мы лишь в три часа после обеда на следующий день. К нашей хижине подвели несколько оседланных лошадей. Нас тепло провожали работники ЦК, со многими из которых мы уже успели познакомиться.

Тропинка идет по берегу бурной широкой реки, бегущей вдоль ущелья, стиснутого высокими горами. Часто мы переправляемся через небольшие, впадающие в реку стремительные потоки. Приходится слезать с лошади. Грязь по щиколотку, ноги в резиновых сандалиях скользят по земле, между подошвой ноги и сандалией тоже скользкий слой грязи, сандалии сползают с ноги. На спусках к ручейкам хватаемся за лианы, стволы бамбука, диких бананов.

В сгущающихся сумерках идем между двумя стенами гигантского тростника. Конь Мухина, испугавшись чего-то, рванулся в сторону, и Женя смущенно поднялся из грязи, которая облепила его с ног до головы.

Кхоа бросает через плечо реплику:

— В таких местах водятся тигры!..

О тиграх мы уже слышали много рассказов. Страшных, фантастических, иногда смешных. Впоследствии не раз нам говорили в деревнях: «Если бы вы пришли вчера, увидели бы своими глазами тигра. Он пробежал по деревне, схватил вои около того дома теленка буйвола и скрылся в джунглях...»

Нам рассказали и такой эпизод. В одном уезде шло собрание. Собрание затянулось, и вдруг ночью в хижину прыгнул тигр, схватил докладчика и также молниеносно скрылся. Больше не видели ни тигра, ни докладчика. История печальна, однако, услышав ее, мы высказали мысль, что тигр может явиться неплохим средством для поддержания регламента на собраниях.

Поздно вечером, усталые, измученные, мы добрались до молодежной базы добровольцев, строителей дорог. Еще издали увидели свет костров, слышали песни ребят. На полянке, окруженной со всех сторон джунглями, — несколько длинных навесов из пальмовых листьев. Свет бамбуковых факелов выхватывал из темноты юные, живые лица восторженно встретивших нас ребят.

В семь часов утра отправились дальше.

Большую часть пути совершаем пешком. Так меньше

утомляешься, чем на лошади, когда тебя мотает в неудобном седле. В руках аппарат. Часто останавливаемся, чтобы запечатлеть один из чудесных горных пейзажей Северного Вьетнама.

Главнейший принцип создания документального фильма — зорко смотреть в окружающую жизнь, находить в тысячах явлений именно те, которые подтверждают, подкрепляют творческий замысел. Документальный фильм немислим без репортажных зарисовок, без живых эпизодов, которые могут возникнуть на каждом шагу нашего путешествия. Если видишь что-то интересное в пути — обязательно снимай! Ни в коем случае не поддавайся мысли: «Увидим это еще много раз, успеется...» Поэтому кинокамера не лежит в футляре, она всегда со мной, всегда в руках.

Много снимаю на ходу. Иногда это пейзаж, в котором зелень горной долины, синева далеких горных вершин сочетается с неповторимым нагромождением клубящихся облаков.

Проходим мимо рисового поля, где девушки высаживают ростки молодого риса. Девушки красивы. За их спиной на фоне рисового поля раскинулась живописная пальмовая роща, отраженная, как в зеркале, в воде рисового озера. Много раз будут на нашем пути рисовые поля, девушки и пальмовые рощи! Однако снимаю. На этот раз не просто один кадр, а целый эпизод. Крупными планами — лица девушек, умелые их руки, колеблющиеся под ветерком над золотой рябью озера тонкие зеленые ростки.

Кончается кассета с пленкой, перезаряжаю.

Снят небольшой эпизод — сорок метров. Ушло на это полчаса.

В другом месте снимаю группу крестьян, вспахивающих рисовое поле. Медленно шагает буйвол. Вода доходит ему до живота. Буйвол задумчиво поводит головой, иногда погружая морду до ушей в воду. Его понукает крестьянин, с большим усилием вытаскивая из засасывающей жижи худые ноги. Человек, идущий за буйволом, — скелет, обтянутый коричневой пергаментной кожей. Его одежда рваная, своими серыми клочьями едва покрывающая спину и бедра.

Эти небольшие, казалось бы, снятые во время ходьбы эпизоды заполняют наш рабочий день. После каждой съемки подробно записываю в путевой дневник содержание

эпизода, фамилии снятых людей, метраж пленки. Впоследствии эти путевые зарисовки оживут на экране, станут частичкой будущего фильма.

Иногда делаем короткие привалы. Стелем на траву пятнистое шелковое полотнище трофейного парашюта. На нем появляется янтарная гроздь бананов, ловко орудуя ножом, один из наших спутников-вьетнамцев очищает ананас. Нет более благородного, ароматного и сочного плода на земле! Золотые ломтики ананаса тают во рту, освежают, восстанавливают силы.

Темнеет. Нам осталось до места ночлега не более шести километров. Сегодня у нас, в общем, большой день. Сняли много небольших эпизодов в пути. Заглядываю в блокнот. Сто сорок метров.

Теперь, когда стемнело, аппарат можно уложить в футляр. Съемка на сегодня закончена. Теперь будем идти без остановок до места ночлега.

Все выше и выше поднимается в небе огромная луна, бледным, жемчужным светом освещая долины, зеркала рисовых озер, серебряными нитями проникая сквозь листву в черные провалы густого тропического леса, где порхают электрическими искорками светлячки, где шагаем мы, отмеривая последние «каучуковые» километры оставшегося нам пути.

я говорил
ГЕНЕРАЛУ НАВАРРУ:
«ЕСЛИ ПРОИГРАЕТЕ
ДЬЕН БЬЕН ФУ —
ПРОИГРАЕТЕ ВОЙНУ
В ИНДОКИТАЕ!»

Два дня я снимал в лагере военнопленных. Остается снять генерала де Кастри, находящегося в нескольких километрах отсюда. Командование лагеря сочло нужным получить согласие генерала. Сегодня мне сообщили, что он не возражает, но предварительно хотел бы встретиться со мной, поговорить о предстоящей съемке.

До деревни, где живет де Кастри, мы шли около трех часов. Наступил уже вечер, когда мы расположились в хижине, где произойдет наша встреча с бывшим командиром крепости Дьен Бьен Фу.

Он вошел, высокий, худой, с трубкой в зубах, с бамбуковой тростью. С сотен фотографий, со страниц иллюстрированных французских журналов смотрели на меня эти холодные, цвета морских водорослей глаза. Худая шея, тонкие породистые пальцы аристократа.

На photographиях, доставленных последними самолетами из Дьен Бьен Фу и напечатанных в журналах, де Кастри выглядел плохо: исхудавшее, обросшее густой щетиной

лицо, ввалившиеся глаза. Особенно трагичной была фотография его прощания по радио с женой в последние минуты перед капитуляцией. Рядом было помещено фото истерически рыдающей перед микрофоном дамы, снятое в Ханое.

Ле Хоа представил генералу де Кастри советского кинооператора. Мы поздоровались, он пристально разглядывал меня.

Беседа, я предполагал, будет очень короткой. Однако встреча затянулась. Расстались мы поздно ночью.

Я спросил о его самочувствии. Он быстро и темпераментно заявил, что может лишь выразить глубокую свою благодарность вьетнамским офицерам и солдатам за гуманное отношение к французским пленным.

— Вы имеете возможность переписки с родиной?

— В лагере мы имеем право писать. Лично я после пленения один раз написал в Ханой, но еще не получил ответа от жены. Возможно, она уже вернулась во Францию, и мое письмо последовало за ней.

Я приступил к основному вопросу. Мы работаем над созданием фильма, отражающего события во Вьетнаме. Хочу снять генерала в тех условиях, в которых он находится в лагере.

— Не возражаю.

— Кроме того, просил бы вас дать мне интервью, сказать несколько слов перед микрофоном.

Де Кастри улыбнулся:

— Вы хотите, чтобы я выступил с какой-то декларацией?

— Можете говорить, генерал, что вам будет угодно.

— А все-таки что именно?

— Ну, если уж вы меня спрашиваете об этом, разумеется, не о климате Вьетнама. Желательно услышать ваше мнение о войне и мире в Индокитае.

— Хорошо, я скажу. Мне легко об этом говорить, ибо испытания, выпавшие на мою долю, мое личное участие в войне вполне сформировали мои убеждения о войне и мире. Я скажу.

Было видно, что генералу хочется продолжить беседу. Я сказал, что не только делаю фильм, но и собираюсь написать книгу о своем пребывании в Индокитае.

— После войны, если вам нужны материалы для книги, я многое вам рассказал бы. Я должен быть уверен, что и сегодняшняя наша беседа не будет опубликована

до окончания войны. Можете вы мне это обещать? Я с удовольствием высказал бы вам многое.

— Обещаю вам, генерал! — сказал я.

Так завязался в бамбуковой хижине откровенный разговор с плененным в Дьен Бьен Фу генералом де Кастри. Бушевал тропический ливень. На столе стояла бутылка «дюбоне» и кофейник с крепким кофе.

Я рассказал де Кастри о беглой беседе с французским капитаном. Капитан этот сказал, что Дьен Бьен Фу — вовсе не победа вьетнамцев. Просто результат большой концентрации сил Народной армии против малого гарнизона крепости.

Де Кастри улыбнулся.

— Капитан этот просто безграмотен. Ведь в этом-то и заключается военное искусство! Наполеон тоже умел, сосредоточив большие силы, обрушиваться на малые силы врага. Вьетнамская армия проявила высокую стратегию в этом сражении. Генерал Наварр сконцентрировал в Дьен Бьен Фу значительный военный кулак, но его тактика концентрации была сорвана стратегией генерала Во Нгуэн Зиапа. Зиап заставил Наварра дробить его войска. Военные действия в Луан Брабане и на Дельте вынудили Наварра расчленить свои силы и сорвали его план. Я говорю это не потому, что не уважаю Наварра как полководца. Он в стратегии достаточно силен. Я хорошо знаю его. С солдата второго класса до генерала я был под его командованием. Это он уговорил меня ехать во Вьетнам. Но на этот раз Наварр жестоко ошибся. Мы, чисто военные люди, должны честно сказать: мы проиграли Дьен Бьен Фу.

Мы помолчали. Генерал поднес к губам чашечку кофе, я увидел, что рука его слегка дрожит.

— Не считаете ли вы, генерал, что разгром французского экспедиционного корпуса в Дьен Бьен Фу означает начало цепи поражений в дальнейшем? Не знаменует ли поражение под Дьен Бьен Фу и моральный крах французского экспедиционного корпуса?

— Абсолютно! Я это говорю не только сейчас, а говорил много раз Наварру: «Если вы потеряете Дьен Бьен Фу, то проиграете и войну в Индокитае». Любой итог Дьен Бьен Фу — выигрыш или проигрыш — будет окончательным итогом войны.

— Вы говорите о безнадежности войны, но разве можно сейчас вычеркнуть из истории годы этой войны и все

трудности, перенесенные французским народом? Каждый день войны стоил Франции два миллиарда франков, не так ли?

— Да, если не больше. Как ужасно, что французские юноши гибли во Вьетнаме!

— Миллионы людей во Франции знали подлинное положение в Индокитае? Почему простая французская девушка Раймонда Дьен легла на рельсы, чтобы остановить поезд с оружием, а правительство, политики, министры ничего не знали? Судя по вашим словам, вы тоже стояли за мир в Индокитае?

— Наши политики! Они не хотели и сейчас не хотят ничего знать. За последние пять лет все французы требуют прекращения войны. Раньше многие думали, что это война во имя интересов Франции. Трагическая ошибка! Большинство депутатов парламента тоже ничего не понимали, и только коммунисты, только такие люди, как Раймонда Дьен, знали правду. Я знал многих этих депутатов, ставших позднее министрами. Ведь никто никогда их не учил вьетнамскому вопросу. Только когда тысячи французов погибли в этой войне, когда многие семьи оделись в траур, люди начали задумываться... Сейчас наступил перелом. Я возлагаю большие надежды на нового премьера Мендес Франса.

— У вас сменилось много премьеров, а война продолжалась.

— Да, у нас было много правительств. У них были разные взгляды. Но еще не было такого правительства, у которого хватило бы смелости призвать Францию к самостоятельности. Все наши правительства строили свою политику, оглядываясь на Америку. Франция, по существу, оккупирована американскими войсками, они распоряжаются в нашей стране как у себя дома. Франция получает деньги от американцев, проводит американскую политику, надеясь, что впоследствии не придется расплачиваться. Уже давно кое-кто во Франции боится возвращения экспедиционного корпуса на родину. Это я вам прямо говорю: среди нас есть люди, имеющие большой авторитет в массах.

— Однако экспедиционный корпус до сих пор послушно осуществлял во Вьетнаме политическую линию правящих кругов Франции.

Де Кастри махнул рукой:

— Никакой единой политической линии в Индокитае

не было. Что же касается нас, мы чисто военные люди. Вам это трудно понять, у вас другие взгляды. Из нашей армии за причастность к политике выгоняют... Мы выполняли чисто военные задачи.

— Битва в Дьен Бьен Фу — это военная задача, согласен. А карательные экспедиции? Это, по-моему, политика и, к сожалению, французская армия заппмалась этой политикой во Вьетнаме. Ведь так, генерал?

Де Кастри опять долго разжигал потухшую трубку.

— К сожалению, это так, — сказал он, опустив голову. — Нельзя забывать, что французские войска дорого расплачивались за эти экспедиции, это вы знаете не хуже меня. Много нашей крови пролилось в таких операциях.

— Да, много крови проливается, когда с одной стороны артиллерия, авиация, напалм и танки, а с другой — люди, вооруженные бамбуковыми палками...

— Вам, очевидно, известно положение во Вьетнаме, и вы можете ответить на этот вопрос лучше меня, — быстро и нервно заговорил де Кастри. — Не только бамбуковые палки! На Дельте — партизанские отряды, регулярные войска, полки сорок второй, сорок шестой и пятидесятый. Кто уничтожил на прошлой неделе полтора наших батальона в Хынг Иене? Почему наши батальоны семьсот первый и семьсот второй были полностью истреблены на Дельте? Кто их уничтожил — не вьетнамские войска? А «деревни Сопротивления» на Дельте! Сколько они стоили крови французским солдатам!

— Вы сами говорите, генерал: «Сопротивления». Они сопротивлялись, защищая свои дома, своих детей. Я не знаю номеров полков и батальонов, но мне ясно, что вьетнамцы борются, чтобы жить. И вы очень дальновидны, генерал, говоря о безнадежности этой войны.

— Да, только так и я могу сейчас говорить. И я должен высказать вам, мсье Кармен, что все мною сказанное сегодня — это искренние мысли. Я говорил вполне откровенно. Если в чем-то мы не сошлись из-за различия наших воззрений, то были и вопросы, в которых наши мнения совпадают. Люди с энергией и доброй волей легко сходятся.

— Я надеюсь, мы будем иметь возможность продолжить нашу беседу, — сказал я. — Я также заранее прошу извинить меня, если я говорил, быть может, слишком прямо.

Мы поднялись из-за стола. Ливень стих.

— Если будет случай,— сказал де Кастри,— я хотел бы посетить вашу страну, посмотреть своими глазами на все то, что вы сделали. Незнание Советского Союза — большой пробел в моем жизненном опыте. Мне много хорошего рассказывал о вашей стране генерал Катру, бывший послом в Советском Союзе. Он старый друг, товарищ моего отца по полку, относится ко мне по-отцовски. Катру недавно заявил, что он за мир во Вьетнаме. Он выступил с этим заявлением после того, как из Дьен Бьен Фу я написал ему длинное письмо.

Мы простились, условившись снова встретиться на следующий день.

Утром я снимал генерала де Кастри. Он был чисто выбрит, хорошо одет. Перед съемкой он обратился ко мне с просьбой послать его фотографии жене в Париж.

Несколько кадров я посвятил его прогулке в банановой роще, снял его в беседе с молодым офицером вьетнамской армии. Ему снова было предложено выступить перед микрофоном.

— Пожалуйста, я готов.

Я установил звуковой аппарат. Генерал де Кастри сказал:

— Восемьдесят пять процентов французского народа против войны во Вьетнаме. Весь вьетнамский народ желает прекращения этой войны. Я считаю, что войну нужно немедленно кончить.

Это киноинтервью было включено в фильм «Вьетнам».

Я поблагодарил генерала. Мы стали прощаться.

— Надеюсь,— сказал я,— что ваше искреннее желание об окончании войны осуществится и вы скоро вернетесь к своей семье.

— Я буду рад встретить вас во Франции, принять вас в моем доме,— сказал де Кастри.

РИЖВЧННА

НА ШЕСТЕРЕНКАХ

Размотать снятую пленку и упаковать ее для отправки в Москву — дело непростое. Этим можно заниматься только ночью, когда относительно прохладно. Шестидесятиметровые куски снятой пленки сматываю в большие трехсотметровые рулоны. С конца каждого куска отрезаю небольшой кусочек, откладываю в отдельную коробку. Потом, когда все упакую, проявлю эти пробы, чтобы убедиться все ли в порядке.

За время моего путешествия в течение месяца снял

около трех тысяч метров пленки. На ее перемотку, упаковку в большие коробки, а потом в цинковые ящики уходит несколько часов. Начинаю проявлять пробы. С каким беспокойством ждешь результата. Трудно перечислить все неожиданные неполадки, которые могут привести к съемочному браку. Маленькая, невидимая простым глазом соринка, попавшая в фильмoвый канал, может вызвать царапину на эмульсии. Весь материал с такой царапиной безоговорочно будет забракован ОТК Центральной студии документальных фильмов. Неровный ход камеры — брак. Высокая температура в тропиках может вызвать разложение эмульсии.

Тщательно вглядываюсь в каждый проявленный кадр. Как будто все в порядке. Завтра, когда пробы высохнут, еще раз внимательно исследую их через лупу.

Не меньшее беспокойство доставляет съемочная аппаратура. Разбираю камеру. Несмотря на густую смазку, обнаруживаю ржавчину на шестеренках. Вновь собранную камеру по многу раз прогоняю на разных скоростях, внимательно вслушиваюсь в шум механизма, очищаю от пыли и заново смазываю кремальеры каждого объектива. Бережно уложив камеры в футляры, приступаю к проверке и чистке аккумуляторов. Во всей этой работе мне помогают два моих ассистента. Любознательные, трудолюбивые ребята Тон и Тык. Они мечтают стать операторами. Уже месяц работают они со мной, помогая мне на съемках. Постепенно все глубже приобщаю я их к кинематографической технике. Ребята уже влюбились в профессию оператора-кинохроникера, стараются во-всю.

После возни с пленкой и аппаратурой приступаю к работе над монтажными листами. Монтажный лист оператора является необходимым дополнением к снятому материалу, в нем точнейшее описание снятого материала, фамилия снятых людей, подробный рассказ, который зачастую содержит и наброски будущего дикторского текста.

Душная тропическая ночь. Вьетнамские кинематографисты проявляют к нам трогательное внимание. Где-то в отдалении тарахтит движок, в нашей хижине горит свет. Гудит чудо цивилизации — электрический вентилятор. Он позволяет мне работать в одних трусах, не боясь москитов, их разгоняет идущая от лопастей вентилятора тугая струя воздуха.

Работа над монтажными листами кончена, запечатаны конверты. Однако сон не идет. В эти почные часы думается легче.

Первоначальный план съемок фильма уже не может служить основой дальнейшей работы. Сейчас перед нашими глазами предстала страна. Силы сопротивления, вооруженная борьба вьетнамского народа становятся все более ощутимыми. Встречи с людьми, наблюдения, беседы обогащают нас, дают возможность шире и глубже осмыслить виденное, раскрывают с каждым днем содержание будущего нашего фильма.

штурм форта Оставив на дороге машины, мы только под вечер прибыли с Женей Мухинным на командный пункт полка.

Нас встретил командир легендарного полка Столицы товарищ Нгуен Куок Чи. Он один из пяти человек в стране, удостоенных высокого почетного звания Героя Вьетнама. Низкого роста, очень худой, широкоскулый человек с простым крестьянским лицом, с острым взглядом маленьких, скрытых в тонком разрезе глаз, с упрямыми тонкими губами.

Его лицо с угловатыми мелкими чертами привлекает пронзительной мужественной прямоотой выдавшего виды солдата. Отвага, смелые решения в тяжелую минуту, забота о бойце снискали ему большое уважение далеко за пределами полка.

Полк Столицы организовался в Ханое в 1946 году, он тогда был батальоном, сколоченным из боевых отрядов самообороны города, членов молодежной организации «За спасение родины» и двух рот регулярных войск. Железный костяк батальона, третья его часть, были ханойские рабочие.

Во всех сражениях, решавших судьбу республики, участвовал легендарный полк Столицы. На изрешеченном пулями и осколками боевом знамени, врученном полку рабочими организациями Вьетнама, сверкают пять боевых орденов.

Нгуен Куок Чи посвятил нас в детали предстоящей операции. Французские войска в целях концентрации начали отход с большей территории провинции. Войска Народной армии отрезают им пути отступления. К западу от той местности, где мы сейчас находимся, большая водная преграда — приток Красной реки. Завтра с рассветом полк форсирует реку, переправит на тот берег глав-

ные силы и будет наступать на крупный французский форт.

Задолго до рассвета мы пошли в сторону реки. Воинские части еще с вечера были подтянуты к исходным рубежам. Однако вместе с нами по тропинкам еще продвигаются в сторону реки небольшие группы солдат. Умение маскироваться на любой местности доведено у вьетнамцев до совершенства. Дважды в этот предрассветный час появлялись в воздухе самолеты. Две пары истребителей медленно кружились на небольшой высоте над берегами реки. В эти минуты мы прижимались к земле, неподвижно лежали в траве. Когда самолеты исчезли из поля зрения, продолжали свой путь.

Мне хорошо знакомо чувство напряженного ожидания первого артиллерийского выстрела, который, едва успев прозвучать, превращается в сплошной гром оружейных залпов. Помню первый выстрел на берегу Вислы, рассвет на плацдарме за Одером. Там первый залп подхватывали тысячи стволов. Сейчас будут бить всего лишь несколько орудий, но секунды ожидания такие же настоящие, томительные...

Пушки ударили разом. Вместе с тяжелыми орудиями вступили 75-миллиметровые на берегу реки. Наши кинокамеры направлены на противоположный берег, туда, где около укреплений противника возникают огненные вспышки и поднимаются густые клубы разрывов.

Река ожила. Десятки легких сампанов — рыбацких лодок — устремились к тому берегу. Они мчались по диагонали реки, их быстро несло течением. На воде выросли пенные столбы — тяжелые орудия форта бьют по десанту. Теперь весь свой огонь противник сосредоточил на реке, по которой продолжали плыть к тому берегу легкие сампаны. Это не обычный десант — на каждой лодке три-четыре автоматчика, по гребцы и кормчие на этих лодках крестьяне. Среди них много девушек. В течение нескольких дней рыбаки деревень, расположенных выше и ниже по течению, стягивали свои лодки к месту, где командование наметило форсирование реки. Легкие сампаны, сделанные из бамбука, пропитанные смолистым соком папайи, были схоронены в бамбуковых и банановых зарослях. Сейчас они мчатся по реке к тому берегу.

Над головой посвистывают излетные струи пулеметных очередей, снаряды из форта продолжают ложиться на

нашем берегу. Дважды появляются истребители, прочесывающие прибрежные заросли огнем пушек и пулеметов, сбрасывая мелкие бомбы.

Переправляемся на тот берег. В заводи реки медленно вертится, ударяясь о берег, бамбуковый солдатский шлем, обтянутый брезентом и сетками, в которые воткнуты листья бамбука. Несколько трупов вьетнамских солдат лежат на пространстве, отделяющем берег реки от разбитых дотов. Один лежит головой к реке, опустив протянутые руки в воду, окунув в реку прямой черный чуб.

Выбравшись на берег, мы карабкаемся через густые заросли на небольшую высотку. С ее вершины отличный обзор широкой равнины, в центре которой на рыжем холме, обнесенный каменной стеной, стоит французский форт. Отчетливо виден развевающийся на угловой башне трехцветный флаг. Сейчас вся сила огня вьетнамских батарей — тяжелых и легких — обрушивается на форт. Черные грибы разрывов поднимаются на крутых склонах высоты у стен форта.

Башня с трепещущим на ней трехцветным флагом вдруг обволакивается густыми клубами коричневого дыма, от которого летят во все стороны черные точки и запыляемые. Снаряд, очевидно, угодил в склад боеприпасов. Когда дым рассеивается, в угловом бункере можно разглядеть широкий пролом. Видно, как цепи устремляются к этому пролому.

— Они сдаются! — говорит офицер. Над одной из уцелевших башен форта видим белую точку — белый флажок. Гарнизон форта капитулировал.

Нас, наконец, пускают во взятый форт.

Через амбразуру смотрим на расстилающуюся до горизонта зеленую безмолвную долину. Незавидной была жизнь колонизаторов, хорошившихся в темноте бетонных бункеров! Смертельно боялись они просторов солнечной страны, боялись ненавидящего их народа. Только через зловещую щель бетонной амбразуры могли они смотреть на страну. Бессмысленной была жестокая затея покорения страны такими фортами. Здесь, внутри форта, ощутима мощь его бетонных стен, но какими крохотными и беспомощными точками выглядели эти форты, затерявшиеся в бескрайних просторах непокоренной страны. За оградой форта большое кладбище — больше сотни белых крестов с надписью: «Morte pour la France» («Умер за Францию»).

На рассвете меня разбудил Ван.

— Вставайте, вставайте!

Он сдернул с меня москитную сетку, тянул за руку, толкал в плечо. Я вскочил.

— Телеграмма из Женевы, — сказал он. — Мир!

Мир пришел на землю Вьетнама. Мир пришел на выжженную папалмом, истерзанную бомбами землю, на которой люди веками трудились, боролись за свободу, любили песни и белых анстов, парящих в синем небе над зеркалами рисовых озер.

В это счастливое утро, в эту минуту мне хотелось увидеть и обнять всех моих вьетнамских друзей, тех, с которыми встречался я за эти несколько месяцев в джунглях — писателей, инженеров, строителей мостов, носильщиков, солдат. Вернутся из джунглей в родной Ханой поэты и студенты институтов, рабочие лесных заводов.

22 июля состоялось последнее в джунглях заседание правительства Демократической Республики Вьетнам. Советским и вьетнамским кинооператорам разрешено было заснять это историческое заседание Совета министров, посвященное вопросу о прекращении огня в Индокитае.

Решение Женевской конференции о прекращении огня вступит в силу через шесть дней. Пока еще летают вражеские самолеты над вьетнамской территорией. Поэтому местом заседания правительства был глубокий котлован в горе около входа в бомбоубежище.

Министерства находятся в разных районах страны. Но как же четко действует правительственный аппарат связи, если несмотря на расстояния и отсутствие дорог в любой день все члены правительства могут собраться в назначенный час!

Без четверти двенадцать на заседание прибыл президент Хо Ши Мин. Проникновенно звучала речь президента, читавшего текст послания вьетнамскому народу и армии.

В торжественной тишине слушали члены правительства обращение к народу. Стоя, единогласно утвердили они исторический документ.

После заседания президент Хо Ши Мин возвращался в свою резиденцию пешком. Я снял его, идущего по рисовым полям. Снял, как он поднимается по отвесной горной тропе, переходит вброд маленькие речки.

Снимая эти кадры, я понимал, что, очевидно, никогда уже больше такой возможности не представится. Считанные часы остались до того момента, когда копчится «период джунглей». Вот так с посохом в руке прошагал неутомимый в свои шестьдесят четыре года президент тысячи километров по родной стране. Кадры, которые я сейчас снимаю в пути, — уже история.

Мы подошли к последнему лесному жилищу Хо Ши Мина, когда солнце начинало клониться к горизонту. Придя домой, он сел за свой письменный стол, где его ожидала гора поздравительных телеграмм со всех концов земного шара. Прочтя телеграммы, он пододвинул свою пишущую машинку, заложил лист бумаги, начал печатать.

Я кончил съемку. Хо Ши Мин, улыбнувшись, сказал мне:

— Вы просили разрешить вам ездить днем по дорогам Вьетнама. Как видите, мы сделали все, чтобы предоставить вам эту возможность. Езжайте теперь по любой дороге, в любое время дня и ночи.

По Женевскому соглашению французские войска 9 октября полностью отступят из района Ханоя. Смешанная комиссия из представителей командования Народной армии и вооруженных сил французского союза вырабатывает план приема Ханоя.

Мы, советские кинооператоры, направили в смешанную комиссию заявление с просьбой разрешить нам прибыть в Ханой до вступления туда войск Народной армии.

Вечером 7 октября, наконец, нам сообщили, что мы — трое советских кинооператоров и наши вьетнамские коллеги аккредитованы при Интернациональной контрольной комиссии, которая ходатайствует перед французскими военными властями о допуске нас в Ханой. Каждому из нас вручили документ Интернациональной комиссии. Разрешение французского военного командования на въезд в Ханой получено. Белый листок «Лессе-Пассе», подписанный полковником де Винтером — командующим оперативной зоной Ханоя, разрешает пересечь линию, разделяющую войска обеих сторон и свободно передвигаться по Хапою в обстановке объявленного французами в день 9 октября военного положения.

Еще до восхода солнца мы покидаем крестьянский дом, в котором провели эти последние перед Ханоем часы.

Пошли. Выходим на шоссе, где нас ждут машины.

Точно в семь утра подкатывает «джип» с двумя флажками — вьетнамским и французским. Из него выходит молодой вьетнамский офицер и французский капитан в красной с золотыми шнурами кепи. С веселой французской приветливостью он здоровается с нами.

Въезжаем в Ханой под проливным дождем. Проезжаем по окраинам. По улицам с сумасшедшей скоростью мчатся «джипы», громяхают колонны грузовиков, проходят патрули французских солдат. Омываемые ливнем широкие проспекты центра города почти безлюдны.

У отеля «Спленид» под навесом двое французских часовых. Входим в тихий пустынный вестибюль. В углу около стойки бара, развалясь в мягких креслах, пьют пиво несколько канадских офицеров. В двух крупных гостиницах Ханоя «Метрополь» и «Спленид» расположились сотрудники Интернациональной контрольной комиссии, иностранные журналисты. Проходим в отведенные нам на втором этаже комнаты.

В большом помере огромная кровать с москитным пологом, письменный стол с настольной лампой. Подхожу к выключателю, повертываю его, загорается электрический свет. Осторожно ступая по паркету, мы с Мухиным идем в ванную. Словно боясь ожога, Женя поворачивает кран. Из крана идет вода! Смеясь, взглядываем друг на друга. Этого мы не видали уже сколько месяцев!..

9 октября! Этот день войдет в историю вьетнамского народа как один из самых светлых дней. Колонизаторы, на протяжении восьмидесяти лет считавшие столицу Вьетнама своей землей, в этот день ушли.

Всю ночь мы не спали, обсуждая в мельчайших деталях план съемок освобождения столицы.

6 часов 30 минут утра. По улице Зуй Тан, идущей от центра города на юг, доезжаем до пункта встречи офицеров обеих сторон. Посреди улицы машина с двумя флажками: вьетнамским и французским. Офицеры обсуждают над картой последние детали передачи большой зоны города.

Оба офицера смотрят на часы. 6 часов 55 минут. Командир броневой французской колонны говорит что-то в микрофон радики. Подняв руку в кожаной перчатке с раструбом, он подает команду своей колонне бронетранспортеров. Зарывав моторами, машины трогаются и, набирая скорость, устремляются к северу по безлюдным улицам.

Через несколько минут, ровно в 7 часов утра машины

с вьетнамской пехотой пересекают перекресток и трогаются за бронетранспортерами. Вслед за машинами по середине мостовой идут цепи вьетнамских солдат.

И здесь происходит чудо: безлюдные, вымершие улицы оживают! Еще не утих шум удаляющихся бронетранспортеров, как тысячи алых флагов, словно кто-то единым движением рассыпал их, взвиваются в окнах, дверях, на крышах домов. И сразу становится тесно на улицах от ликующих, кричащих, машущих руками, поднимающих над головами детей, аплодирующих, плачущих от радости, поющих, смеющихся людей. С трудом пробивается через эту толпу машина с двумя флажками, с улыбающимся вьетнамским офицером и уныло склонившим голову в красном кепи с золотыми шнурами пожилым французским майором. А могучая волна ликования тысяч людей катится дальше и дальше к центру города вслед за удаляющимися бронетранспортерами.

В 8 часов утра, перейдя границу следующей зоны, вьетнамские караулы становятся на охрану зданий индокитайского банка, главного почтамта, резиденции губернатора Индокитая, занимают весь центральный район города и, перейдя через улицу Америки и улицу Британии, выходят к озеру Возвращенного меча.

11 часов 30 минут. Вьетнамские караулы занимают электрическую станцию, водопровод, вступают в древнюю Цитадель.

16 часов 30 минут. Вьетнамские солдаты переходят рубеж последней, примыкающей к мосту зоны и вступают на мост.

Вплотную, на расстоянии шага от спины последнего французского солдата, покидающего столицу Вьетнама, бойцы Народной армии проходят по мосту и становятся в караул четвертого его пролета.

В эту минуту мы сняли символический исторический кадр: на первом плане стоит на мосту вьетнамский часовой, а там дальше, не оборачиваясь, слегка сутулясь, уходят три французских солдата. Последние французские солдаты покинули Хапой. Покинули навсегда!

передайте
привет москве!

Наступал день нашего отъезда. Восемь месяцев провели мы в сражающемся Вьетнаме. Снято около сорока тысяч метров пленки. Запечатлены эпизоды героизма и доблести народа-бойца, народа-труженика. Нелегко нам будет расставаться с друзьями!

Покидая Вьетнам, мы направились для прощальной встречи с товарищем Хо Ши Мином в бывшую резиденцию губернатора Индокитая в Ханое. Машина почему-то миновала колонаду дворца и помчалась по аллеям в глубь парка. Куда едем? Не ошибся ли шофер?..

В тепистой глубине парка маленький домик. Не то сторожка, не то жилище садовника. И снова, как тогда, в джунглях, в бамбуковом «дворце президента», вышел нам навстречу товарищ Хо Ши Мин в той же одежде крестьянина, в резиновых из автомобильных покрышек сандалиях, с той же доброй улыбкой. Только теперь на его плечи накинута ватная солдатская куртка. Это было в декабре...

И словно не прошумели над нами месяцы войны, проведенные во Вьетнаме. Так же остроумен и радушен гостеприимный хозяин садовничьей сторожки, так же лучисты добрые его глаза, и снова на эти глаза набегает тень грусти, когда говорит президент о страданиях миллионов людей там, южнее 17-й параллели, где царит жестокий террор, где переполнены застенки, где враги человечества, империалисты, делают все, чтобы нарушить завоеванный мир.

— Борьба не окончена,— говорит он.— На нас с надеждой смотрят люди многострадального юга Вьетнама. Они верят в свое правительство. Они знают, что у нас миллионы друзей во всем мире — во Франции, в Советском Союзе. Вьетнамский народ уверен в своей окончательной победе, уверен в том, что мы завоюем единство нашей родины.

— Передайте привет Москве,— сказал президент Хо Ши Мин, стоя на пороге своего маленького домика в тени листвы дворцового парка.

Восемь месяцев во Вьетнаме! Пролетели почти незаметно трудные дни войны, радостные дни мира. В минуты прощания хотелось верить, что снова вернусь, увижу Вьетнам счастливым, единым, не разделенным никакими параллелями.

Думалось ли мне тогда, что мир пришел на землю Вьетнама не надолго, что вскоре Соединенные Штаты вторгнутся в эту страну своей военной мощью, обрушат смерть на города и села Вьетнама, снова окрасятся кровью его героических сынов воды Меконга и поля Дельты!..

СВОБОДНАЯ
ТЕРРИТОРИЯ АМЕРИКИ

Мы прильнули к иллюминаторам. Постепенно снижаясь, самолет шел вдоль белой линии берегового при-

боя, разделяющей синеву моря и яркую зелень острова.

Где-то здесь, у этих отмелей, около пятисот лет назад загремели якоря кораблей Христофора Колумба. В тот день Колумб написал в своем дневнике:

«Это самая прекрасная земля, которую видели глаза человеческие».

Я вспомнил слова Колумба, глядя с самолета на пальмовые рощи и зеленые луга, на серебристые извилины рек, живописные склоны холмов. Так вот она, Куба! Остров Свободы!

А вот и Гавана. Красавица столица Кубы полукругом охватила лазурную бухту Мексиканского залива. Через радужные, похожие на крыло летящей стрекозы круги винтов к нам быстро приближалась земля. Промелькнул какой-то домик, полянка со стадом коров, пальмы; колеса воздушного корабля коснулись бетонной полосы: два-три мягких толчка — и самолет, развернувшись, покати к зданию аэропорта.

Открылся люк, и в самолет хлынула волна горячего воздуха, насыщенного тропическими ароматами. Уже издали я увидел на фасаде аэровокзала большое полотнище:

«Куба — свободная территория Америки».

Без потерь мы довели наш драгоценный груз — камеры, пленку, магнитофоны, осветительную аппаратуру. Наша съемочная группа — оператор Василий Киселев, звукооператор Виктор Котов, журналист Генрих Боровик.

Машины въехали в Гавану. Я смотрел по сторонам, пристально вглядываясь в черты города. Так смотришь в лицо человека, о котором много слышал и вот впервые встретился с ним.

Флаги на каждом здании. Через улицу протянуты от дома к дому цветные полотнища с лозунгами. Бросаются в глаза слова: «Родина или смерть!»

Среди шумной уличной толпы много людей в форме народной милиции — голубая гимнастерка заправлена в брюки защитного цвета. «Верде оливо» («зеленая маслина») — так называют в народе военную форму. Бойцы пародной милиции вооружены винтовками, автоматами

или пистолетами, подвешенными к поясу, на котором укреплены патроны. Большинство из них молоды. Всюду веселый говор, крики газетчиков, возгласы прохожих, которые, стараясь перекрыть уличный шум, говорят друг с другом, стоя на противоположных тротуарах, свистки полицейских, регулирующих движение, гудки автомобилей, задорный хохот темпокожих сеньорит, улыбки, цветы. Непередаваемый колорит, который отличает Гавану от любого города мира. Это — Куба!

Давно и много раз проверено: первые впечатления — самые острые. А поэтому кадры, снятые в первые дни, — самые яркие, интересные. Пройдет время, мы привыкнем к Гаване. И то, что сейчас увлекает повизной, станет обычным. Можно будет пройти мимо и не снять.

Самое увлекательное для оператора кинохроники — окунуться с камерой в гущу жизни нового, еще малознакомого города. Я снимаю на шумном перекрестке газетчика, продавца апельсинов. Торговец золотыми рыбками не подозревает, что оператор запечатлел его разговор с покупателем. А теперь можно подойти поближе, снять крупным планом пронизанную солнечным лучом стеклянную банку, в которой плавают диковинные тропические рыбки.

Иду дальше. Снимаю на перекрестке полицейского-регулирущика. Он поднял руку — машины замерли, волна пешеходов спешит пересечь улицы. Снимаю пешеходов. Среди них «выхватываю» длиннофокусным объективом бородача с пистолетом на боку, веселую девчонку с книгой под мышкой. Главное в этой «охоте» — оператор должен быть невидимкой. Город бурлит вокруг него, люди не обращают внимания на оператора. Он наблюдает жизнь, время от времени, как спайнер, мгновенно вскапывает к глазу камеру, нажимает контакт мотора. Кадр запечатлен! А из этих кадров складывается облик города, его жителей.

Рядом Виктор Котов. Через плечо у него легкий репортажный магнитофон. Микрофон в руках. Он записывает на пленку симфонию городских шумов. Шумы автомобилей, горячий спор посетителей бара, свисток регулировщика, стук каблучков стройной сеньориты-мулатки, веселый визг девчонок, шумный говор толпы.

Вдруг останавливается движение — по улице проходит отряд вооруженной молодежи. Идут четким шагом,

впереди знамя, оркестр. Автоматы через плечо. В отряде — юноши, девушки. Все это снимаем в районе, который называют старой Гаваной. Эта часть города расположена в стороне от малекона, в отдалении от просторных магистралей, небоскребов, бульваров.

В день нашего приезда радио сообщило, что в горах Эскамбрай бойцы народной милиции обнаружили и разгромили банду американских наемников. На кубинский берег бандиты высадились с американского корабля. Их выследили кубинские крестьяне-ополченцы. Несколько бандитов были убиты в бою, другие сдались в плен. Среди пойманных два американца. Портреты их напечатаны на первых страницах вечерних газет.

Народ Кубы вступает в решающий этап революционной борьбы. Только бы нам не отстать от событий. Снимать, снимать, снимать! Куба пылает революционным огнем.

«Пылающий остров» — так назовем мы наш фильм о героической Кубе.

ДЕКРЕТ
РЕВОЛЮЦИОННОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА

Вместе с нашими коллегами — кубинскими кинооператорами — мы приехали снимать заседание Совета министров революционной Кубы.

Откровенно говоря, я волновался перед этой съемкой боевого штаба революционной Кубы. Представлялась возможность встретиться с Фиделем, побеседовать с ним.

Мы прибыли с аппаратурой в президентский дворец. Тот самый дворец, на который 13 марта 1953 года группа революционеров совершила нападение. Пронесли свою аппаратуру по широкой лестнице. По мраморным ступенькам этой лестницы, ведя огонь из автоматов, повстанцы бежали к кабинету Батисты, надеясь захватить диктатора.

Первый человек, с которым мы столкнулись в коридоре второго этажа, был... Фидель. Он шел нам навстречу широким размашистым шагом. Увидев нас, остановился и склонил набок голову, словно спрашивая: «Это еще кто такие?» Кубинский оператор Рамос с ним поздоровался и сказал:

— Познакомься, Фидель, это наши гости, советские операторы.

— О-о-о, мучо густо! (Очень рад!) — произнес Фидель и крепко пожал нам руки. — У нас сейчас начнется прием, — сказал он, — в честь президента Гвинеи. Встре-

тимся с вами после приема.— Кивнув нам головой, шагнул в кабину лифта.

Сложив съёмочную и осветительную аппаратуру, мы расположились на роскошных диванах на галерее.

Министры начали собираться на заседание, когда было уже около полуночи.

Вскоре из комнаты, где заседал Совет министров, вышел адъютант Фиделя и позвал нас.

Мы включили осветительные приборы и приступили к съёмке. Министры один за другим подписывали важный правительственный документ. Последними его подписывали премьер-министр и президент республики. Фидель внимательно перечитал заключительные строки декрета и, порывисто склонившись, поставил свою подпись. Когда декрет подписал президент Дортикос, Фидель поднялся во весь свой огромный рост и направился к нам. Я обратился к нему со словами:

— Анастас Иванович Микоян перед нашим отъездом на Кубу поручил передать вам сердечный привет.

— Большое спасибо,— сказал Фидель,— мы очень подружились с Микояном, когда он был на Кубе. Наш народ принимал его как большого друга.

— Товарищ Микоян, напутствуя нас, выразил надежду, что советские кинематографисты создадут хороший фильм о Кубе,— сказал я.— Каким вы бы хотели видеть фильм о вашей стране?

— К сожалению, в искусстве кино я ничего не понимаю,— сказал Фидель,— поэтому воздержусь от советов. Что касается революции, мы в этом деле кое-что смыслим. А вот кино...— Он смущенно потер свою бороду.

— Вот мы и хотим создать фильм о вашей революции. Мы не видовую картину собираемся снимать,— заметил я. Фидель одобительно кивнул головой.

— О фильме мы еще побеседуем. Встретимся не раз. Вот сегодня, например, вы сняли важное революционное событие: исторический декрет о Городской реформе. Наш народ неизмеримо страдал от жадности домовладельцев. По повому декрету тысячи бедных городских жителей станут хозяевами квартир, в которых они живут... Ты сколько платишь за свою квартиру? — спросил он вдруг кубинского кинооператора.— Сколько времени вы предполагаете пробыть на Кубе?

— Месяца три, если понадобится, и больше.

— За этот срок, очевидно, можно снять фильм. Пока

скажу одно: спимайте подлинную жизнь. Ничего не приукрашивайте. У нас много трудностей, революция никогда легко не дается. Пусть фильм будет правдивым.

Фидель закурил огромную сигару и, держа ее между указательным и средним пальцами, продолжал беседу. Он ни на секунду не может оставаться в состоянии покоя. Говорит низким голосом с теплой хрипотцой. Склоняя лицо к собеседнику, Фидель устремляет на него пытливый, с едва заметной косинкой взгляд, порывисто кладет на плечо руку...

Фидель взглянул на часы.

— Ого, четыре часа утра! А ведь мне еще надо работать! Завтра, кстати, произойдут события, которые советую спать. Наши враги опять поднимут вой о злодеяниях бородачей,— засмеялся он.

Фидель имел в виду новый, только что подписанный декрет революционного правительства Кубы. Декрет об окончательной национализации всех банков и крупнейших предприятий, принадлежащих монополиям США и связанным с ними кубинским капиталистам.

Уже на рассвете радио передало сообщение о новом декрете. «Выполняем обещания «Монкада»!» — прочел я на первой странице газеты. Газета напоминала своим читателям, что Фидель, штурмуя 26 июля крепость «Монкада», обещал в случае победы вернуть кубинскому народу все, что награбили империалисты-янки. В газетах указы были названия и адреса заводов и банков, которые сегодня становятся собственностью народа.

Мы еще вернемся в столицу Кубы.
остров людей, не умеющих плавать
Сейчас отправляемся в большую поездку по стране. Прежде всего в провинцию Ориенте. Две партии снятой пленки уже доставлены в Москву. Студия сообщила, что проявленный материал отличного качества. Технического брака нет.

Лихо надвинув на нос свою пачангу, наш шофер Рене вел по широкому шоссе машину со скоростью сто тридцать километров в час.

Местами деревья-великаны, растущие по обочинам, склоняли над дорогой густую листву. Машина мчалась несколько минут словно через зеленый тоннель, усыпанный золотыми солнечными зайчиками, то, выскочив из зеленого полумрака, неслась по долине, пролетала по мосту над серебристой извилистой реки, через лес королевских пальм, через банановую рощу.

Иногда дорога шла рядом с морем. Мы проезжали вдоль золотистых пляжей, протянувшихся на километры. Нас очень удивляло, что пляжи были почти пусты.

— Кубинцы не купаются в море? — спросили мы Рене.

— Море не принадлежало кубинцам, — ответил он, сердито отшвырнув огрызок сигары. — Почти все земли, примыкающие к берегу моря, принадлежали кубинским богачам или американцам. Они были обнесены колючей проволокой. А эти пляжи, — он кивнул головой в сторону моря, — могли посещать только богатые люди. Плата за вход была очень велика. Вот и получалось, что шестьдесят процентов кубинцев не могли выкупаться в море и попросту не умели плавать... Вы удивлены, компаньерос? Да, жители острова не умели плавать... Любовались морем только издали.

— А сейчас? Почему пляжи пусты?

— Сейчас другое дело, — улыбнулся Рене. — Теперь пляжи принадлежат народу. Но не забывайте, что сегодня октябрь месяц. Зима!

— Ну какая же зима? Вы, кубинцы, ведь можете купаться круглый год.

— Это вы, москвичи, так рассуждаете. Нужно сойти с ума, чтобы зимой залезть в море, когда температура воды не выше двадцати шести градусов...

мэр города Был уже вечер, когда наша машина въехала в город Сантьяго де Куба.

Оставив машину в переулке, мы смешались с веселой толпой в центральном городском сквере. Рене пискнул: «Кафе!» — и, кивнув нам головой, что означало: «Следуйте за мной!» — направился через шумный сквер к ярко освещенному бару.

Всегда буду вспоминать чудесные вечера в маленьких городках на Кубе. Легкий бриз несет с океана освежающую прохладу, такую желанную после дневного зноя. В городе зажигаются огни, мелькают веселые лица, звенит, стрекочет неутихающий говор. Откуда-то доносятся переборы гитары, грудной женский голос, поющий песню, а из дверей открытых баров — ритмы румбы.

Прогуливающимся горожанам тесно на тротуарах, они заполняют мостовую. В толпе с трудом пробираются и отчаянно сигналият машины. А иногда слышится цоканье копыт, и в уличной толпе появляется всадник. На нем широкополое сомбреро, у пояса в запыленной кобуре огромный

старипный кольт и мачете в поясах из сыромятной кожи. К седлу прикреплено лассо. Всадник привязывает копы к телеграфному столбу и, звеня шпорами, заходит в освещенный бар, чтобы выпить стаканчик ледяного «сервеса» — пива, узнать последние новости и, конечно, пропустить неизменную чашечку кофе.

Выпив кофе, потолкавшись в толпе, мы сели на освободившуюся скамейку в сквере, чтобы обсудить дальнейшие действия. Прежде всего необходимо устроиться на почлег, отдохнуть после большого пути, поесть. Рене не участвует в нашем совещании. Он прилип к стойке кофейного бара, за которой ослепительной красоты сеньорита ловко орудует чашечками, рычагами кофейного пресса. За эти короткие минуты он уже успел сообщить сеньорите Кларе, что привез в Сантьяго советских кинооператоров и что отныне главной задачей нашей киноэкспедиции будет заснять именно такой кофейный бар, именно такую очаровательную сеньориту, если, разумеется, она ничего не будет иметь против. Судя по нежным взглядам, которые кофейная «королева» кидала на Рене, сдвинувшего набекрень свою пачангу и дымящего гигантской сигарой, она была готова хоть сию минуту приступить к съемкам.

Съемки начнем с завтрашнего утра. Ориенте! Колыбель кубинской революции! Здесь, в столице Ориенте, революционеры штурмовали и крепость «Монкада». К берегам Ориенте в туманное утро подошла легендарная шхуна «Гранма». В горах Сьерра-Маэстра отряд Фиделя, насчитывавший двенадцать человек, превратился в победоносную армию кубинской революции!

Город Сантьяго был надежным тылом Повстанческой армии. Здесь непрерывно действовало революционное подполье. Действовало смело, дерзко, не считаясь с опасностями, жертвами. Действовало вопреки жестокому террору Батисты. Отсюда шло снабжение отрядов боеприпасами, медикаментами, оружием. Здесь отважные юноши и девушки бросали вызов режиму тирании, сколачивали революционный фронт, налаживали связь с подпольем Гаваны, Санта-Клары. Готовились к вооруженному восстанию, пополняли ряды сражающихся в горах повстанцев, выпускали боевые листовки...

Наш спутник капитан Агильеро распрощался с нами около полуночи. Провожая его, я вышел на высокий холм, чтобы посмотреть на залитый огнями Сантьяго де Куба —

город, когда-то бывший оплотом борьбы против испанских конкистадоров, против американских завоевателей, гордый город — колыбель кубинской революции.

— Что такое кубинская революция? — спросил как-то Фиделя Кастро один иностранный журналист.

Фидель, не задумываясь, ответил:

— Кубинская революция — это революция обездоленных для обездоленных.

Подтверждение этих слов мы видим на каждом шагу. Видим и поражаемся, как много за короткий срок успела сделать для вчерашних обездоленных революция.

Едешь по стране, любишься. Вдоль дороги новые поселки — чистые, светлые домики, окруженные цветниками. Новые здания школ, около которых резвятся на спортивных площадках счастливые дети. И каждый раз, поражаясь, мы спрашиваем у наших спутников-кубинцев: «Когда это построено?» Неизменно в ответ гордое: «Построено после революции!»

Капитан Агильеро предложил нам познакомиться с мэром города Сантьяго де Куба. В старинном здании мэрии мы поднялись по мраморной лестнице, прошли через несколько просторных зал, стены которых отделаны темным дубом. В одной из комнат мы увидели группу людей. Они горячо что-то обсуждали. Большинство молодежи, несколько пожилых людей в рабочих блузах.

Похожая на пионервожатую, стриженная под мальчишку девушка поздоровалась с нами; вместе с ней подошли и остальные.

— Компаньерос советикос (советские товарищи), — представил нас Агильеро.

Это вызвало взрыв приветствий и рукопожатий. Девушку зовут Электта Ферпандес, она была одним из руководителей боевого подполья в провинции Орпенте — это успел нам шепнуть Агильеро, когда мы шли за ней в соседнюю комнату.

Массивные кресла, тяжелые шелковые занавеси, письменный стол с несколькими телефонами. Девушка, очевидно, привела нас в кабинет мэра. Она предложила нам сесть и сама присела на краешек кожаного дивана. Завязалась беседа. Изредка звонил телефон, Электта, извинившись, брала трубку. В эти минуты мы поглядывали на тяжелую дверь и на часы — мэр опаздывал, у него, несомненно, масса дел и без нас. А беседа с девушкой нас

увлекла. Она рассказывала о строительстве новых школ и поселков, жаловалась на нехватку книг и учебных пособий, говорила о новых отрядах народной милиции, о ликвидации безработицы.

Лицо Электы становилось строгим, щеки бледнели, когда она вспоминала о трудных годах подполья. Много людей погибло в Сантьяго! Палачи Батисты хватали каждого заподозренного в сочувствии революции.

— Нужно как можно скорее покончить с трущобами! Снимите обязательно трущобы Мапсапа де Гомес. Пусть увидят люди это страшное место! Каждому станет ясно, почему совершилась наша революция. Уже почти треть обитателей трущоб переселилась в новые дома. Но ведь сразу всего не сделаешь...

Мы стали прощаться. Я попросил Электу передать наш привет мэру города. Он по занятости не смог сегодня с нами встретиться. Мы понимаем, у него столько дел... Девушка удивленно подняла брови и вдруг звонко рассмеялась. Агильеро вскочил и, хлопнув себя по лбу, смущенно пробормотал:

— Неужели я забыл представить вам, товарищи, мэра города Сантьяго! — Он обнял меня за плечо и подвел к хохочущей девушке.

Я не верил своим глазам, мои спутники были не меньше меня поражены и растеряны.

— Все-таки сколько же вам лет, Электа? — спросил я.

— Двадцать три года. По-вашему, мало или много? — смеясь, ответил мэр, откидывая со лба прядь отливающих шелком волос.

Вот она, юная кубинская революция!

Мы распрощались и вышли на улицу. Был полдень. В этот час обеденного перерыва тротуары заполнились людьми, спешащими закусить. Кто домой, кто в ближайший бар.

Седой газетчик на перекрестке кричал:

— Еще одно заявление Вашингтона! Янки грозят интервенцией на Кубе...

кубинские ковбои

За гладью равнины голубели вершины Сьерра-Маэстры. Легендарные горы — символ кубинской революции. Мне хотелось скорее добраться до горных ущелий, пройти тропинками и сесть у костра там, где холодными ночами повстанцы обдумывали боевые операции. Мы побываем там. Обязательно побываем.

А сейчас машины свернули с асфальтового шоссе и, вздымая шлейфы пыли, понеслись по степи.

Мы уже находились во владениях фермы Сан-Франциско. Стада коров возвращались с пастбищ. Солнце прикоснулось к далеким вершинам гор, и облачка пыли, поднимавшиеся из-под коровьих копыт, стали розового цвета. Тут мы впервые увидели мальчиков, о которых говорил наш знакомый — майор Вельехо. Их называют ва-керос.

В широченных сомбреро, с пистолетами у пояса, верхом на красавцах скакунах парни гнали стада к ферме. Из окна автомобиля мы любовались высоким искусством одного из них. Норовистая телка вдруг помчалась в степь. За ней мгновенно устремился всадник. Пришпоривая коня, парень скакал паперерез беглянке, удирающей бешеным аллюром. Почуввав погоню, телка резко метнулась в сторону. Молнией блеснуло в воздухе лассо, описав стремительную дугу, петля опустилась на коровьи рога. В этот же момент всадник осадил коня, который четырьмя копытами словно врос в землю. Веревка натянулась, телка кувыркком полетела на землю. Вскочив на ноги, она пыталась бежать, но, почувствовав себя на привязи, покорила и послушно затрусила за всадником.

Вся эта сцена продолжалась несколько минут.

Солнце уже село, когда мы въехали в ворота фермы Сан-Франциско. Наши машины остановились у открытой веранды гашиенды. Бывший хозяин, богатый помещик, сбежал. Нас встретили новые хозяева фермы. Среди них — молодой парень в форме капитана Повстанческой армии. Коренастый, невысокого роста. Военная гимнастерка плотно облегла широкую грудь атлета, у пояса неизменный пистолет.

— Капитан Лайте, — назвал он себя, крепко пожимая нам руки. — Мне звонил команданте Вельехо. Я постараюсь помочь вам. А сейчас располагайтесь, устраивайтесь, прошу чувствовать себя как дома.

Мне понравилась скромность, простота капитана Лайте. Держится он с достоинством и вместе с тем очень приветливо. Лайте рассказал нам несколько историй о сражениях в Сьерра-Маэстре. И хотя он не говорил о себе, потом мы узнали, что он геройски вел себя в трудные годы борьбы. Мальчиком ушел в революцию. Сейчас ему всего двадцать четыре года.

Уже вечерело, когда мы закончили «расселение» по

компатам, уложили аппаратуру, пленку. Оборудовали темную комнату для перезарядки кассет и решили посмотреть ферму.

Вакерос доили коров. У каждого пониже спины привязана небольшая скамеечка. Подопв корову, парепь встает и направляется к следующей. Он так и ходит со скамеечкой, словно прилипшей к его заду. Это очепь смешно.

Ребята угостили нас парным молоком. Из-за мохнатых верхушек королевских пальм выползла луна. Затянули песенку цикады. Изредка пад головой с шелестом проносила почная птица. Мы развалились в удобных качалках на веранде гаспенды и радовались вечерней прохладе. Огня не зажигали, чтобы не привлекать ночных мотыльков. В темноте теплым глазком тлеет огонек сигары капитана Лайте.

— Завтра подъем в шесть утра, — нарушил я молчанье. — Будем снимать на сахарном заводе в Медна Луна.

Пожелав покойной ночи Лайте, которому нужно было еще заглянуть на ферму и что-то проверить, мы отправились по своим комнатам.

Поднялись задолго до рассвета. Готовили завтрак и укладывали в машину аппаратуру. Из загонв, лениво мыча, позванивая колокольчиками, выходили коровы. Лихие вакерос, гарцуя на отдохнувших за ночь конях, подгоняли коров резкими окриками.

Восточная часть неба окрасилась в лимонно-желтый цвет, а над горизонтом появилось багряное зарево. Через пальмовую рощу проехал трактор, оставляя за собой облако пыли. Оно было похоже на золотистый туман и неподвижно висело над землей в безветренном воздухе.

Машины остановились у развилки. Вдали виднелись трубы септраля Медна Луна. На Кубе сахарный завод называется «септраль». Каждый завод является центром большого района плантаций тростника.

На обочине дороги стоял маленький автомобиль-вездеход «виллис».

— Чья машина? — спросили мы у крестьянина, развалившегося на заднем сиденье машины.

— Инспектора Феликса Переса, — ответил тот. — Вы советские кинооператоры?

— Да!

— Он просил вас подождать немного.

Рене прижал машину к обочине, мы присели на траву. «Инспектор Перес! — думал я. — Бедняк крестьянин, не имевший клочка собственной земли, сейчас руководит огромным сельскохозяйственным районом. Пользуется всеобщим уважением, любовью людей».

Мы услышали приближающийся хруст тростника, топот лошадиных копыт. Внезапно стена зарослей раздвинулась, и на дорогу выехали всадники.

— Салюд, компаньерос! Все советские люди так же точны, как вы? — сказал Перес, соскакивая с копя.

На нем рубашка с заплатами. Широкополая шляпа, пистолет. Распрощавшись со своими спутниками, он сел за руль «виллиса». Меня пригласили сесть рядом. Машина тронулась. Несколько минут мы молчали. Я разглядывал его коричневое лицо, покрытое глубокими морщинами.

— Давно вы в этих местах? — спросил я.

— Всю жизнь. Здесь я работал на плантациях. — Он помолчал с минуту, затем, наклонив голову, продолжал: — Работа на сахарной плантации сезонная, всего три месяца в году, в период уборки. Когда тростник поспевал, работой были обеспечены все. От мала до велика. Но когда проходило время сбора и переработки сахара, централь останавливались и люди оказывались без работы. Девять месяцев в году без работы. Девять месяцев голода, безработицы. Это называлось «мертвое время».

— А кроме сахара?.. Столько плодородной земли вокруг! Крестьяне могли бы выращивать овощи, фрукты. Почему же безработица девять месяцев?

— Плодородных земель много. Но они были огорожены колючей проволокой. Люди голодали, дети умирали, но прикоснуться к пустующим землям не разрешалось. А помидоры, огурцы, картофель кубинцы должны были ввозить из Соединенных Штатов Америки. За доллары. Какое дело янки, что дети умирали от голода. Им нужен был сахар. Только сахар! И доллары. Вот почему было «мертвое время». Вот почему сахар был горьким для крестьянского бедняка.

«Виллис», управляемый Феликсом Пересом, бойко бежал по дороге, по обеим сторонам которой зеленые стены сахарного тростника. Вдали то возникала, то исчезала высокая кирпичная труба. Сахарный центральный Медна Луна. Мы обогнали ползущий по шоссе поезд из вагончиков, похожих на деревянные клетки: в них возят тростник с плантаций на завод. Трактор тянул шесть таких ва-

гончиков, переполненных людьми. Они скандировали: «Куба — си, янки — но!..», поднимая высоко над головой плакаты и знамена. На одном из плакатов написано:

«НАЦИОНАЛИЗИРУЕМ СОБСТВЕННОСТЬ ИМПЕРИАЛИСТОВ-ЯНКИ!
РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ!»

Чем ближе к заводу, тем чаще наш «виллис» обгонял пешеходов, всадников. Шагали отряды крестьянской милиции. Все шло как на праздник: с песнями, с веселыми возгласами, со смехом.

...Мы въехали на широкий двор сахарного завода. Он был уже заполнен крестьянами, ожидавшими начала митинга. Прошли в здание конторы завода, где только что закончил заседать комитет по национализации. По коридору навстречу нам двое милисианос несли огромный портрет в золотой раме. На портрете жирный мужчина с маленькими плутоватыми глазками, мясистым посом — бывший хозяин Медиа Луна.

— Куда несете? — спросил я ребят.

— На свалку!

А Фелпкс Перес, проводив их взглядом, сказал: «Они понесли на свалку не только сеньора Висенте, но и его хозяев из «Юнайтед фрут компании». Вы, надеюсь, слышали об этой монополии»...

Кто же не слышал о «Юнайтед фрут»! Об этой могущественнейшей империи золота и фруктовых соков. Президенты и диктаторы склоняются в низком поклоне, когда приказывает «Юнайтед фрут». Полиция, войска содержатся на деньги «Юнайтед фрут». Земли орошаются кровью людей, осмелившихся восстать против могущественнейшей империи «Юнайтед фрут».

— Он был верным псом компании «Юнайтед фрут», этот сеньор Висенте,— сказал Феликс Перес, кивнув головой вслед парням, которые понесли на свалку портрет бывшего владельца Медиа Луна. Добрые глаза Феликса сверкнули гневом. Он добавил: — Если бы вы знали, сколько горя испытали люди, которые собрались сегодня на митинг! У каждого из них свои счета с «мамитой Юнай»... Пойдемте,— сказал он, шагнув через порог, направился к трибуне.

Толпа смолкла, когда Феликс начал свою речь. Говорил он долго. Кубинцы любят длинные речи. Феликс говорил о тяжелом прошлом, о том, что испытал он, крестьянин-

бедняк, что испытали все, кто слушал его. Когда он произнес слова «тнемпо муэрте», толпа заколыхалась, словно каждый из этих людей хотел сказать:

«Смотрите на меня! Взгляните на всех нас! Мы без страха выгнали янки со своей земли. И никогда больше не будем рабами янки!»

Феликс Перес кончил речь, а над толпой долго гремело:
— Куба — си, янки — но!

Итак, мы с Киселевым едем в
вечера
в ущелье магдалены Сьерра-Маэстру. Путь в горы пред-
стоит нелегкий, поэтому снаряжаем-
ся в поход тщательно. Купили в Сантьяго горные ботинки
на толстой подошве, легкие плащи, рюкзаки. Из кипов-
паратуры приготовили только самое необходимое. Зато
пленки взяли с запасом.

С машинами мы распрощались очень скоро. Произош-
ло это в маленькой деревушке, где кончалась автомобиль-
ная дорога. Дальше — пешком.

Нас ожидали в деревне несколько парней — солдаты
Повстанческой армии. Они взвалили на плечи часть наших
грузов.

Мы с Киселевым двинулись по узкой тропе. Чем даль-
ше в гору, тем более крутой и скользкой становилась
тропа. Накануне прошел проливной дождь. Ноги разъез-
жались, скользили, утопали по щиколотку в жидкой грязи.
Скоро мы уже не шли, а карабкались. Очень трудно!
Придерживаться за ветви деревьев можно только одной
рукой — другая крепко сжимает камеру.

Иногда возникал мелодичный звон колокольчика, и
из-за поворота показывались идущие навстречу мулы, на-
вьюченные мешками с кофе. На последнем муле обычно
сидел крестьянин. Громко щелкая бичом, он подгонял
животных, осторожно ступающих по тропе.

Шесть дней провела наша киногруппа в горах Сьерра-
Маэстра. Минас дель Фрио — Шахты Холода — так поче-
му-то называется место, где долгое время был штаб по-
встанцев, часто менявший место в горах. Отсюда хорошо
просматривается долина.

Я представил, как в ясные дни смотрели Фидель и Че
Гевара отсюда в голубые дали острова. А взоры шести
миллионов его соотечественников были устремлены к этим
горам; отсюда неслись позывные: «Говорит Сьерра-Маэстра!
Говорит Радио ребельде — Радиостанция Повстанче-
ской армии Кубы!»

Сколько раз Батиста сообщал, что повстанцы разгромлены. Но неизменно вслед за этим раздавался в эфире голос:

«Говорит Сьерра-Маэстра!»

Прошло много времени, с тех пор как Повстанческая армия спустилась с гор в равнины. Барбудос пришли в Гавану. А в горах Сьерра-Маэстра жизнь продолжается. Здесь проходят военную подготовку отряды народной милиции. Фидель сказал:

«Пусть каждый милисиано пройдет испытания в Сьерре. Попочует в холодных ущельях. Поднимется на Туркипо — самую высокую точку хребта».

И не только бойцов народной милиции обязал Фидель пройти суровую школу жизни в горах. Он сказал юношам и девушкам, которые готовятся стать учителями начальных школ:

«Диплом ожидает вас в горах Сьерра-Маэстра! Там вы будете сдавать экзамены. Почетное звание народного учителя вы получите там, где воины революции завоевывали победу».

Удовольствие от почлега в гамаке я испытал, живя в горах, в лагере народных учителей. Партизанский гамак — это кусок брезента, с обоих концов схваченный крепкой веревкой. Полотнище, растянутое между двумя деревьями, образует люльку. В нее залезаешь, как в легкую, качающуюся на воде байдарку, которая, того и гляди, перевернется. Под тяжестью тела люлька натягивается и сжимает тебя так, что трудно повернуться. Мышцы немеют, лежишь, словно тебя спеленали.

В лагере учителей-добровольцев в горном ущелье Магдалены я прожил три дня. Совершил с учителями-добровольцами большой горный переход, отдыхал с ними, снимал их жизнь, учебу, труд. Вечерами отвечал на тысячи вопросов о нашей стране, о советской молодежи, о нашей литературе и поэзии, о наших городах и университетах, о советских школах и театрах.

Как же долго не был я в Гаване! Мне казалось, что, шагнув через порог вестибюля отеля «Гаване либре», я принес сюда ароматы горных трав Сьерра-Маэстры, шум моря, мычание коров с фермы Сан-Франциско. Я чувствовал себя пеловко в запыленном, застиранном, выдавшем виды военном костюме, в ботинках, покрытых пылью. Здесь в отеле было все так чисто, чипно.

Поднявшись на двадцать первый этаж, я сразу вышел на балкон, чтобы окинуть взглядом Гавану, белые стволы небоскребов.

Умывшись и переодевшись, я спустился вниз. Хотелось побродить по улицам, потолкаться в толпе, купить газету, выпить чашечку кофе.

Гавана прихорашивалась к празднованию Нового года. Ее улицы украшались гирляндами лампочек, зелени, красочными плакатами. В повогоднюю ночь на каждом перекрестке люди будут весело отплясывать пачангу и румбу.

И все же воздух насыщен тревогой. На каждом пагу блиндажи из мешков с песком. У дверей, у ворот — вооруженные люди. Не солдаты, а бойцы народной милиции. Рабочие, студенты, служащие. Юноши, девушки, пожилые люди.

Я подошел к газетчику Педро — старому негру. Он торгует газетами около входа в итальянский ресторанчик напротив отеля «Гавана либре». Мы успели подружиться.

— Где вы пропадали, компаньеро Кармен? Как долго вас не было в Гаване!

Я коротко рассказал ему о нашем путешествии.

— Неужели вы были в Сьерра-Маэстре?

— Да, представьте себе, компаньеро Педро. А у вас какие новости?

Старик покачал головой.

— Эти мерзавцы хотят во что бы то ни стало омрачить нам праздник, — сказал он.

Волнуясь, Педро рассказал о том, что творят коптрреволюционеры в Гаване. В городе тревожно. Вечерами раздаются взрывы. Коптрреволюционеры создают подпольные склады оружия. Народная милиция обнаружила несколько таких складов. Террористов арестовали. Все оружие, ручные гранаты, взрывчатка — с фабричной маркой «Сделано в США». Террористы действуют по приказам своих американских хозяев.

Мне не хотелось возвращаться в гостиницу. Был теплый вечер, на улицах было много людей. Из дверей баров звучала музыка. Но по тротуарам шагали вооруженные патрули народной милиции. Каждые десять минут из репродукторов звучали слова:

«Братья Америки! Свободные люди всех континентов!

Куба не отступит! Куба не дрогнет!..

Родина или смерть! Мы победим!»

Проходило десять минут, и снова многократное эхо разносило над крышами домов, над площадями:

«Братья Америки!..»

И было в этих словах что-то леденящее сердце.

Наступила ночь. Я все еще бродил по городу. Зашел в бар выпить чашечку кофе. Всюду слышалось: «контрреволюционеры», «Флорида», «бомбы»... Дважды донесся глухой гул — где-то разорвалась бомба. По улице, гудя сиреной, промчались две военные машины и «скорая помощь». Улицы постепенно пустели.

Было совсем темно, когда я шел по набережной. На море бушевал шторм. Огромные волны с грохотом ударяли в каменную стену набережной. Вспененные водопады обрушивались на мостовую. Ветер сбивал с ног. В зловещем грохоте прибоя и свисте ветра звучал голос Кубы:

«Братья Америки! Свободные люди всех континентов!..»

И казалось, что весь мир слышит призыв маленького острова в Карибском море.

Три с половиной месяца провели мы премьеры фильма на Кубе. Снято двадцать пять тысяч метров пленки. Тяжело было расставаться с чудесным островом, с друзьями-кубинцами. И вот снова — океан, мерное гудение моторов. Покидаем Кубу. Выстоишь ли ты, смелая, удивительно прекрасная Куба, перед натиском врагов? Неужели осмелятся они напасть на тебя, залить кровью твою землю?

Бермуды, Лондон, Москва, Лихов переулок... С какой жадностью окунулись мы в просмотр материала, как дорог каждый кадр, как близки были образы людей, смотрящих с экрана, как упоительны дни и бессонные ночи, проведенные за монтажным столом, когда рождался наш «Пылающий остров»!

Премьера фильма в Москве состоялась в дни, когда Куба громила американских наемников-интервентов на Плайя Хирон.

Десять тысяч зрителей-москвичей во Дворце спорта аплодировали бойцам народного ополчения, крестьянам, детям Кубы.

Через несколько дней после премьеры мы с оператором В. Киселевым снова летели на Кубу с несколькими копиями готового озвученного на испанский язык фильма «Пылающий остров».

Опять мы на земле Кубы. Нас окружают друзья.

Мы пытливо, пристально глядели на Гавану, на кубинцев, видели новые черты в облике людей, страны. Тяжелое испытание — вооруженная интервенция — не прошла бесследно. Куба подтянута, люди стали строже, суровее, хотя и не утратили врожденной своей жизнерадостности, веселого задора. Разгром американских наемников-интервентов вселил в сознание кубинцев уверенность в своих силах. Кровь, пролитая на Плайя Хирон, словно стучит в сердце каждого кубинца. Все они готовы в случае повторения удара стать насмерть, защищая революцию.

Снова приближался день расставания с Кубой. Незабываемыми останутся теплые встречи с друзьями — с солдатами, кинематографистами, крестьянами, руководителями государства. Как святыню будем мы хранить знамя кубинской революции, преподнесенное нашей киногруппе революционными организациями провинции Ориенте. Это было в городе Сантьяго де Куба на премьере нашего фильма в зале крупнейшего кинотеатра, переполненного бойцами народной милиции, рабочими, крестьянами. Двери этого театра были раскрыты с раннего утра до поздней ночи, и прилегающие к театру улицы были заполнены автобусами, грузовиками, колоннами бойцов Повстанческой армии и народной милиции. Посмотреть фильм ехали из дальних деревень крестьяне, шли строем солдаты, шли колонны школьников, студентов.

Фильм, созданный советскими кинематографистами, смотрели его герои — народ революционной Кубы и восторженно принимали его.

Мадрид — Гавана В день Первого мая над Гаваной было синее-синее небо и на площади Хосе Марти были сотни тысяч людей. Над счастливой толпой реяли лозунги:

«ДА ЗДРАВСТВУЕТ НАША — ПЕРВАЯ В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ —
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ!»

Перед трибунами проходили многотысячные колонны ликующих людей, громом оваций встретила площадь бойцов героического 409-го батальона народной милиции, громившего интервентов на Плайя Хирон, громыхали гусеницами танки, шла артиллерия, на разукрашенных карнавальных колесницах плыли над головами людей ко-

ролевы красоты, шли дети, приехавшие из провинции Ориенте.

И вдруг над площадью, парастая, ширясь, возникли могучие аккорды «Интернационала». Тысячи, сотни тысяч голосов подхватили революционный гимн. Пела Гавана. Пела Куба. На трибунах стояли и пели «Интернационал» ветераны республиканской Испании, посланцы Гватемалы и Чили, Италии и Бразилии, Советского Союза и Конго, Китая и Вьетнама. Пели на своих языках. «Интернационал» звучал с невиданной силой, поднимаясь к небу, плывя над столицей революционной Кубы. Гром «Интернационала» гремел совсем рядом с берегами Соединенных Штатов Америки.

И я увидел слезы. Влажными глазами смотрел на озаренную солнцем площадь смуглый человек с глубоким шрамом над бровью, одетый в форму народной милиции Кубы. Я знаю этого человека много лет. Солдат коммунистического 5-го полка, герой Гвадаррамы и Эбро, он продолжает борьбу на Кубе. Он уверен, что здесь он сражается за родные оливковые рощи Кастилии. Несколько дней тому назад он громил интервентов на Плайя Хирон. Сейчас, стоя на трибуне вместе с сотнями тысяч верящих в свою победу людей, он со слезами надежды на выдавших смерть глазам пел революционный гимн.

ЭСТАФЕТА ПОДВИГОВ

Годы, события... Воспоминания о виденном, пережитом иногда совершенно неожиданно встают в памяти. Так было, когда, сидя у экрана телевизора, я наблюдал за спаренным полетом двух космических кораблей. Мерцающее изображение голубого экрана было далеко за гранью самой смелой, самой дерзкой фантастики. Двое обаятельных советских парней, сидя за штурвалами звездных кораблей, глядели друг на друга в иллюминатор, вели между собой деловой разговор, вслушивались в теплые голоса Земли, иногда я ловил на себе их взгляд...

Глядя на чудесную телепередачу, не мог не вспомнить о том пути, который привел нашу страну к этому чуду. К этой фантастической и вместе с тем реальной действительности.

Эстафета подвигов. Эстафета поколения коммунистов! Эти подвиги запечатлены в истории. Немалый труд вложили в создание летописи нашей героической эпохи операторы кинохроники. Я — один из них. Вместе с моими товарищами я тоже принял эстафету кинорепортажа от тех, кто снимал у ступеней Смольного, кто запечатлел на экране образ Ленина.

Мерцающий экран телевизора...

Мужественное лицо космонавта в скафандре... Иные картины встают в памяти, как аккорды мужественной симфонии, впечатываются в мерцающий экран. Образы людей, которые несли через годы испытаний эстафету подвига... Вот они!

На краю летного поля Ходынки полтора десятка самолетов-бипланов. Люди в кожаных шлемах. 1925 год. Это первая эскадрилья «Ультиматум», построенная на средства трудящихся в ответ на ультиматум английских консерваторов. Как дороги были нам эти хрупкие первенцы авиации!..

Помню холодный рассвет под Москвой — старт советского стратостата. Молодые стратонавты Федосеенко, Васенко, Усыкин заметно волновались, залезая в сферическую кабину. Стратостат плавно взмыл в воздух. «Да здравствует наша Родина!» — крикнул Федосеенко перед тем, как низко нависшая серая пелена облаков поглотила кабину... Через три дня на Красной площади под гром артиллерийского салюта в Кремлевской стене были установлены урны с прахом героев-стратонавтов. Они достигли рекордной в мире высоты — двадцать две тысячи метров. Свой подвиг они посвятили родной стране, партии...

Помню волнение, которое испытал я, молодой кинооператор, на съемке в Колонном зале Дома Союзов в 1934 году. В центре президиума стоял во весь рост человек с гривой седых волос, с ясными и очень юными глазами. Праздновалось восьмидесятилетие человека, вся жизнь которого была смелым подвигом. Увлажненными от счастья глазами он смотрел в аплодирующий зал, голос его звучал в тот вечер мужественно и вдохновенно. Он словно устремлялся в далекие миры Вселенной, куда ясным разумом ученого-самоучки на протяжении всей своей жизни прокладывал смелые пути... Это был Константин Эдуардович Цюлковский.

Помню и такой эпизод: Ходынский аэродром в начале 30-х годов. Идет на посадку ярко-красный самолет. Оста-

появился. Выключил мотор. Из самолета на руки встречающих буквально свалился обессиленный пилот. Это был американский летчик Маттэрн, совершающий кругосветный перелет на побитие рекорда скорости. Его вели, поддерживая с обеих сторон, руки его висели как плети, он прошептал: «Ванну, постель, бензин... Через час лечу дальше...» Перелет этот был рекламным предприятием фирмы «Локхид». Летчика ожидала баснословная сумма... После долгих поисков советский летчик Леваевский обнаружил на Чукотке обломки самолета Маттэрна. Потерпевший тяжелую аварию американский летчик был доставлен на Аляску. Подвиг... Во имя чего совершал он свой подвиг?! Сенсация, доллары, реклама стоили жизни храброму, мужественному человеку...

Да, им, людям другого мира, иногда даже мудрым и смело мыслящим, непостижимо было величие духа советских людей, творящих подвиг не во имя личной славы и благополучия...

Глядя на экран телевизора, я вспоминал и вдохновенный образ Михаила Каверочкина — героя моего фильма «Повесть о нефтяниках Каспия». Каверочкин испытал радость победы, исторгнув первый нефтяной фонтан из глубин Каспия. Он героически погиб во время шторма, погиб на буровой, которую он не захотел покинуть в ту страшную ночь...

Павлу Поповичу было шесть лет, когда в небе над Мадридом летчик-истребитель Георгий Захаров сражался один с двенадцатью фашистскими истребителями. Герой Советского Союза, коммунист Захаров, сражаясь, передавал эстафету подвига будущему покорителю космоса...

Космонавт улыбается с экрана телевизора... В эти минуты космический корабль проносится где-то над Москвой. Да, великую эстафету подвига приняли и несут сейчас в подзвездном пространстве двое советских парней. Быть может, они вспоминают сейчас тех, кто проложил им своим разумом, своими жизнями этот маршрут.

Много трудных путей пройдено на протяжении жизни каждого кинохроникера. Я оглядываю сегодня ряды моих товарищей, с которыми прошел плечо к плечу долгие годы этими путями. Многих уже нет среди нас. Иные сложили головы на войне, а у кого сердце не выдержало постоянных перегрузок. Живые — в строю. Рядом с ветеранами — молодые, уверенно и увлеченно припимающие эстафету от старшего поколения, влюбленные в свою профессию

кинорепортеры. Многие из них, из молодых, стремятся идти новыми путями, храня при этом священные традиции воинствующего советского кинорепортажа.

Как радуется каждая творческая удача молодого документалиста, каждая смелая попытка сказать свое, свежее слово в документальном кино!

На экранах грядущих лет пройдут живые события и образы людей — строителей коммунизма, борцов с фашизмом. Они станут во весь рост и, «живые с живыми говоря», поведают людям будущего о трудных и радостных годах, пройденных нашим поколением, расскажут о нашем времени.

Ежедневно тот или иной кинооператор после недолгих сборов без трогательных прощаний — ведь командировки так обычны для хроникера — покидает киностудию, чтобы проложить новые дальние маршруты с неизменным своим оружием — с кинокамерой в руках.

Кинохроника незабываемых наших лет станет достоянием поколений. А у кинорепортера долгая молодость, потому что он питается животворными соками жизни. Он неустанно ощущает могучее биение пульса современности.

Летом 1936 года наше еще не нюхавшее порошу поколение смотрело на экранах первые выпуски фронтовой кинохроники, присланной из сражающейся Испании кинооператором Романом Карменом. Он снимал там, в Сантандере и Бильбао, Толедо и Мадриде, самое начало тех долгих и жестоких боев с фашизмом, в которых потом всем нам так или иначе пришлось принять участие, прежде чем они кончились падением Берлина.

Тогда, тридцать лет назад, глядя на кадры, присланные Карменом из далекой Испании, мы, тогдашние молодые поэты, страстно завидовали этому незнакомому нам человеку, который с камерой в руках оказался на первой линии огня, на первой линии боев с фашизмом. Мы завидовали ему, потому что тоже хотели там быть, тоже хотели оказаться в сражающейся Испании и помогать всем, чем только можем, нашим далеким братьям — испанским республиканцам.

Наша зависть была благородной и безнадежной — в Испанию ехали добровольцами только те, кто был там нужнее всего. А мы не принадлежали к их числу.

Всматриваясь теперь в кадры старой, снятой Карменом испанской хроники, я понимаю то, чего не понимал по неопытности тогда, много лет назад, — какой тяжкий и мужественный труд фронтового кинооператора стоит за этими кадрами осажденного Алькосара или сражающегося Мадрида! Сейчас я понимаю, какая мера опасности подстерегала человека, снимающего какую-нибудь, казалось бы, не столь эффектную на экране перебежку солдат или наступающие под пулеметным огнем республиканские цепи.

Для того чтобы оценить мужество фронтового кинооператора, работавшего тогда без нынешней техники, без нынешних мощных телеобъективов, надо, глядя на эти старые кадры, всякий раз мысленно представлять себе ту точку, на которой находился человек с киноаппаратом. Сейчас, после войны, я хорошо представляю себе это и высоко ценю то незаурядное мужество, которое неизменно сопровождало Кармена с самого начала его фронтовой работы, оставаясь при этом, если можно так выразиться, «за кадром».

Я не был знаком с Карменом в ту пору, когда он вернулся из Испании; я лишь несколько раз видел его издали, его рано начавшую седеть голову, его кожаную испанскую курточку на молнии с орденом Красной Звезды — одним из самых первых боевых орденов, полученных у нас людьми искусства в те еще продолжавшие считаться предвоенными 30-е годы.

А потом Кармен вдруг исчез из Москвы. И вскоре прошел слух, что он со своим киноаппаратом где-то далеко, в глубине Китая, там, где 8-я армия китайских коммунистов сражается с японскими самураями.

Слухи соответствовали действительности. Следующей, второй фронтовой работой после Испании для Кармена оказался Китай. Оттуда, из Китая, Кармен привез фильм, пахнувший порохом и говоривший о негасимом мужестве китайского народа.

И какие бы горькие, странные и даже не уместяющиеся в нормальном человеческом сознании политические метаморфозы ни происходили потом с некоторыми из деятелей, возглавлявших в те годы вооруженную борьбу с японскими захватчиками, все равно

этот фильм, сделанный тогда Карменом в гуще тех героических боев, остается и поныне замечательным историческим документом, полным любви к китайскому народу.

К началу Великой Отечественной войны за плечами у Кармена оказались уже две большие войны, месяцы и годы, проведенные на фронте или в прифронтовой полосе, а в архивах кинохроники лежали тысячи и тысячи метров снятой им фронтовой кинохроники.

До войны я знал Кармена только по его картинам. Впрочем, это не так мало. Почерк кинооператора есть выражение человеческого характера. Военные хроники, снятые Карменом до Великой Отечественной войны, заставляли предполагать, что у человека, державшего в руках этот аппарат, мужественная душа, неугомонный характер и железная выдержка в работе.

И первые же личные встречи на войне подтвердили все эти предположения.

На каких только дорогах мне не доводилось встречать Кармена во время войны: и на Западном фронте, и на украинских фронтах, и под Вязмой, и под Яссами, и на Висле, и на Одере, и на площади перед рейхстагом, и в Карлсхорсте, в зале, где подписывался акт о безоговорочной капитуляции фашистской армии.

Я видел его и веселым, и злым, и здоровым, и больным, охрипшим, простуженным, забинтованным, еле державшимся на ногах, но всегда и всюду снимавшим, снимавшим, еще раз снимавшим, невзирая на погоду и не погоду, обстрелы и бомбежки, дорожные пробки, заносы и прочие, как говорится, привходящие обстоятельства.

Кармен снимал и в снежных полях под Москвой, и в обледенелом голодном Ленинграде, и в развалинах Берлина. Четыре года он летал, ездил, ходил и ползал дорогами войны. И если правильно говорят, что талант — это труд, то это был поистине свирепый труд, густо замешанный на опасностях и лишениях.

Не буду перечислять всего, что было сделано Карменом за годы войны. Для того чтобы выразить мое отношение к его работе военных лет, скажу лишь одно — кинохронику времен Великой Отечественной войны так же нельзя представить себе без работ Кармена, как невозможно представить себе наши газеты военного времени без публицистики Эренбурга.

Май 1945 года был огромным психологическим рубежом в жизни каждого из нас.

Я помню Кармена в те дни, на этом рубеже, на ступенях рейхстага, совершенно больного, с замотанным бинтами горлом, охрипшего, без голоса, осатанелого от количества работы, деятельного, напряженного и бесконечно счастливого нашей победой.

Но, вспоминая его таким в последние дни войны и думая о его работах, сделанных им за послевоенные годы, я мысленно перекидываю мостик от тех военных работ к этим. И не только потому, что среди послевоенных работ оказались и новые военные работы, такие, как фильм о сражающемся Вьетнаме, но и потому, что дух мужества сопровождает Кармена и в тех его фильмах, которые, казалось бы, наполнены самым мирным содержанием. Его работы о нефтяниках Каспия — это работы, эпитафией к которым можно было бы поставить слова поэта «И всюду бой...». Бой с трудностями, с природой, со стихией, стремление преодолеть, казалось бы, непреодолимое. Нефтяники Каспия для Кармена были тоже сол-

датами, сражающимися на передовой, и он снимал их там, на передовой, снимал так, как это умеют делать настоящие фронтовые кинооператоры.

До сих пор я говорил о Кармене как об одном из самых выдающихся и неутомимых деятелей нашего документального кино.

Но деятельность Кармена не исчерпывается тем, что он сделал в кино. Книга «Но пасаран!» свидетельствует о том, что Роман Кармен соединяет в одном лице и «бывалого человека», необыкновенно много видевшего и активно участвовавшего с киноаппаратом в руках во многих исторических событиях, и литератора — человека, владеющего пером.

На всем протяжении этой книги речь идет о значительных событиях; материал, который в ней дается, всегда интересен и достоверен. Как литератор и журналист — Кармен всегда опирается на тот непреложный фундамент фактов, которые он сам десять, двадцать или тридцать лет назад снял на пленку. При всем разнообразии положенного в основу книги документального материала, она все-таки воспринимается вся вместе как единое целое. И представляет собой хотя и написанный в разное время и в разной манере, но цельный по своему духу рассказ во многих отношениях замечательного человека о своем труде и о своей жизни, неразрывно связанной с целой эпохой в жизни нашего общества.

Говоря о духовной цельности всей книги записок Романа Кармена, хочу отметить, что ее страницы, посвященные событиям Великой Отечественной войны, как мне кажется, представляют особо значительный интерес и по масштабу исторических событий, участием которых был автор, и по своим литературным достоинствам.

Кармен не только выдающийся кинематографист, но и опытный литератор. Эта литературная опытность чувствуется и в тех разделах его книги, которые были написаны давно, а сейчас значительно дополнены и отредактированы автором. Однако мне приятно отметить, что именно в последние годы, работая над главами своей книги, посвященными Великой Отечественной войне, Кармен окреп как художник: стал писать сильнее, ярче, глубже. Его всегда было интересно читать. Но никогда не публиковавшиеся раньше новые главы его книги читаются с еще большим, дополнительным интересом в силу своей большей изобразительности, большей художественной глубины. И радостно думать о человеке, перешагнувшем за шестой десяток, что он окреп и вырос как художник именно в этой своей последней по времени работе.

В книге, как мне кажется, очень к месту дано отступление в собственную биографию Кармена. Его рассказ об отце, о своих детских и юношеских годах помогает нам понять, почему этот человек стал именно таким, каким мы увидели его в книге, где его корни, с чего он начинал в жизни. Почему выбирал в ней без колебаний трудные и опасные дороги, неуклонно выполняя свой долг гражданина Страны Советов, интернационалиста, солдата революции с киноаппаратом в руках.

Константин Симонов

СОДЕРЖАНИЕ

РЯДОМ С СОЛДАТОМ	_____	5
Какая она будет, война?	_____	7
Считанные, дорогие метры пленки	_____	26
Вдали от автомобильных дорог	_____	48
Мадрид — Старая Русса	_____	53
В те дни студия была родным домом	_____	96
Путь через Ладогу	_____	107
Ярый ненавистник коммунизма	_____	128
Две встречи	_____	143
Танки идут не останавливаясь	_____	160
НО ПАСАРАНИ!	_____	200
Школа журналистики	_____	200
Но пасарап!	_____	225
Гренада, Гренада, Гренада моя...	_____	300
В полярную ночь	_____	315
Покорители моря	_____	322
Свет в джунглях	_____	328
Пылающий остров	_____	358
Эстафета подвигов	_____	376
О Романе Кармене	_____	380

**РОМАН
ЛАЗАРЕВИЧ
КАРМЕН
НО ПАСАРАН!**

Редактор
И. С. ХЕХЛОВСКАЯ
Художник
Г. В. ДМИТРИЕВ
Художественный
редактор
В. В. ЦУКИНА
Технический редактор
Л. С. МЕЗЕНЦЕВА
Корректор
Т. Б. ЛЫСЕНКО

Сд. в наб. 13.VII-71 г. Подп.
к печ. 27.III-72 г. Ф. бум.
84×108¹/₃₂. Физ. п. л. 12,0+
16 вкл. Усл. п. л. 21,84.
Уч.-изд. л. 22,64. Изд. нид.
ХД-76. А03054. Тираж
100 000 экз. Цена 99 коп.
в переплете. Бум. № 2.

Издательство «Совет-
ская Россия»,
Москва, проезд Сапу-
нова, 13/15.

Книжная фабрика № 1
Росглавополиграфпрома
Комитета по печати при
Совете Министров
РСФСР, г. Электросталь
Московской области,
Школьная, 25.
Заказ № 2496.

Кармен Р. Л.

К24 Но пасаран! М., «Сов. Россия», 1972.
384 с. с илл. на вкл. («Годы и люди»)

Жизнь автора этих мемуаров — известного советского кинодокументалиста, лауреата Ленинской премии режиссера Романа Кармена — наполнена интереснейшими и увлекательными событиями, путешествиями, встречами. Кармен был участником четырех войн, объездил полмира с кинокамерой, снимая такие важнейшие события довоенных лет, как пуск Волховстроя, первый трактор на полях совхоза «Гигант», строительство Днепрогэса, бои в Испании, экспедиция по поискам Леваневского. Во время Великой Отечественной войны оператор запечатлел на киноленту бои под Москвой, блокадный Ленинград, сражения в Сталинграде, штурм Берлина, подписание капитуляции гитлеровской Германии.

В воспоминаниях Кармена рассказано о встречах с Циолковским и Хемингуэем, Папаниным и Йорисом Ивенсом, Гербертом Уэллсом и Михаилом Кольцовым, Матэ Залкой и Долорес Ибаррури, а также о товарищах по работе — деятелях советского кино.

33 к.



ՈՍ ՍԱՏԱՐԱՆԻ

ՐՕՄԱՆ ԿԱՐՄԵՆ